

ISSN 0130-7673

Н О В Ы Й М И Р

3

1991

3

Н О В Ы Й
М И Р

1991



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 3 (795)

Март, 1991 г.

УЧРЕДИТЕЛИ: ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ, ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ФОНД СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР, ЦЕНТР «НОВЫЙ МИР»

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ФЕДОР ЯРЦЕВ — Солдаты-призраки, стихотворение	3
ВАСИЛИЙ БЕЛОВ — Год великого перелома. Хроника девяти месяцев	4
ОЛЬГА НИКОЛАЕВА — Из твоих рук, стихи	45
МАРИНА ПАЛЕЙ — Кабиря с Обводного канала, повесть	47
ВЛАДИМИР ЛОБАС — Желтые короли. Записки нью-йоркского таксиста. Окончание	82

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

МИХАИЛ ЗЕНКЕВИЧ — Невидимая свирель, стихи. Публикация и подготовка текста С. Е. Зенкевича	134
--	-----

ПУБЛИЦИСТИКА

ВИКТОР ЯРОШЕНКО — Энергия распада. Очерки политических обстоятельств 1989—1990 годов	137
--	-----

РЕЛИГИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ МИР

СЕРГЕЙ ФУДЕЛЬ — Воспоминания. Публикация и подготовка текста Н. Плотникова. Предисловие Владимира Воробьева	188
---	-----

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

Стр.

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

- ПЕРЕПИСКА В. В. РОЗАНОВА И М. О. ГЕРШЕНЗОНА. 1909—1918.
Вступительная статья, публикация и комментарии В. Проскуриной 215

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

- ВЛ. НОВИКОВ — Освобождение классики 243

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

- А. ФЕНЬКО — Ау, родина, где ты?.. 251
С. Н. НОСОВ — Сны культуры 252
РУССКАЯ КНИГА ЗА РУБЕЖОМ 256

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

- ВАЛЕРИЙ ПИСКУНОВ. **Чью душу желаете?** Повесть.
ВАСИЛИЙ БЕЛОВ. **Год великого перелома.** Хроника девяти месяцев. Часть
вторая. Окончание.
ДАМА В ЗЕЛЕНОМ. Из поэзии английского Возрождения. Перевод Григория
Кружкова.
С. И. ФУДЕЛЬ. **Воспоминания.** Окончание.
П. Б. СТРУВЕ. **За свободу и величие России.** Статьи. Заметки. Письма.
П. ВАЙЛЬ, А. ГЕНИС. **Страна слов.**
П. ПЭНЭЖКО. **На семи оврагах.**
ВИКТОР ЛЕГЛЕР. **Уроки кооперации.**
-

ФЕДОР ЯРЦЕВ

*

СОЛДАТЫ-ПРИЗРАКИ

Тени жить лишь начавших, без вины убиенных — немые,
бессловесны, бесправны, безутешны, безгрешны.
На пороге вселенской, сатанинской, дымящейся тьмы
были сборы коротки и прощанья — поспешны.
В страшной, тошнотворной пелене сплошной,
медленно порхая, серый, будто перепел,
оглушенный подсвеченною тишиной,
хлопьями оседает в пространстве пепел.
Пепел разочарования, смерти, тоски и невзгод.
И все это отражают выгоревшие зраки
тех, кто в полях одиночества вечно скользит вперед, —
это беззвучно идут в атаку солдаты-призраки.
Даже на миг задержаться им не дано.
На лицах у них — ни улыбки, ни тревоги, ни боли.
Стерлась память о них, стала мифом давным-давно,
а они все идут и идут скорбным безмолвным полем.
И не чувствуют больше, не слышат, не видят ни зги —
пропавшие без ответа, без слова и какой-либо вести.
Только пепел, кружась, мягко оседает на их сапоги —
пепел нежных воспоминаний, надежд, любви и совести.
Очи их, умерщвленных, погасли, как будто огни,
плащ-палатки повыцвели, превращаясь в прозрачные призмы.
И опять — все вперед, словно чьим-то проклятьем ведомы они.
В хлопьях пепла беззвучно вдаль уходят солдаты-призраки.



ВАСИЛИЙ БЕЛОВ

*

ГОД ВЕЛИКОГО ПЕРЕЛОМА

Хроника девяти месяцев

В мартовском номере «Нового мира» за 1989 год напечатана первая часть книги «Год великого перелома», продолжающей «Кануны» — хронику конца 20-х годов.

Раз уж так получилось, что книга пишется медленно, напомним читателям содержание первой части хроники.

Раскулачивание уже охватило Украину, Северный Кавказ и Поволжье. Бывший формовщик Шиловский, выполняющий обязанности профессионального палача, направлен со спецзаданием в Архангельск. Тем же путем на Север движется и эшелон с украинскими раскулаченными. От Брянска их сопровождает некто Гирич. Но это не кто иной, как Петр Гирин — сбежавший из Москвы и сменивший фамилию приятель Шиловского. В Вологде, пользуясь тем, что за лишний, бесхозный вагон с киргизами не расписывался, он отцепляет вагон, в котором везли Груню Ратько с двумя ее дочерьми. Там же ехала и семья Ивана Богдановича Малодуба.

Иван Богданович умер от тифа в вологодской больнице. Два его сына — Петр и Грицько — отправлены рубить лес, а жена Марфа и невестка с ребенком помещены в бывшем Прилуцком монастыре. Живоцерковник отец Николай (известный читателю по книге «Кануны») везет Параску Малодуб с ребенком в Прилуки. Он же выгораживает перед чекистами подпольного священника, который соборовал по ночам умирающих. Бывший секретарь укома чекист Ерохин не успевает разделиться с отцом Николаем, так как был послан в срочную командировку для приема раскулаченных на лесоучастках.

На одном из таких участков и жили шибановские мужики-лесорубы, выполнявшие задания по рубке и вывозке леса. Павел Рогов вместе с другими бросает работу и покидает лесоучасток. Ночью по дороге в лес он встречает Парасковью Малодуб с мертвым ребенком на руках. Она разыскивает мужа и деверя...

Брат Павла, отпускной матрос Василий Пачин, находит его обмороженным в избушке водяной мельницы. В ту же ночь в вологодских краях началось раскулачивание. Шустов — бывший бухгалтер крестьянского кооператива — бросает дом и хозяйство, тайно со всем своим обширным семейством покидает деревню Ольховицу. Активист Игнатий Сопронов пытается догнать Шустова, но по дороге встречает братьев и меняет решение. Едет в свою деревню. До утра он успевает выгнать из дома только семейство прижимистого Жучка и двух учительниц — дочерей давно умершего о Александри.

Сопронов был вынужден отложить раскулачивание роговского подворья: ему помешал матрос Васька Пачин. Надолго ли? Телеграммы и директивы Москвы, краевого центра Архангельска и окружного Вологды требовали немедленных и самых решительных действий...

Часть вторая

Павел Рогов лежал за шкафом в нижней избе, где была зыбка и печь. Ступня заживала худо. Из-под бурой, давно спекшейся пелены постоянно сочилась бесцветная сукровица. На лапку нельзя было приступить. Великим постом на третьей седмице оба с женой перебрались вниз из верхней зимней избы. И вот целыми днями он лежал за шкафом на деревянной кровати.

Горько лежать весь день! Еще горше бессонной ночью. Он старался не думать о родной Ольховице, о пустом, охладевшем отцовском доме. Рассказывают, что едва сани с Данилом да Гаврилом перестали скрипеть по снегу, Игнаха, держа руки в карманах галифе, на виду у всего народа направился к пачинскому подворью. Мать, Катерина Андреевна, причитала и хрысталась. Вокруг плакали соседские бабы. Игнаха ступил будто бы на крыльцо, потребовал у нее ключи от дома и сенников. Он пробовал силой отнять ключи, но у него ничего не вышло. Тогда Сопронов взял ее за ворот зимнего казачка и деловито стащил с крыльца. Она успела бросить ключи в колодец...

Павел сжал зубы и сдавленно замычал, хотел подняться, но не сумел. Заплакал, кусая подушку.

Где Вера? Лампа горит. Ребенок в зыбке говорит сам с собой. Вечер или раннее утро?

Дом в Ольховице зачислен в колхоз, а брат Алешка и мать Катерина Андреевна ночуют теперь в бане. Как шибановский Носопырь... Спасибо Ивану Никитичу, ездил к ним, отвез ржаной и овсяной муки.

От отца Данила Семеновича нет никаких вестей. Старший братан Василий служит на новом месте, долго не было адреса. Пришло вот только что короткое письмо.

Божат Евграф раскулачен по третьему списку. Увезен в одну, в ту же сторону. У божатки с Палашкой все отняли, но оставили жить в зимовке. Ночами многие шибановцы не гасят огня. Мужики насаживают ухваты. Вон и Аксинья-теща втихомолку режет по вечерам хлеб, сует на противне в печь. Для кого сухари? И как жить нынче, куда ступить? Да еще с больною ногой...

А дедко Никита все так же поет псалмы.

Сколько ни просил дедко Митю Куземкина, чтобы приняли в колхоз, столько же раз Митя отказывал. Прикашливал, отворачивал рыло в сторону да приговаривал: «Нет, нет, Никита Иванович». «Да что нет?» «А нет, да и все. У нас, та-скасть, и так лишних набрано».

Лишние были Ключины, Новожиловы и, по слухам, даже счетовод Зырин — оттого что играл на гармонии. Ванюху Нечаева тоже страшали, что отчислят при первой возможности. Не принимают в колхоз ни каталей, ни сапожников, что же про мельников говорить? Всех, кто в колхоз не вступил, велено раскулачить. Командует Игнаха из ольховинского мезонина. Пес! Многих уже разорил и пустил по миру. Жучок тоже вон в один день с божатом Евграфом арестован и увезен. Старый Жук ходит по волостям с большущей корзиной, за ручки водит двух девочек-малолеток. Агнейка — старшая дочь Жучка — вместе с маткой кое-как живет в избе Самоварихи, потому что в Жучковом доме учинили контору колхоза. А наш дедко только молится да поет псалмы...

Никита Иванович по-прежнему ночевал внизу на полатах, иногда на печи и, вставая на ночную молитву, никогда не забывал качнуть разок-другой зыбку с Ванюшкой. Вера слышала это сквозь сон по легкому скрипу оцепы. С вечера перед сном она наматывала на ладонь конец долгой льняной бечевки, привязанной к зыбке. Она дергала за веревочку, когда Ванюшко начинал сказываться Муж Павел то и дело стал в сон. В больницу бы надо, да не едет! Примочка, сваренная из коровьего масла и сосновой смолы, не вытягивает жар из ноги. Другая забота: с часу на час должна телиться Пеструха. Ветка — вторая корова роговского подворья — доилась уже вторую неделю. Теленок у Ветки родился со звездкой во лбу, ядрененький, словно гудочек. Нынче ждали второго. В начале каждой ночи Аксинья с Верой по очереди ходили глядеть Пеструху. Дедко Никита проводывал животину под утро...

В ту ночь улегся Никита Иванович второпях, без душевной оглядки. Устыдился творить молитву прилюдно, оттого и не мог уснуть. Ворочался на печи с боку на бок. Все спали, вплоть до самого маленького — Ванюшки. Одна невестка Аксинья, при увернутой лампе, сидя почти в темноте, стучала мутовкой о края рыльника: сбивала сметану. Не терпелось ей натопить свежего масла к Светлому воскресенью.

Дедко Никита, уязвленный тем, что не удалось по-настоящему одному постоять перед иконной лампадкой, погасил наконец недовольство. Положил

голову на холщовый мешок с отрубями и забылся под спокойное часовое постукивание. Около уха журчала привычная воркотня. Кот Кустик старательно убаюкивал старика. Постукивала невесткина мутовка, еще изредка скрипел березовый очеп. «Ванюшко-то вырос за зиму, а все в зыбке спит,— подумалось дедку сквозь сон.— Экой санапал. Верка-внучка вот-вот принесет второго. А первый еще лягается в люльке».

Дедко Никита улыбнулся в темноту. Он слышал во сне Аксиньины хлопоты с готовым масляным смесом. Невестка погасила огонь и ушла наверх к Ивану Никитичу.

О чем шуршит за стеной ночной снежок? Какие думы истаивают в долгую великопостную ночь? С вечера, слушая шибановские и ольховские новости, дедко Никита думал так: «Одно осталось — веки у глаз дратвой зашить, уши замазать еловой смолой. И что только не творилось нынче на грешной земле! Или раньше еще извертелся крещеный народ? Так ведь так и есть, намного, пожалуй, раньше. Может, еще при том амператоре...»

Сейчас Никита Иванович спал, зная, когда ему пробудиться. Он дремал все еще с надеждой и верой в душе. Да и сама любовь еще витала под широким роговским кровом. Ясная, неосознанная — у младенца, первенца Павла и Веры. Взаимная и горячая — у его отца с матерью. Подростковая любовь к родственникам была не то чтобы неприятна Сережке, но вроде бы мешала ему и показалась бы лишней, если б он осознал ее. (Уже поглядывал парень на девок, и вот-вот должна была обозначиться одна чья-то, совсем одна и особенная.) Спит Сережка как праведник. А что говорить про любовь Веры Ивановны, женскую, дочернюю, материнскую? Три любви у ней, и все разные, одна на одну совсем не похожи. Про мужскую любовь и думать не принято. Все само собой.

Петух воспрянул под печкой. Хлопнул крылом и хотел пропеть, а вышел один грех, одно какое-то бульканье. Может, простору мало, может, не время. Дедку Никите и этого жаль — под печкой в потемках много ли развернешься? Спасибо хоть под утро поет взаправду.

Валенки сохнут у печного кожуха, жилетка тоже тут. Все под рукой.

Дедко слезает с печи, зажигает фонарь, тихо, чтобы не разбудить Веру и Павла, выходит в сени. Перед тем как спуститься по грязной лестнице к хлевам, он снимает валенки и сует свои костлявые лапки в берестяные, самим же им сплетенные ступни. Спускается вниз, к скотине. Фонарь освещает большую кучу еловой хвои, чурбан с топором, штыри с вожжами и хомутами. Надо бы сразу тесать хвою, да рановато. Неохота шуметь, будить домашних.

Дедко Никита поднимает фонарь, не торопясь оглядывает хозяйство и отворяет двери к Пеструхе. Хлев разгорожен надвое. В одной половине овцы, в другой — широкая, как баржа, Пеструха. Корова шумно и тяжело дышит. Готовая ко всему, она благодарно глядит на дедка, будто говорит ему спасибо. Дедко осматривает корову со всех сторон, успокаивает, чешет за ухом. Затем приносит в ясли охапку сена, но Пеструхе нынче не до сена. Она тревожно помыркивает, когда дедко хочет уйти.

— Ну, ну, матушка, не реви,— подбадривает дедко Пеструху.— Не реви, тут мы, тут. Подсобим, ежели...

Он поднимается вверх, меняет ступни на валенки. В избе гасит фонарь, опускается на колени и в темноте шепотом читает перед красным углом ночную молитву. Затем он опять хочет залезть на печь, но что-то мешает ему, какое-то сторожкое чувство не пускает улечься и подремать до утра.

Сколько часов? Бог ведает. Вон вдругорядь поет петух, теперь позвонче. Значит, около трех. Из печи уже тянет пареною галанкой. Спят за шкафом молодые. Спит в зыбке правнук Иванушко. Сын с невесткой наверху, да и внучек Серега там...

Часы вдруг перестали тикать. В теплой темной избе установилась жутковатая тишина. Дедко на ощупь подтянул гиру, болтнул маятник, но часы походили немного и снова остановились. «Сдвинулись, видно, не станут ходить,— подумал Никита Иванович.— А на среду их ставить надо днем, на свету...»

За окном почуялся шорох. Или ветер ночной? Кот Кустик тяжело спрыгнул с печного приступка. В зеленых его глазах мелькнуло что-то нездешнее. Дедко Никита ногой отпихнул Кустика. Лампадка в красном углу еле мерцала.

В темном окне старику почудилась тень. Что может быть в такой темноте? Да и снегу там выше колена, за окном, на той стороне. «Дедушко, а дедушко?» — послышался из-за шкафа шепот Веры. Больной Павел тоже проснулся. Дедко ничего не успел сказать. Вкрадчивый неторопливый стук у наружных ворот услышали все трое.

Только ребенок в зыбке не услышал этот вкрадчивый, негромкий, но настойчивый стук у ворот. А слышен ли был тот стук там, наверху? Ивану да свет Никитичу, Аксинье и малолетку Сережке?

Дедко поднялся по лесенке к лазу, ведущему в верхнюю избу:

— Вставай, Ванька... Стукают. Видать, дошло и до нас. Сподобились...

Большой роговский дом замер. Напрягся каждой своей стропилиной, каждой решетиной и замер, зatih вместе с людьми и скотиной, вместе с каждой подпольной мышкой. Одни тараканы, кои опять начали копиться в теплых местах, водили усами из потолочных щелей.

...Никита Иванович никак не мог засветить покупной железный фонарь. Спички то ломались, то гасли. Стук у ворот становился нетерпеливей и громче. Фонарь наконец засветился. Дедко открыл двери. Ступил в сени.

— Кто? — все еще не теряя надежды, спросил старик.

За воротами было тихо. Но дедко чувствовал, что там стоит человек, и не один, а два или три. Они молчали.

— Открой, хозяин, милиция! — хрипло сказал кто-то.

Никита Иванович вынул из скоб еловый засов. С крыльца ногой ударили в воротницу. Передний, освещенный дедковым фонарем, в черном полушубке и весь в ремнях, шагнул на деда и вырвал фонарь из стариковской десницы. Огонь полыхнул и снова выровнялся. Никиту Ивановича властно отодвинули в сторону. Четверо, не обметая с валенок снег, гуртом ввалились в сени, спешно протопали дальше в избу, где уже горела зажженная Иваном Никитичем лампа. Он держал эту лампу, стоя босиком в белых портках и в белой холщовой рубахе. Черная с проседью борода затрещала от жара, когда Иван Никитич случайно закрыл ею воздушный ток из лампового стекла. Запах паленых волос рассмешил Скачкова, который, не снимая шубы, уселся к столу и начал расстегивать сумку.

— Из помещенья не выходить!

Аксинья, стоявшая у дверей в куть, зажала платком рот. Утробный возглас, готовый перейти на истошный крик, был задушен этим платком, а может, не платком, а суровым взглядом Ивана Никитича. Хозяин повесил светильник на пруток и прибавил огня. С белым лицом стояла рядом с матерью успевшая одеться Вера. Из-за сестры испуганно выглядывал Сережка.

Павел едва не оборвал зажатую в кулаке крашеную холщовую занавеску, отделявшую кровать за шкафом. Хотелось немедленно подняться и сесть на постели. Дедко остановил его легким шлепком через занавеску: «Лежи, лежи! Ишь...»

Скачков курил, нехотя разбирал бумаги. Никогда от самых начал не пахло в роговском доме таким душистым табачным дымом! Испокон веку пахло горящей лучиной, берестой, то подгорелой ржаной коркой, то пареной репой либо сухим праздничным солодом.

Ныне запах был новый, не слыханный. Папиросный дым слоистым облачком плыл по избе, проникал в куть и за шкаф, знаменуя новую жизнь.

Фокич, белея лысиной, сидел нога на ногу в среднем простенке, под зеркалом меж передними окнами. Не он первый старался нынче садиться промеж окон! А вот Митя Куземкин беспечно уселся напротив бокового окна. Кеша Фотиев не снял ни шапки, ни рукавиц. Стоял у шкафа, поминутно вертел головой и глядел себе под ноги, чтобы узнать, много ли натаяло снегу от его растоптанных валенок.

— Ну, борода,— громко сказал Скачков,— садись ближе к столу.

— Я не в гостях, а дома,— ответил Иван Никитич.— Это уж вы садитесь, коли в гости пришли!

Кеша послушался и прошел вперед.

Теперь все «гости» сидели по лавкам.

— Значит, так! — Скачков хлопнул ладонью по столешнице.— Есть предписание к обыску. Гражданин Рогов, глава семьи кто в вашем доме?

— Да ведь, товарищ Скачков,— весело перебил лысый Фокич.— Это дело на данный момент не имеет значения.

Скачков поднялся, сверкнул глазом в сторону Фокича, но удержался от стычки, перекинул взгляд на Никиту Ивановича:

— Бери, дедко, фонарь! Веди понятых по сенникам и чуланам!

Дедко взял фонарь, но в этот момент Митя Куземкин вскочил с лавки:

— Товарищ Скачков!

— Я за него,— притворно добродушно отозвался Скачков.

— Тут нам, значит, это... Ночью не видно. Чево мы ночью увидим? Дом большой... еще амбар с гумном. Надо днем. Мое, значит, какое предложенье? Мое предложенье...

Скачков остановил Митю Куземкина:

— Ясно. Делай чего велят!

Митя поглядел на Фокича, Фокич поглядел на Скачкова.

— Обыск! — крикнул Скачков и обвел всех торжествующим взглядом.

Вера принесла одеться отцу.

— Гражданин Рогов! Ваше хозяйство обязано было сдать гарнцевый сбор в количестве...— Скачков поискал какую-то бумагу.— В количестве девяносто шесть пудов девятнадцать фунтов. Почему не сдали зерно?

Иван Никитич зашел в куть, натянул на себя верхнее, вышел и произнес:

— Я, товарищ Скачков, не мелю. Мелют вон дедко да зять, с их и спрашивай. Дедко, а дедко? С тебя чуть не сто пудов гарнцу...

— Сто пудов? — подскокил к Мите Куземкину Никита Иванович.— А пошто это не двести, а только сто? Ежели Бога не боязно, дак сами-то себя побоялись бы! Научились сперва считать бы! Неужто приятно дураско-то дело?

— Считать мы умеем! — гаркнул милиционер.— И вас научим!

Скачков встал, пошел к дверям, но по пути поднял с пола фонарь и отодвинул занавеску:

— А тут кто?

Он поднял фонарь. Худое лицо Павла Рогова белело в глубине закутка. Блеск провалившихся глаз и чуть заметное движение под обросшими скулами напугали Скачкова. Он отошел от шкафа и осветил фонарем зыбку. Подвешенная к очепу на черемуховых дужках, плетенная из дранок, пахнущая пеленками, эта зыбка вызвала у Скачкова улыбку. Но из нее по-взрослому серьезно, не мигая, глядели глаза младенца. Разбуженный мальчик не плакал, он молча слушал, а теперь по-взрослому внимательно и даже слегка удивленно глядел прямо в глаза Скачкова.

Скачков не выдержал этого взгляда. Толкнул зыбку. Она закачалась, и Вера бросилась из кути, встала между Скачковым и зыбкой. Он прищурился на Веру и расстегнул наконец верхние пуговицы полушубка:

— Так...

— Уже утро, товарищ Скачков.— Фокич глядел на свои карманные.— А мы еще в двух деревнях не были.

— Да, да...— Скачков, казалось, был сонлив и рассеян.— Который час-то?

— Шестой, товарищ Скачков! Надо ехать...

Фокич надел шапку.

— Гражданин Рогов! — строго произнес милиционер и снова уселся к столу.— Мы вынуждены тебя арестовать и доставить в район!

Все замерли, в избе стало тихо-тихо.

— Одевайся. Немедленно! — Скачков двумя движениями застегнул командирскую сумку.

Вера взревела вместе с Аксиной. Иван Никитич начал искать кушак и шапку, дедко перекрестился и поник головой. Заплакал ребенок. Сережка дрожал осиновым листиком. Гости враз поднялись.

Павел слышал все это, рванулся, пробуя встать. Он вскочил, в ярости оборвал занавеску. Обжигающая боль в ноге вышибла его из памяти.

Он пришел в себя, когда Ивана Никитича уже не было в доме. Не было и ночных гостей. Только жена и теща Аксиныя голосили в избе. Плакал ребенок в зыбке, и еще слышно было, как, хлюпая носом, тихо хныкал Сережка.

Избу совсем выстудили. Лампа еле мерцала, и все не стихало тоскливое причитание Аксиньи и Веры. Павел хотел утешить хотя бы жену и громко позвал ее. Вера не отозвалась. Где же дедко Никита?

Дедко неожиданно с фонарем появился в избе:

— Бабы... Пеструха-то телится.

Женский рев сразу же стих как по команде. Вера, Аксинья, дедко — все трое ушли в хлев, к Пеструхе. Сережка тоже перестал хлюпать носом и начал качать зыбку с племянником...

И теперь уже сам Павел безмолвно заплакал, кусая подушку. Сердце, как пойманный стриж, билось о ребра, боль в ноге отзывалась во всем теле с каждым его ударом. Павел вновь забылся в тяжком беспамятстве. Над ним опять громоздились причудливые видения. Мельница махала белыми крыльями, то вдруг падала на него и давила, то снова чернела и останавливалась, то оборачивалась зимнею лошадиной мордой, хрипела над самым ухом. А то вдруг ружейное дуло упиралось из тьмы, росло и глядело на него смертельным черным своим оком.

Видения таяли, исчезали, когда он перебарывал лихорадочное забытьё. И вспомнил тот знойный полдень с купанием на лошади, как, спасаясь от оводов, заехал на Карьке прямо под шибановский мост. Может, зря бросил в омут тяжелый масляный сверток?.. Нынче ночью он разрядил бы патрон прямо в черную шубу либо в белую лысину веселого гармониста. Разнес бы обоих в пух и прах... А чем бы кончилось? Нет, все не то. Да не сгинет терпенье... Мог бы ведь тогда в сеновале убить Игнаху, лишить его белого свету. Мог бы... Да могли бы сам-то жить после этого? А пошто оне-то? И оне ведь, наверно, так: убьют, а после всю жизнь маются. Мучает их, корезит совесть, вот они и злятся и опять убивают да грабят. Так и живут, пока самих не прикончат... Увели тестя Ивана Никитича. За что? За мельницу. Он, Павел, сблазнил, построили на свою шею. Неужто все из-за мельницы? Да нет, не все! Отец за так отдал толчею в коммуны Митьке Усову, а ведь один бес, загребли Данила Семеновича. Есть — отымут и самого уведут, а и нет — тож уведут. Как татарское иго. Где слой-то найти?

Он вновь забывался, и вновь наплывали со всех сторон кошмары. Слышал, как Вера прикладывала ко лбу мокрое полотенце: «Паша, Пашенька!» Родной голос, родные жесткие пальцы. Волосы не прибраны в кокову. Что это она? Нет, это не волосы Веры, это сыплется на лицо теплая мельничная мука... Сыплется, не дает дышать. Ночь, мрак. Тяжко, ничего нет. И он, Павел, умрет сейчас, его не станет...

Павел пришел в себя, нащупал на шее крестик и льняную жилку гайтана. Крестик съехал на сторону и лежал на плече, а родная жесткая ладонь жены Веры Ивановны лежала на лбу. Сердце билось ровнее и медленней. Павел заснул.

Он пробудился от ноющей боли. Что и когда случилось? Он не знал. Вспоминал долго и горько. Был день, тихо скрипел очеп. Ни жены, ни дедка, ни тещи Аксиньи, только тихо скрипел очеп. Павел отодвинул занавеску: зыбку качал Серега. А за печью, совсем рядом, корячился, пытался встать краснопестрый теленок. Задние ноги уже держали его плоское тельце, передние покамест никак не слушались. Большие глаза глядели и мигали: мол, что такое? Почему ничего не выходит? Павел с улыбкой глядел на прибыль. Жар в ступне вроде бы начал спадать, дышалось легче. Вспомнил все, что случилось. Позвал Сережку, спросил, где дедко, где Вера и теща Аксинья. Сережка сказал, что Вера плакала наверху, сейчас перестала, что дедко рубит фою, а мамка ушла гадать на клюшинской Библии.

— Сережа, иди-ко поближе,— позвал Павел.— Есть у тебя тетрадка с ручкой?

— Есть.

— И чернило есть? Садись за стол и пиши, пока Ванюшко спит. Я буду говорить, а ты пиши...

Сережка так и сделал.

Павел Рогов медленно, слово за словом продиктовал письмо брату:

«Добрый день или вечер, здравствуй дорогой брат Василий Данилович. Во первых строках своего письма сообщаю что наш отец Данило Семенович был увезен из деревни в райён и больше от ево нет никаких вестей. Еще увезен кузнец Гаврило Насонов. Дом наш в Ольховице весь раскулачен. Матка с Олешкой живут в чужих людях. Да и тут в Шибанихе все одно, такаяжо свистопляска. Божат Евграф арестован. Севодняшней ночью арестовали отца Веры Ивановны Ивана Никитича, будто бы не выплачен гарец 96 пудов 19 фунтов жита. Наверно будут судить. Так что не знаем как жить дальше. В остальном все мы здоровы, чего и тебе желаем. Опиши, как идет служба и каково здоровье а ежели можно, то помоги нам каким советом.

Остаюсь твой родной брат Павел».

Сережка закончил письмо и поставил точку.

— Число обозначь! — подсказал Павел. — И отдай дедку. Пусть запечатает и сразу пошлет в Ольховицу. Где дедко-то? Сходи позови.

Сережка сходил на сарай, покликнул дедка. Спустился даже по лесенке.

Но старика у хлевов не было, только топор торчал из чурбана, на котором тесали хвою.

Вера сошла вниз и отпустила Сережку в школу. Заплаканная, с коричневыми пятнами на лице, брюхатая, она даже сейчас стеснялась показываться мужу при дневном свете. Он не понимал этого и сердился.

— Очнулся, слава Богу... — Вера присела на примостье за шкафом, потрогала ему голову. — Паша, как жить-то будем?..

— Не плачь...

— Мне тятю жаль... Увезли и без подорожников. Торопятся. Бабы сказывали, что ищут каково-то Ратька, скорей поехали.

— Какого Ратька?

— Украинча.

Павел терял силы. Боль в ноге опять росла, отнимала его от белого света. Он осторожно погладил большой живот Веры Ивановны. Промолвил:

— Ты это... побереглась бы... Ноши не подымай, по воду не ходи...

И вновь забылся, вновь жаркая лихорадка начала кутать его в тесную смертную пелену...

Вера побежала искать мать Аксиныю либо дедка Никиту. «Сама запрягу... — твердила она на ходу. — Сама поеду за фершалом. Господи, подсоби! Не оставь, смилостивись... За што на нас горе с бедой, чем провинились?»

* * *

Не в первый раз собирались везти Павла к фельдшеру, но каждый раз, как только доходило до запрягания, он ехать отказывался.

Не в первый раз и Аксиныя просила у дедка Ключина Библию, чтобы узнать судьбу. Ключин сердился, называл бабью тягу к гаданью бесовским помыслом. Не давал Ключин книгу, но Аксиныя рассчитывала на ключинскую невестку Таисью. Когда старик выйдет из дому, они и возьмут книгу, хоть ненадолго. Либо Сережку вызовут, чтобы почитал. Но сегодня Ключин никуда не спешил, а тут, как назло, присеменил вслед за Аксиныей и дедко Никита. Куда было податься как не к соседям, с кем посоветоваться в горькие дни?

За самоваром с постной едой, без самовара и без угощений судили-рядили, разбирали шибановские дела. Между вытями и хождением в гумно или к скотине говорили и говорили.

Дедко Ключин тряс седой бородежкой, рубил ладонью по воздуху:

— Аблаката надоть, Никита Иванович, аблаката! Искать! Денег не пожалеть, корову продать, а найти.

— Да где ево найдешь?

— Как это где? В Питере! Ты ведь знаешь заришан-то! Бывало ишшо при старом прижме. Саша-то заришенский приехал домой, в оккурат на Петров день. Девки косят в однех рубахах, он при часах и в манишке. Щиблеты как зерькало. Бывало, ходил в однех ступнях, попов гонял из дому пердежом. А тут

приехал чик-брик! Моему Степке привез ремень, широкой такой, с застежками. Да... Застежки-ти, значит, медные, как у книги.

— Помлю, помлю,— кивал дедко Никита.— Этот Саша все говорил противу царя. Людям давал брошурки. Бесплатные.

— То и есть! — прискакивал на табуретке дедко Ключин.— Давал, давал он брошурки нашим ребятам, а в Питере-то его и самого взяли за гребень. Пять, говорит, нидиль высидел в каталажке-то! А и все бы пять годов просидел, кабы не аблакат. Дело-то уж каторгой пахло, а выручил, говорит, еврей-аблакат. Евреи питерские — оне все почти аблакаты. Ведь и сам Ленин был аблакат! Бывало, о празднике говаривал Саша-то: того целовека буду споминать по край своей жизни! До смерти буду добром поминать, как он меня выручил! Кабы не он, таскал бы, грит, я счас железные кандалы на руках, не пил бы ржаное пиво!

Дедко Никита с отрадою слушал Ключина. И мысль о спасительном «аблакате» уже не казалась ему детской забавой. «Што, ежли качнуться к этому? Который приезжал в Ольховицу-то? Говорят, недавно в Залесной видели. Не тот, который плясал по кругу, а другой, рыжие волоса. Найти бы ево, авось подсобит... Эх, забыл, как звали-то...»

И старики начали сообща вспоминать имя и отчество Меерсона.

II

В начале марта судьба как раз загнала Якова Меерсона в деревню Дворище, стоящую наособицу, на высоком холме, но вдали от большой дороги. Это был угол волости, куда напрямую из Шибанихи не содержалось ни зимней, ни летней дороги. Ездили только кружным путем через деревню Залесную. Возвышенность, на которой стояло Дворище, обширным болотом отделялась от шибановских сенокосов.

Кампанию по сбросу колоколов, притихшую в январе—феврале и отодвинутую раскулачиванием, специальным распоряжением из Вологды было приказано начинать сначала. Райфо выделил для этого изрядные средства. Райком поручил эту кампанию Меерсону.

Яков Наумович ночевал в Дворищах в избе местного активиста, который брался вчера спихнуть колокол. Деньги — семьдесят пять рублей — выданы были вперед. Колокол, по словам обывателей, весил всего пятнадцать пудов, но за целый день его так и не сумели отцепить и спихнуть.

Кровать в избе, застланная неизвестно чем, имелась всего одна. Меерсон предпочел для ночлега жесткую горячую печь, но спал очень немного. Всю ночь он поворачивался с боку на бок, боясь обжечься, заснул только утром. Теперь, проснувшись от детского возгласа, он открыл глаза и ужаснулся: весь потрескавшийся от времени потолок был заселен рыжими тараканьими полчищами. Вчера в темноте он не заметил их. Насекомые торчали везде и настороженно шевелили усами. Особенно густо их было около трубы. Скрипела гибкая березовая жердь с младенческой зыбкой — как ее, оцеп, что ли? Слышался шепелявый детский лепет второго ребенка. Этот с утра настойчиво просил сказку.

«Где я? — жалея себя, подумал Яков Наумович.— Как оказался в этом странном мире?» Казалось, еще совсем недавно он жил в Петербурге, ездил в Гельсингфорс и через день менял крахмальные воротнички.

Тараканы, вода усами, стояли рядами вдоль пазов и потолочных щелей. Пахло репчатый луком. валенками, печным дымом. «Для чего было делать революцию в подобной стране? Еще не исчезли феодальные отношения...» Так словесно думал ночлежник, на самом же деле, внутренне, он думал о своих все еще не сбывшихся планах переезда в Вологду или в Архангельск.

Скрипел оцеп. старуха в избе монотонно рассказывала, почти пела для своего раннего внука:

— Шла лисичка по дорожке, нашла скалочку...

«Что такое скалочка? Наверное, что-то железное,— подумал Яков Наумович.— Что ж... Пусть будет скалочка».

— Попросялась Лиса ночевать, хозяин ее спрашивает: ты чья будешь? Я лисичка со скалочкой. Ну, места хватит, ночуй. Ночью она скалочку сунула в печь, скалочка утром сгорела. Лиса спрашивает: куды девали мою скалочку?

Подайте мне курочку, ежели скалочки нет! Делать нечего, дали курочку. Вечером стучается в другой деревне: пустите, пожалуйста, вся измерзла. Да одна ли ты? — спрашивают. Нет, я с курочкой. Ну, места хватит, ночуй. Легла Лиса спать. Сама на лавочку, хвостик под лавочку. Ночью она курочку съела, а утром спрашивает: где моя курочка?

«Какая дремучая затрапезная чушь,— подумал Меерсон.— Где же я? Почему оказался на этой тараканьей печи?»

В избе под скрип очепа, с домашней хрипотцой, с поплеыванием на нить (старуха еще и пряла) речитативом произносились постные усыпляющие слова: «Идет Лиса, идет и поет: шла лисичка по дороге, нашла скалочку, на скалочку дали курочку, на курочку дали чиченьку...» Раздался детский возглас:

— Бавуска, бавуска, ты гуся пропустила!

— О, господи, царица небесная, все-то он углядит. Ну слушай, коли. Опять она в новой деревне ночует. Легла, ночью гусыню-то съела и говорит: где моя гусочка? Подавайте овечку мне, коли гусочки нет, пустая не уйду. Нечего делать, пошла хозяйка в хлев за чичкой. А хозяин-от, тот поумней был. Взял да и положил в мешок собаку, вместо чички-то. И подал мешок Лисе. Лиса идет по дорожке и знай поет. Вдруг навстречу идет Волк. Куды, кума, пошла? А вот, куманек, у меня чичка в мешке, пошла домой обряжатця. Волк, зубами щелк, тожо поись-то охота. Говорит: возьми меня с собой. Нет, кум, я и одна дойду. Пошел Волк своей дорогой, а Лиса идет да поет. А тут мешок-то взял да и развязался, собака из ево выскочила. Лиса подол подобрала да от собаки бежать!

Послышался восторженный детский смех.

— Добежала до лесу да юрк в нору! Пришла маленько в себя и спрашивает: ножки, ножки, вы чего делали? А мы все бежали, Лису от собак спасали. Глазки, глазки, вы чего делали? Мы все глядели, куды бежать сподрушнее. Ушки, ушки, а вы чего делали? А мы слушали, нет ли кого сбоку да спереди. А ты, хвост? А я, хвост, меж ног путался, Лисе бежать мешал! Рассердилась Лиса на свой хвост и говорит: нате, собаки, дерите его! Она и высунула ево, из норы-то. Собаки во хвост вцепились и всю Лису из норы выволокли.

Меерсон начал слезать с печи.

— Что, батюшко, пробудивсё? — Старуха отложила прялку.— Невестка-то к ковхозной скотине ушла, а сын лошадь запрягать. Вот у нас тут и рукоотерник у рукоотерника.

— Хорошо, хорошо,— пробормотал Меерсон, надевая бурки. Накинул на плечи меховую бекешу, без шапки вышел в холодные сени. Не найдя уборной, он выбрался через воротца в огород и завернул за угол хлева.

Перед ним открылась удивительная картина. Никогда в жизни не видел он зимнего солнечного восхода. Над лесами, над белыми снегами полей бесшумно вставал зоревой розово-красный разлив. Со всех сторон слышались какие-то странные булькающие звуки.

Деревня была выстроена на заметно высоком уровне. Внизу, за темными болотными перелесками, четко дымили другие деревни. Шибановская колокольня, которая и была сегодня нужна, маячила как бы совсем рядом. Почему же ему сказали вчера, что до Шибанихи больше пятнадцати верст? Да потому, что дорога даже зимою идет в обход болота.

Довольный своей догадливостью, Меерсон поднял воротник бекешы (уши зябли), наскоро сделал несколько приседаний и направился было в избу, но увидел еще одно непонятное представление.

Прямым по снежному полю, без всяких дорог, вышагивала фигура какого-то мужика в коричневой шубе. Мужик приближался. Он топал по снегу как по асфальту, шел как Христос по водам.

Свежо было и голове и ушам, но пришлось еще потерпеть: Яков Наумович ждал мужика. Но чего же ждать? Нельзя ли и самому прямо по снегу пойти навстречу абorigену?

Ногою, обутой в белую бурку, Меерсон топнул по насту. На снегу даже не осталось следа каблука. Ступил и сделал два шага. Бурая, причем рваная шуба бежала уже соседним огородом, держа под мышкой букет зеленых сосновых веток.

— Эй! — позвал Меерсон. — Здравствуйте, милейший. Что это вы несете?

— Да вот лапок на помело. — Шуба остановилась и подошла поближе. — Доброго здоровья.

«Кажется, этот человек был вчера у часовни», — подумал Меерсон и сказал:

— Я не имел представления, что можно ходить по снегу. Скажи-ка, милейший, сможешь ты пройти прямо в ту деревню?

— В Шибаниху-то? — Мужик широкими, тоже рваными валенками сделал от холода перепляс. — Да как сказать. Мне можно, тебе нельзя.

— Почему же нельзя именно мне?

— Ежели бегом, так можно, — в задумчивости сказала шуба.

— Так, так. Значит, бегом? Марш, марш вперед, рабочий народ. Прикажете мелкими перебежками? Что ж, милейший, благодарю за ваши рекомендации.

— Не на чем! — Шуба, не замечая меерсоновского негодования, ускакала за баню.

«Вполне гоголевский типаж! — подумал Яков Наумович. — Но кто из нас бегать будет, это еще посмотрим».

Солнце всходило.

Старуха щепала в избе лучину. Сына ее с лошадью все еще не было. Ребятишки уже заняли печь.

— Видно, супонь убежал искать, — оправдывалась старуха. — Супонь-та у нас худая, веревочная.

«Зачем лошадь?» — подумал Меерсон. Помывшись и обсушив лицо собственным полотенцем, он ощутил прилив альтруизма. Неожиданно для себя решительно заявил:

— Очень был рад у вас ночевать! Скажите сыну, что подвода не требуется. Пойду пешком, прямо по снегу.

— Да что ты, батюшко? Куды? Ведь сяс самовар скипит! — Старуха даже расстроилась и отложила прялку.

Но Меерсон не стал ждать самовара. Проверил в портфеле оставшиеся деньги, застегнул бекешу, надел пыжиковую шапку, перчатки:

— Скажите сыну, что в подводе нет надобности.

И (опять же очень довольный собою) покинул избу.

Он вышел за огороды.

Наст, казалось, звенел, и снег под каблуками просто надрывался от скрипа. Вокруг было так много этого снега, так яростно светило восходящее солнце, что глаза начали было слепнуть. Но вскоре привыкли. Морозный воздух саднил в бронхах. «Куда спешить? — подумал Яков Наумович. — Тут не более шести километров».

За изгородами открылся широкий белый простор.

Поле шло под уклон, к болоту, поросшему ивняком и редкими сосенками. Меерсон вспомнил о шоколадной плитке, на ходу открыл сумку и отломил две порции, подумал: «Через час-полтора можно достигнуть Шибанихи. К вечеру буду в Ольховице, а послезавтра есть возможность попасть в райцентр. Пора, давно пора звонить или ехать в Вологду! Редактор «Красного Севера» Турло уже в Архангельске. Обещал же помочь... Сколько можно ждать?» Хотелось в Москву, в крайнем случае в Ленинград или даже в Архангельск, но Меерсон терпеливо ждал перевала. Он был уверен в себе, надо было просто иметь терпение.

Слепящие белые поля плавилась серебряным, призрачно дрожащим морозным маревом. Какое-то гортанное бульканье слышалось в воздухе. Вдруг раздался еще более странный звук — широкий и мощный. Что это? Словно шелест какой-то грандиозной книги. Яков Наумович в недоумении остановился. Прислушался. Но шелест не повторился. Одни какие-то булькающие звуки доносились с болота. Вот они ближе и ближе. Лишь подойдя к токовищу метров на пятьдесят, Меерсон понял, что это тетерева. Птицы тяжело, одна за другой снимались и улетали к лесу. Он насчитал их больше десятка и пошел дальше. Там и тут на снегу видны были шарикаты заячьего помета. Старые следы, тоже, видимо, заячьи, выветренные и выпуклые, виднелись по насту снежными бородавками. Болото и дальний лес заслонили колокольню Шибанихи, но пешеход

ориентировался теперь по солнцу. Оно вставало все выше и уже начало пригревать. Станный, широкий и мощный звук, похожий на шелест свежей, раздраемой перед сном простыни, вновь удивил и даже напугал путника. Что это? Яков Наумович остановился, сделал шаг, второй, и вдруг наст под ним раскололся и слегка осел с тем же самым характерным шелестом.

Он не понял вначале, чем грозит ему этот широкий шелест, но зашагал быстрее. Болото едва началось. Наст, правда широкими пластами, начал обрушиваться все чаще. И вдруг нога провалилась в снег по колено: синий крупитчатый снег этот посыпался за голенище. Меерсон вылез на твердое место. Шагнул, но через два метра провалился в снег по пояс.

Родившись где-то внутри живота, страх объял его всего. Яков Наумович попробовал успокоиться и осмыслить случившееся. Осмыслил, понял и ужаснулся еще больше. В отчаянии он влез на снежную корку, однако наст снова обрушился. Меерсон влезал и влезал на бровку, наст же, точь-в-точь как лед на воде, обваливался и обваливался. Путник то и дело барахтался в глубоком снегу. Чуть ли не вплавь преодолевал он метр за метром. В рукава бекеши и в голенища бурок набился снег, перчатки были мокры. Руки и ноги начали мерзнуть.

Солнце подымалось выше и выше. Оно быстро и окончательно размягчало снежную корку наста... Меерсон обессилел, выдохся и, охваченный страхом, замер в снегу. Голова его едва возвышалась над снежной бездной. Но какое-то странное, неосознанное упрямство не позволяло ему кричать и звать на помощь... Отдышавшись и снова придя в себя, он увидел синее бездонное небо. Он отвернулся. Разглядел предательский край размягченного, ослабленного утренним солнцем наста. Над белой коркой плавилась дрожащая бесцветная пленка. Под коркой мерцала синеватая крупчатая кристаллическая масса. Совсем близко низкие бледно-зеленые сосенки безмолвно грелись на солнце...

Рыжая хвостатая лиса, подняв лапку и сонно щурясь, глядела в сторону Меерсона. Он не заметил ее. Ноги в бурках и руки в перчатках заныли от холода. Яков Наумович собрал все силы и снова, как бы вплавь, начал выбираться из глубины болотного снега, наползать на край наста. Он наползал, а наст под ним рушился. Он руками, ногами и даже портфелем отпихивался от снежной сыпучей массы, пока не понял, что все это совершенно бесполезно. Силы кончились. Лиса, распушив хвост, удалилась от него легким быстрым наметом. Вскоре она остановилась, повернула на человека вострую мордочку и замерла — ждала, что будет дальше.

* * *

В ту ночь Акиндин Судейкин спал тоже что-то уж больно плохо: все кряхтел и ворочался. Думал сперва про Ундера, потом про корову. То, что скотина нынче колхозная, никак в голове не вмещалось, да только не это больше всего мучило Акиндина!

Не мог он никак забыть про тот глупый момент, когда потрошили поповский дом. Сопронов раскулачил сперва Жучка и поповских дочек. Наутро дошла очередь до Евграфа Миронова. Норовил обделать и Роговых, да не успел, приехала из Ольховицы милиция и увезла Игнаху в Залесную. Искали какого-то выселенца. И работы в Залесной у них было побольше... В тот вечер, когда Сопронов начал кулачить учительниц, Киндя сидел как раз у Евграфа. Одна поповна, вся в слезах, прибежала к Мироновым. Помогите, спасите, мол; а что можно было сделать? Евграф и сам с часу на час ждал незваных гостей, даже огня в лампе не зажигали. Киндя вышел тогда от Мироновых, а Селька-Шило тут и топчется. Увидел Селька Киндю и присел за колодец. «Что, Сильверст, на посту нонче? — крикнул Судейкин. — Стой, батюшко, стой. Хорошее дело!»

Хорошее или худое, а деревня пережила-таки и ту долгую ночь! Обе поповны ночевали в чужих людях, утром протопили избу просвирни. Жучка и Евграфа отправили сперва в Ольховицу, потом в район, а старый Жук с корзиной пошел по миру. В доме Жучка учинили новую контору колхоза, а Зойка Сопронова на той же неделе перешла жить в поповы хоромы.

Что тут скажешь и станешь делать?

Акиндин видел, как из Поповки, еще до Зойкиного переселения, Митя Куземкин тащил в читальню часы с гирями. После такого дела осмелел и Кеша Фотиев, унес домой чуть не новое стеганое одеяло. Ну а потом и пошло! Многие в тот день приложились к поповскому дому, в том числе и он, Киндя Судейкин. Вертелся тогда в уме один вопрос: а кому-то достанется граммофон с трубой? Думал-думал Судейкин об этом граммофоне и — дернул его нечистый дух! — тоже подался в Поповку, следом за Мишей Лыткиным. Забрал Киндя граммофон и приволок к себе. Прямо с пластинкой. И даже завел на радость девчонкам. Хорошо женщина пела, выводила от всего сердца. «Вы-я-ль-це-ва,— прочитал Судейкин фамилию. — Не чета моей балалайке». Он готов был слушать каждый день, но тут пробудилась и начала грызть совесть, а вслед за ней поднялась и жена: «Снеси обратно!»

Акиндин понес граммофон обратно в Поповку, но там уже командовала Зойка Сопронова, и Селька-Шило стучал топором на сарае. Судейкин вспомнил, что учительницы поселились в пустой клетине бывшей просвирни. Больше негде им жить. В бывшей приходской школе, где обитал когда-то отец Николай с попадьей, давно развалены печи. В просвирниной избе было протоплено, но дымно и неуютно. На лавке в верхней одежде сидела младшая, Марья Александровна, сидела и плакала. Старшая ушла в Ольховицу искать справедливость. Ищи ее свищи, ту справедливость! Зря и ушла. Судейкина то и дело кидало в краску:

— Марья Олександровна, это... значит... — Он поставил граммофон на стол. — Принес. В полной сохранности.

Учительница даже не повернулась в сторону Кинди. Он потоптался немного у дверей и подался домой. И вот все последнее время Судейкина мучала совесть...

Сегодня, уже под утро, Киндю неожиданно осенило: «А снесу-ко я им зайца!» На сердце враз полегло. Все бы ладно, но зайца-то надо было еще и поймать. Ружья у Кинди не было сроду, зато имелись клепцы, и по зимам он держал небольшой охотничий путик в болоте. Правда, путик Судейкина пересекался с нечаевским. Клепцы — штук шесть — были поставлены сразу после лесозаготовок. Заяц нынче развелось много, Киндя с помощью ржаного кислого теста начал выделывать шкурки. Пушистые, легкие и белоснежные заячьи хвостики рядами висели на ниточках под матицей для детской забавы. Судейкин, еще до того как жена затопила печь, оделся и встал на лыжи, не спеша выехал на свой путик. За лесом в болоте он сразу увидел, что кто-то чернеет и молча шевелится в снегу. «Медвидь, что ли? — взволновался Судейкин. — Так ведь медведи зимой спят в берлогах. Нет, не медвидь, а живой человек!»

Судейкин съехал с лыжни, приблизился и увидел уполномоченного, который года полтора тому назад запирали в ольховский амбар шибановских стариков, запирали за то, что они выстегали Сельку Сопронова. Он же самый чистил и местную партийную ячею, а больше Судейкин его не видывал.

— Та... та... таварищ! — заикаясь пробормотал Меерсон и снова попытался выбраться из глубокой снежной воронки. — К-к-как ваша фамилия?

«Вишь, язык у него не ворочается, совсем замерз», — подумал Киндя и спросил:

— Ты тут кого ловишь?

— П-п-прошу, п-п-помогите!

— Эк тебя угораздило! — Судейкин подал Меерсону черень веселки, с помощью которой ставят и припорошивают снегом клепцы. — Держи, ежели дуж!

Уполномоченный ухватился, но Судейкин с одного раза не сумел вытащить его на поверхность наста. Только после многих попыток по веселке, а потом боком уполномоченный выкатился из снежного плена.

— Садовая голова! — ворчал Киндя. — По насту ходить надо до солнышка и тоже умеючи. Чево в низину-то сунулся?

— Х-х-хотел прямо! — выдохнул Меерсон.

— Прямо-то одне вороны летают. Ты бы шел где бугор да голое место, выбирал бы где крепко. Не вставай, опеть провалишься!

Уполномоченный покорно затих, лежа на левом боку.

— Что нонче мне с тобой делать? — вслух размышлял Судейкин. — За другими бы лыжами съездить?

Уполномоченный зашевелился, выражая тревогу. Киндя положил веселку на снег и ступил на нее, снял сперва одну лыжину, после другую.

— Ладно, коли! — решительно сказал Судейкин. — Вставай на мои. А я как-нибудь без лыж выберусь. Не встать? Ну так ложись на их! На обе!

Меерсон закатился на широкие самодельные лыжины. Судейкин, не сходя с веселки, распустил бечеву, на коей таскал свои лыжи, когда ходил по дороге. Прodel в дырки веревку, а другой конец привязал к поясному ремню. И опустил руками на снег. Стоял Киндя на карачках, чтобы не провалиться в снегу, держал веселку попереки и опирался ею на слабеющий с каждой минутой наст. Дернул, сдвинул воз на пол-аршина, дернул еще. Бекеша и портфель тащились по снегу, тормозили движение...

Судейкин выволок воз на чистое, без кустиков место. Наст тут был прочнее, отсюда недалеко и до путика. Лыжня на путике еще крепче, она подымала человека без лыж. Киндя вытащил уполномоченного на путик, встал на ноги и шапкой обтер пот с лысого лба:

— Теперь правик! Выбрались.

— С-сп... Очень благодарю,— услышал спаситель.

С помощью Судейкина Меерсон попробовал встать и чуть не слетел с путика. Казалось, что уполномоченный совсем ослаб и замерз. Судейкин велел ему опять закатиться на лыжи и протащил его до самых гумен. Только на широкой, твердо укатанной дороге Меерсон наконец поднялся на четвереньки. Судейкин подсобил ему встать на обе ноги:

— Вот, брат, каково не умеючи-то!

Меерсон не ответил, ему тяжело дышалось.

Вскоре с помощью снежного охотничьего весла и самого охотника уполномоченный района добрался до первого шибановского проулка. Судейкин хотел увести его к себе, предлагал затопить баню, чтобы не заболеть и прогреться. Но Меерсон отказался. Спросил лишь, где живет учительница Ольга Александровна Вознесенская. Киндя обиделся, но виду не подал. Довел подопечного до избы просвирни и показал на ворота с высоким крыльцом.

«Нате вам! Заместо зайца целый уполномоченный!» — сказал про себя Судейкин и был таков.

Меерсон, пытавшийся достать деньги и отблагодарить Судейкина, оглянулся с крыльца. Но спасителя уже не было, его и след простыл...

Вопреки всем неблагоприятным обстоятельствам Яков Наумович не заболел и не простудился. Сестры Вознесенские отогрели его малиновым чаем, снабдили сухими теплыми валенками. Вскоре одни потерянные в снегу очки напоминали ему о морозном плене. Уже к середине дня он бодрым и помолодевшим от всего случившегося, держа портфель под мышкой, вышел на высокое крыльцо церковной избы.

То, что Яков Наумович увидел с крыльца, было для него совсем уж неожиданным, повергло опять в короткое изумление.

Внизу перед крыльцом, выстроенные в ряд, стояли пятеро шибановских стариков. В самой середине, одетый в черную суконную, переходящую от отца к сыну тройку, в табачного цвета полукафтани, в черных с галошами валенках стоял Никита Рогов. Он держал в руках выбеленный тонкого холста плат с кружевами и красными строчками на концах. Через этот холщовый плат старик держал круглый подовый каравай. По правую руку от Никиты Ивановича стоял дедко Клюшин — сухой и маленький, как подросток, в дубленой шубе. С краю торчал длинный старик Новожилов, на нем была крытая шуба. Слева от дедка Никиты перетапывался Савватей Климов в стеганой на куделе солдатской перешитой шинели, рядом с ним, с краю, подобно огородному чучелу, весь в заплатках недвижно стоял кривой Носопырь.

При виде уполномоченного старики дружно обнажили свои сивые и лысые головы. Никита Иванович, уже и до этого стоявший без шапки, вышел вперед. Подавая приезжему каравай с полотенцем, сказал:

— Милости просим.— Никита Иванович слегка поклонился.— Прими, Яков Наумович, хлеб-соль, не побрезгуй!

— Благодарю, я полностью сыт.— Меерсон сошел с крыльца.— Мы пять минут назад пили чай. А вы? Что это вы держите? Жалоба?

Дедко Ключин занял место Никиты Ивановича. Он подал Меерсону исписанный лист. «Фабрика Сумкина»,— мельком подумал Яков Наумович и взял бумагу. Глаза Ключина слезились, редкие сивые волосы шевелило холодным мартовским воздухом.

— О чем, граждане, жалоба? И почему не послали по почте?

Старики надели шапки и обступили Меерсона, заговорили все сразу.

— Ну хорошо, хорошо, выясним...

Меерсон заторопился в сторону лошкаревского дома, где размещалась шибановская читальня.

— Кроши хлеб воробешкам,— сказал Новожил.— Здря и пекли.

III

«В нашей читальне хоть волков морозь,— мысленно ругал Сельку председатель колхоза Куземкин.— Экая холодрыга!»

Митя все утро ходил наискосок от газетного угла к лошкаревской еле тепленькой печке и обратно. Уполномоченный гостил у наставниц. Об этом доложил председателю Киндя Судейкин. У Мити было время подумать. Забот, правда, в колхозе прорва, инструкций из района никаких. Должности всего три: он, да Зырин, да еще кладовщик Миша Лыткин. Скотина, инвентарь, гумна — все взято на учет. Но что дальше-то? Солому и сено таскали кому не лень. Коров бабы доили по очереди. Молоко колхозники делят у Тани в избушке медным ковшиком. Кони стоят на трех подворьях — их кормят-поят по очереди. Овцы, куры, переписанные, живут в трех местах. К этим ходят постоянные люди. Имущество Жучка записано в неделимый колхозный фонд... Дом поповских сестриц тоже приписан в колхоз, в него-то и вселилось сопроновское семейство. Не пустовать же такому хорошему дому!

На этом месте мысли председателя оборвались, коридорные половицы скрипом возвестили о приходе уполномоченного. Вошел Меерсон в бекеше, с портфелем, торопливо пожал руку Мите Куземкину. Он сразу уселся к столу. Раскрыл портфель, близоруко глядя в бумаги, произнес:

— Чем вы руководствовались, когда выселяли из дома учительницу Ольгу Александровну Вознесенскую?

Митя растерянно заморгал, заоглядывался, но надеяться было не на кого. Голос начальника был строг и без всякой пощады:

— Повторяю: чем вы руководствовались?

— Сопроновым,— сообразил наконец Куземкин.— Игнатием Павловичем.

— За притеснение шкрабов придется отвечать, товарищ Куземкин! Прочитайте этот документ и подпишите.

Митя начал читать. Бумага запрыгала перед глазами. Называлась она «актом», в ней было подробно описано, что и как делал Куземкин и вся группа в доме сестер Вознесенских в ночь раскулачивания. «Сим доводим до сведения вышестоящих,— стояло в конце.— Работник Наробраза Вознесенская, работник Ликбеза Вознесенская».

Куземкин растерялся, взял карандаш и поставил подпись. Меерсон спрятал бумагу в портфель:

— Теперь, товарищ Куземкин, слушай меня внимательно. Во-первых, нужна подвода до Ольховицы. Во-вторых, ты должен получить деньги для найма по удалению с церкви креста и сбросу колоколов. В-третьих, вашему колхозу выделяется сто пятьдесят рублей на удаление креста и пятьдесят на ликвидацию колокола. Итого двести рублей. Напиши мне расписку в получении денег.

Уполномоченный достал из кармана бумажник, близоруко отсчитал двадцать розовых новых червонцев. Тем временем Куземкин писал расписку: «Получено от товарища Меерсона двести рублей для сброса двух крестов и четырех медных колоколов».

Митя подумал и дописал: «Как в данный момент медные колокола тре-

буются для пролетарского государства на железные трактора. Деньги получил сполна Куземкин».

Меерсон прочитал, затем спрятал в портфель и эту бумагу. Только после этого он взялся за стариковскую жалобу. На старинном большом листе крупным почерком школьника было написано:

«Прошение

таваришу полномочному гражданину Мерсонову.

Мы ниже подписавшие жители деревни Шибанихи покорнейше просим ра-зобрать наше усное и бумажное заявленье в следушшом. Просим дозволить наем по-па либо псоломщика поелику страховка за церкву во всей сумме уплочена гер-бовым сбором. Как основноё и главноё просим призвать к порядку председателя Куземкина Димитрия. Мы пока не пришли в сознаныё колхоза и не готовы сту-пать в новоё будущшоё. Он же Димитрий Куземкин вкупе с предвиком Сопроно-вым розорил семейство Евграфа Миронова и наставницу Вознесенскую и се-реднёё хозяйство Северьяна Брускова. И ишшо сулит. Живем мы все земельным трудом без наёмной силы. Торговли нету, купец Лошкарев давненько пропал без вести. Потому вникните в нашу беду и в прозьбе не откажите».

Митя Куземкин видел, как Меерсон поворачивал лист против часовой стрелки, читал подписи, поставленные по кругу, от центра, для того чтобы не было ни первого ни последнего.

— Товарищ Куземкин! — Меерсон и эту бумагу положил в портфель. — Как там в части подводы?

У председателя враз отлегло от сердца.

— Подвода, Яков Наумович, ждет. Да ведь и самовар ждет!

— Нет, нет, в Ольховицу.

Меерсон застегнул портфель.

Через короткое время Куземкин усадил приезжего на охапку зеленого сена в новожиловских розвальнях. Селька Сопронов держал в руках вожжи, он уже собрался тронуться с места, но мироновская кобыла Зацепка вздумала вдруг мочиться. Селька глазел ей под хвост, он забыл в эту минуту про свои ямщицкие обязанности. И тут Якову Наумовичу — в который раз за эти два дня! — открылось еще одно чудо живой природы: под кобыльим хвостом что-то мель-кало, будто подмигивало.

— Товарищ Куземкин, — повернулся напоследок уполномоченный. — Не затягивайте, приступайте немедленно. Колокола на вашей личной ответственности! Отлагательств дело не терпит!

Селька дернул за обе вожжины сразу.

Подвода с уполномоченным уехала, осталась только глубокая дыра в снегу и большое оранжевое пятно. Митя поскреб в затылке: «С церковью-то. Не было печали, так черти накачали. Кого наряжать? Кеша Фотиев не осмелится, на колокольню лезть дело не шуточное. Да ведь и кресты с кумпола срубить велено. На колокольню-то ход есть, можно забраться, а на кумпол-то как? Ничего себе!»

Куземкин шел обедать домой, шел и прикидывал, кто бы мог быстро справиться с почетной задачей: «Пожалуй, один Ванюха Нечаев. Этот не струсит. Ну и Володя Зырин. А Селька? Можно и этого подрядить. Да неужели двести рублей Шилу отдать? Лишка ему! Молод еще для таких денег... А ежели самому-то?»

Председатель даже остановился от этой неожиданной мысли. В самом деле, он что, маленький? Сам не хуже других.

Забыл Митя про обед, про постные щи, про толокно с квасом, про горохо-вый со льняным маслом кисель! Скорым шагом направился он к церкви.

Легко сказать, скинуть колокол! Два-то подголоска те не грузные. Полетят как миленькие. Четвертый совсем небольшой, фунтов на двадцать. Кресты срубить? С колокольни-то, хоть она и выше, легче легкого. Пробей в крыше дыру и спихивай. А как с летней церкви, с главного кумпола?

Куземкин за три месяца председательской жизни научился пока одному: составлять план. Он обошел вокруг церкви. На обеих входных дверях висели

замки. Ключи у дедка Никиты Рогова либо у Ключиных. Будут ключи, был бы план! Первым делом нужны две лестницы, вторым делом — веревка. Ежели связать концы двух пожарных лестниц да заволочи их на зимнюю церковь, оттуда можно забраться на крышу летней. А там? Там узкий приступок, край кумпола. Тоже нужна будет лестница. Но разве затащишь? Высота будь здоров. Нет, не добраться до главного кумпольного креста, нечего и мечтать. Ну а в Ольховице-то как лазали? В Ольховице-то пошли в Гаврилову кузню, нагнули железных скоб. Вбивали их в крышу кумпола, забирались по скобам, выше и выше. Под конец обротали железный крест ужищем, накинули петлю. Внизу воротом натягивали веревку. Маковку скovyрнули вместе с крестом. А и мы не хуже ольховских!..

Бывало, раньше звонили к заутрене. Митя с дружками-приятелями не однажды лазивал по крутым лестницам колокольни. Четыре пролета, пятый самый маленький. Зато совсем отвесный. За ним площадка с деревянной оградой. Колокола висят на толстой балке, четыре веревки протянуты к языкам. От густого гудения большого колокола щекотало в ушах. Слабыми, как у мышей, казались после того человеческие голоса.

«Думай, думай, Куземкин,— подбадривал Митя сам себя.— А чего тут думать? Веревки в колхозе имеются, пожарная лестница тоже есть. Где взять вторую? Вторая только у Роговых — нарочно делали, когда строили мельницу. Надо созвать народ. Народ будет — будет все: и лестницы, и веревки, и топоры, и горячие головы. Вопрос: как созвать народ? Ясное дело, взять и ударить в главный колокол! Э, нет, не дело... Старики сбегутся, утороку не найдешь...»

Митя подергал за тяжелый амбарный замок, и замок вдруг открылся сам, без ключа. Куземкин вынул его из пробоев, ногой распахнул тяжелую дверь, шагнул в зимнюю низкую, когда-то отапливаемую церковь. Ребятишки давно выбили стекла. Тянуло мартовским сквозняком. Иконостас был изломан. На полу и на солее валялись иконы, подсвечники и перевернутая купель для крещения младенцев. «Вот и меня вроде бы в ёй полоскали,— усмехнулся Куземкин, ступая в алтарь.— Главное место, сюда раньше никого не пускали, а ничего и особенного». Под ногами бумаги и какие-то книжечки. «Поминальники, что ли?» — подумал Митя. Ему вспомнилась бумага, подписанная сестрами Вознесенскими. Почему Меерсон оформил акт против Куземкина? Назвал еще и левым загибщиком. Но разве Куземкин был главным, когда кулачили сестер Вознесенских? Сопронов главный, а не Куземкин! «Эх, не надо было бумагу подписывать. Ну ничего, с Игнахой не пропадем».

Митя пересчитал деньги, выданные уполномоченным, и вышел из алтаря. Двести рублей, из тютельки в тютельку.

«Надо сходить к Роговым договориться насчет лестницы,— решил председатель.— Нечего и волынку тянуть». На паперти он задумчиво помочился на кирпичную стенку.

* * *

Павел Рогов лежал за шкафом, пересиливал боль в ноге. Иногда боль чуть затихала, начинала таиться, тогда он ясно чувствовал и себя и все, что в избе. Но иногда боль нарастала, окутывала его с головой. Тогда она словно бы отделялась от Павла и шла одна, вместе со временем, катилась широким безбрежным водным потоком. Затем она снова соединялась с Павлом Роговым... И он снова становился самим собой. Думы, одна другой горше, опять шли и шли одна за другой.

Жизнь в доме, как боль, тоже отделялась от Павла.

Что там было с утра, почему Аксинья замешала квашню пшеничной мукой? Дедко Никита принес из чулана суконную тройку. Весь день в избе нафталиновый дух. Нарядился, ушел куда-то Никиту Иванович. Куда? Все правду ищет да молится Богу. Может, и не зря молится...

Почему Игнаха не тронул роговский дом? Испугался брата Василья, потому и не трогает. Нет, когда отца загребли, матроса не испугались. Всего скорее тянет Игнаха нарочно, чтобы на дольше хватило. Играет как кот с мышонком... Жди с часу на час, с минуты на минуту. Не зря делал новую добавку к лесной

норме, не зря прибавлял и гарнцевый сбор... Вот! Может, он и идет. Топают на крыльце. Слышно, как сбивают снег с валенок. Скрипят морозные сени...

Круглый каток и березовый рубец для катки белья лежат почти рядом, за шкафом на лавке. Только и стоит протянуть руку... У Павла темно в глазах, сейчас рука его потянется за вальком. А там... будь что будет! Вспомнился лесной сеновал, белые бешеные глаза Игнахи, мелькнуло ружейное дуло, и почудилось, что тот сопроновский крик вот-вот раздерет тишину. И задрожит, обрушится вся изба, где спит в люльке сынок, Павлов первенец. «Нет... Все не то... Не то... рука не подымется... Да и что ты убьешь? Ничего не убьешь, так все и останется, может, будет... еще хуже... Но куда еще хуже? Нет. Да и пришли не они. Бабы идут. В снях, на верхнем сарае — женские голоса...»

Сквозь холщовую занавеску, натянутую от шкафа до задней стены, он чувствует, как холод хлынул в избу через открытые двери. Не простудили бы парня. Чего это они затаскивают? Неужели кросна? Командует сама теща Аксинья. Вера, жена, тоже в этой сутолоке. О, господи... Волокут с верхнего сарая кросна, всерьез собрались сновать. Вся жизнь кувырком, а бабы опять за свое, волокут кросна... Стол отодвигают ближе к зыбке, в красный угол, где посветлее, ставят кросна. Тюрики пойдут в ход, нитченки, притужальники. Скально... На верхнем сарае поставят большие воробы, будут перематывать моты с малых вороб, считать пасма и нити... Кто подсобляет? Голос вроде Таисьи Ключиной. И Таня кривая тут. С одним-то глазом худо сновать, так дали дело полегче, зыбку качает, поет тонко-тонко, словно прядет:

Утушка ути-ути,
Тебе некуда пройти.

Сорочий стрекот в избе. ¹Все говорят, и каждая свое. Но ведь успевают и друг дружку услышать! Но от этого бестолкового бабьего стрекоту вдруг станет легче на сердце, отодвинется, заглохнет большая твоя тоска, останется одна малая. И даже ножная боль вроде бы отступит куда-то под эти бесконечные разговоры и колыбельные песни:

На лужайке, на лугу
Потерял мужик дугу.
Шарил, шарил, не нашел,
Без дуги домой пошел.

— Ну-ко, баушка, дай я его погляжу, сухо ли в зыбке-то? — слышится голос Веры, и Павел знает, видит, как Таня, шмыгая носом, останавливает зыбку, видит, как Вера раскутывает одеяльце, как сын улыбочиво тянется к ней, сучит розовыми толстыми ножонками, и все бабы, не бросая дела, начинают хвалить младенца:

— Экой он санапал, экой он ерой!

— Ой, в кого и есть, вроде весь в Данила ольховского.

— Нет, вылитый Иван Рогов, а переносище-то твое, твое, Оксиньюшка.

— Нет, лучше и не говори, весь в пачинскую породу! Вишь, глазенки-ти, глазенки-ти так и мигают, так и просверкивают. Ой, господи!

«Таисья Ключина любит поговорить... Еще больше любит чужих деток, потому что нету своих,— думает Павел.— Вот уже перешли на Сопроновых. Пробирают почем зря Зою — жену Игнахи».

— Не бывала больше за дровами-то? — спрашивают бабы Таисью.

— Может, и берет по ночам-то. Я дедку говорю: возьми вицу да постереги. Зойка ночью подскочит с чунками, а ты ее вицей по заднице.

— Ой, да чево там есь, по чему и стегать!

— Нонче она в поповом доме живет, а у Ольи Олександровны дров наколото много.

— Дак чево Паша-то? Не стал жить в поповом доме?

— Не стал. Говорят, как узнал, дак ухват схватил. Селька-то едва увернулся. Он, Паша-то, все дни от стыда плакаёт. Да вон баушка Таня тут и была, с Зойкиным робенком водилася.

— Тут, матушки, тут. Тут и была. Да не приведи господь, лучше бы не ходить.

— Чаем-то хоть поили?

— Поили, Оксиньюшка, чаем-то. Да робеночек-то до того крикун, до того доревел, что весь и охрип. Видно, пуп худо завязан, все плачет. Бедненькой. А матка-то только ругает, только ругает. Да и старика-то костит. А когда Игнатей из Ольховицы наскочит, так она вроде и попритихнёт.

— Говорят, и молоком она будет заведовать, сепаратором-то.

— Она. Слушай-ко баушку-то Таню!

— Вот, он, Игнатей-то, приехав, только за стол успили систи, а Паша, отец-то, и говорит: «Игнашка, ты этот дом не рубил, не строил». «Не рубил и не строил»,— Игнатей-то говорит. «Да ты пошто в чужой-то дом залез?» — это отец-то опеть. «А не твое, тятка, это дело!» Да матюгом на отца. Паша, отец-то, заплакал и стопку с вином не выпил, и ужнать не стал. За печь уволокся, на карачках да кое-как. Селька подсобил ему на примостье зализть. Не знаю уж, чево у них было после, я в свою избушку ушла. Господь их ведаёт...

— Нет, уж ты, баушка, рассказывай, как мне рассказывала!

— Таисьюшка, я и тебе то жо баяла.

— А про виник-то, про березовой?

— Про виник-то грех и молвить. Как Игнатей в Ольховицу уехал, Паша-отец в доме один оставси. Того утра начал Павло задумываться, начал бесу потачку давать. Тут лукавой-то и начал к ему приставать, душу выпрашивать. А Паша не открестился, видать, наразу. Вот лукавому-то только того и надотко! На вожжи старик поглядывает. Вожжи-ти на штыре, у примостья. Кое-как дотянулся до их, сволок со штыря-то да и сделал петлю... Прости его, Господи! А когда петлю-то он сделал, другой-то конец через воронец перекинул да привязал к примостью. Хотел было уж сунуть голову-то да и с примостья скатиться. Вдруг у ворот колечко и брякнуло. Невестка шась на порог. Заругалась, схватила виник березовой, от бани остался, избу подметала. На старика виником-то! Бросила на примостье и сама убежала. Взял старик виник-то да и сунул в петлю заместо sibя. Веревка-то, деушки, сама так и дернулась! Все листочки с виника обруснуло, а на верхнем-то сарае забегало, заворочалось, в трубе кот закавучил, а пустая квашня с полицы на пол хлеть. Тут и Селька в избу...

— Эка, матушки, страсть-то какая!

— И не говори.

— Нет уж, нонче он от ево не отступится. От старика-то.

— Кто?

— Да лукавой-то.

— Таисья, ты чево говоришь? Ну-ко, матушка, перекрестись.

— А чево?

— Ой, девушки, у меня ведь и труба не закрыта. Верушка, ну-ко наливай самовар да пойдем ставить воробы. Хоть бы немножко уснуть, день-то короток...

Ах, не короток день, длинный он, как Великий пост, еще длиннее глухая кошмарная ночь. Или это две, три ночи идут подряд без дневных промежутков?

— Паша, надо бы ехать к фершалу,— слышит Павел голос жены и снова с непонятным упрямством отказывается ехать в больницу...

Однажды под утро он впервые за месяц крепко заснул. Проснулся от запаха горячей лучины. Вера ставила утрешний самовар. Что стало с ногой? Боль исчезла. Подорожная панацея или смоляной сварец вытянул жар из больной ступни? Кустик на одеяле спал, мирно мурлыкал рядом. Пробудился, выгнул спину и прыгнул на пол. Павел, не веря судьбе, сел на постели. Крутнул давно не стриженной головой. Вера ушла к скотине с ведром поила, Аксинья унесла второе ведро. Дедка Никиты не было дома. Серега спал в верхней избе. Павел подумал: «Может, встать? Встать, вот что надо! Сейчас, сразу... Встать и ходить. Хватит ему скакать до ветру одной ногой! Обуться: у дедка есть нужные катаники. Большие, разношенные...»

Болела душа: «Что творится там, в Ольховице, жива ли мать, правда ли, что Алешка не ходит в школу?»

Павел поспешно опустил ноги с кровати. Натянул штаны. Держась за шкаф, встал, попробовал опереться на правую пятку. Прежняя боль вернулась в ступню. Он скакнул на одной ноге к печи, схватился за край лежанки. Где, где дедковы катаники?

Павел обул их на босу ногу. Ездока в эту пору бывает много. До Ольховицы любой бы довез, попутным делом... Вот только Ванюшку бы на руки взять. Глядит! Вишь, глядит ведь, будто большой. И кулачком в зыбку колотит, отца чувствует. Родная кровь...

В дверях показался дедко Никита. Увидел Павла у зыбки и нисколько не удивился:

— Ладно, ладно. Встал, дак и ладно. Из избы-то не выходи пока, ногу не наступай. В субботу баню истопим.

— Витер-то... откуда, а, дедушко?

— От Залесной. Да вишь, дует худенько, еле толчет.— Дедко разоблачился до шубной жилетки.— А тут залисенские привезли овса на две ступы... Чуть не в ноги ко мне...

— Отправь их к Игнахе в Ольховицу! Пускай вручную толкут!

Дедко Никита в недоумении глянул на Павла:

— Остепенись...

Павел ехидно спросил:

— А когда Сопронов-то встанет на степен, а, дедушко? И Митя Куземкин не торопится что-то. Вон уж и хоромы у людей отымают. Родителей в тюрьму, детишков по миру...

— Прости их Господь! Не ведают, чево творят...— Дедко снял трубу с бурлящего самовара, прикрыл отдушник.

— Не ведают? — Павел даже подскочил на лавке.— Все оне ведают! Как же оне не ведают, дедушко, ведь оне ж не малые детки!

— Господь-то все видит...— Дедко заваривал чай.— А у этих помрачение душевного ока...

— Да нет у их ни ока, ни помраченья! Что вы их все... это... Почему им потачка-то? И от людей и от Бога. Дыхнуть не дают... Кошку вон... И то рылом в дерьмо тычут, учат, чтобы в избе не пакостила...

Дедко Никита молчал.

— С лаптями на рожу лезут, в глаза харкают! а им всё прощай! палец о палец не колони для себя, всё только для их... Дедушко, разве ладно?

Но дедко молчал, он как будто оглох, отчего Павел горячился еще сильнее:

— А что Бог-то мне скажет, ежели я и тебя, старика, и его, робенка, на мороз по миру пушу? Жену и мать родную оставлю на произвол судьбы? И все их, супостатов, прощаючи? Им, гадинам, того ведь и надо... Не заметишь, как из избы выкинут. Ведь выкинули Жучка-то с семейством! Неужто это по-божески, всё им, блядам, прощать?

Молчал дедко, даже не обернулся. Тогда Павел подскочил к вешалкам и начал надевать свой полушубок. Шапку схватил и на одной ноге в двери...

В сенях прислонился к стене. Голова закружилась, в глазах стало зелено. Где-то тут, в углу, дедковы клюшки и багоги. Нет, ничего не выйдет, не съездить ему в Ольховицу! Не дюж... Хотя бы на Шибаниху поглядеть, дыхнуть свежего ветру.

Кое-как вышел он из южных ворот в загороду. Слепящее солнце, которое затопило своим золотом половину бесконечно глубокого синего неба, сперва удивило Павла, потом всколыхнуло детский восторг. Он успокоился и глубоко вздохнул. Свежий, пахнувший тающим снегом воздух, забытый за этот тяжкий и долгий год, пробудил давнишнюю весеннюю радость. С застреха вниз вилась безудержно золотая капельная, прозрачная, крученая водяная вервь. Она выбивала яму в глубоком подугольном снегу. Мысли о новых скворешнях, а также о гуменных сражениях на козонки Павел тотчас заглушил, отодвинул в сторону. Проща пора! Скоро и сын возьмет битку. Это для него надо копить козонки. Ах, долго еще до этого! И что будет с ним? Что ждет его да и того, который под сердцем Веры Ивановны?

Горловой ком напрягался и каменел, зубы сдавливались, в груди вновь холодило от горечи и тревоги.

С помощью дедковой клюшки Павел обошел южную часть дома. Через заулоч выбрался на середину Шибанихи. Хромая, поковылял он вдоль деревни. Куда? Не ведал сам. Шел, боялся поднять голову, чтобы не глядеть на дом дяди Евграфа. Там, за высокой тесовой крышей, вот-вот покажется мельница. Стоит или мелет? Толкет! И ветра нет, еле шевелит ветер сенную былинку, оброненную в снег, а она толкет. Вертится... Медленно одно за другим подымаются в небо широкие крылья...

Павел Рогов не утерпел, заторопился туда на угор. Из окон домов глядели люди, стучали в рамы, приглашая зайти. Он махал в ответ рукой, торопясь к мельнице.

— Куды, Данилович, без хлеба-то? — кричал Савватей Климов, рубивший хвою у ворот.— Приворачивай!

Павел здоровался с конным и пешим, отшучивался от встречных насчет своей хромоты и знай ковылял, торопился за шибановскую околицу.

Он удивился, когда оказался у мельницы: неужели это он сам построил такую? И стало страшно задним числом. Нет, не вспомнил он свои бессонные ночи, свои мозольные тяготы, вспомнил тревоги жены и материнские причитания. Услышал опять, как вздыхают богоданные отец-мать, как молится и кричит по ночам дедко Никита. Имел ли он, Павел, такое право — строить мельницу? Всех, вплоть до малолетка Сережки и мерина Карька, всех до единого подгрестила она под себя, всех закрестила своими крылами... Теперь вот машет и машет, будто зовет к себе. Отправила вдали от себя одного Ивана Никитича, остальных зовет. И назвала отовсюду. Народ едет в Шибаниху со всей округи. Просят дедка Христом-Богом: смели зернята, мука кончилась. Истолки ступу овса на блины, скоро масленица. И дедко Никита безропотно, в любой день идет с помольщиком к ней. Когда нет ветра, ближние уезжают домой, дальние ночуют у знакомых и родственников.

Эх, не одних добрых людей приманивала она своими крылами. Мелькают в небе тесовые махи, созывают к себе, приманивают и мелкого беса, и матерого супостата. Сколько там насчитал гарницу Игнаха Сопронов? Не выплатить до второго пришествия...

Павел подошел близко к плывущим из синевы крыльям. Подставил клюшку: ветряная небесная сила даже и не почувяла постороннего касания. Крылья шли и шли из солнечной синевы, как бы желая коснуться снежной земли, но не касались ее и уходили обратно в бескрайнее голубое холодное небо. Скрипела кой-где тесовая маховая обшивка. Вверху в амбаре глухо сказывались три толкущих песта. Хотелось слазать туда, наверх, но Павел отвернулся от мельницы. С такой ногой не забраться... Домой бы без позору попасть, дойти самому до роговского крыльца. Зайти бы надо в зимовку дяди Евграфа провести Палашку с божатушкой. Как они-то живут? Может, про матку что-нибудь знают, скажут что-нибудь про младшего брата. Ничего они не знают, кабы знали, пришли бы... Стыдятся ходить к родне... Не ждал и Павел, что сегодня такой длинной окажется улица у Шибанихи, ступал по деревне с натугой, пытаясь меньше хромать. И вдруг у него потемнело в глазах. Он увидел брата Алешку. Тот выходил из новожиловского дома с корзиной на локте...

Нищий! Его родной брат ходит по деревням с корзиной. Неужто правда, неужели не снится? Господи, сделай так, чтобы это приснилось! Пусть будет это не он, не брат Олешка...

Но все было взаправду и наяву.

Алешка, заметив Павла, споткнулся, но шагнул еще, и они встретились нос к носу.

Тоска и смятение в синих глазах младшего брата угасли от слезной влаги, но они успели прожечь Павла как бы насквозь. Алешка стоял на дороге виноватый, жалкий, с опущенной головой, стоял швыркал носом и вздрагивал. Без рукавиц. Шапка, купленная Данилом на Кумзерской ярмарке, с одной завязкой. Шубенка без двух пуговиц, пола замарана какой-то сажей. И катаник на левой ноге вроде с дырой. Павел зажмурился. Сжал зубы и веки, чтобы не заплакать и самому. Шагнул к брату, взял его за рукав:

— Не плачь! Пойдем...

Алешка рыдал, но без голоса. Мотнул головой, уперся.

— Не реви, кому говорят! — повторил Павел и вдруг в бешенстве выхватил у брата корзину с кусками. Подбросил и пнул по ней на лету. Кусочки рассыпались в белом снегу... Павел во второй раз рванул Алешку за руку:

— Пойдем! Ночуешь у нас.

Но Алешка неожиданно вырвал рукав обратно. Заикаясь от рыданий, выдал:

— Н-не... Не пойду!

— Люди глядят... Вон подвода чья-то, — тихо и быстро заговорил Павел. — Ночуешь у нас. Какова матка-то? Серегу увидишь...

Но Алешка упрямо вырывал руку. Он вздрагивал от рыданий, но на грязном от слез лице явственно обозначилось родовое пачинское упорство. «Не пойдет! — мелькнуло в уме. — Упрется и не пойдет. Да и сам бы я не пошел, чего говорить...»

Павел, не зная что делать, еще раз пнул корзину, главную виновницу его стыда и его теперешней муки.

— Тогда к божатке... — сказал он строго и отпустил брата. — Иди!

Алешка не взглянул на корзину, не собрал рассыпанные в снегу милостыни. Он нехотя ступал к дому Евграфа. Павел глядел ему в затылок...

Зацепка, запряженная в новожиловские розвальни, всхрипнула над самым ухом. Павел еле успел отступить в сторону, чтобы не ударило запрягом. Он узнал в упряжке лошадь дяди Евграфа, еще промелькнула веселая харя Сельки Сопронова. Кто сидел в розвальнях? Какой новый уполномоченный приехал в Шибаниху? Павел Рогов не стал гадать.

Горький комок твердел, камнем стоял в Павловом горле, Павел все глотал этот камень, глотал, но никак не мог проглотить. Когда Алешка вошел наконец в ворота мироновской зимней избы, Павел свернул в проулок Нечаевых...

Через недолгое время сестра Ивана Нечаева Людка, на ходу накидывая кашемировку, побежала в лавку к Володе Зырину.

IV

Зырин, или Володя-приказчик, как называла его вся волость, жил теперь в двух ипостасях: счетовод колхоза, он же и продавец потребиловки. Торговал он не ахти как, зато весело, в лавке не сидел, но за бутылками бегал в любое время. Рыковка все больше входила в моду. Володю вызывали прямым из колхозной конторы. Людка по ошибке забежала сперва домой. Зырина, конечно, дома не было. Сидел в конторе в шубе и в шапке. Он вроде бы даже рад был, что Людка вызвала его из «этой поморозни».

— Ну, дак ты приходи прямо к церкви! — приказал Куземкин.

Володя лишь побрякал связкой ключей. «Митьке еще подчиняться», — подумал он про себя и убежал в лавку. Людка за ним, след в след.

Председатель опять начал ходить по холодной конторе, вернее, по жучковской избе взад-вперед. Топить ежедневно некогда, да и лень. У Сельки в лошкаревской хоромине было, пожалуй, теплее, да пенять не на кого. «Сам виноват! — размышлял председатель. — Надо было сделать контору в поповом доме. Игнахе-то хватило бы и Жучкова подворья...»

Митя важно ходил по полу, а Кеша Фотиев с Мишей Лыткиным сидели на лавке и самосильно палили табак. Ждали следующего приказа. У дверей были сложены мотки веревок, колхозные вожжи и целые ужища. Там же валялись два топора. (Багор и одна пожарная лестница лежали на улице у ворот.)

— Дак тебе про Жучка-то кто сказывал? — председатель остановился напротив Миши Лыткина.

— Я, Митрей, сам его видел, — произнес Лыткин между двумя затяжками и закашлял. А когда откашлялся, то рассказал, как встретил Жучка в заулке у Самоварихи. Жучок, по его словам, насовсем отпущен из района. Евграфа оставили, а его отпустили. Потому, будто, отпущен, что тронулся на суде умом. Жучок будто бы встал перед судьей на колени и начал читать молитву, а после вывернул все свои карманы и заприговаривал: «Бог подаст, нечего дать, нечего

дать». Увезли его в Вологду, в Кувшиново, а из Кувшинова отпущен домой. У Самоварихи, рассказывают, и ночевал.

— Да кто рассказывал-то?

— Рассказывал-то Новожил, Новожилу девки, а девкам баяла сама Самовариха...

— Ладно, ладно! — остановил председатель Мишу Лыткина. — Хватит. Асикрет Ливодорович, ты тоже видал Жучка?

— Пришел, понимаешь, утром, — начал Кеша. — Пришел он ко мне, в руках бадья с березовым угольём. Вот, грит, не купишь ли кислых яблоков... Я говорю...

— Ладно, ладно! — опять перебил Куземкин. — Поговорили, и хватит. Пошли.

Кеша с Лыткиным начали тщательно плевать на окурки. Оба растерли их на полу, встали и взялись за веревки. Все трое вышли на волю.

— Волоки пока багор да листницу! — приказал Куземкин. — А я забегу к Ванюхе Нечаеву. Естой в корень и счетовода нету. Надо искать...

Митя то и дело забывал про свою новую председательскую походку, особенно когда торопился. Вот и сейчас, свернув к нечаевскому проулку, он почти побежал, по привычке распахнув полы ватного пиджака, благо солнце к обеду начало всерьез припекать. И стал Митя на одну минуту прежним.

Кое-где летела сверху вода, попадала за ворот. У нечаевского крыльца стояла уже и кадушка под застрехом, да мало было в ней доброго, капли еще стыли на холодном ветру. И все же весна сказалась...

В новой нечаевской зимовке среди голых сосновых стен качалась на березовом оцепе люлька. Нечаев сам дергал ногой за веревочку. На столе остывал самовар, бутылка наполовину выпита. За столом, кроме Нечаева, сидели счетовод Зырин и Павел Рогов. Увидев в дверях Митю, все трое замолкли. Куземкин тоже подрастерялся и забыл поздороваться, вертел головой направо-налево.

— Митька? — вскочил Нечаев. — Давай проходи!

Веревочка от зыбки, петелькой надетая на ногу, не позволила хозяину избы встретиться председателем как следует.

— Счас самовар поставим! У меня ни матки, ни женки дома нет, вишь, сам зыбку качаю. Петруха? Где у меня Петруха? Людмила, сходи за рыжиками!

— Товарищ Нечаев, — Куземкин отошел обратно к дверям, — выйдем на пару слов!

— Я, Димитрей, в своем дому, и мне ходить некуда. А ты снимай пинжак да садись за стол!

«Добром не кончится, уходить надо», — подумал Куземкин, а сам почему-то снял верхний пиджак и повесил на гвоздь.

Нечаев уже разливал по стопкам. Людка принесла из кути свежей закуски и вторую бутылку. Но когда она унесла со стола самовар, чтобы налить воды, Павел Рогов встал и через стол взял Куземкина за грудки. Одной рукой жгутом скрутил Рогов Митькин костюм, скрутил вместе с бумазейной рубахой и произнес:

— Садись, фартушка, на мое место! Извини, Иван да Людмила...

Иван Нечаев и Володя Зырин ничего не успели сказать. Павел отпустил Митькин костюм, вышел из-за стола и сдернул шубу с гвоздя.

Как выходил из нечаевской зимовки, он не запомнил. Не осталось в его памяти и то, о чем говорил он на улице с Киндей Судейкиным, куда и кто бегал для них за вином. Вроде сам Киндя пол-литра выставил, от чего понеслась, завертелась в глазах и быль и небыль. Киндя, сидя на табуретке, шпарил на балалайке:

Кеша с Мишей по Шибанихе
Ташшили листницу,
Митьке муди раздавили,
Сделали еишницу.

... Кто и куда таскал по деревне лестницы? Про кого поет Киндя Судейкин? Двоилась рама в окне. Звенела в руках Кинди суматошная балалайка. Не в лад балалайке орал подпечкой петух. И плыли, плыли перед глазами коричне-

вые Киндины потолочины. Или проходили перед Павлом широкие мельничные крылья? То мелькала в глазах пустая корзина, летящая в снег, то вдруг мерин Карько махался, бил по щекам черным своим хвостом...

Павел слышал, как жена трясла его за голову, прикладывая ко лбу мокрое полотенце:

— Паша, Паша, пробудись-ко. Пойдем домой, не вались! Очнись, ради Христа...

— Пойдем... Где это я? — Павел открыл глаза. Начал трезветь.

Девчонки в избе играли в прятки. Киндя храпел на лежанке в обнимку со своей балалайкой. Голова у Павла раскалывалась от боли. Неужто от вина она так болит? Нет, не от одного вина, видно, и угорел где-то. У кого угорел? И то сказать, никогда так много не пил вина... Стыд! Хорошо, что на улице ни живой души. Но ведь из окошек-то все равно видно, как тащится по деревне похмельный мужик, волокется под руку с беременной бабой.

Павел на ходу хватается за снег, чтобы потерять виски, остатки зобает. Вера еле его удерживает:

— Ой, господи! Болит нога-то? Вот и ладно, Пашенька, ежели не болит... Ты не ступай на лапку-то, на пятку ступай...

Он долго плелся с ней по деревне, еле поднялся на крыльцо. В избе он сел на скамью у лежанки. Вера снимала с него валенки. Он, обессиленный, заплакал, уткнулся лбом в тугий теплый Верин живот.

За столом брат Алешка играл в лодыжки с Вериним братом Серегой...

Скорехонько Вера уложила мужа на кровать за шкафом. Намочила холодной водой конец полотенца, приложила к горячему лбу. Он бормотал что-то невнятное:

— Скажи дедку... Это... где он? Пусть... А кто ходил за Олешкой?

— Дедушко посылал Серезку. Серезка и сбегал к Мироновым, — смеялась Вера Ивановна. — Лежи, лежи со Христом.

Голова Павла отрешенно и тяжело упала на подушку, обтянутую розовой ситцевой, еще свадебной наволочкой.

Вера велела ребятам сложить лодыжки в пестерочку и отправила наверх. Вернулась с дневного обряда мать, вымыла у шестка руки. Вера выцедила по ставкам молоко из подойника, и обе опять уселись снова пряху.

— Таня-то, видно, уж не придет, — сказала Аксинья и хлебным ножом продела в бердо очередную нить. — Да и Таисья Ключина на погост убежала. Господи, что делается!

— А где дедушко-то? — Вера качнула зыбку.

— Да на мельнице. Либо у Ключиных, книгу читает. Кто приходил за листницей-то?

Вера сказала, что приходили за лестницей двое, Иван Нечаев с Володей-приказчиком, что от обоих пахло вином и что лестницу она отдала им без дедка.

— Иди-ко, иди к церкви-то! — предложила Аксинья. — Погляди, чево там делают. Серезку с Олешкой не пушу, пускай дома сидят.

Вера, не долго думая, увязалась платком и накинула казачок.

* * *

Народу около церкви было, однако ж, не так и много, больше старухи да бабы да ребятишки «разных калиберов», как сказал Савватей Климов. Эти бегали туда и сюда, не щадя отцовской обуви. Снег с южной стороны храма мокрел и таял. Ребята бросали комьями. Один ком вскользь угодил в лицо Новожилихе.

— Да что вы, лешие! — заругалась она. — Что вы, рогатые сотоны, уж по народу палят. А кабы в глаз попало?

— Им чего не палить? — заметил Савватей Климов. — В школу не ходить. Наставницы ихние сидят да только ревят.

— Заревишь, коли из дому выгнали.

— А вот нонче кто у нас наставница! — крикнул Савватей, увидев Зою Сопронову. — Наверно, за вином бегала.

— Да ведь и продавец тут!

Зоя мелькнула в поповском садике и скрылась в воротах.

Володя Зырин с Иваном Нечаевым, оба под хмелем, дурачили девок. Зырин надувал какой-то долгий тонкий пузырь, привезенный из города, приставлял его к середышу. Девки визжали. Бабы колотили приказчика по хребту.

— Оне чево, ироды, судмали? — кричала Новожилиха. — А на колокольне-то кто?

На колокольне сидел Миша Лыткин. Он шаркал поперечной пилой толстую балку, на которой висел большой колокол. Вчера Миша и Митя подвели под балку два чурбака и, чтобы не зажимало пилу, топорами забили клинья. Сегодня Лыткин один старательно пилил наверху этот толстый брус.

Горбатая ольховская нищенка Ириша поминутно крестилась, тихонько плакала и что-то шептала.

— Господи, прости им грешным! — услышала Вера ее слабенький голосок и подошла к Таисье Ключиной, чтобы вместе уйти в деревню.

Но люди шли, наоборот, из деревни, толпа разрасталась.

— Что делается, что делается! — вздыхала Таисья.

— Отсохнут у их руки, отсохнут! — Новожилиха клюшкой тыкала в снег. — Ноги в коленках сведет!

— Да где оне сами-то? Один Миша шаркает.

— Закусывают! В поповом доме чай пьют, — пояснил Савва Климов. — А вон выходят, гляди да считай!

Из поповских ворот, что-то дожевывая, с мотком веревки вышел Куземкин. За ним выбрались на солнечный свет Кеша и брат Куземкина Санко. Кеша и Санко тащили топоры и багры.

Как только показались безбожники, народ затих, Иван Нечаев с Володей Зыриным перестали паясничать. Одна пила шаркала где-то далеко наверху. Людка, нечаевская сестра, вдруг выбежала из бабьей толпы, схватила Нечаева за рукав:

— Ваня, пойдем-ко домой! Пойдем, пойдем, батюшко, лучше будет-то! Мамка сказала, не приходи без его. Ну-ко, ну-ко, пойдем...

Нечаев обернулся к председателю с дурацкой улыбкой, хотел развести руками: мол, что с нее возьмешь? Но Людка действовала еще проворней, теперь она толкала его сзади, и он вроде бы уже и не противился, а тут все видели, как и на Володю Зырина навалилась родня.

— Что, Володя, и ты трус? — громко кричал Куземкин.

Счетовод не слышал или не захотел услышать председательский окрик. Но и своей родне не поддавался, а с дурацким смешком отскочил в девичью гущу. Куземкин отыскал глазами Кешу Фотиева:

— Давай, Асикрет Ливодорович. Бери веревки и вверх! Подсоби Лыткину.

Кеша взял веревочные мотки, направился к колокольне. Старухи хватили его за полы, плевались вслед. Не обращая на них внимания, Митя подтащил лестницу к стене одноэтажного зимнего храма.

— Креста на тебе нет, Митрей Митриевич, — послышалось из толпы.

— И не будет! — весело огрызнулся Куземкин.

Пришлось наставлять лестницу. Он привязал к ней другую, коротенькую. С помощью брата-подростка, а также выпившего Володи Зырина начал Митя поднимать лестницу, чтобы приставить ее к зимней церкви.

Кто-то из женщин всхлипнул, вот-вот мог и запричитать. Зырин отказался забираться на крышу. Митя показал ему кулак и полез один.

Старухи и бабы внизу ругались и охали, многие крестились. Другие плевались и уходили домой. С колокольни подал голос Михайло Лыткин:

— Митрей, пилу зажало!

— Бейте клин! — Митя завернул матюгом. — Клином подымайте балку-то! Клином!

— Да не идет...

Митя спустился обратно и тоже полез на колокольню.

После недолгой возни все трое с матюгами появились внизу: пилу в балке зажало намертво.

— Чья пила-то? — спросил Зырин не без ехидства. — Не Сопронова?

— Отсохнут, отсохнут руки-ти! — махалась клюшкой Новожилиха. — Ироды вы.

Старухи окружали безбожников, кричали, дергали за карманы.

— Бесы!

— Эко, чево придумали! И не стыдно рожам-то?

— Господи, какой у их стыд...

Новожилиха схватила Митин топор, отступила в сторону, чтобы бросить подальше в снег. Резкий оклик Куземкина остановил старуху.

— Дай суда! Положь! — Митя отнял у Новожилихи топор. — Не тобой принесёно, не ты и возьмешь!

Он сунул топор за ремень, взял в одну руку ножовку и вновь, еще более решительно, полез на крышу зимней одноэтажной церкви.

С востока к ней примыкал летний высокий храм. Отлогий купол его выкрашен зеленою краской. На куполе восьмеричок, обшитый железом, на восьмеричке маковка. Железом обито и деревянное основание креста, уходящее в маковину. С запада к зимней церкви пристроена колокольня. Она тоже с крестом, только с маленьким, зато намного выше летнего храма. Вызнялась в самое небо. Куземкин победно встал на крыше зимней церкви. Он приглядывался теперь к летнему храму, прикидывал. Если затащить сюда вторую длинную лестницу, можно забраться на кромку отлогого купола...

— Эй, Миша! — крикнул он Лыткину. — Лизь-ко суды, да с веревкой...

Следом за Лыткиным вскарабкался на крышу брат Санко. Осмелел напоследок и Кеша Фотиев, а может, забрался наверх, чтобы старухи не оторвали рукав...

Бросили с крыши конец добротных Жучковых вожжей. Зырин привязал внизу конец ко второй, к роговской лестнице. Лестницу втащили на крышу...

Митя Куземкин планировал, что делать дальше. «Дальше надо ставить листницу, забираться наверх и прибивать к кумполу деревянные поперечины. Прибивай и подымайся по ним к четверику, прибивай и все вверх да вверх...»

Народ по-прежнему толпился внизу. «Может, стало еще больше?.. Пусть! — мелькало в куземкинской голове. — Надо гвоззя... Листницу как-нибудь вздымем. А что, ежели без поперечин? Железные зубья от бороны, вот чего требуется! Бей в кумпол и лизь! А где их сейчас возьмешь — зубья от бороны? Хорошо, что хоть гвозди есть. Большие гвозди-то, кованые...»

После краткого совещания председатель отправил Кешу и брата Санка вниз, за матерьялом для поперечин.

— Покурить надо, — сказал Миша не очень решительно.

Председатель не ответил. Внизу кричали старухи и бабы. Они все еще кляли активистов. «Зырин-то... — подумал Куземкин. — Спрятался... Ну, это мы ему припомним...»

Почуялись выкрики стариков, дедко Клюшин уже верещал в толпе. «А ну их!» — сказал Куземкин и перебрался на южный скат кровли, чтобы меньше слышна была ругань. Сел на крашеную зеленую крышу. Снег на южной стороне давно стаял, железо нагрелось от солнца. Лыткин уселся рядом, достал кисет, сказал виновато:

— Пилу-то, Митрей, надо бы выручить из бревна...

— Ладно, выручим, чурбак подставим. Перепилим балку-то. — Достанем! Завтре клинья забьем, чурбак подставим. Перепилим балку-то. После чурбак вышибем, и колокол полетит. А севодни на кумпол надо! Севодни бы нам, Миша, крест своротить, да не знаю, справимся ли.

Лыткин поглядел вверх. Где-то там, очень высоко, стоял православный крест, который приказано свергнуть. Голубое к полудню небо начинало тускнеть. Солнце спряталось в желтовато-серое зимнее облако. Стало холодно.

— Ну-к, может, поставим листницу-то. — Куземкин поднялся.

— Да ведь што, попытка не пытка, — согласился Лыткин.

Стоя на крыше, они подняли лестницу, попытались приставить ее к стене летнего храма.

— Не выйдет вдвоем, кричи нашего Санка! — приказал Митя Лыткину. — Кешу тоже зови.

— Да нету, Митрей. И Санка нету и Зырина не видать.

— Ну вот! — сказал Куземкин и поглядел вниз. — А што... Где народ?

Около церкви не было ни души. Ни одной девки, ни одной старушонки. Даже ребятишки пропали.

— Ты чево? — обернулся Куземкин к Лыткину, словно тот и был во всем виноват.

— А я-то што. — Миша пошевелил белыми, как у теленка, ресницами. — Я пожалуста.

— Чево пожалуста?

— Вишь, все убежали. А пошто все, и сам не знаю.

— Да куды убежали-то?

Миша развел руками.

— Слезать бы надо... — сказал он и добавил: — Дело-то к вечеру...

Митя в недоумении отхаркался. В нем быстро скопилась свежая злость. Он так разозлился, что плюнул еще раз и пнул по роговской лестнице, слегка упертой в стену летнего храма. Лестница оползла и начала сползать по снежной северной стороне кровли. Митя ногой добавил ей ходу. Она упала на землю. Вторая, пожарная лестница, по которой влезали на крышу, стояла тоже с северной стороны. Митя, не глядя на своего напарника, на заднице спустился на край кровли, наладился было уже слезать, но... Куземкин заматерился:

— Где листница?

Лестницы не было. Вернее, быть-то она была, только не на карнизе, а прислоненная под карнизом. Куземкин никак не ждал такой передрыги. Ширина у карниза добрый аршин. Как на нее теперь ступить? Не ступишь. Теперь надо, чтобы кто-нибудь снизу снова приставил ее к карнизу. Куземкин с матюгами бегал по крыше.

— Оползла, вишь, — сокрушенно заметил Миша Лыткин. — Надо кричать да гаркать.

— Оползла? — ярился Куземкин. — Да где это она оползла, ежели и стоит в снегу! Нет, кто-то ей подсобил оползти. Переставили! Мать-перемать, в три попа...

Так председатель и Миша Лыткин оказались в западне, на крыше зимней церкви. Высоко, не спрыгнешь! Сажени, может, три было, а уж две-то точно. «Нет, скакать некуда, — подумал Куземкин. — Ноги переломаешь». Но еще больше было обидно, что вокруг церкви не было ни души.

Председатель не знал, что делать и как быть.

Никого нет внизу, одни кресты на могилах. Кладбище. Никто не учует, кричи хоть до второго пришествия.

— Ну, Мишка, ты и дурак!

— А чево, чево я дурак? — Лыткин попробовал рассердиться. — У меня своя голова не хуже других.

— На твоей голове только гвозди прямить.

Дальше из Куземкина посыпались отборные матюги.

* * *

Куземкин и сам знал, что зря он костит напарника, но вот беда, остановиться никак не мог, и бедный Лыткин только моргал да побряхтывал, чувствуя себя все виноватей и виноватей. А при чем тут был Миша Лыткин?

Когда начали втаскивать на крышу вторую лестницу, Савватей Климов стоял и глядел, стоял и глядел... Бабы ругали шибановских и ольховских коммунистов, сулили им всем кару господню. Новожилиха трясла суковатой клюкой перед самым носом Кешы Фотиева:

— И ты бес! Ты чево думаешь-то? У тебя чево, бес, в голове? Господи милостивой, што дальше-то будет?..

Тут Савватей увидел рыжего новожиловского внучонка. Парнишко изо всей мочи бежал от деревни к Поповке. Он подскочил к своей бабке, сказал ей что-то и побежал обратно, а Новожилиха так и обмякла, так вся и притихла. Она сразу забыла про Кешу, шепнула что-то на ухо Таисье Ключиной, и только батог замелькал. Откуда в старухи и прыть взялась? Как у молодой девки... Таисья

Клюшина тотчас ринулась домой в деревню, но ее на ходу подловил сам Савватей Климов:

— Таисьюшка, и ты туды?

— Ой, Савватей! Ведь разбежался колхоз-от! Скотину по домам гонят!

Людей от церкви за две минуты как ветром сдуло, и церковь стояла теперь одинокая и какая-то виноватая. Митя с Мишей сидели на той стороне церковной крыши.

Климов оглянулся на попов дом. Поглядел влево и вправо. Подошел, поднатужился и... сам не зная зачем, опустил верхний конец лестницы под церковный карниз.

— Эй! — крикнул он после этого и задрал голову. Куземкин с Лыткиным не ответили... «Не чувят», — подумал Климов, отошел подальше и кликнул еще. Было молчание, и Савватей вальяжно, как из гостей, зашагал в деревню Шибаниху.

Давно не знавала Шибаниха такой занятой поры!

Блеяли овцы, мычали коровы. Бабы и девки кричали во всех домах и заулках... «Вот оно, столпотвореньё-то! — подумалось Савватею. — Началось, а мы не ждали, не ведали...»

А с чего началось?

...Селька Сопронов на кобыле Зацепке ездил в Ольховицу со сливками, обратно привез газеты. Игнатий Сопронов наказывал брату никому не давать газету со статей Сталина. Но в читальню, как назло, принесло кривого Носопыря. Старик доложил Сельке, что Куземкин пошел скидывать крест, тут Селька и потерял всякую бдительность. Наверно, прибрал газетку Жучок тронутый, больше некому. Раскулаченный, он лечился в Вологде и приехал на днях домой, ночует у Самоварихи вместе с семейством. Каждый день приходит в красный угол читальни и спрашивает: «Где есть такое Кувшиново?»

И вот в деревне дым коромыслом. Селька, не зная что делать, прибежал из читальни в контору, а председателя нет! Счетовод Володя Зырин сам первый увел свою корову из нечаевского хлева. Но в своем хлеву у Зырина стояли колхозные овцы. Много овец, иные с ягнятами. Поэтому Зырин не долго думал, взял да и двор настезь! Овец долой, выгнал на улицу, в хлев собственную корову. Новожиловы те тоже открыли ворота. Люди прибежали за своими коровами и в Жучков, ныне конторский дом, а Микуленкова матка увела свою корову из нечаевского хлева, а из своего двора всех колхозных тоже долой! Выпустила. Коровы с мычанием выбирались в проулок. Иные, что поумнее, сразу бежали к своим домам, другие блудились, третьи, стоя посреди улицы, вопили почем зря. Бабы и девки ловили коров и встречали, встречали, кричали, то ревели от радости, то ругались. Все перепуталось!

Но самые главные дела и события вершились у клюшинского подворья. Тут мужики уводили своих коней, искали свою упряжь. Тащили хомуты, седелки и вожжи, разбирали дровни и дуги...

V

Марья Александровна мечтала в тот день о Вологде. Держа в руке романтическое сочинение Александра Волкова, она пригорюнилась на кирпичной лежанке, сидела спиной к большой русской печи, в которой пекли когда-то просфоры. Акулина-просвирина ушла по миру еще при отце Николае Перовском, когда запретили службу. Изба и при старой хозяйке была не очень уютной. Когда-то тут собирались все кому не лень. Парни играли в очко, курильщики дружно коптели тесаные сосновые стены.

Марья Александровна мечтала о Вологде и о родной тетушке. Не волновала ее сегодня ни история с необитаемым островом, ни то, что Кеша Фотиев принес ей материну стеганое одеяло. Недавний уполномоченный обещал сестрам вернуть все отобранные вещи, не считая серебряных ложек. Он даже составил акт, но Марья Александровна мечтала только о Вологде, где закончила женскую гимназию. Зачем она не уехала туда вместе с сестрой?

Ну, во-первых, ехать было совершенно не на что. Во-вторых, надо ждать письменного приглашения от тети. В-третьих, они обе с сестрой школьные

работники, она, Марья Александровна, даже активистка бубновского движения. Без разрешения инспектора нельзя уезжать в Вологду.

Она сидела в верхнем саке, спиной к печи, и плакала, держа в руке бесполезную книгу. Мыши бесшумно передвигались по полу. Но больше всего в жизни боялась Марья Александровна печного угару. Она даже ненавидела из-за него не только Шибаниху, но и всю волость. С угаром были связаны самые неприятные воспоминания. Каждый день по утрам, протопив печь и закрыв печные задвижки и вьюшки, сестры затыкали уши ватой. Считалось, что угар проникает не только с дыханием, но и в уши... Здесь, в избе Акулины-просвирни, печь была не угарная, но все равно Марье Александровне казалось, что она угорела.

Поплакав и уронив книгу, Марья Александровна задремала на той же слегка лишь теплой лежанке. Смеркалось. Окна избы темнели, она тоже смежила веки. Ничто не касалось ее сознания. Кажется, несколько раз за день слышен был звон малых колоколов, зачем-то собиралась толпа у церкви. Но что ей за дело до них? Она так и лежала у печи, грезила. Сквозь стены избы и вату в ушах почти не проникали наружные звуки.

В Вологду, так хочется в Вологду! Говорят, что во время германской войны на шибановском кладбище похоронили женщину в летаргическом сне — родственницу приказчика Зырина. Она будто бы кричала в могиле двое суток, но слышно было лишь по ночам. Марья Александровна училась тогда в Вологде... Что это? Какие-то непонятные долгие звуки послышались ей сквозь дрему. Ей стало жутко, но все равно не хотелось покидать сонного состояния. Нынче во сне было больше приятного, чем в яви. Но в яви или во сне эти страшные крики? Она вздрогнула, встала и освободила уши от ваты. Нет, ей пригрезился этот крик. Она решила приготовить на вечер лампу. Встала и... чуть не выронила дорогое десятилиннейное ламповое стекло. Такой жуткий двойной крик послышался ей со стороны кладбища. Точь-в-точь как плачет теленок, когда его режут... Марья Александровна притаилась. С бьющимся сердцем, с руками, дрожащими от страха, она присела к столу и забыла про лампу. Вот! Опять эти крики...

«Нет, это живые люди», — решила она, когда чутко прислушалась. Быстро надела кунью шапочку, давний подарок папы, отца Александра. Застегнула сак, надела перчатки и вышла на улицу.

...Митя Куземкин и Миша Лыткин орал по очереди. Иногда получалось у них и вместе. Уже и охрипли оба. Уже и холодно стало, и ночь на носу, а никто в деревне не слышал пленников. Вон Зоя Сопронова живет нынче в Поповке. Могла бы давно прибежать, кабы дома была. «А что ей, — думал Куземкин. — У нее не скотина, поить-кормить некого... Сидит в сепараторной. Либо и в Ольховицу усвистала к своему благоверному. Сельки тоже не слышно».

Забыл Митя Куземкин, что нынче у Зои Сопроновой младенец. Нет, не могла она «усвистать в Ольховицу», но не могла услышать и Митин голос из-за того, что ребенок беспрерывно орал. Да и окошки в поповом доме утыканы плотно, рамы обмазаны на совесть. Никакие звуки не проникали.

Увидев приближающуюся в сумерках Марью Александровну, Митя обрадовался как маленький. От всей души.

— Марья Олександровна! Голубушка! — Он то приседал на самом краю, то отбегал. — Это... Выручи! Пожалуста!

— Что вы там делаете, Дмитрий Дмитриевич? — спросила наставница.

— Да вот это... Ходу нам нет! Замерзли оба.

— Почему? — не понимала Марья Александровна.

— Назло сделано. Пожалуста! — кричал Куземкин.

У Лыткина имелось больше терпения, он доверительно объяснял с крыши:

— У нас на колокольне пилу-то зажало! Мы сюды. Это... Листница-то оползла...

Марья Александровна глядела на церковь, в которой так долго служил ее отец и где крестили обеих сестер. Но какое отношение имеет все это к двум странным фигурам, маячившим на церковной крыше? Молчала учительница, шевелила пальцами в летних бумазейных перчатках. Может быть, она вспомнила сейчас, как совсем недавно ее вместе с сестрой выдворили из отцовского

дома, как тот же Куземкин отобрал у нее муфту, висевшую на снурке. Он даже дернул за муфту, и, чтобы снурок не был оборван, Марья Александровна сама сняла ее с шеи и подала ему. Где ложки из серебра и мамина фарфоровая посуда, куда унесли самовар и пуховые подушки? Новое атласное одеяло и граммофон вернули, но часы с боем пропали. В тот же проклятый день или вечер сестрам пришлось идти ночевать в чужие люди...

Может, и вспомнила сейчас все это Марья Александровна Вознесенская, но тут же и позабыла, потому что люди на крыше мерзли. Просили о помощи. Она потрогала длинную пожарную лестницу.

— Нет, нет, Марья Олександровна,— подсказывал сверху Митя.— Не под силу тебе. Сходи в деревню, пожалуста! Найди там счетовода Володю Зырина. Скажи, чтобы шел сюда и чтобы не тянул по силе возможности.

— Пожалуста,— вторил председателю Миша Лыткин.

И Марья Александровна пошла в деревню искать приказчика Зырина или кого-нибудь, чтобы пришли и приставили лестницу. Она шла в деревню, шевелила от холода пальцами в летних перчатках. Непонятно, что происходило в ее душе. Свет не мог отделиться от тьмы. Она не знала, как ей вести себя, как ей думать. Вскоре этот разлад усугубился. На широкой шибановской улице она вскрикнула, остановилась: прямо на нее мчался большой рогатый баран. При виде человека он застопорил бег, остановился, вздрагивая и хрипло бляя. И вдруг он двинулся на учительницу. Марья Александровна завизжала от страха, а баран, испуганный больше нее, развернулся и хотел бежать обратно, но навстречу ему, без шапки, бежал приказчик.

— Марья Олександровна, не пускай! — орал Володя Зырин.— Держи дьявола!

Баран опять замер в недоумении. Но когда приказчик метнулся, чтобы схватить за рога или хотя бы прямо за шерсть, баран проворно отбежал в сторону. Животное вздрагивало и с прежним хриплым густым бляением бессмысленно глядело вдоль улицы. Овцы бляели по всей деревне, и баран побежал дальше по улице.

— Ты чего, Володя? — остановился напротив Савватей Климов, который тащил под мышкой свою праздничную расписную дугу.— Не в пастухи ладишь? Не дело ты выдумал — из счетоводов да в пастухи. Марья Олександровна, доброго здоровья.

— Боран... — Зырин перевел дыхание.— Убежал, подлец, за чужими ярушками.

— Это он от головокруженья успехов! — кротко сказал Савватей.— Ево ведь топерь домой и не заманить.

— Это почему?

— А потому... Вот тебя взять. На беседу придешь, на своих шибановских девок ты глядишь худо. А у чужих ты весь ходуном ходишь. Так и тут. Будет ли боран дома жить, ежели он ковхозной жизни испробовал? Вон у ево сколько топерь этих... сударушек-то.

— Будет! — Зырин отряхивал со штанов снег.— Я его, бледину, залобану на пасуху, я его...

Зырин вспомнил про Марью Александровну и проглотил следующие матюги. Учительница уже дважды пыталась что-то сказать, сначала ему, потом Савватею. Она чувствовала, что оба сейчас исчезнут, и обратилась к Савватею как к старшему:

— Товарищ Климов...

Савватей не ждал, что его назовут товарищем. Заметно было — подрастерялся. Марья Александровна рассказала о Куземкине с Лыткиным:

— Помогите им слезть! Лестница очень большая, мне невозможно поднять...

— Там и сидят? — спросил Савватей.

— Там.

И Марья Александровна пошла прочь. У нее упала гора с плеч.

— Как забрались, так пусть и слезают,— сказал Савватей.

— Нет, надо бы сбежать, подставить лестницу-то,— не согласился Зырин.— Вот только борана зловлю...

— Да куда без шапки-то?

Савватей Климов почесал в затылке и тоже заторопился. Старика обогнала чья-то красно-пестрая корова. На шее коровы глухо брякал железный колокол. «Чья это? — подумал Климов. — А вон чья...» Наперерез корове прямо по снегу бежал вспотевший Санко Куземкин. Савватей хотел было остановить Санка да сказать про братана, который сидел на церковной крыше. Но Климов раздумал: «Пускай сидят. Сами хотели, как бы повыше». Зато всем другим встречным Савватей рассказывал про Митю и Мишу. Мол, сидят и слезти не могут, кто бы слезть подсобил? А ежели не подсобить, дак хоть бы пирога им кинуть.

Но шибановцам было сейчас не до Лыткина, Куземкина же они держали в уме, как держат число во время устного умножения. Деревня кипела ключом. Так шумно бывало только на масленице. Коровы, бабы, ребятишки, овцы, старики и старухи носились взад и вперед по всем проулкам. «Пте-пте!» — слышалось от новожиловского подворья. «Сыте-сыте, милая, сыте!» — тащила свою корову Людка Нечаева. «Чака-чака-чака!» — это Таисья Ключина приманивала своих овец ржаной горбушкой.

— Таисья, а ты хлебец-то посолила ли? — издали кричал протрезвевший Судейкин, который волок из лошкарёвского дома тяжеленный унде-ровский хомут. — Посоли, девушка, посоли урезок-то. А то сметанкой помажь!

Таисья не слышала советов Судейкина. Она заманила овец в ворота опустевшего своего двора. Перекрестилась. Слава те Господи, всех лошадей с подворья вычистили. Теперь овец в один хлев, корову — в другой. Красуля много недель стояла в чужом доме, голодная. Корова жадничала, прямо из рук хватала сено, на брюхе насохли большие навозные бляшки. Вторая корова, Звездка, тоже стельная, была не обобществленная, все эти недели стояла дома, она, казалось, не узнавала свою напарницу, ревниво помыркивала. «Отвыкла! — подумала Таисья Ключина. — А где у нас лошадь-то?» Лошади не было. Таисья всплеснула руками, кинулась из двора на улицу:

— Степан! Дедко! Где лошадь-то?

Дедко Ключин не торопясь нюхал в проулке табак с Климовым:

— Теперь, значит, такое дело, куды, Савватей Иванович, Игнаха-то повернет, направо или налево?

— Этот пойдет в одну премь! — сказал Савватей.

Таисья отступилась от них, побежала искать Степана.

Степан Ключин — до чего человек спокоен — в самый главный момент взял да и уехал в лес за хвоей. Таисья и забыла про это. Когда вспомнила, куда ей было деваться? Не могла она остаться одна, минуты были особые. «Дожили до Христова дня!» — сказала баба сама себе и побежала к Роговым.

Куземкин с Лыткиным все сидели на крыше и ждали подмоги. Уже в сумерках Володя Зырин изловил, наконец, барана и совсем уже в потемках прибежал выручать председателя. Поспешно отставил лестницу, поднял ее на дыбы, приотрвал от земли и рывком прислонил к церковному карнизу.

— Слезай, Митрич! — кричал Зырин. — Пока ты тут с Богом воюешь, от колхоза остались рожки да ножки.

— Какие ножки? — не понял председатель Куземкин, задом спускаясь на землю.

— Одно названье осталось! Разогнали скотину.

— Это как так? — Митя получил наконец свободу, ступил на снег. — А ну пойдём в контору.

— В конторе засел Жучок. Ворота на крюк запер и никого не пускает.

Митя Куземкин открыл рот. Тем временем спустился на землю и Миша Лыткин. Председатель снова обрел дар речи:

— Михайло, беги запрягай Зацепку. Нет, погоди, лучше Шибру. Сразу поезжай за Сопроновым!

— Какая тут запряжка? — выручил Зырин сникшего было Мишу Лыткина. — Не то что лошадей, и вожжей не осталось!

— Пешком!

Но тут даже безответный Лыткин не согласился:

— У меня, Митрей Митревич, с утра маковой росинки в роту не было. Завтре уж...

Куземкин стих. Он и сам еле стоял на ногах. Голодный, замерзший. Единственное, что ему хотелось сейчас, это уйти подальше от кладбища. Домой! Поесть бы, забраться на печь — это бы еще лучше. Он велел Мише Лыткину собрать инструмент и веревки, а сам сунул руки в карманы:

— Пошли!

— Куда? — спросил на ходу Зырин.

— Сперва в контору.

— Жучок в контору не пустит! — убежденно отсоветовал Володя Зырин.

— А кто ему ключ дал? Ты, что ли?

— Ключ? Будет он ключ спрашивать! — разозлился Зырин. — Пешню у Новожила взял, замок с пробоями выдрал. Ты что, не слыхал, что он тронутый стал?

— А тронутый, дак ему место в Кувшинове, отнюдь не в конторе! — Митя даже остановился. — Ты, товарищ Зырин, куды глядел своими глазами?

— А ты куды? — обозлился Зырин. — Он вон без порток на улицу выскочил! Всех коров со двора вытурил, кроме своей. И ворота на крюк. Я тебе не милиция...

Председатель не ответил. Он споро шагал к дому Жучка. Рядом, так же споро, ступал счетовод, а сзади, пытаясь не отставать, пыхтел коротенький Миша Лыткин. «По дороге зимней скучной тройка борзая бежит!» — припомнил Зырин школьное стихотворение. Ему стало сперва смешно, потом стыдно. Чего он у Жучка забыл? Одна амбарная книга, в которой записаны фамилии. Еще старые лошкаревские счета, да и те без многих костяшек... Скотину развели по домам, колхоз разбежался в разные стороны. Нет, в этой «конторе» и делать сегодня нечего...

Днем Зырин успел прочитать в газете сталинскую статью и спервоначалу не поверил своим глазам: «Вот те раз! А как ловко повернул дело товарищ Сталин! Сам-то вроде и ни при чем».

Счетовод посулился вечером к Степану Ключину, чтобы прочитать статью старикам, но газетку кто-то прихитил. Где она теперь, эта газета? Ищи свищи... Были у счетовода и другие заботы: в избе Самоварихи собиралось игрище. Шибановские девки как взбесились, готовы плясать каждый день или через день. Забыли и про великий пост. Сегодня на игрище сулились ольховские. Зырин с неодобрением покосился на Митю. «Сидел бы на крыше-то! — со зла подумалось счетоводу. — И этот, Миша-то... Перетаптывается, как медведь перед странём...»

Около Жучкова крыльца, то бишь у колхозной конторы, перетаптывался нынче не один Миша Лыткин, а все трое, в том числе и сам Зырин, еще оравушка ребятни. Начали появляться кое-кто и большие, вроде того же Климова.

— Чево, Митрей, не пускают? — спросил Савватей и сочувственно почмокал мохнатым ртом. — Коли так, дак и скажи ему: Северьян Кузьмич, становись сам председателём! Вот и будет дело с концом!

— Ежли бы раму выставить? — посоветовал Миша Лыткин.

— Истинно, — сказал Савватей. — Все одно, што в двери ходить, што в окно.

— Ломись, отопрет! — крикнул счетоводу Куземкин.

— Нет, не отопрет! Пошто он отопрет? Он у сибя дома, — опять резонно заметил Климов. Митя поглядел на него, но ничего не сказал. Промолчал.

Народ, особенно подростковый, снова копился вокруг.

— Брысь! Палоголовцы! — Володя шутливо кинулся на ребячью стаю. Малолетки отпрянули, но тут же снова начали окружать конторское крыльцо и начальство.

— Ломись! — опять приказал председатель то ли Лыткину, то ли Зырину.

Зырин постучал кулаком по воротнице. Побрякал железным колечком. Жучок не отозвался. Появился и Киндя Судейкин. «Этого только и не хватало, — в сердцах подумал Куземкин, — таких стихов навьдумывает, что и до райёну дойдет».

— Ты, Митрей, не ладно делаешь, — сказал Киндя. — Не бывать вам в конторе до морковкина заговенья.

Куземкин огрызнулся:

— Взял бы и сказал, как ладно делать!

— Как? Да больно просто! Ты как на святках! Полезай на крышу да в трубу-то и спой: «Жучок-мужичок, не ложись на бочок, не ложись на бочок, откинь крючок».

— Нет, Киндя, не выгорит это дело,— поправил Савватей Климов.— На крыше-то он уже севодни был, Митрей-то. Второй раз не полизёт на крышу. Надо по-другому.

— А как ишшо?

— Володя Зырин, прикащик в лавке, пусть кричит: «Мануфактуру дают! Калоши привезли новые!» Сразу Жучок выскочит.

— Не выскочит.

Подошли еще двое старух: кривая Таня и Новожилиха.

— Так он чево, свою-то корову не выпихал? — звонко спросила подоспевшая Таисья Ключина.

— Уж доёна ли коровушка-то? — сокрушалась Таня.

— Корова-то ладно,— сказал Киндя.— А вот нас-то с тобой хто на улице выпихал? А, баушка? Пойдем-ко по избам-то, вишь, вся ты замерзла.

Только ни сам Киндя, ни кривая Таня по избам не уходили, а тут еще и гармонья взыграла за Орловым гумном. Орлово гумно от Жучкова подворья подать рукой.

Ой, спасибо Сталину,
Станем жить по-старому.
Ишо бы Рыкова спросить,
Молоко бы не носить.

— Ольховские аль залисенские? — подскочил к Зырину Ванюха Нечаев. Зырину было сейчас не до гармонии... Он изо всей силы начал ломиться в Жучковы ворота.

— Не отопрет! — уверенно произнес Киндя.

— Не отопрет,— подтвердил Нечаев.— Пошто ему счас отпирать? Скотина во хлеву, кобыла дома. И сам в тепле.

— Да ведь старик с малолетками по миру пошел! — кричали бабы.— Неужто ему не жаль малолетков-то? Другой бы искать побежал, а он поди-ко на печь залез. И баб евонных дома нету, вси три у Самоварихи.

— А ты-то чево бы стала делать? Оне только тово и ждуд, чтобы он ворота отпер.

— Хто?

— Да счетоводы-ти.

— Оно правда. Только выскочишь, обратно не заскочишь.

— Все одно выкурят!

Куземкин слушал возгласы, и ему пришла в голову хорошая мысль: «Надо призвать от Самоварихи Жучковых женщин: жену, сестру Луковку и дочку Агнейку. Неужто им-то не отопрет?»

Селька Сопронов тотчас побежал к Самоварихе...

Ждали, чем все кончится. Селька прибежал обратно и заявил, что Жучковы бабы не идут и даже не посулились. Но вопреки Селькиному сообщению у ворот вдруг появилась Агнейка Брускова. Она пришла в старом скотинном казачке, в материнных, тоже скотинных, сапогах, а голова была едва ли не простоволосая, покрытая то ли полотенцем, то ли какой-то застиранной скатертью.

— Вишь, все у сердешной отнели, нечего и на голову надить,— бурчала под нос Новожилиха.— А каково ёй, бедной? Ведь вон и робятки гулеть пришли. Гармонья играет. А у ёй и платка нету. Все отнели, нехристи!

— Цыц! — учуял Митя бабкину воркотню.— Ты чего тут опеть пришла? Пропаганду дёржи при себе, а то... гледи!

— Чево мне гледишь? У меня один глаз и видит.

— Вот и гледи одним. А то...— Митя отвернулся.— Агнея, матушка, ну-ко постукай! Скажи отцу, что пирогов принесла. Чтобы ворота-то отпер.

Все затихли.

— Тятя! — Агнейка всхлипла.— Отопри, тятенька, это я...

Она тихонько побрякала колечком, но в сенях не было никаких звуков. Агнейка всхлипывала все сильнее и чаще. Она по снегу прошла к окошку, начала стучать в раму:

— Тятя, открой...— Слезы не давали ей говорить громче.— Отопри, тятенька...

Куземкин и Зырин слышали, как скрипнули двери, ведущие из сеней в избу. Оба подальше отошли от наружных ворот.

«Не зря и отскочили»,— успел подумать Куземкин. Ворота стремительно распахнулись. Босой Жучок в одних портках, с поперечным запиrom в руках выскочил на крыльцо и начал крестить запиrom направо, налево, вперед и назад...

Народ отпрянул в разные стороны. Митя Куземкин увернулся от удара. Успел-таки присесть и пригнуть голову! В три прыжка прямо по снегу отскочил председатель сразу метров на десять. Зырин с хохотом отбежал еще дальше. Одна Новожилиха как стояла, так и осталась стоять в своем продольном, до самых пят сарафане.

— Обери, батюшко, уразину-то,— сказала она Жучку.— Обери от греха.

Жучок остановился, увидел старуху и... начал подавать ей свой деревянный воротный засов. Подавал и приговаривал своим сиротским голосом:

— Бери, бери, вот. На!

— Да мне-то, батюшко, на што запиr? У нас есть.

— Бери, он ядреной. Роспилить пополам... Оно и ладно... Еловой, крепкой...

Голье подошвы его ног, видимо, почувствовали холод твердеющего ночного мартовского снега. Жучок бросил запиr под ноги Новожилихе. Агнейка, вздрагивая плечами, тянула отца за рубаху. Она подвела его к воротам, оба скрылись в сенях. Дверное полотно в избе сильно хлопнуло.

Ворота на улицу так и остались настезь.

Народ расходился. Теперь одни ребятишки ждали чего-то нового. Куземкин видел издалека: Новожилиха подняла с дороги запиr, подошла к крыльцу и приставила к косяку.

Зырин спросил насмешливо:

— Ишшо пойдём?

— А ну его! — Куземкин нехорошо выругался, заоглядывался.— А где Мишка Лыткин?

Лыткина уже давным-давно не было около Жучкова крыльца.

— Кобыла мерина едренее, утро вечера мудренее! — подытожил Зырин.— Завтре, на свежую голову, разберемсе.

— Игнаха опять жо... должен подъехать,— согласился председатель.— Давай пока по домам...

VI

Ушли все от Жучкова подворья. Осталась одна «мелкая буржуазия», как выразился Куземкин, имея в виду кое-каких ребятишек, замерзших и швыркающих носами. Эти ждали чего-нибудь еще, не дождались и быстро убрались поближе к игрищу.

Только кровя на избе Митя почувствовал, как он устал и оголодал. На локтях и ладонях кровавые царапины, штаны на коленках порваны. А тут еще и матка не разговаривала. В ответ на вопрос, где брат Санко и ушла ли на игрище сестра, только ухват забрякал. Митя перетерпел и эту обиду, благо запахло постными щами. Пока он отмывал царапины, мать сердито раскинула на столе холщовую застиранную и залатанную на углах скатерть, вынула из стола хлеб. Молча принесла от шестка горячий горшок. «Ну, нашла коса на камень»,— подумал Куземкин. Он приставил недавно початый каравай к груди и начал резать хлеб. Урезки были толсты, и Митя разозлился:

— Чево лампа худо горит? Как при покойнике.

— А дано, дак ждри! В ухо не занесешь.

Ухват или лопата пирожная полетела в кути? Куземкин не разобрался.

— Ты в ково экой бес уродилси? — выскочила матка из кути.— Стыдно в глаза людям гледить!

— А стыдно, дак и не гледи,— Куземкин попробовал отшутиться.

Но мать налетела на него, как налетает курица на серого ястреба, когда тот камнем падает с неба на цыплячье семейство:

— Анчихрист! Гли-ко, всю черкву аредом взяли, бесы рогатые. Ты чево думал пустой головой, ковды на крышу полез?

Митя не спеша хлебал постные щи. Вспомнил отца, умершего на печи от удушья,— больно много курил, покойничек! Тот никогда не ругался. Да ведь и matka раньше редко ругалась. «Эк ее рознесло нонче,— думалось Мите,— руками машет. Готова глаза выщипать...»

— Ковды ты, бес, глаза-ти себе омморозил? Ковды? Стоит на самом князьке, поглядывает! я не я! Тьфу, прости меня, Господи, грешную! эково я зимогора выростила... Люди все скотину по домам погонили, а он с Лыткиным на черку полез. Ладно хоть Санко корову увидел...

— Постой-постой... Где корова?

— В хливе! Ты бы дольше сидел на крыше-то, бес рогатой! А мы бы и ждали, и ждали бы, ковды тебя, беса, снимут да ты бы...

У Мити Куземкина застряла в горле еда. Он обвел избу с виду веселым взглядом своих «оммороженных» глаз. Взгляд его медленно обводил избу от дверей вдоль полавошника, на котором стоял туесок с огуречными и капустными семенами. Ближе к божнице лежал поминальник — крохотная книжечка в бархатном переплете, точь-в-точь такая же, какая валялась сегодня в церковном алтаре. Книжечку эту было не видно, но Митя чуял, что она лежит там же, рядом с божницей. Между туеском и поминальником и лежал «Капитал» Карла Маркса. «Тут! — Митя облегченно откашлялся.— Не выкинула...» Сейчас он больше всего боялся за эту книгу. Он взял ее на правах старшего у Сельки Сопронова, принес домой в тот же день, когда его поставили председателем. Положил на полавошник, все хотел читать, но так и не выкроил время.

— Корову сведешь обратно! — Митя так треснул кулаком по столешнице, что подскочила посуда.

— Нет, не сведу! — кричала мать из кути.— Сведу... Я бы ему ишшо корову обратно свела, каково лешева захотел...

— Сведешь! — убежденно сказал Митя и вышел из-за стола.— Не завтра, не утром обратно сведешь, а счас...

Раздался звон стекла, банный дресвяный камень шмякнулся на средину избы. С ревом выбежала из кути мать, начала гасить лампу. Не слушая материнских причитаний, председатель босиком, с хлебным ножом в руке выскочил в сени. Он прыгнул дальше в холодную уличную темноту. Бросился сперва влево, потом вправо. Замер по-волчьи.

Нигде не было ни души.

Куземкин не шевелился в проулке. Но много ли настоишь босиком на снегу? Сердце сильно толочилось в левом боку. Глухая и, казалось, совсем спокойная ночь давила на председателя густоющей мартовской тишиной. Пахло свежестью талых снегов, сеном и еще чем-то неуловимым, то ли звездами, то ли невидимым месяцем. Куземкин вздрогнул. В темном проулке почуялось что-то большое и темное. «Блазнит! — испугался Куземкин.— Нет, это кто-то живой».

— Эй! — гаркнул председатель.— А ну, гад, выходи суда!

И махнул в темноте хлебным ножом. Шагнул Куземкин вперед и опешил: большая голова Ундера сильно всхрапнула из темноты. Левым свободным кулаком Куземкин хотел было врезать Ундеру по морде или косице. Мерин успел высоко вздернуть голову, опутанную ременным недоуздкой, и Митякин удар пришелся в пустое место.

— Задрыга, ёствою в корень! — ругался Куземкин, словно во всем был виноват мерин Судейкина.— Ну погоди, я тебе ишшо покажу...

Но лошади не кидают камнем по окнам. Пятки совсем зашлись от холода. Куземкина осенило. Он распустил веревку ундерского недоуздка, привязал мерина к бальясине своего крыльца. Заскочил в избу, лихорадочно обулся, накинул пиджак и шапку.

— Ой, убьют! — запричитала мать.— Ой, Митюшка, запри ворота, ой, не ходи некуды!

«Только что ругала на чем свет стоит. Теперь Митюшка»,— подумал со

злостью Куземкин. Он велел ей заткнуть окно тряпьем и снова выскочил на крыльцо. Забираться на широкую, плоскую, как столешница, спину мерина пришлось с изгороди. Митя погнал коня в сторону Ольховицы.

Все было тихо, только бухали о дороге большие круглые копыта и екала ундеровская селезенка. Еще слышал Митя, что когда двери Самоварихиной избы открывались, то на шибановскую улицу вылетали веселые звуки гулянки. Ольховские плясали под свою гармонь, завлекали шибановских девок. На миг блеснуло Мите Куземкину черными своими глазами лицо Тоньки-пигалицы, сладко кольнуло в груди что-то ревнивое, но Мите было не до того. Он бил концами поводьев по ундеровским бокам. На околице у самого отвода могучая туша мерина вдруг резко застопорила. Председатель полетел через лошадиную голову. Он не выпустил поводьев из рук и, может, оттого ударился об дорогу не очень сильно, но в тот же миг послышался резкий хлопок. Куземкин видел огонь от выстрела. Ундер шархнулся в сторону, увлекая председателя в засыпанную снегом канаву.

— Кто едет? Стоять на месте! — услышал Митя голос Игнахи Сопронова. Снег набился в уши и в рот. На дороге чернела встречная лошадь.

— Я, я! — отозвался Куземкин, отплевавшись от снега. — Это я, Павлович! Поддержи мерина, а то убежит...

Ундер, однако ж, не собирался бежать. Митя вылез из снега. Сопронов убрал наган.

— Я за тобой, Павлович! — Митя только сейчас испугался выстрела. — Значит, так: контра по деревне пошла, я за тобой...

— Какая контра?

Митя сбивчиво рассказал про свою разбитую раму, про запир Жучка.

— Ну, не велика эта контра, — утешил Игнаха. — Этих-то мы успокоим. Садись в сани!

Митя привязал к саням повод от Ундера и сел рядом с Игнахой. Двинулись... снова в сторону церкви, в Поповку.

— Найди мне Сильверста, ежели он не дома, — сказал Сопронов, — срочная телеграмма, сбежал какой-то высланный, Ратько по фамилии. Выставляй посты по дорогам. Срочно!

Таким долгим оказался у Мити Куземкина этот день, что он уже и забыл, с чего этот день начался. И конца ему, этому дню, не предвиделось. Мите казалось, что топающий сзади Ундер чувствовал то же самое.

* * *

Дело случилось так, что, когда начали разводиться лошадей по домам, Судейкин почему-то не стал торопиться за своим Ундером. Может, поленился, может, не захотел бегать, как бегали все подряд. «Все равно ведь рано или поздно отымут», — оправдывая себя, думал Киндя. После встречи с наставницей, к паузне, он пришел домой, и все бы ладно, кабы не домашняя ругань. Женка очень уж сильно ругалась: «Иди за меринком!» А сама веревку в руки и побежала искать корову. Девчушки запищали все разом, как галчата: «Тятя, сходи! Тятенька, приведи!» Пришлось Кинде подыматься на ноги и выходить из дому.

На улице, как и до этого, творилось не поймешь что. Ворота в домах настезь, солома везде рассыпана. Деревня шумела пчелиным роем. Крик, смех, будто разговелись в Христов день и не могут остановиться. Из дома в дом бегают. Здравуются по два раза. Мужики снуют из конца в конец, ищут сбрую. Бабы кричат. Но и кричать времени нет, не то что поговорить. Коровы мыркают. Овцы, эти самые бестолковые, разбежались по всем проулкам и блеют самосильно, собаки лают, ребятишки всех возрастов шныряют и тут и там, орут кто во что горазд. Праздник не праздник, а таких дней не было на веку!

Киндя оставил корову на завтра, а приволок-таки домой свою суягную овцу, сунул ее прямо в теплую избу: «Нате, девки, тешьтесь пока!» — а сам опять подался на улицу. Тем временем в деревне стало тише. Начало уже и смеркаться,

когда нашел он Ундера у нечаевского гумна. Обуздал, как бывало когда-то, и сказал вслух: «Ну, брат, чего это тебя все к Нечаеву клонит? Видно, захотел ты в Красную Армию!»

Ундер всхрапнул, передернул большими, как рукавицы, ушами. «Да не возьмет тебя Ворошилов, бракованного! — продолжал Киндя.— Пойдем, батюшко, домой, будем весной землю пахать...»

Судейкин повел мерина ближе к деревне, а в деревне-то... опять события: Жучок раскулачил Митьку Куземкина! Отнял-таки у колхоза контору, забрался внутрь и никого не пускает. Судейкин опять оставил мерина на второй план, привязал его к своей черемухе, сам скорее к Жучковскому подворью, а после в Шибаниху пришли на игрище то ли ольховские, то ли залесенские. Гармонья играла как ошпаренная:

Мы по берегу, по берегу,
Милиция за нам.
Оторвали ... яйца,
Положили в карман!

Нет, это пели не ольховские, решил Судейкин. Ольховским эдак не вывести. Эти на усташинских смахивают. «Наверно, залисяна,— утвердился Киндя,— больше некому».

Во шибановский колхоз
Загнали нас в мороз.
Ой, спасибо Сталину,
Станем жить по-старому...

Очень понравилась вторая песенка, но было обидно, что пришла-то она из другой деревни. Не шибановская! А что, неужто шибановские хуже других и прочих? Судейкин не утерпел и чуть не бегом в избу к Самоварихе. Объявился на игрище, влетел в самую гущу. Не спросясь разрешения, выскочил на серединку, где оставалось немного местечка, и спел во всеулышанье, сквозь шум гулянки, пересилив все говоры:

Ой, калина-мáлина,
Закружило Сталина.
Закружило-повело
Все шибановско село.

Чья играла гармонь? Вроде бы зыринская. Кинде некогда было разбирать: пляши, пока играют, благо под ногу. И он сплясал. Сплясал ухватисто. Останавливался только для того, чтобы успеть спеть частушку:

Самовариха-вдова
Тожо кругом голова.

— Ну, теперь переберет всех! — вздохнул кто-то из шибановских. Девки заверещали, начали дергать Судейкина за полы, им надо было плясать самим. Но Киндя не останавливался. Слушая хохот и одобрительные возгласы пришлых ребят, он успевал придумать частушку, пока делал круг с переплясом:

Женихи ольховскиё
Все оне таковскиё,
Девки в положенье,
Головокруженье...

Гармонь затихала на этих местах, чтобы было лучше слышно частушку. И Киндя Судейкин старался как никогда:

Председатель на трубе,
Счетовод на крыше,
Председатель говорит:
— Я тебя повыше!

На этом месте Володя Зырин заглушил игру, да и самого плясуна девки стащили с круга. «Пусть пляшет!» — кричали залисяна. — Пускай и нас проберет...» Они припасли для Кинди своего гармониста, но Судейкин уже потерял пых и заотказывался:

— Нет, больше плясать не стану. Вот ежели Тонюшка к горюну позовет, товды тольки и попляшу.

Тонька-пигалица и впрямь пошла к горюну. Ее позвал туда, за Самоварихину печку, Акимко Дымов. Этот все еще торил шибановскую дорожку. У Кинди скопились слова для новой частушки. Тут он вспомнил про своего мерина: «Подростки того и гляди отвяжут. Тогда вдругорядь ищи его по всем гумнам и закоулкам».

Судейкин высочил из суматошной Самоварихиной избы, торопливо прико-вылял к черемухе. Как чуяло сердце, так оно и вышло! Ундера не было. Даже не числилось... «Отвязали, дьяволята,— решил Киндя.— Отвязали, он и убрел, Ундер-то... А может, катаются!» Судейкин выругался, однако ж расстроился не так уж и сильно и только подумал: «Вот ведь что значит привычка. И я, видно, привык к колхозной-то жизни. Не надо стало и мерина. Да и Ундер, наверно, привык, далёко не уйдет. Тут где-нибудь... Найду». И Киндя поворотил обратно на игрище. На крыльце он широко раздвинул руки, загородил дорогу Тоньке-пигалице, которая на ходу затягивала платок.

— А ты куда? Бегу и думаю, сяс Тонюшка меня к горюну созовет, я у своей бабы разрешеньё на это взял. Нарошно домой бегал.

— Ой, отстань к водяному! — Тонька увернулась от Кинди и прыгнула с крылечка. Не оглядываясь, побежала она к своему дому.

* * *

Что ей это веселое игрище, эта пляска и все стобушки? Не нужен ей и Акимко Дымов — самолучший ольховский парень. Тоже вроде нее: все еще сохнет по старой сударушке...

Ей часто снился тот теплый дождь и гроза, польхающая над ночной Ольховицей. Как хорошо гостилось тогда у крестной... Проливной дождь, теплая ночь. Желтый свет керосиновой лампы, чистые половики на полу и запах сула. Запомнились тикающие ходики, запомнилось даже, где стояла минутная стрелка, когда он сказал: «Мне надо поговорить с тобой. Ты знаешь о чем...» Он просил ее поговорить с братьями, посулился прийти в Шибаниху послезавтра. Но он не пришел ни через неделю, ни через месяц. И только горница ольховской крестной осталась такой же, как тогда, и Тоня много раз была там в гостях... И что же ей делать теперь? Ребята, и свои и чужие, зовут к горюну. Владимир Сергеевич не дал ей никаких известий. Жив ли он, она тоже точно не знала. А сердце подсказывало все свое, все свое. Живой он! Где ни на есть, а живой... Да ей-то что делать? Никто, кроме двух старинных подружек, не знал, по кому Тонюшка тоскует и сохнет. Ни братья, ни мать родная, ни крестные — шибановская и ольховская — не знают того. Только одна корова Красуля знала про Тонькины слезы. Да и то, может, только догадывалась...

На игрище в самый разгар пляски Тоня вспомнила про корову. Отказалась девка идти к горюну к очередному ухажеру. Парень из чужаков, обиделся, но ему тут же пригласили другую. Тоня ухмыльнулась и была такова. Что ей этот горюн? Дома Красуля ждет, стоит не доена. Одна и была корова в хозяйстве, но братчики и одну сдавали в колхоз... Отелилась в чужих людях, на холодном подворье. И вот сегодня вдвоем с теленком стояла Красуля дома, во своем теплом хлеву, ждала, наверно...

Брат Евстафий никогда не ходит на игрища. Опять читает какую-то книгу, мать на печке. Тоня схватила давно не троганный подойник. Она ошпарила посудину самоварным кипятком, самовар еще горячий стоял у шестка. После этого сунула в рыльце вересковую, еще днем припасенную веточку.

И побежала доить...

Деревянный фонарь, подвешенный на штыре, еле светил. Но даже и при таком свете было видно, что стало с Красулей. Тоня чуть не заплакала: широкое коровье брюхо, передние до колен, а задние ноги целком — всё в грязи и в сухом

навозе. Теленок тыкался с другого боку. Тоня сразу почувствовала, что доить было нечего, давно все высосано. Кому было отлучить теленка, ежели с новотелу иной раз и недоеной стояла Красуля? Хоть живыми оба остались, и то ладно... Завтра братаны отгородят теленку место, сегодня не успели.

Тоня отнесла почти пустой подойник обратно в избу. Нацедилось всего один ставочек. Хотелось привести в чувство Красулю, помыть вымя теплой водой, отмочить и выскрести навозные бляшки. Вот только скребницы-то нет! Скребница корове сроду была не нужна, вся скотина всегда стояла на хорошей хвойной подстилке. Только у лошадей выскребали линияющую шерсть.

Тоня вспомнила, что самая ближняя скребница у Роговых. Скинула девка скотинный дворной казачок, набросила на плечи теплый платок и побежала к соседям. Она не стала проходить в красный угол, на свет, вызвала Веру к дверям и попросила что надо. Вера зажгла фонарь, сходилла за скребницей на верхние сени. Большой живот мешал жене Павла Рогова наклоняться, ходила она совсем тихо. Тоня взяла скребницу и обратно бежать, но Вера шепотом остановила подружку: «Помёшкой! Ну-ко на ушко чево-то скажу. Да и покажу кой-цево...»

Она провела Тоню в куть, где горела лампа, сходилла к шкафу и украдкой показала фотографию с Василия Пачина. Они пошептались в кути, пока дедко Никита не позвал к самовару. Тоня стремглав убежала домой...

Господи, что делать ей? Матрос в каждом письме через Веру наказывает ей поклоны, она же только отмалчивается да отшучивается. Теперь знает про то вся деревня. И все ругают ее, все хвалят ей жениха с черными лентами и светлыми пуговицами. И только две живые души, Вера да Палашка Евграфова, знают, что у Тонюшки на уме. Вон Верушка опять свое твердит: не хватит ли бегать по игрищам? Чего говорить, вот-вот родит Вера второго. Палашка тоже вот-вот... Пусть и незаконного, а ведь давно уж не девка. Одну тебя из всех ровесниц все еще зовут ко столбам. Одна ты выплясываешь на игрищах... Или наказать Верушке, чтобы писали Василию и от нее, от Тони, поклон? Только стоит сказать... «Господи, прости меня, грешную...»

Тоня, не заходя в избу, опять бежит в хлев к своей Красуле. Фонарь как висел, так и висит на штыре. Она пробует оттирать скребницей насохший навоз, корова с непривычки взбрыкивает. Сунулась в другой угол хлева. «Красуля, Красулюшка! — зовет корову хозяйка. — Иди, матушка, сюда!» Корова не хочет ни мыркнуть, ни оглянуться. Теленок бестолково тычется под материнское брюхо. Руки у Тони опущены...

Стук в обшивку выводит девку из слезной задумчивости, она хватает фонарь и бежит из хлева к воротам. Пока бежала да открывала — ушли. Только в снежном смыгу у крыльца торчит осиновая доска со вделанным в нее длинным еловым колом. На доске крупно намалевано зоревым суриком: «Десяцкой».

Тоня поправляет кол, чтобы стоял прямо. Думает: «Чего-то больно скоро дошла очередь. Неужто пошла седьмая неделя?»

В Шибанихе сорок два дома. Пока дойдет очередь быть десятским, минует ровнехонько шесть недель. Не часто приходится быть дому *десятским*. Раньше дел у десятских было совсем немного. Пустить ночевать проезжих начальников, провести слепого до соседней деревни, загаркать народ, ежели собирался сход, — вот и вся забота. Правда, это кроме ночного дежурства, установленного в колхозную пору.

Теперь проезжий начальник не станет ночевать где попало. Зато много собраний. Нищих тоже прибавилось, а нынче и ночевать-то пустят не в каждой избе. Скажут, что тесно, а сами боятся вшей, возьмут да и отправят к десятскому. Как тут и было! Легки нищие на помине...

У крыльца стояла нищенка, но не с корзиной, как обычно, а с заплочным мешком. Она молча стояла в мартовской темноте.

— Ты чья? — спросила Тоня. — В дом проходи, чево стоять-то...

Женщина не отозвалась и даже не пошевелилась. Тоня испугалась:

— Ты нищая?

— Ни! Мы украинки... — послышался грудной, совсем не старушечий голос. — Я не сама, там ще двое. Засланы...

— Так чево на дороге-то мерзнуть? Пусть в избу идут!

— Нас к вашей хати послали. Нам только до ранку...

Две такие же закутанные женщины и тоже с мешками подошли ближе:

— Добри день...

— Заходите. Здравствуйте,— Тоня открыла сначала ворота в сени, затем дверь в избу, чтобы осветить сени. Она привела выселенок в тепло своей большой пятистенной избы: — Разболокайтесь!

Женщины сволокли с плеч поклажу и развязали платки. Шерстяные, но однорядные сачки они не стали снимать.

— Да вы не стесняйтесь! — Тоня уже тащила из кути вчерашние пироги, выставляла из шкафа посуду и сахарницу: — Ой, чево это вы?

Три милovidных девичьих лица, три пары темных опущенных глаз сверкнули и опять закрылись ресницами.

Неужто плачут? Тоня испугалась и позвала мать, но матери в избе не было, не было ни младшего холостого, ни второго брата с невесткой. Вся родня крутилась, наверное, на дворе, около возвращенной скотины. А может, ушли гулять к соседям?

— Садитесь на лавку-то! — Тоня рассердилась и от этого стала смелее.— А я самовар буду ставить...

— Ни! Ничого не треба, нам тильки переночувати. Меня Грунею кличут, а вас не знаемо, как кличут.

— Тоней! Откудова сами-то?

— З-пид Киева... Ратько наша фамиль.

Тонька-пигалица бросилась в куть наливать самовар. Та, что постарше, вытерла слезы, сняла свой летний сачок, под которым оказалась шерстяная зимняя кофта. Двое, что помоложе, тоже сняли сачки. Тоня, щепая лучину, успела с изумлением увидеть яркие украинские сарафаны и кофты. Но когда глянула на ноги выселенок, сердце сжалось. Что это у них на ногах? Какая-то смесь обледенелых веревок и тряпок, что-то совсем несуразное вместо валенок. Тоня на время отступилась от самовара и кинулась искать на печи сухие теплые валенки.

Пришел Евстафий, но поздороваться постеснялся. Прибежала мать из хлева и долго охала и всплескивала руками, когда узнала что к чему:

— Матушки! Да как это вы эк? Да откуда за день-то пришли? Ой, господи... Ну-ко полезайте на печь-то, погрийтесь пока. Полезайте, ради Христа! У нас печь-то большая, уляжетеь все три. Тонюшка, подай чево в изголобье-то. Есташка, чево сидишь? Постели-то притащи с повети, пусть отумятыся с холоду...

Евстафий натаскал набитых соломой постелей, подушек и одеял. Второй брат с невесткой ушли в ту половину. Ужинали в два присеста. Ночлежниц не стали особо спрашивать, они боялись рассказывать. Мать улеглась на печке, а Тоня с невесткой на своей кровати. Выселенки тихо уклались на набитых соломой постелях. Тоня принесла из сеника еще две подушки и новое, только что выстеганное одеяло. Не пожалела и своего приданого, только выселенки наотрез отказались укутываться новым. Ей пришлось укутывать их шубами...

Свет погасили далеко за полночь. Не успела Тоня доглядеть какой-то уж очень хороший сон, как под шестком встрепенулся и заголошно пропел петух. Вскоре после того в ворота начали стучаться. Тоня, раздетая, выглянула в холодные сени:

— Кто?

— Десятского требуют! Сопронов требует! К Лошкареву...

Тоня по голосу узнала Мишу Лыткина.

В избе тревожно зашевелились девушки-ночлежницы. Тоня успокоила их, шепотком рассказала об очереди. Все опять улеглись. На вызов ушел брат Евстафий. Тоня забралась под одеяло. Какой уж тут сон? Через час-полтора маменька встанет, зажжет лампу, покрестится на икону и снимет с печи квашню. Руки умоет и станет замешивать. А тут и лучину надо щепать, открывать трубу, брякать печными вьюшками. Красулю идти доить, теленка отгораживать... Уже хотела Тоня встать, да не заметила, как уснула.



Выбитая ступенька на лошкарёвской лестнице приводила в чувство всех сонных, задумчивых и нерасторопных. Тут можно было и зубы себе выбить, если не знаешь. Все равно красный угол Сельки Сопронова завлекал к себе, особенно мужиков и парней. Правда, завлекал днем, а не ночью.

Евстафий надел валенки на босу ногу, думал, что идет в избу-читальню ненадолго. Оказалось, надолго, чуть ли не до утра... Свет полыхал во все окна. Внутри Митя Куземкин пытался растопить печку, но ничего не мог сотворить, кроме дыму.

Сопронов ходил от угла до угла бывшей лошкарёвской горницы. Десятилетней лампа, вывернутая во весь фитиль, горела под матицей. Банный с крошками дресвы камень лежал на газетной подшивке. Миша Лыткин сидел на скамье, около второго стола. Ерзал Миша, много раз пробовал уйти, но каждый раз Сопронов приказывал:

— Сиди! Еще потребуешься.

И Миша трусливо сидел. С приходом десятского он заикнулся было насчет «ночной поры». Сопронов не пристал к разговору. Десятский Евстафий успел лишь поздороваться, сесть не успел. Сопронов остановился, начал загибать пальцы на левой руке:

— Нечаев Иван — раз! Брусков Северьян — два! Судейкин Акидин — три, Ключин Степан — четыре. Пятый счетовод Зырин! Всех суда. Повестки писать не буду, под твою личную ответственность как десятского! Одна нога тут, вторая там!

Посредине ночи десятский ушел загаркивать... Сопронов уселся за стол, вынул из сумки бумаги. На нем были белые валенки с длинными голенищами и в новых калошах. От калош тянуло свежей резиной. Голенища доходили почти до пахов, подпирали и топорщили широкие карманы синих, сшитых из чёртовой кожи галифе. Топорщился и внутренний правый карман черного суконного пиджака. «Наган! — догадался Куземкин.— Хоть бы разок дал по вороне пальнуть... Не даст, и просить не стоит».

Куземкин опять начал до головокружения дуть в печку. Сырые березовые дрова не желали гореть, растопка кончилась.

— Эх ты! — неожиданно засмеялся Сопронов и выскочил из-за стола.— Садовая твоя голова! Трубу не открыл, а дуешь.

Митя поднялся с колен. Труба и впрямь оказалась закрытой.

— Ну, ёстой корень! Кх...— бормотал Митя.— Откуда я знал? Это ведь ты, Миша, растоплял!

— Все на Мишу! — Лыткин перестал клевать носом.— Опеть виноват Лыткин.

— А што, я, што ли? — сказал Куземкин.

— Ладно, ладно! Тише,— приказал активистам Сопронов.

Пришлось выпускать дым через двери. Печка погасла. Воздух ворвался свежий, но с холодом. Сопронов накинул на плечи полушубок и снова сел к столу.

— Так... Значит, говоришь, так и спел: «Калина-малина, закружило Сталина»?

— Так и спел.— Куземкин подвывернул в лампе фитиль.— Спел принародно. Мне Санко-брат рассказал, он врать не станет.

— А Савватей Климов? Унес упряжь?

— Дугу нес, видели все. Про хомут не знаю. Мишка, это почему у нас лампа гаснет?

— Опеть на Мишку,— шевельнулся Лыткин,— ты с Сельки спрашивай, а не с Мишки.

— Где карасин?

Лыткин начал искать за печью четвертную бутылку с керосином. Она стояла в углу в берестяной оплетке, но оказалась пустой. Ругань из-за лампы и керосина остановил десятский, возвратившись с загаркивания.

— Ну? Всем сказал? — спросил Сопронов и притушил зевок.

— Не идут.

— Это как так?

— А так. Еще и обругали чуть не в каждом доме...

Сопронов ногой, с грохотом, отпихнул скамью, схватил сумку:

— Кто обругал и как? Записать дословно!.. Куземкин, лично пойдешь по домам. А ты, товарищ Лыткин, чего хранишь?

Неизвестно, что бы выкинул дальше председатель Ольховского сельсовета, если б лампа в лошкаревском доме совсем не завяла. Огонь замирал, по ламповому стеклу косынею пошла копоть. «Вишь, ленточка коротка. Воды бы долить, оно бы еще погорело»,— обследовал освещение Миша Лыткин, но и воды в Селькином графине тоже не было. Поэтому Сопронов замолчал, ничего не стал говорить в ответ на Митино предложение. Куземкин сказал, что надо сегодня идти по домам, что завтрашний белый день выявит в Шибанихе всю черноту, всю главную контру...

Когда начальники ушли, Миша Лыткин долго не мог снять с гвоздика согпящую лампу. Подставил скамью, снял и старательно дунул сверху в стекло. Лыткин дул, пока не догадался совсем увернуть фитиль. Большой красный огарок Миша не стал гасить, в темноте на ощупь повесил лампу обратно. Головокружение от усиленного дутья прошло у Лыткина только на улице, на свежем весеннем воздухе.

Тихо стало в деревне Шибанихе. Все спали. Один Ундер стоял посреди шибановской улицы. Стоял как неприкаянный, ждал хоть кого-нибудь.

«Вишь... Чево это Киндя забыл про своего мерина? — подумалось Лыткину.— Экой большой мерин-то, наверно, с овин...»

Миша Лыткин шел по Шибанихе еле живой. Шел ночевать, хотя спать было уже некогда, начинался рассвет.

(Окончание следует)



ОЛЬГА НИКОЛАЕВА

*

ИЗ ТВОИХ РУК

* * *

Мáлага. Сладкая мáлага.
Нет этой влаге аналога —
Кровь винограда во рту.

Порт. Голубое, невинное
Море. И дерево винное,
Видное с палуб в порту.

Жить без тебя не могу.
Если ж, как солнце, из губ —
В губы твои, а из рук —
Мрак, материк беру,

День — это малага белая.
Красная — кровь загустелая,
Винная ночь из вен,
Вечная, без измен.

* * *

Вновь войти мне жрицей надо,
Хоть на время, Прозерпиной,
В храм объятий, в колоннаду
Рук твоих, прильнув лепниной.

Обними, и, не в обиде,
Вновь в Аид войду по пояс.
Только б луч зеленый видеть,
На груди твоей покоясь.

Толщей в тыщу километров
Застеклил мою гробницу.
Только слышно из-за ветра:
«Снятся Канны? Помнишь Ниццу?»

* * *

В тот час как рушились языческие боги,
Прекрасных рук своих навек лишилась Венус.
Воздев незримые, она к богам взывает.
Но торс, осиротев, не меньше потрясает.

О, если б от нее лишь кисть руки осталась,
То все б узнал ее знаток богоподобный
По соразмерности, по совершенству линий,
Как первоученик — и крест и купол синий.

И пусть ее, как виноград зеленый,
Тот презирает, кто сломить не может,
И тот, кому, безрукая, немая,
Сопротивленья оказать не в силах,

И тот, кого она сама в объятьях
Удерживать так, как земные жены,
С рыданиями не станет у порога,—
В ней — прародителя ребро, дыханье Бога.

* * *

Стоя он погружается в землю.
Голова его — за облаками.
Он огромный, как мир. Над землею
Свод небесный он держит руками.
Как подняться к нему? Как спуститься?
Помню: вновь ему надо родиться.
Стрекозиные крылья снимаю.
Ночь великая! Не понимаю...
Как он мог бы во мне поместиться?

И тогда от безоблачной бури
И как будто от землетрясения
Накреняется к травам пространство,
До небес расширяется сердце!
И потом, голова с головою
С целым миром покоясь на ложе —
Словно в лодке по вечности... Лежа
Он на север и юг бесконечен.
В центре — полюс его раскаленный,
Там, в груди его, — молот тяжелый.
И уже сверхъестественной силой,
Словно в русле, весь мир поднимаю —
Реку, полную звезд, и великим,
Но как будто младенческим криком
Сам своим он внезапно разбужен!..
Так деревья взлетают со стоном!..
Я женою была. Он — мне мужем.

* * *

Под ангельское пенье Зои
За пустынькой — снегов дожинка.
Там пламенное и златое
Последним целовать снежинкам.

Апрельское смятенье снега
Источится ручьями завтра.
А нынче — словно торс ковчега —
Окремлена стеною Лавра.

И солнышко горит без воска
Сквозь снежных облаков эмали.
Кисть в землю. Как на черных досках
Когда-то образа писали.

И, с искрою той веры кровной,
Паломнику, пустьась в дорогу,
Все слышится твой голос ровный,
И чистый, и усердный Богу.



МАРИНА ПАЛЕЙ

*

КАБИРИЯ С ОБВОДНОГО КАНАЛА

Повесть

Когда не было рядом мужчин, или голосов мужчин, или мужского запаха, она сидела, развалив колени, и вяло колупала ногти.

Ее звали Раймонда Рыбная, в быту — Монька, Монечка. Фамилию она заполучила от мужа — именем была обязана своей мамочке, а моей тетке, Гертруде Борисовне Файкиной. Тетка от природы была наделена сильным тяготением к красивым предметам, вследствие чего неизменно перевозила за собой с квартиры на квартиру (и тут же прибывала на новом месте): портрет писателя Хемингуэя, календарь за август 1962 года с лимонноликой японкой, полулежащей в чем родила ее мать, и трехрублевого Иисуса, страдающего на гипсовом кресте. Другой природной склонностью тетки была безудержная страсть к вранью. Усталые родственники говорили, что она врет, как дышит. В результате этого ее пристрастия и родилось трогательное предание, согласно которому имя для дочери она подобрала исключительно в память погибшего на фронте брата Романа. (Рассказывая, тетка, где надо, делала выразительные паузы.) Легенду портил маленький изъян. Дело в том, что у Гертруды Борисовны был сын, который появился на свет тоже после гибели своего героического дяди и, кстати сказать, до рождения Монечки, — ему Гертруда Борисовна подыскивала имя в диапазоне от Аскольда (Асика) до Эразма (Эрика) и окончательно остановилась на Нелике. Корнелий впоследствии стал милиционером.

А вот фотография. На ней Моньке лет четырнадцать — мне, соответственно, четыре. Мы стоим у заснеженной ели, возле дома деда и бабушки. У Моньки приторный лоб, на щеках ямочки, а глаза откровенно шельмоватые, точнее сказать, вполне уже блудливые глаза. Я прихожусь ей по пояс, гляжу взыскательно — и сильно смахиваю на умненькую, строгую и непреклонную старушку.

...Из myriad разлетевшихся осколков поток забвения возвращает почему-то тот, на котором Гертруда Борисовна собирает Моньку в пионерский лагерь.

Тетка стоит на кухне, деревянной ложкой торопливо запихивая в банку из-под компота рубиновый винегрет, и, с красивым оттенком фатальности, очень громко, благо соседи ушли, кричит дочери через всю коммуналку:

— И чтобы ты помнила!! Я в шестнадцать лет выпила только одну рюмку!! И вот с этой рюмки был Нелик!!

Но Монька уже несется с фанерным чемоданчиком по берегу Обводного канала.

Она бежит, улыбаясь, приплясывая, подол юбки, как всегда, намного выше ординара, Монька не меняется, ей вечно четырнадцать, — меняются лишь плакаты и лозунги (они плоховато видны мне за пеленой времени, пыли, сизых выхлопов и заводских дымов): вот человек в тяжелом скафандре осеняет ее римским жестом победы, жест перехватывает орденоносный дядечка с толстыми, как усы, бровями, — она бежит, улыбаясь, приплясывая, кривые на диаграммах неуклонно ползут вверх, мелькают указатели, канал трудно проталкивает невесть куда мутные свои воды, — она бежит, улыбаясь, приплясывая, идеальный юноша показывает белые зубы, пять в четыре, и вот уже олимпийский медведь, вознесенный над морем караваев и кокошников, старательно копирует жест космонавта, дядечки, юноши, — она бежит, улыбаясь, приплясывая, вдоль обочины однообразно тянется красный частокол: XXVI XXVII

XXVIII, на бегу она подхватывает прутик и громко делает по забору др-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р!! Внезапно парাপет обрывается, и плоский, непривычно пустынный берег заманивает ее к тусклой воде. Она замороженно глядит в тающее свое отражение... Плеск одинокого весла особенно отчетлив в этом душном беззвучии. Плату,— на языке немых требует гребец. Она бросается к чемоданчику. Фонтаном взлетают зеленые, зашитые синим чулки, красная юбка с булавкой вместо застежки, танкетки, косметичка, застиранный лифчик с отодранной бретелькой, попугайского цвета кофточка в треугольных следах утюга, газовая косынка, трепанные ботинки, рыжее, в катышках шерстяное платье, взмахнув рукавами, выставляет темные полукружья подмышек... Не надо,— беззвучно говорит гребец. Она обиженной дудочкой вытягивает губы... Растерянный взор ее плавно перетекает в томный, озороватый, кокетливый и наконец откровенно зазывный. Она игриво хихикает и многозначительно лыбится. Гребец недвижим и стар. Сияя, она сощуривает свои зенки — в них яростно пляшут эскадроны синих чертей — и, прикрывшись ладонью, шепчет ему какие-то словечки, мне не слышно какие... Гребец начинает хохотать. Он хохочет долго, облегченно — впервые за тысячелетия однообразного безрадостного труда. Его громкий хохот взрезает бурю заката, и солнце, скандально нарушая вселенский закон, резко дает задний ход, на миг озарив быстро текущую воду... Годится, бодро говорит перевозчик. Он даже слегка молодеет.

Талант Монечки, как водится у вундеркиндов, проявил себя рано, бурливо и шумно.

Бывало, мы спали вместе, когда ездили на дачу к бабушке. Как-то, случайно, я нашарила у Моньки жесткий треугольник волос — в таком месте, где они, по моему разумению, и расти-то не могут. Еще больше я удивилась, что мою находку она явно одобрила и поощрила. Но тут тетка высадила меня на горшок.

Монька давно не пользовалась ночным горшком. По ночам ее чаще всего не бывало дома. Она убежала на поздние танцульки, а утром ее ссаживал с велосипедной рамы кто-нибудь в кепке.

— Это Владик! — чрезмерно правдиво объявляла она и, конечно, разумно не приближалась к крыльцу.— Не узнаете, что ли, Владика?.. Это же Владик!

Удержать Моньку летним вечером дома было делом гиблым. Она исчезала еще с утра. А если ее пытались придержать утром, то днем она вызывалась идти на рынок, в центр дачного поселка, чтобы помочь бабушке принести продукты,— и пропадала на несколько дней кряду.

Ее пороли. Монькин папаша, Арнольд Аронович, герой финской кампании, не торопясь наматывал армейский ремень на беспалую руку. Брюки падали, он переступал через них. В одних трусах это животное, сопя, принималось надвигаться на несовершеннолетнюю свою дочь, которая уже опрокидывала стулья и билась в заранее запертую дверь. Впиваясь в Моньку единственным глазом, циклоп-тарантул без труда завершал поимку: Монька сама замирала в углу. Родитель работал над ней молча, с наслаждением, время от времени сладострастно вскрикивая и резко выдыхая воздух.

Но не успевали еще просохнуть обмоченные трусы, как Монька снова усвистывала.

У меня сохранилась предназначенная ей хрестоматия по советской литературе для десятого класса. Гертруда Борисовна как-то принесла ее по случаю с товарной базы вместе с ящиком циркулей «козья ножка». Как и положено старой деве, хрестоматия дряхла и целомудренна. Никто не покусился разрезать ее листы, остальные же страницы остались нетронуты чистыми, годы жизни классиков на них не подчеркнуты, и на полях нет даже кукольных очей с неправдоподобной длины кудрявыми ресницами. Правда, серая обложка залита чем-то буро-лиловым, вроде портвейна, да на форзаце приторной вязью какой-то ябедницы выведено:

Учись, моя дорогая,
Ведь время идет,
И проходят года.

Сама не заметишь,
 Как станешь большая,
 И поздно уж будет
 Учиться тогда.

В этой книге содержится ряд ценных сведений. Горький, с уютом располжившись между Ждановым и Молотовым, доверительно сообщает им, что человек звучит гордо, а непрерывно взволнованный Степан Щипачев высоко проносит свой лозунг: **ЛЮБОВЬЮ ДОРОЖИТЬ УМЕЙТЕ!!! ЛЮБОВЬ — НЕ ВЗДОХИ НА СКАМЕЙКЕ!!!** Монька была в восторге от этого изречения, которое она притащила из женской консультации в летние каникулы после седьмого класса. Изречение было красиво написано на санпросветплатате, где на манер шарады соотнеслись: бутылка сорокаградусной, криминогенная садовая скамья и зеленая парочка, а также луна и сомнительного вида младенец. Думаю, имени автора текста Монька так и не узнала. Она не вытерпела до конца тягомотину наук, так что каникулы после седьмого класса стали последними.

— Буду я им учиться! — презрительно заявила она в начале лета 1959 года, и это были принципиальные слова.

Моньке всегда было свойственно беспечно клясться, божиться, зарекаться и давать зуб. Однако на этот раз слову она оказалась верна: книги в ее руках я больше не видела.

А последний раз перед тем видела в щелочку. Это был двухтомный «Нюрнбергский процесс». Монька с подружкой заперлись в сарае и, пакостно хихикая, разглядывали в этой книге срамные картинки с голыми дядьками и тетками. Я их накрыла. Они стращали меня и клячили не закладывать взрослым, и я не заложила, — но что толку?

Вокруг нее всегда был шум и скандал. Ее отлучки сопровождалась всеобщим тарарамом, ничуть не меньшим по силе страстей и звука, чем утренние прибытия. Арнольд Аронович орал на Гертруду Борисовну, что она растит шлоху и паразитку; Гертруда Борисовна с величественным видом королевы-изгнанницы латала дырку от папиросы на замызганной Монькиной юбке («Почему ты за нее все делаешь?! За эту телку, паскуду?!» — «Я тебя сейчас задушу, Арнольд». — «Ноги раздвигать — она уже взрослая, а юбку зашить...» — «Арнольд, если ты сейчас же не замолчишь, это будут твои последние слова!!!»); Нелик с милицейской прямоотой вставлял, что от этого бывает люэс; дед, выковыривая из самых неожиданных мест Монькины трусы, ломкие от стародавней месячной крови, кричал, что от этого бывают мыши.

В то лето решили запирать Моньку ночью на кухне. Это было гуманной мерой. Учли ее слабость кусочничать, особенно по ночам, и, с отчаяния, тешили себя надеждой возместить этим, хотя бы отчасти, запрет на кое-что повкусней. Под окном, в траве, пристроили брата Нелика, чья милицейская увлеченность порядком легче всего осуществлялась дома.

Наутро кухня была пуста. В первое мгновение Корнелий даже допустил, что рехнулся. Но, применив должествующие чину способности, установил, что Монька сиганула в подпол — и скорее всего была такова через подвальный окошко. Одного милиционер не мог понять: если она исхитрилась пролезть в дырку, значит, в первую голову, пролезла ее голова, но голова Моньки пролезть туда не могла, так как была совсем не маленькой из-за невероятно густых черных волос, которые ей однажды остригли вместе с гнидами, а потом голову намазали керосином, и от всего этого ее новая грива стала и вовсе буйной. Корнелий провел следственный эксперимент. Он мужественно ринулся в отверстие — и, конечно, застрял. На крики прибежал дед. Бурно сквернословя, они забились дырку наглухо и для надежности подперли заплату толстым, бурым от крови бревном, прежде на котором дед, распластав ботинками бьющиеся в пыли крылья, рубил курам головы.

Так что в другой раз, когда Корнелий вздумал среди ночи попить и, не рискуя отлучаться к колодцу, зашел на кухню, Раймонда как миленькая лежала на полу на своем матрасе. Рядом с ней старательно вжимался в стенку спортивного вида детина, покрытый лишь собственной татуировкой. На табуретке валялась тельняшка и пачка «Беломора».

— Это Юрик,— приглашая брата разделить радость, сказала Монечка.— Не узнаешь, что ли, Юрика? Это же Юрик!!

Слов у Корнелия оказалось так много и они были так тяжелы, что в глотке его образовали холодную свинцовую пробку. Вращая белыми, круглыми, словно пуговицы, глазами, с форменной пряжкой наголь он ринулся вокруг дома за визжащей и, кстати сказать, совершенно голой Раймондой, отчего разбудил единственное утешение родителей, королевского пуделя Патрика, который примкнул к марафону с громким лаем, особенно громким в заколдованной пустоте белой ночи. Вихрем подлетев к окну, Гертруда Борисовна влила свой голос:

— Патрик, не бегай так, Патрик! Ты же инфаркт себе получишь, Патрик!!

Рядовой милиции обернулся — в ту же долю секунды Монька шаркнула сквозь дырку забора и, уже чуть медленней, с вольготной ленцой, засверкала задницей через дорогу.

Гертруда Борисовна величественно застыла у занавески, придав ей значение занавеса. Капроновые воланы и рюши пышно розовели на зеленой ночной рубашке, которую она называла пеньюар, и как нельзя лучше подходили к бледно-фиолетовому дыму волос. Дым призрачно колыхался ветром. Гертруда Борисовна была исполнена скорби и державной многозначительности. Она походила на вдовствующую королеву-мать. И она сказала Корнелию то, что всегда говорила в таких случаях:

— Оставьте ее в покое. Она все равно не жилец.

Потом, тонко чувствуя незавершенность сцены, добавила:

— Можешь мне верить. Я знаю, что говорю. Я только что видела сон... ох, с сердцем плохо...— Она морщилась, очень точно выдерживая паузу, и стойчески продолжала: — Неважный сон, можешь мне верить...

В неважном сне Гертруды Борисовны зловеще взаимодействовали белый голубь, покойная прабабка в черном — и голая, абсолютно голая Раймонда, что, как известно, к болезням; Раймонда еще ела воронье мясо, а это как раз к тому... самому...

— Не знаю, где я буду брать силы, чтобы это перенести,— нарядно заканчивала Гертруда Борисовна.— А что я таки уже перенесла — кто бы знал?! — Ее библейский пафос слегка портило рыночное исполнение.

Если перевести монолог Гертруды Борисовны на строгий язык фактов, то получилось бы, что Монька в недавнем времени переболела ревматизмом, осложненным тяжелым пороком сердца. Врачи прослушали грубый шум, качали головами и говорили о разумном режиме и общеукрепляющих мероприятиях. Именно с этих пор Монькино сердце принялось шумно пропускать сквозь себя черт знает каких типов; каждому находилось особое место, каждый сидел в красном углу, потому что все углы были красные; с неиссякаемой готовностью это порочное сердце принимало, размещало и согревало всех, мало-мальски наделенных признаками мужской природы, и, наперед благодарное за головокружительно прекрасные эти признаки, с силой проталкивало деятельную кровь — по жилам, по жилочкам, а там вновь собирало в груди — согревало, грелось, горело. Видимо, это и было разумным режимом ее организма и главным, стихийно нащупанным, общеукрепляющим мероприятием. Недуг и лекарство объединились. Они проявляли взаимосвязь с ужасающим постоянством. И Гертруда Борисовна справедливо считала, что так долго продолжаться не может.

Преувеличивая роль трудового воспитания, родители пристроили ее посудомойкой в кафе-мороженицу на Обводном, недалеко от дома. Гертруда Борисовна полагала, что Монька будет приходить домой в обед, чтобы правильно питаться.

А между тем работенка была действительно что надо: плечистые мужчины заказывали шампанское, дамы разламывали шоколад, громко играла радиолка, и Монька, стоя у раковины, блестящим синим глазом целый день глядела в дырочку на этот непрерывный праздник жизни, а ее задница, словно сама по себе, отдельно от прочего тела, покачивалась, дергалась и вертелась, охваченная яростным танцевальным зудом.

Она ничего не делала в одиночку. Она не могла существовать одна ни секунды.

...Монька мается под кустом на бабушкиной даче, мазюкая красным карандашом обгрызенные ногти. Принеси то, говорит она мне, пробегающей мимо, принеси се. Зеркальце — знаешь, в сумочке?.. Ножнички... Машинку такую, ресницы загинать. А теперь, знаешь, чего хочу? Угадай. Она мечтательно закатывает небесные глаза и притворно вздыхает. Не знаешь?.. Ее выщипанные в мышинный хвост бровки дыбятся в нарочитом удивлении: фу-ты ну-ты! о пустячке же речь! Она невообразимо косит глаза (ты, видно, обалдела?!), капризно морщит свой утяшный носик. Ну, поняла наконец? Нет?.. Ее терпение на пределе. Мяконькие, в веснушках губы представляют обиженный бантик. Ну?! Это уж слишком!! Она садится, принимаясь как бы в грозном нетерпении отбивать такт ногой, но похоже, будто она виляет хвостом. Я стою с участливым, тупым видом.

Тогда она размыкает губки — и произносит свое самое любимое слово: — Вку-у-усенькое...

Монька, как обычно, говорит так, будто передразнивает кого-то, очень похожего на себя, кого все, конечно, знают, кто в печенки всем засел, и ей в том числе. Она кривит рот, словно клоун, а носик — с плоской площадочкой на конце — зажимает в кулак, будто сморкается. Получается гнусаво: «вгузьденькое». В общем, довольно противно получается.

Тебе сию секунду принести? — Н-да-а-а... (Н-дэ-э-э...) — На подноси-ке? — !!!

Вкусенькое — это: селедочка, яблочко. Сахар. Хлеб с малосольным огурчиком. У нее что, своих ног нет?! — вскипают сородичи. А Монька уже канючит водички или компотику. Морсику. Семечек!

Это все были ее хитренькие уловки. На самом деле Моньке просто требовалась компания — для любых житейских процедур. Ее кровообращение, похоже, действовало лишь сообща, с неременным условием непрерывной вовлеченности всех, вся, хоть кого-нибудь в процесс этого живого движения. Вне компании она не могла дышать, тупела и чахла. Организм ее, видимо, изначально был рассчитан исключительно на совместное осуществление положенных ему ритуалов.

...Она смотрит на меня с видом, сулящим замечательное приключение. Я вновь стою участливо и тупо. Она исходит нетерпением. Вновь быстро прокручивает все свои пантомимические ужимочки. Наконец канючливо тянет:

— Айда в одно местечко...

Иногда обозначает это иначе:

— Сходи со мной в тубзик!

Или так:

— Пошли в трест?

Или:

— В уборняшку хочешь?

Синонимов у нее хватает! Все эти названия относятся, конечно, к деревянной двустворчатой будочке за сараем. Выйдя из своей кабинки, она тут же делится интересными впечатлениями.

Подружки у ней водились повсюду. Исчерпывающая характеристика, которую Монька давала любой из них, укладывалась в знакомую формулу:

— Это же Галка! Галку, что ли, не знаешь?! Это же Галка!!

Сначала то были все незамужние, полные злого томления и нескромных мечтаний девушки. Потом — разведенные, потрепанные тетки или замужние, полные злого томления и нескромных мечтаний о разводе, любовнике и новом замужестве. В промежутки между этими заданными циклами их превращений и попадало — прерывисто — собственное замужество Раймонды.

Кошка с помойки всегда догадается, какую именно травку ей стрескать, чтобы так запросто не околеть. Могучий инстинкт Монечки, видимо, в самом раннем детстве счастливо подсказал ей, что необходимая совместность действий надежней всего осуществима с особями противоположного пола.

Это явилось главным открытием ее жизни.

И впрямь: она словно предчувствовала, что товарки ее детства далеко не во всякие времена смогут составить ей компанию для разглядывания картинок. А эта находка самой природой гарантировала ей прочную и, как мечталось, достаточно долговечную точку соприкосновения с компанией человек. В этом, на двоих, самом естественном из сообществ она теперь навсегда была защищена от сиротливого уныния, спасена своей сопричастностью к самому существу жизни. Выход из тупика открывал золотые, розовые горизонты. Она была азартна, и разносчики лакомств в земном пиру невольно подливали ей чуть больше капель орехового масла.

...В ее замужестве не было ничего от брака взрослой женщины и много — от подростковой игры, точнее, игры несостоявшейся. Ну, затеяла отроковица-переспелка поиграть в дочки-матери, ну, приготовила все: суп из подорожника сварила, на второе — котлеты из еловых шишек с гарниром из мелко наколотого стекла, на третье — песчаные куличики со свежей малиной; ну, расставила блюда на игрушечном столике; куклы — запеленатые, убаюканы, спят. Что дальше? Не играется как-то. Скучно...

А в общем-то, все у нее шло нормально.

Она так и осталась навсегда ослепленной немеркнущим шахерезадо-гаремным таинством брака. Этому таинству как-то износу не было. Оно завораживающе мерцало, оно зазывно поблескивало в конце дня и помогало сносить глумливый будничный кнут. Монька терпеливо исполняла все ритуалы игры — именно потому, что эта взрослая, криводушная, не ею заведенная игра, именуемая Институтом брака, изматывающая, отягченная кучей пресных мелочных правил, нудных обрядов и ежечасных драконовских штрафов, унылая игра, гарантирующая выносливому победителю стопроцентное благопристойное отупение, — эта игра имела узенький еженощный просвет. Убитые бытом бабы существа, — те, которые заморенно и, в соответствии со своими обыденно-постными способностями, регулярно выплачивают ночной оброк супружества (и получают соответственно по труду), в этом просвете умеют только добыть свое временное пособие по фактической бесполости — захватанный черствый пряник в компенсацию рабьего терпения, воловьего труда, собачьего быта, а многие несут и вовсе беспряничную, последнюю за день трудовую повинность.

Не так было у Раймонды. С остервенелым восторгом она протискивалась в долгожданную, сияющую, узкую, как игольное ушко, скважину — и попадала в лицемерно скрываемый рай.

В райском саду росло Дерево.

Книжки, которые Монька не читала, именуют его по-разному: Жезл жизни, Корень страсти, Коралловая ветвь, Зверь, Дьявол, Воробышек, Ночная змея, Кальсонная гадюка и даже Кортик-девок-портить — в зависимости от темперамента и эстетических устоев народа, к которому принадлежит автор, а также от местных климатических условий, калорийности пищи и его личной склонности к преувеличению.

В раю, и только там, пока Монечка обнимала свое Дерево счастья, ее муж, Коля Рыбный, называл ее мышенька, гусинька, барашкин мой и еще мурзоленция (вероятно, возвеличивая ее бесшабашную неряшливость).

Рай избивал стыдными прекрасностями.

Пребывая в раю, Монечка прочно забывала дневной опыт, голосом здравого смысла давно уже убедивший ее товарок, что у Гименея, как у пролетариата, ничего, кроме цепей, за душой нет. Раймонда не верила этому. Для нее позолоченный стержень супружества непрестанно сиял медовым и лунным светом и дарил свое мерцание тусклым реалиям дня, расцветивая куриные хвосты узорами жар-птиц и павлинов.

Монька, в общем-то, знала правила поведения в школе. Нельзя курить в открытую, нельзя, если захочется, красить губы на уроке и, даже если очень захочется, лучше не рисовать на парте срамные штучки-дрючки. То же самое было в Институте брака. Следовало делать вид, что главное — это уроки, общественная работа и примерное поведение, но главным-то было совсем другое, как водится у взрослых, скрытое от глаз, и Монька недоумевала, как это оплывшие отличницы так ловко делают вид, что их интересуют только

домашние задания, что они полностью этими заданиями поглощены (будто за одним этим и шли в Институт) и к ним не имеет ровным счетом никакого отношения то — сладостное, лучезарное... ах!

Постепенно Монька приняла этот распорядок жизни, заведенный не ею: делала противные уроки, где можно — халтурила, где везло — сачковала и вовсе не роптала, считая, что все это нормальная нагрузка к такому дефицитному билету. Всего и перетерпеть: утро, день, вечер. Подумаешь.

Она по-прежнему жила на Обводном — благо Гертруда Борисовна с мужем получили квартиру. В комнате появились самодельная тахта и дочь (Коля Рыбный был умелец), а непременно распахнутая крышка взятого в прокат пианино постоянно украшалась нотами украинской народной песни «Ой, лопнул обруч» (Монька отдала ребенка на музыку). За пианино, параллельно ему, лежала небольшого размера мумия — парализованная с макушки до пят свекровь Монежки, доставшаяся ей в придачу к иногороднему мужу, — лежала, лежала, глядя в потолок.

Монька звонко пропевала сочиненную кем-то песенку: давала соседкам бигуди, одалживала им треху до утра, подбрасывала ребенка до вечера и, щедро покрытая синяками, объясняла Гертруде Борисовне, что упала, ударилась о мебель, а еще пострадала в транспорте. После такого объяснения она обычно жила у мамы несколько дней, и шло по-старому. Нет, абсолютно все словечки и все, от начала до конца, нотки этой взрослой песенки знала наизусть Монежка.

В это время она уже работала в баре у Балтийского вокзала. Баром служил пляжного образца вагончик, не вписывающийся легкомысленным видом в эту загазованную, мертвую зону, но хлипкостью строения, впрочем, соответствующий вполне. Снаружи вагончик был густо разляпан американистыми полосами и звездами, а внутри предъявлял коньяк, ириски и засохший сыр, но главное — лихой полумрак, такой сладостный после бесприютного дня, тающий дремотный полумрак с мерцающим серебряным шаром, с этим божественным уплыванием на волнах импортной музыки.

Монежка сияла за стойкой, как воплощенная радуга. Вокруг наливались и зрели плоды мандрагоры. Нетерпеливые амуры становились так хорошо оснащены для любви, так буйно топорщились любовными стрелами, что походили на дикобразов с крыльями. Монька разливала направо и налево. Она подмигивала, хихикала и приплясывала. Она успевала еще гадать подружкам на картах.

Монька любила волнующий привкус слова «марьяжный», похожего на «грильяж», «макияж», а еще на слова «охмурять», «Иван да Марья». Ах да что там! Запретные марьяжные альковы благоухали бесприменно парижской «Черной магией», да ведь и легальные супружеские шатры пахли что надо... Правда, дворничиха трепалась, будто Монька с восьмимесячным брюхом лезла по водосточной трубе к любовнику. Ну, может, и лезла, что с того? Больше-то никто не видел, ну и ладно. Правда, и Коля Рыбный в недобрый час нашел у Моньки в сумочке пустой конверт, на котором вместо обратного адреса было написано: «Ш у т и любя, но не люби ш у т я!» Адрес значился «до востребования», почерк незнакомый, штемпель ленинградский. Ну, стерва...

Вот тут-то на сцену вновь выплывает Гертруда Борисовна. Дело в том, что, кроме двух упомянутых увлечений, у нее были еще два, наиглавнейшие. Можно спорить на любую сумму, хоть и на сам Эрмитаж, находишь он в частном владении, что никто в жизни своей не догадался бы, какие это были хобби. С этими своими хобби тетка запросто попала бы в книгу Гиннеса, узнай заинтересованные стороны друг о друге.

Она меняла свои квартиры — и жен своему сыну. Между этими занятиями не было ни прямой связи, ни логической зависимости (тем более сын жил отдельно), но происходили они одновременно, потому что происходили постоянно. Точнее сказать, старт был дан, когда тетка получила свою первую отдельную. Но так как с тех пор происходили они постоянно, то можно было сравнивать их тенденции: тетнины квартиры становились все лучше и лучше, а жены сына все хуже, дальше ехать некуда. То есть между этими мероприя-

тиями словно бы все-таки существовала обратно пропорциональная метафизическая зависимость.

Не следует понимать, что тетка, как в притче, нашла в поле колосок, обменяла на пояс, обменяла на туесок, тра-ля-ля, скок-поскок — и в конце концов въехала, скажем, в Юсуповский дворец, не меньше. В ее обменах вовсе не было унылого поступательного движения вперед, равно как не было и однообразно-победных витков спирали; тетка любила чистую идею и, похоже, стихийно поддерживала мысль, что цель — ничто, движение — все.

Каждое жилище, возникающее на пути Гертруды Борисовны, обладало кучей новых по сравнению с прежними, то есть ни в какое сравнение не идущих достоинств. За то время, что Монька с аппетитом вкушала мед семейных утех и продолжала, трепеща, неутолимо алкать его, — иными словами, за эту ее медовую пятиминутку Гертруда Борисовна успела обменяться с Карла Маркса в Бармалеев переулок, оттуда — на Расстанную, оттуда — на Можайскую, оттуда — на Фонтанку, а с Фонтанки на Обводный. На Обводном квартира была рядом с Фрунзенским универмагом и, кстати сказать, недалеко от Моньки, от мест, где прошла теткина молодость, но она перебралась на улицу Пушкинскую, так как, по ее словам, мечтала жить на ней с детства: тихо! культурно! зелено! — а потом она перебралась на улицу Восстания: эркер! потолок! — а потом на Владимирский проспект: центр! рынок! — а потом на улицу Чайковского: Таврический сад! гулять с Патриком! — а потом на канал Грибоедова: метро «Площадь мира»! бельэтаж! — а потом на улицу Софьи Перовской: рядом был ДЛТ.

Однокомнатные квартиры становились двухкомнатными, двухкомнатные снова однокомнатными, потом снова двухкомнатными, потом снова однокомнатными, первый и последний не предлагать.

Ритуал переезда проходил всегда одинаково. Отпустив грузовую машину, тетка развешивала любимые картинки и быстренько распахивала барахло с глаз долой. Все это занимало у нее полдня. После того она садилась на телефон.

— Ну? Не идет же ни в какое сравнение!! — с привычным пафосом заводила тетка и подкатывала глаза. — Там же я задыхалась! Там же потолки были два семьдесят! А тут!! Можно же делать второй этаж!! Арнольд сделает... Нет, это уже в последний раз!! Можете мне верить!!

(Следовало понимать: разве я перенесу другой переезд?! можете мне верить!!)

Но недели через две оказывалось, что кухня как-то темновата, спальня все-таки шумновата, а лестница-то крутовата. Тут начинался цикл поисков. Длился он недолго. У тетки была легкая рука и такой же глаз. И вот — совершенно случайно! — подвораживалась квартирка: с кухней на юг!! с комнатой во двор!! и лифтом...

— Нет, это уже последний раз, — говорила тетка, напирая на «это».

Характерной чертой теткиных обменов было и то, что соседями ее — на площадке, сверху, снизу, всюду — оказывались сплошь профессора. В других местах тетка просто не селилась. То были профессора таких наук, что тетка не умела с ходу и выговорить, но это не важно, а попадались даже академики или кандидаты наук — она точно не знала, но это было тоже не столь важно.

А с невестками было все наоборот. Тетка говорила по телефону:

— Ну? Не идет же ни в какое сравнение!!

(Следовало понимать: предыдущая была просто дрянь, а эта — дрянь во всех отношениях.)

Имей тетка хоть молекулу здравого смысла, она не взялась бы усугублять процесс явного озлокачества. Но она уже не могла остановиться.

В ней клокотал дух кочевых народов пустыни. А если взглянуть иначе, — то клокотал, когтил и терзал тетку неотвязный страх смерти. Она, наверное, не могла себе представить, что уже до конца обречена именно на это жилище, что оно окажется последним, что в нем она будет... нет, не назову словом. И она не могла, не хотела представить, что вот именно-то эта последняя невестка подаст ей последний стакан воды... Да эта-то мразь еще и яду сыпанет, можете быть спокойны!!!

И вот так тетка бегала от смерти по всему городу, одновременно властной режиссерской рукой вводя новых действующих лиц в состав Неликовой семьи. Из-за морального облика многоженца он так и не поднялся выше сержанта, но тетка уверяла всех, что, если бы она его не спасала, было бы хуже.

А тут назрел конфликт с зятем.

Коля Рыбный, по мнению Гертруды Борисовны, был жлоб (самой высшей марки!!), это именно с ним, по мнению Гертруды Борисовны, Монька начала пить и курить (с ее-то здоровьем!!), и, кроме того, он был прямо виноват в том, что приволок с собой мумию, лежащую параллельно взятому в прокат пианино (в комнате нечем стало дышать!! это же смерть для ребенка!!), и вот от всего этого Монька перестала за собой следить, а то и вовсе не жрет, так что приходится Гертруде Борисовне контролировать ее каждый день по телефону:

— Ты сегодня брала что-нибудь в рот?!

За все за это Коля Рыбный назвал Гертруду Борисовну народной артисткой Советского Союза.

И тетка поняла, что пора тасовать колоду.

Она принялась подбрасывать Монечке королей, то есть, например, натурально, заведующего овощной базой или — о-го-го! — директора диетической столовой.

В постели, насытившись, они говорили Монечке доверительно:

— Завтра буду «Волгу» на профилактику ставить.

Или:

— Ты бы не могла через брата устроить мне в Крестах свидание? с моим замом?

И с каждым встречным-поперечным Монечка радостно делилась впечатлениями, вынесенными ею из королевских квартир. Она не акцентировала особо внимание на том, чем же она там, собственно, занималась. Получалось, что ее туда приглашали на экскурсию — обозреть цветной телевизор и все эти заморские чудеса. И вот у одного была такая специальная машинка для чистки башмаков: нажмешь только так — р-раз! — сам вылазит червячок ваксы, нажмешь — два! — будьте любезны! — тут же и щетки драят — ты что! У другого была бутылка: нальешь, значит, в нее водку, или вино, ну или коньяк там, я не знаю, наклонишь к рюмочке-то, а там кто-то внутри (ой! я сначала даже напугалась!) с грузинским акцентом говорит: «Я пью за тебя не потому, что люблю тебя. Я пью за тебя, потому что о ч е н ь люблю тебя». У третьего было жидкое мыло, у четвертого — такие разноцветные шарики, чтобы коктейль охлаждать, он и Моньке подарил один на память — вот! Как, кстати, думаешь, он ко мне относится?.. Нет, минуточку: я понимаю, у него семья, жена в больнице, все такое, но он мне, например, говорит: век бы в глазки твои глядел! Как думаешь, я ему нравлюсь?..

Может быть, из Гертруды Борисовны и получилась бы крепкая бандерша, развернись она в цивилизованном мире. А тут материал ей достался безалаберный, никчemuшный и, что досадней всего, в виде собственного чада: пыль столбом — и толку нет, против генов не погрешь. А она старалась! Совала Моньке то свою нейлоновую почти новую блузку (она же голая ходит!!), то похожую на кастрированную кошку, крашеную, почти новую шапку (она же схватит когда-нибудь менингит!!), то пару почти новых полотенец с черными штампами «САНАТОРИЙ РОМАНТИКА» — все исчезало как в прорву, как в аспидно-черную дырку. И вновь достигали свеженасиженных родительских гнезд слухи про разудалые, бестолковые, бестолковые Монькины похождения. И снова она заскакивала к мамаше «переночевать» — вся в законных супружеских синяках, — лепеча про мебель и общественный транспорт. Циклоп Арнольд Аронович уже не порол ее, но обязательно, с тем же пылом, проводил на кухне воспитательный час, говоря о дочери, тупо сидящей тут же, беспреренно в третьем лице:

— Хоть бы она что-то умела взять от мужчины! Хоть бы что-то, ну хоть таку-у-усенькое. — Он вытягивал культу, тцась изобразить мельчайшую малость — и делая это голосом. — Хоть бы рупь какой, ну, я не знаю. Мама тебе без конца подкинет — и то! и се! Так мы же не вечны! Другие, когда с мужчиной, умеют — и так! и сяк! По-женски как-то они это умеют... Но эта! она же сама

еще за все платит! она же с себя последнее отдаст — любому! Она же как? — Инвалид, дополняя изображением, принимался рвать на груди рубаху.— На!!! бери!! Таких, как наша Раймонда, надо сдавать в музей, в эту, как ее,— в Кунцкамеру, ну!

— В сумасшедший дом ее надо сдавать, в клинику! — вступала Гертруда Борисовна.— Посмотри, во что ты превратилась! Ты же не жрешь ни черта! Ты же свалишься скоро — и все! Вот тогда будет полный порядок, это я тебе гарантирую!!

— Нет, я знаю, что надо делать!! — распялся Арнольд Аронович.— Вы хоть раз послушайте меня! Ее надо сдать — зашить эти, как его... черт! ну, что там кошкам зашивают!..

— Арнольд, если ты сейчас же не замолчишь, это будут твои последние слова!!! — подавала финальную реплику Гертруда Борисовна.

И, когда Монька уже дергалась от слез на просторном родительском ложе (под портретом писателя Хемингуэя), Гертруда Борисовна в кухне исполняла на бис:

— А! (Хватаясь за сердце.) Я всегда говорила: надо оставить ее в покое. Пусть делает что хочет. Все равно не жилец... (Скорбное сгущение черт.)

Но в покое не оставляла.

Не будучи окончательно чокнутой, Гертруда Борисовна, конечно, не надеялась, что короли произведут Раймонду в королевы. (Кому она нужна!!) И не то чтобы она губу раскатала на чужие коктейльные шарики. Древний, как пустыня, обменный зуд подначивал ее перво-наперво разбить союз Раймонда — Рыбный.

— А там видно будет,— говорила она многозначительно, и за этой многозначительностью не стояло ничего, как не стоит ангел-хранитель за спиной самоубийцы.

Если бы Коля Рыбный решил соорудить поясок верности для своей доброй, непуящей жены, весьма конструктивно было бы исполнить его в виде намордника, смыкающего пасти подсунутых тещей охмурителей — не больно-то проворных в смысле горения страсти, да и, вообще говоря, дяденек с ленцой, сплошь семейных, брюхастых, обрюзглых и убийственно скучных, но (от лени) страдающих недержанием однажды изобретенных комплиментов, которые всякий раз — словно бы в первый раз — приближали Монежку к синеве синего неба. И вот, насильственно сомкнув уста тещенькиным лазутчикам, блеющим свои слюнявые двусмысленности, можно было бы — по крайней мере с этой стороны — вполне предостеречь супружеские измены. Потому что (на это надо обратить особое внимание) кавалеры, подкинутые Моньке ее мамочкой, все эти усталые хозяйственники, видящие в Моньке этакий пикантный розанчик с помойки, притягательно-грешные миазмы которого давали им мимолетный роздых от добродетельных испарений семейной кухни,— все эти обладатели геморроя, портфеля и осторожного кошелька вызывали в Моньке только детский восторг и не более того. У дяденек дома было так интересно и чисто, и попасть к ним было почетно, как на крейсер «Аврора». И конечно, старческая болтливость мамашиних протее не была ослепительней сдержанной многословности объектов ее свободного выбора — поддатеньких работяг с Балтийского завода и, по-своему импозантных, знающих свой фасон не хуже моряков и летчиков, шоферов-дальнобойщиков, подваливающих после смены к Монежке в бар. Монька, ценящая в мужчине вторичные признаки куда выше всех третичных и прочих, никогда — надо отдать ей должное (и, кстати сказать, в отличие от «приличных» дам) — не обсуждала и не сравнивала в доверительной беседе мужскую дееспособность своих обожателей, как болтливых, так и молчаливых.

Исполненные добродетели и здравомыслия зрелые женщины — все эти примерно-показательные жены, и стыдливые домохозяйки, и хищно-целомудренные, особенно мозгами, берегини очага, ведущие себя в интимной жизни так же деловито, цепко и трезво, как у прилавка мясного отдела, все эти кроткие терпеливые голубки, самоотверженно любящие своих богатеньких импотентов, или не очень богатеньких, но все равно удобненьких, или не импотентов, но не любящие, а в благопристойной лени исполняющие свой социальный и гражданский долг (зорко притом следя за недугом и недвесом),— все они, конечно, отвернулись бы от беспутной Монежки, выразительно зажав нос.

Умелец Коля Рыбный продолжал между тем узорить Моську растительным орнаментом синяков, образующих сад непрерывного цветения; позади взятого в прокат пианино «Красный Октябрь» по-прежнему желтела небольших размеров мумия; Гертруда Борисовна перебралась с Софьи Перовской на 1-ю Советскую. Упаси Боже, чтобы за все это время Моська призналась мужу, будто райские деревья плодоносят и за пределами супружеской спальни. Она все равно ведь не могла бы объяснить, что хочет подольше оставаться на этом празднике, где раздают разные призы и подарки, а она так любит праздники, подарки, призы, а главное — потанцевать, и еще совершенно неизвестно, какие призы, подарки и танцы назначат на завтра — может, в сто раз лучше, чем на сегодня, и, может быть, розовых петушков на палочках сменят сахарные матрешки, обернутые тонко позванивающей фольгой и перевязанные блестящей голубой ленточкой.

На этом празднике, правду сказать, Моська пролила немало бурных слез. Она свято верила всякому новому массовику-затейнику, она весело-превесело скакала в мешке, но затейник исчезал, а мешок всякий раз оказывался у нее на голове.

Другое дело, что и Коля Рыбный, конечно, соблазнился поплясать на этом детском утреннике, но плясал он тяжело и натужно, словно отбывал воинскую повинность, и, сколь ни тянул носочек в строю себе подобных, все выглядел мешковато. Он часто ошибался дверью в извилистом и темном кишечнике коммуналки, но Моська гордилась, что продолжает дружить со своими соседками, и ходит пить с ними пиво, и вникает во все их сложности, и в конце концов одерживает верх невозмутимой широтой нрава.

И все это ничуть не мешало ей травиться йодом, а потом, после выписки из больницы, не помешало запить стаканом воды целую пригоршню швейных иголок. Пройдя положенный им путь, они вышли единым аккуратным пучком, а Моська выкатилась из той же самой больницы, той, где исколотые, прикрученные ремнями к койкам и пронзенные прозрачными трубочками с журчащими в них посторонними жидкостями, доверчивые самоубийцы пребывают в надежде, что попали-таки в пункт конечного следования. Во время кратких там свиданий с подружками Моська сильно-сильно затыгивала на талии драный халат и, смущенно сияя глазами, прыскала в кулак. В этой больнице было много симпатичных молодых врачей, а некоторые носили очки и даже бороды, и они, делая соответствующую запись в истории болезни, вели с Моськой такие душевные беседы и — надо же! — выдавали такие анекдоты (соответствующая запись), которые никто с ней раньше не вел и ей не выдавал. Короче говоря, Моське там понравилось.

Возврат к прежним декорациям впервые пригасил ее и осунул. Но это, к счастью, прошло. Точнее сказать, продолжалось, пока она, на другой день после выписки, не заявила ко мне. С ходу, по своей беспардонной привычке, она распахнула платяной шкаф: а эту юбку ты сейчас носишь? а эта штучка откуда? я примерю, а? это мой цвет... ой, мне сейчас будет худо... дай поносить!..

Как сейчас помню то вытертое темно-сиреневое платье короче приличного ладони на три («Какая у меня в нем талия, а?!»). Это платье Моську реанимировало мгновенно и полностью. На другой день, сияя, она уже приплясывала в обновке за стойкой бара.

За это время тетка Гертруда Борисовна успела пожить на Мойке, переехать на площадь Тургенева, а оттуда — на Московский проспект; невестки ее круто скатились со статуса медсестры отделения наркологии до пациентки означенного отделения; свадебные фужеры, которые Раймонда и Коля Рыбный разбили на счастье в день своей свадьбы, оказались только началом конца тех бесчисленных стаканов, тарелок, бутылок, графинов, плафонов, а также зеркальных и оконных стекол, ценою собственных жизней тщетно мостивших им дорогу к вечно далекому, как горизонты ласковых утопий, семейному благоденствию.

...Она пошла замуж, а я — в школу. Уже тогда она почитала меня за старшую — по крайней мере за более опытную, а может, за старую, что точнее. Коренастенькой инфантой кружилась она по кухне, смахивающей на средневековую темницу, и синие глаза ее притаивали оттенок школьной детской провинно-

сти. Рядом с ней на скрипучих цепях мотались оплывшие бабьи тени, до самой смерти прикованные к этой предсмертной жизни; Обводный канал, питаемый усталостью тех, кто выдохся на его берегах, и тех, кто еще только обречен быть зачатым в слепых норах, был вял и грязен, словно не опохмелен; что касается Монькиной кухни: наскоро замытые пеленки в зеленых, обессмерченных классиком пятнах били по лицу сырыми крылами летучих мышей, — а мыши ползучие, почти ручные, показатель обильности коммунальных закровов и прочности быта, сдуру купившись на кусочек засохшего сыра, уже пищали в уготованных капканах, вызывая на арену сильно возбужденных, одетых в трусы лысоватых мужей. Возле своего стола, как возле мойки в мороженице, как возле стойки бара — как, впрочем, везде, — Моньке вполне хватало места, чтобы, вращая ручку семейной мясорубки, сделать парочку «стильных» движений бедрами, да и ручку-то она вращала так, будто это была и не ручка вовсе, а... нечто сугубо другое. «Монька, прекрати!» — визгливо хохотали прикованные цепями тени.

А поверх всего этого, заглушая писк мышей, визг теней, стон жизнь дающих и жизнь отдающих, крик тех, кто, не изъявив никакого желания, эту жизнь все же заполучил, красивенько и громко врало настенное радио:

Снежана, Снежана, Снежа-а-ана —
Летят лепестки, словно снег.
Тебя повстречать, о, Снежа-а-ана,
Мечтает один человек...

Когда у Монькиной дочки сменились молочные зубки, мне выпал срок прогуляться под своды районного загса. Я, собственно, этими сводами надеялась все ограничить.

— Ты что, я слышала, — свадьбу делать не хочешь?! — подстрелянно вскрикнула Монька. — Что же мне теперь, по-твоему, даже и не потанцевать?!

Пришлось устраивать свадьбу. Я безропотно отдала себя на закланье этому древнему, с фальшивыми зубами, накладными плечами и крашеными волосами, провонявшему нафталином общинно-родовому шарлатанству. Но накануне Рыбный нашел у Моньки в кармане какой-то мужской предмет, а она в кармане Рыбного раскопала какой-то женский; иными словами, я не знаю, кто из них был бык, а кто матадор, но после семейной корриды, точнее в утро моей свадьбы, Монька стала задыхаться, хвататься за сердце и обиженно жаловаться, что посинели губы, нос и даже уши. Испуганный Рыбный вызвал «скорую», но Монька просекла, что ее могут заарканить в кардиологию, и образы очкасто-бородатых врачей померкли в Великий День Танцев. Она как-то умудрилась вывернуться из-под супружеского ока и, оставя Рыбного на растерзание разъяренной медицины, ползком перебраться в соседний подъезд, где жила ее подруга. В той стратегической точке она с ребяческим восторгом наблюдала позорную ретировку белой с крестом неприятельской машины. За это время подруга, ловко накрутив ее на термобигуди, сварганила причесочку — будьте любезны! — а синюшные места они замазали импортным гримом и помадой с блестками.

Короче, мы с Монькой постарались друг для друга. Мне вообще неохота было замуж, если честно, а я еще затеяла эту свадьбу — непристойную мистерию под сытый рев родового клана, кратко сплоченного обильной трапезой, умиротворенный рев жрецов, знающих все злые тайны семейного мореплавания без воды, ветра и воздуха, рев запасливого насыщения с чистосердечными паузами отрыжек и саксофонистыми взвизгами чьих-то чувствительных супружниц...

И вот через все это я готова пройти снова, пройти еще и не через такое — только бы поглядеть еще разок, как танцует Раймонда.

Среди престижных гостей был один — не то молодой актер, не то работник цирка.

Раймонда переплясала его в пух и прах.

Она была королевой бала.

Когда наступил черед искать невесту (меня с разрешения администрации спрятали в кладовой ресторанной кухни), Раймонда с работником цирка обна-

ружили меня раньше, чем жених, и скоренько перепрятали, то есть выперли на улицу, а сами уединились между кулями с мукой и мешками с сахаром, и там Раймонда, наверное, показала своему кавалеру новые па, а может, благородно предоставила ему возможность взять реванш.

...Тут уж ничего не напишешь, что на смену молочным зубкам приходят постоянные, а на смену постоянным (слышите, Гертруда Борисовна?) приходит постоянное ничто.

Желтая мумия, изучив в потолок все, что было возможно, предпочла тайны черного цвета и закрыла глаза. В это время как раз были гости; Рыбный усадил дочь за фортепьяно, чтоб она сыграла украинскую народную песню «Ой, лопнул обруч», и, для порядка спросив: «Мама, вы спите?» — взглянул. Мама спала.

В комнате было четверо, стало трое. Иными словами, освободилась раскладушка. И вот — сначала все соседи узнали, потом все подружки узнали, потом все сородичи узнали, а потом вообще все вокруг узнали, что Монька не спит с Рыбным.

Монька спала на раскладушке. Тому должно было существовать материалистическое объяснение. И все вокруг взялись делать самые угрюмые предположения, наперебой обнаруживая прочную осведомленность в наиболее мрачных вопросах медицины.

Но объяснение тому было идиллическое.

Они явились без предупреждения, и Монька, отведав меня в сторонку, поинтересовалась, не хочу ли я погулять примерно часок.

Я великодушно отгуляла два.

И Раймонда, соответственно, успела сделать в два раза больше. Иными словами, моя пожилая соседка, придя из кино, обнаружила, что ее девственное ложе, одетое Зелоснежной накидкой в ручной работы подзорах, перевернуто вверх дном. Должно быть, Монька и ее кавалер заглянули узнать, сколько времени (им еще осталось), но увидели, что никого нет, а есть кровать, — и странно, если б они кровать не увидели.

Кавалера звали Глеб. Он обладал ростом, плечами и голосом. Он гордился, что Монька моложе его на восемь лет. Он был дальнбойщик и уже успел прокатить Раймонду Арнольдовну (так он ее называл) в город Ригу. Они жили в гостинице! — подхватывала Монька. В отдельном — представляешь? — двухместном номере! Она танцевала в ресторане! Они пили ликер! Глеб подарил ей духи — вот, понюхай, — «Лабас ритас»...

— Я как подумаю себе на минуточку, что надо будет ложиться с Рыбным — а ведь когда-нибудь придется, — так лучше бы сразу подохнуть! — твердо заявила Раймонда.

Да, видно, ее пребывание на раскладушке становилось небезопасным, и она на несколько ночей перебралась ко мне — с косметичкой, новой прибалтийской сумочкой, новым сиянием глаз и, к моему облегчению, одна.

— А мне плевать, что дальше будет, — философски заключила Монька. — Может, завтра на нас бомбу сбросят — и большой всем приветик. А может, меня завтра карачун хватит, что скорей всего. Ну, если и дотяну до сорока, то в сорок что за жизнь?! Мать честная: там схватило, тут кольнуло! Уж я лучше сейчас проживу свое, что мне отпущено, на всю катушечку, — а там, лет через пять, пусть выносят вперед ногами! Верно ведь?

Она, конечно, всегда поступала по-своему, но на первом этапе ей необходимо было формальное одобрение, точнее говоря, соучастие.

— Как тебе наша причесочка?.. Как тебе эта помада, м-м-м?.. Какая у нас талия, а? С ума сойти можно!

Это «с ума сойти можно» она выразительно проговаривала в своей обычной манере — чуть гнусава, передразнивая кого-то очень похожего на себя, кто ей самой ужасно надоел. Прическа притом (Раймонда, где твои как вороново крыло?..) напоминала белесый ершик для мытья кефирных бутылок, губы были густо намазаны сиреневым, а на тяжелых веках возле ресниц лежал толстый слой гуталина.

— Куда ты так намалевалась? Тебе не идет! Вульгарно!

— Где намалевалась?.. (Глядя в зеркальце.) Так это ж чуть-чуть. Незаметно.

Но наиболее частым и, кстати, самым емким ответом было: «А, плевать». У тебя же комбинация торчит из-под юбки! — А, плевать.— У тебя же отекли руки! — А, плевать.— Он же тебя выпишет с площади! — А, плевать.

И все-таки присутствовало в тех вечерах, когда она приходила ко мне, что-то несказанно отрадное для меня, пребывающее в сохранности за пределами слов, над ними, вне их.

Мне всегда хотелось иметь сестру.

Мы шептались бы вечерами в нашей девичьей с белыми занавесками, вертели бы у зеркала, меняясь обновами, наряжали бы друг друга на бал, а еще — валялись бы с книгой на широкой тахте, и наши родители, заглядываясь на нас, улыбаясь нам, гордясь нами, звали бы нас пить чай. Мы были бы две невесты, две красавицы, мы любовались бы друг другом, любили бы другую — в себе, себя — в другой, другую, лучшую себя бы любили — и общих наших родителей. У нас были бы замечательные секреты. Родители баловали бы нас. Мы были бы милосердны. Ничего этого у меня не было.

Но когда приходила Раймонда, мне на мгновенья открывалось иное знание, я даже вдыхала запах пасхального кулича, слабых духов, чистого белья в той нашей девичьей с белыми занавесками — и во всей полноте мгновенно проживала смежную с нашей жизнь, где обе мы жили, живем и будем жить всегда — баловницы, любимицы общих родителей.

А в этой жизни я боялась увидеть ее тело. Я не видела его с детства и успела забыть. Перед тем как ей первый раз надо было раздеться на ночь, я заранее представляла себе эти изношенные грешные лядvei со свежими знаками бурного блуда, эти худые, синюшные, как у алкоголичек, лядvei в синяках, царапинах, в сетке прожилок цвета марганцовки, в грубо лезущих за границы треугольника толстых черных волосах. Но тело Раймонды оказалось белое, чистое и, как ни странно, исполненное стыдливых девических линий, а ноги — сверху донизу были нормальной привлекательности, заметно отечные лишь у шиколоток (у нее сильно пошаливало сердце).

К своему телу Раймонда относилась двойственно. С одной стороны, как объект и субъект страсти, то бишь сосуд греховный, оно ее вполне устраивало, и она считала — видимо, справедливо, — что таких надо поискать. Но во всем остальном это был тяжкий обременительный придаток, который она хотела бы не знать. Придаток между тем требовал все больше внимания. У него открылась сердечная астма, он кашлял и даже кровохаркал («А, плевать: сосудик лопнул». — «Ты принимала мочегонные?» — «А, плевать»), но оказалось, что если все-таки периодически засыпать в него пригоршни разноцветных пилюль, то несколько часов можно не вспоминать и жить нормальной, полноценной жизнью. «Ну, выпила — кстати, совсем немного, марочного, — ну так что? Я же потом мочегонкой все до капельки вывела».

Про капельку и про марочное она, конечно, загибала — диапазон у нее был на самом деле куда шире, — а про мочегонное, похоже, говорила правду. Короче, во всех остальных случаях, помимо священного акта любви, Раймонда относилась к футляру, в котором случайно разместились ее веселая душа, не то чтобы наплевательски, а скорее механистично (сюда долила, отсюда вылила) и, может быть, была права.

Несколько раз, бренча желтенькими драже валерьянки, приходил Рыбный. Но дело зашло слишком далеко. Глеб был разведен, с Раймондой инициативен и даже настойчив. Все это настолько не походило на правду жизни, что Гертруда Борисовна вмиг сочла его крупным аферистом. Профессор (с верхней площадки) рассказывал ей, что один так записался, прописался, развелся и отсудил себе. Этого сколько хочешь, это у нас на каждом шагу! А бывает, что записываются с матерью, а живут с ее дочерью! сколько угодно! можете мне верить!! Тем не менее в глубине души Гертруда Борисовна была довольна. Глеб имел целый ряд новых достоинств по сравнению с прежним мужем Раймонды, потому что был новым. Ну ладно, посмотрим.

А тут подвалило еще одно счастье — такое, что любой здравомыслящий испугался бы широте светлой полосы, предвещающей такой же ширины черную, — но Раймонда только прыскала и сияла синевою шкодливых очей. Новое счастье имело вид розовой бумажки, именуемой ордером на жилую площадь. Глеб отвалил Раймонде денег, и она быстренько развелась с Рыбным, расплатившись с государством за разрушенную ячейку и отправя бывшего супруга в одиночку наслаждаться двухкомнатным оазисом. У Глеба, в свою очередь, было две комнаты в коммуналке на Сенной — в одной жила его мать, другая принадлежала ему. Но он предпочел перебраться к Раймонде, так что после шумной смены декораций, реквизита и действующих лиц Раймонда осталась на Обводном.

Обводный канал! Кто зачат на твоих берегах, здесь и зачахнет. Ты катишь свои мутные воды, незаметно унося жизни всех, кто хоть раз коснулся ногой твоего берега. Ступив на твою сушу, надо немедленно идти прочь, бежать, мчаться, нестись без оглядки. Но если кто остановится, если вдохнет поглубже смрада твоих испарений, тому уж не вырваться: ты мучительно-цепко держишь душу, ты не отпускаешь на берега других вод никогда.

..Наступает Новый год, и еще весь январь рука по привычке выводит устарелую цифру. Итак, после частичной замены персонажей и обстановки ремаркой к новому акту может служить следующая.

Та же комната. Налево — тахта, направо — пианино «Красный Октябрь» с поднятой крышкой и нотами украинской народной песни «Ой, лопнул обруч». В центре две табуретки. На одной, развалив колени, сидит Р а й м о н д а. Она вяло колукает ногти. На другой — Р а с к а з ч и ц а с гусиным пером в руках.

Р а й м о н д а. Вот скажи мне, как ты думаешь... Он пошел к ней навестить ребенка. А вот... ляжет он с ней в постель или нет?

Р а с к а з ч и ц а (*наставительно*). Дело не в том, ляжет или не ляжет. Есть, в конце концов, духовные связи...

Раймонда слушает завороченно и благодарно улыбается. Похоже, ее занимает сам процесс говорения. Мать честная! Человек открывает по ее заказу рот, а оттуда вылазят — будьте любезны! — такие складные, грамотные слова!..

Р а й м о н д а (*спохватываясь*). Нет, минуточку, духовные связи — это ладно, это я против не имею. А ты мне скажи: вот он сейчас — три месяца со мной живет, а с ней пять лет не живет — может он с ней в постель лечь? Как ты думаешь?

Р а с к а з ч и ц а. Ну хоть бы и лег — что с того? Ведь существуют...

Монолог заглушает классическая музыка.

Не к телу надо ревновать, а к душе!

Некоторая пауза.

Р а й м о н д а (*охотно кивая*). Ну а в постель с ней ляжет? Как ты думаешь?

Долгая пауза. Пристально смотрят друг на друга.

Р а с к а з ч и ц а. Конечно, нет.

Р а й м о н д а (*оживляясь, облегченно*). Вот и я так думаю! Я как женщина его удовлетворяю — во! (*Ребром ладони по горлу.*) У меня с этим — полный порядок!

А между тем со всем остальным порядка не было. Быстренько выяснилось, что у Глеба очень большие глаза, и ему нельзя поднимать тяжелое, и ему нельзя больше водить машину, и нельзя нервничать, ну и выпивать тоже нельзя. Последние два запрета он с Раймондой игнорировал совместно. Официально они

так и не зарегистрировались, и причиной тому было подспудно набежавшее нежелание Глеба, которое Раймонда, конечно, выдавала за свое:

— Я же не девочка. Оно мне надо, как лысому гребенка.

Не исключено, судьба давала понять, что причитающиеся по прейскуртанту радости она Раймонде уже отпустила, причем авансом (распишитесь, пожалуйста), а теперь наступал период прогрессивных налогов и, может быть, жесточайших штрафов.

Глеб, наверное, тяготел к одному типу женщин. Не знаю, обладала ли его бывшая жена такой же, как Раймонда, неприязательностью к радостям жизни, но, говорят, она была не дура выпить и тоже тяжело болела. Оба эти ее свойства, вероятно, и были причиной того, что Глеб, зрение которого все ухудшалось, зачастую в бывшую семью, и хотя ему запрещено было подымать тяжелое и расстраиваться, он там, видно, только этим и занимался.

Раймонда уже не работала в баре. Она практически вообще не работала, потому что сидела сплошь на больничных. У нее усугубилась одышка, отеки ног, кровохарканье, и все это она относила на счет нервов, которые Глеб ей изматывал своими визитами к бывшей жене. Она считала, что поправится сразу, как только он прекратит это делать.

Врачи считали иначе. Нашелся даже хирург, полковник Военно-медицинской академии, который предложил Раймонде вшить в сердце искусственные клапаны. Я до сих пор не понимаю, где она его встретила. Раймонда совершенно не жаловала учреждения медицины, и все ее свидания с эскулапами проходили у нее же на дому по схеме: «скорая» — участковый — больничный. Конечно, в поликлинике было интересно: блестящие инструменты, научные приборы, душевные женщины в очереди, — но Раймонда боялась загреметь оттуда в больницу, оставя Глеба наедине с размышлениями, какую из жен он жалеет больше. Поэтому я даже думаю, что хирург сам нашел Раймонду. В жизни так бывает: троллейбус падает с плотины в водохранилище, но в ту же самую секунду пробегает мимо мастер спорта по подводному плаванию, многократный чемпион мира — и вообще хороший, нравственный человек; он спасает двадцать пассажиров.

Идея клапанов Раймонде понравилась. Плеснув на полковника синим взглядом, она ответствовала, что подумает, — но не прочь, если бы он полечил ее сердце и иным способом. Полковник сделал вид, что не понял, однако невольно щегольнул: «Квэ медикаэнта нон санат, эа фэррум санат — что не лечат лекарства, но лечит железо, я имею в виду скальпель». До него так и не дошло, что Раймонду просто занимал весь этот красивый разговор про американские клапаны, похожие (полковник показал) на шарики для коктейля, а вдобавок разглядывание его широких полковничьих плеч, и вообще она была глубоко погружена в пес ее знает какие мечтания, не имеющие ничего общего с операционным столом.

На прощание она записала его служебный телефончик.

У Гертруды Борисовны происходило очередное новоселье. В этот раз ее окна выходили на памятник Лермонтову. В подтексте следовало прочесть, что для приличного человека это совсем не маловажно.

Со временем страх, гнавший тетку с квартиры на квартиру, стал наступать ее в новом жилище все быстрее, быстрее, почти мгновенно, и она поняла, что носит его с собой, в себе, и, по всей видимости, выход этому страху можно дать, только распахнув на публичное обозрение все створки своего организма.

— О! Вот сейчас какая-то слизь выходит! — громко вела она прямую трансляцию из туалета. — А сейчас газы пошли... Как ты думаешь, что все это такое?

Подобно космонавту, совершающему длительный полет на орбите, тетка непрерывно вела устный бортовой журнал состояния своего нездоровья.

— Ты знаешь, сейчас где-то слева от пупка колынуло, — бывали ее самые первые слова в телефонной трубке, — а потом сразу отрыжка — все воздухом, воздухом... Как ты думаешь, что бы это значило? — Не дожидаясь ответа, она мужественно заключала: — Видимо, печень дает нагрузку на сердце.

Она обычно вставала в семь часов, потому что надо было готовить еду. Подкаблучник Арнольд Аронович послушно плелся на рынок, где брал все самое свежее, самое лучшее: черешню зимой, картошку весной, осенью — раннюю клубнику каких-то противоположных широт; в продуктовом магазине он, всякий раз тихо радуясь законодательно укрепленной неуязвимости, неторопливо осаживал раскаленную добела очередь, а потом еще добирал заказы по своей инвалидной книжечке; пенсии обоих были мизерные, жили вечно в долг, но холодильник и подоконник ежедневно были забиты какими-то развратными тортами с розовыми, будуарного вида украшениями из крема, органы чувств беспрестанно эпатировались какой-нибудь буженинкой, или заливным судачком, или ломтиками телятины с грибами и помидорами — все это могло ужиться в одной миске с манной кашей и кусками селедки, ибо эстетической стороне тетка в данном вопросе предпочитала пользу в таком виде, как она ее переменчиво понимала (то есть отковыривала от всего помаленьку и, страдальчески морщась, выплевывала); в конце дня все это выбрасывалось на помойку: Арнольду Ароновичу действительно ничего этого есть было нельзя из-за строжайшей диеты; тетке нельзя было, потому что она так считала и потому что боялась отравиться (ни одно из лекарств она не принимала тоже); пудель ничего не ел, так как был перекормлен и желал бы поделиться не только с дюжиной пуделей, но, может быть, даже с собаками других пород.

Итак, вечером весь этот раблезианский провиант, из-за своей реликтовости похожий скорей на бутафорию, отправлялся прямым ходом на помойку; утром начиналось все сначала, а в промежутках тетка обзванивала знакомых, начиная разговор со слов «меня целый день шатало, и моча была синеватого цвета», одалживала деньги и совершала обмен.

Сочетая птичью беспечность с кошачьей живучестью, Раймонда сама подобрала для себя наиболее, как ей казалось, подходящее лекарство. Она, попросту говоря, познакомилась с бывшей женой Глеба и, поняв, что та совершенно не секс-бомба, успокоилась. Правда, та жена походила-таки на бомбу, но иного рода, по болезни: она страдала тяжелым циррозом печени, и оттого жидкости в животе ее скопилось так много, что сама она напоминала беременную на восьмом месяце (вызвав вначале сильные подозрения Раймонды), и она не могла спать лежа, потому что задыхалась, и оттого спала сидя.

Все это Раймонда выпалила мне, как только я вошла, — нет, точнее, после того, как повертела у меня перед носом своей короткопалой пятерней с обгрызенными до мяса ногтями:

— Как тебе лак? Говорят, последний писк.

Лак был дешевый, яркий, в излюбленной Монькой индюшачьей гамме, пальцы были тоже, как обычно, сплошь в заусеницах.

Но все остальное изменилось. Она сидела в постели, опираясь на высокую подушку, и дышала с трудом. Ноги ее напоминали ровные лиловатые бревна, кожа на них готова была вот-вот лопнуть.

— Ой, знаешь что? — Раймонда покосилась загадочно. — Ты же понимаешь в этом. — Она легла навтыжку и приняла притворно-важный вид. — Посмотри-ка мне живот.

Я принялась пальпировать, боковым зрением держа ее физиономию: Раймонда была явно удовлетворена, что стала центром внимания, кроме того, всем своим видом она как могла изображала, что сознает свою редкостную ценность для науки, тем горда и своим экзотическим положением очень довольна.

Печень занимала почти весь живот. В остальных местах живота скопилась жидкость.

— Ты не знаешь, где можно достать конский возбудитель? — деловито просипела Раймонда.

— ?!

— Ну, ясно, не мне. — Самодовольная улыбочка. — Тут одному человеку слегка помочь надо.

— На конном заводе спроси, — промямлил за меня мой язык.

— Да вот надо бы как-нибудь съездить. — Раймонда села и принялась нашаривать шлепанцы. — У тебя там, случайно, нет кого-нибудь знакомых?

От резкой смены положения она зашлась в мучительном кашле. Лицо ее перекопилось: опять этот дурацкий кашель! опять в мокроте чертова кровь!

Я сказала, что надо срочно ехать в больницу. Она взглянула на меня как на очень сильно чокнутую.

— Так сегодня же двадцать пятое апреля!

Я не поняла.

— Что же мне, по-твоему, Глеба одного на майские оставлять? Чтоб он тут спился один? Чтоб я там, в больнице, с ума сошла?

Тут уж меня взорвало. Сияясь напугать Раймонду, я сознательно нарушила деонтологию. Я сказала, что ее положение не лучше, чем у первой жены Глеба, которая, кстати, при смерти. «Копыта откинуть хочешь?!» — закончила я риторически.

— Ну ты даешь! — Раймонда уставилась на меня, как если б я заявила, что не Аллен Делон самый красивый мужчина в мире. — У нее же — цир-роз! А у меня? Сама печенка-то, в принципе, нормальная, заменить два клапана — и все, снова буду здоровой.

Она задохнулась кашлем, вены на шее набухли.

...Я неслась в поликлинику. С неба лилась отравленная жидкость, трупные пятна проступали повсюду, Обводный тошнило, вдоль его берегов тянулись здания моргов, тюрем, сиротских домов, богаделен, ветшали кладбищенские постройки — и все они привычно маскировались под здания для жизни, под фабрики, перевыполняющие план, под заводы, дающие лучшую в мире продукцию, под продуктовые ларьки, из которых доносилось: будет ли хлеб? хлеб будет? сколько в одни руки?.. Я влетела в кабинет участкового врача вместе с висящими на мне в бульдожьей хватке самыми справедливыми участниками очереди; я назвала фамилию, он все понял, он тут же вписал что-то в Менькину историю болезни, по-человечески выразил удивление, что пациентка еще жива; я заказывала по телефону сантранспорт, и там было занято, и мне казалось, что счет уже идет на минуты, секунды.

Когда мы примчались, Раймонда была собрана: она сидела подчеркнуто-кротко, как иорданская голубица, на коленях ее лежала косметичка.

— Вы готовы? — спросили молодые санитары с носилками.

— Всегда готова! — беспечно отозвалась Раймонда, крайне довольная мужским вниманием.

— А паспорт взяли? — участливо, но с долей должностной строгости спросила врач.

— Ой, надо паспорт? — Менька втиснула в него какую-то фотографию (а в карман пальто потихоньку — пачку «Беломора»).

Пока врач звонила по телефону, пока санитары жадно пили на кухне воду, Раймонда, как обычно, притворно, приторно-томно, словно передразнивая своего противеньского двойника, гнусавила:

— Насчет клапанов мне, кстати, один военврач обещал. Полковник. Интересный мужчина. Ему бы я доверилась!

В машине она крутила головой и спрашивала меня шепотом, выпустят ли ее дней через пять.

— Все-таки это же не сердце резать, — пояснила она мне, — подумаешь, жидкость из живота выкачать.

— Это не тюрьма, — почти не врал я. — Захочешь, в любой момент под расписку выйдешь.

Во дворе больницы имени Куйбышева она перво-наперво огляделась, прикидывая, достаточно ли он хорош для прогулок, потом, в приемном покое, забавно гримасничая, мерила температуру (глядите, какая я важная птица!), потом спрятала под халатом свои драные сапоги, нацепила больничные шлепанцы и, не дожидаясь сопровождения в корпус, задышавшись, кашляя, опираясь на мою руку, пошла переступать апрельские лужи.

Человек сидит на высоком стуле, в его живот воткнут водопроводный шланг, из шланга хлещет в помойное ведро. Глаза, отдельно от живота и шланга, смотрят сверху, как эта беглая влага, бывшая в составе частей земли,

потом его тела, уходит, возвращается в землю, принося бывшему владельцу краткое, короче боли, облегчение и наперед обживая для него новую, хорошо забытую старую, среду обитания. Голоса птиц, тайным образом связанные с пятнами света в лиственной чаще, запах рыбы и реки, синий вскрик васильков, стихи, растворенные в крови, взгляд женщины, навсегда пахнувшей мокрой черемухой, и, наконец, этот микеланджеловский росчерк молнии, дающий мгновенный урок относительности величин — и абсолюта величия, — все это человек впитал, вобрал в плоть, сделал собой, — но в небе споткнулась звезда, и ей откликнулась в человеческом теле внезапно сломанная клетка — одна звезда из мириад звезд, одна клетка из миллиардов, — и вот жизнь вытекает из тела болотистой жижей, ее не удержать, не унять, да и не надо удерживать. То, что было словом и светом, звалось человеком, перетекает нынче в помойное ведро. Так что же принадлежит человеку лично? Может быть, ведро, шланг?

Санитарка уносит шланг и ведро.

Раймонда выписалась из больницы имени Куйбышева, новенькая, нараспашку готовая к новой счастливой жизни. Две недели она провела очень бурно, а за это время Глеб вышел попить брусничного кваску и пропал навсегда. В качестве рабочей гипотезы приняли ту, в которой говорилось, что кукловод Гертруда Борисовна, левой рукой подсунувшая Моньке какого-то женатого хмыря, правой подвела Глеба к самой дверной щелочке, чтобы он (тетка учла его слабое зрение) мог наблюдать акт любовной измены с удобного для себя расстояния. А может, зрение у него было уж настолько неважнецким, что он совершенно самостоятельно принял какой-нибудь замызганный бутылочный осколок за брильянт чистой воды, а Раймонду наконец «оставил в покое», как того страстно желала Гертруда Борисовна.

Так или иначе, через две недели после выписки, в день своего рождения, Монька заглянула сначала в ту мороженицу на Обводном, где в четырнадцать лет, приплясывая, начала намывать посуду, а потом, конечно, х о р о ш о п о с и д е л а в родном баре, из которого к тому времени исчез сыр и даже ириски и который превратился, по сути, в обычную распивочную, — от прошлого остались лишь дымный сумрак, серебристый шар в углу да американистые звезды. Там Моньку, конечно, помнили и приветствовали, как королеву.

Оттуда ее увезли на «скорой».

Это был день ее сорокалетия.

Когда я зашла к ней в палату, там стоял гвалт, как в курятнике.

— А я вот, как мой помер, никому свою п... не давала!! — надрывалась на судне старуха с зеленоватыми ляжками. — Ну и куда ее теперь?! Чертям на колпак?!

Раймонда, с ярко-морковными свеженакрашенными губами, лежала у окна и придирчиво поправляла челочку. Руки-ноги ее были сплошь исколоты; синяки сугубо больничного происхождения почти не отличались от супружеских. В подключичную вену ей вводили катетер, там серел пластырь. Живот (она мне показала) тоже был весь исколот. На ней не просматривалось живого местечка.

Процедуры ей надоели не так однообразием, как третьестепенностью, которая посягала на первый план. На первом плане были переживания иного рода:

— Он мне не говорил «я тебя люблю». Он ни разу таких слов не сказал. Но вот мы легли, он сначала не мог, устал, а я погладила — и все получилось. Как думаешь, он меня любит? Он говорил: «Ты мне дорога».

Я мельком видала этого типа с чертами алкогольного вырождения, вертлявой фигуркой и уголовным прошлым. Он навестил Раймонду в этой больнице месяц назад — и больше не давал о себе знать. Наверное, в уголовном мире у него были свои обязательства. Гертруда Борисовна, красиво делая большие глаза, рассказывала всем, что он отсидел за убийство. Раймонда, не отрицающая этого факта, бросала ей в лицо, что это чистая случайность и что он — только он, больше никто из вас всех! — вылитый, вылитый ангел.

Ангела звали Федя Иванов. В каком таком раю Раймонда на него наскочила и, главное, когда она это успела, не ведал никто. На убивца он тянул не очень,

плюговой вертлявостью напоминая скорей карманника из мелких. Раймонда вышлакала по нем все глаза (этот клин, похоже, напрочь вышиб Глеба), и медсестры, ставившие ее всем в пример за невиданную терпеливость к физической боли, знавшие о Меньке все-перевсе, называвшие ее Раймондочкой, истощили свои советы и расстраивались за компанию.

У Гертруды Борисовны не хватало духу сознаться самой себе, что смена основных спутников дочери имеет ту же направленность и, очевидно, подчинена тому же самому закону, какой регулирует замены в семейной жизни сына (закону, к которому она имела отношение лишь отчасти). В случае же с Федей она и вовсе была чиста, а потому могла проработывать Раймонду с незамутненной совестью.

Проработки эти велись по телефону, потому что тетка, панически избегающая учреждений, относящихся к смерти, то есть поликлиник, больниц и даже роддомов (мудро прозревая общую кровеносную систему созидания и разрушения), не делала исключения и для больницы имени Нахимсона. Когда на больничную койку угождал кто-нибудь из ближайшей родни — старики-родители, супруг, сын Корнелий, — она интенсивней обычного принималась обзванивать оставшихся на воле и в относительном здравии, чтобы тут же, с ходу, не дав абоненту вякнуть «алё», великолепно артикулируя, доложить, что «имела еще т у ночь», что перед глазами прыгают белые зайчики, а моча опять какого-то не свойственного ей и даже не входящего в природный спектр цвета.

Иными словами, Раймонда, то и дело нарушая строгий постельный режим, кошкой прошмыгивала на лестничную площадку, где у телефона-автомата, всякий раз надеясь на другое, кое-как выслушивала родительское наставление, долженствующее, видимо, компенсировать родительское отсутствие.

Родительницу Раймонда ненавидела. Но в больнице было так уж невесело без Феде, а он исчез, и Раймонда все думала, что, быть может, он позвонит Гертруде Борисовне. Родительницу она всегда называла именно так — по имени-отчеству, со всем ехидством, на которое только была способна, и рада была бы не слышать про нее вовсе, но больничные впечатления, даже для терпеливой Раймонды, были из такого тошнотворного ряда, что про переезд Гертруды Борисовны с видом на Исаакиевский собор она слушала разинув рот, то и дело прося новых подробностей.

— Вот блядь! — вскрикивала она восхищенно. — А дальше что было?

Удивить Раймонду я не могла: все шло по обычному сценарию. Но ей интересен был сам процесс говорения, соучастие, и она очень остро чувствовала смешное.

— А у меня тут тоже, знаешь... анекдот. Пошли мы ночью с Танькой — ну ты видела, ходит тут из той палаты, — пошли, значит, на черную лестницу покурить... Только ты никому!! Поняла? И вот, значит, выходим мы на черную лестницу, а там тьма — мать честная! Мы на ощупь... Чувствую: каталка. Дай, думаю, сяду... — Раймонда беззвучно хихикает в кулак, будто давится. — А там... Ой, чувствую, чего-то положено... — Она заходится в кашле, быстро сплевывая в платок кровавую мокроту. — А там... Ой, не могу! — Раймонда хватается за живот. — Сейчас уписаюсь! А там — этот... — Она роняет лоб, заходясь беззвучным смехом.

— Покойник, что ли?

— Точно! Этот, жмурик. Мать честная! Я думала — у меня разрыв сердца будет! Я их боюсь — до смерти!!

Кто-то там, за белыми облаками, с аптекарскими весами, с золотыми часами, тот, кто точнехонько отпускает каждому из нас света и тьмы, снова доказал свое могущество и справедливость, демонстрируя равновесие устроенного им миропорядка. Короче говоря, на другой день утром с Раймондой случился обширный инфаркт легкого — а вечером явился душегубец Федя.

Я пришла после Феде и о подробностях инфаркта (от боли Раймонда рванулась к открытому окну) узнала от медсестер.

Для Раймонды вечернее впечатление совершенно перекрыло утреннее, затмило его — и уничтожило. Ее лицо сияло смущением, как это бывает с очень счастливыми, с отвыкшими от счастья.

— Ты карандаш мне для век принесла? — строго шевеля синими губами, спросила она вошедшую дочь.

— Одной ногой в могиле, а все бы ей веки мазать, — строго ответствовала дочь и протянула карандаш.

Раймонда не мешкая схватила его, тут же намуслила и, попеременно щурясь и тарась, принялась безжалостно очерчивать границы глаза.

Дочь вышла красивой Раймонды: высокая, холодная, голливудского образца кинодива, точней, исполненная безупречно стерильного очарования существ, сверкающих на этикетках колготок и мыла. Ей не перепало и капельки Монькиной удали; она постоянно мерзла, была трезва, рассудительна, не способна к восторгам; боясь заразиться, мыла руки по двадцать раз на час и — за вычетом визгливого пафоса — во многом повторила характер бабки, которую презирала. На мать она во всех смыслах смотрела сверху вниз и была к ней брезгливо-снисходительна, раздражаясь только двумя ее особенностями: талантом без конца обмирать, кидаясь на всякую мужскую шею, и неспособностью одеться со вкусом. Она стыдилась матери и, знакомясь с молодыми людьми, всегда врала, что та заведует рестораном.

В этот период, в больнице имени Нахимсона, тело Раймонды стало именно таким, каким я боялась его увидеть. Отеки практически не сходили; бесчисленные лекарства вступили в сложные, непредсказуемые взаимодействия, и весь механизм жизни в этом теле нарушился уже как будто необратимо. Про операцию никто не заговаривал, все сроки были проворонены. Первой забыла об операции Раймонда. Она, как всегда, надеялась на авось и, кроме того, понимала, что операция продлила бы ее больничное заточение, а она рвалась выскочить побыстрей.

На воле было много дел. На воле гулял Федя. (Они как-то не совпали по фазе: когда на воле гуляла Раймонда — мотал срок Федя.) Не зная наверняка, что ждет каждого из них, но по-кошачьи предчувствуя, что ничего хорошего, Раймонда рвалась поймать свой мимолетный, может быть, последний шанс.

Чтобы отвлечь ее от мыслей о Феде (который сгинул снова) и дать иллюзию перспективы, я однажды распекла ее почем зря. Я втолковывала, что в ее возрасте, в ее положении следует ориентироваться не на уголовника, а на человека солидного, положительного — пусть и женатого, но надежного, доброго и порядочного во всех отношениях.

Раймонда слушала с большим удовольствием. Потом взглянула на меня и спокойно сказала:

— Кому же я нужна — такой инвалид?

Что значит инвалид, — вскинулась я, — ты же поправишься! А потом, ты думаешь, мужики, что ли, не старятся, не болеют? Да, у них вон в тридцать лет у каждого — лысина, хондроз, геморрой, куча других болячек!..

— А с геморроем нам и самим не надо, — заявила Раймонда. — Нам надо молодых, здоровеньких, желательно с хорошей фигурой.

Она потешно изобразила сладостное мечтание — и вдруг добавила, что у нее ничего нет уже два месяца, и назавтра ей вызвали гинеколога.

Передо мной лежало отечное, синюшное, полуразрушенное тело с окончательно сломанным механизмом движения всех соков. Было непонятно, каким образом в нем еще сохранилось дыхание.

— Как ты думаешь, почему это дело прекратилось? — с любопытством спросила Раймонда.

Я не успела придумать ничего лучшего: наверное, из-за гормонов... Потом сильно напряглась — и протолкнула:

— А может, ты забеременела?

— Вот и я так думаю, — убаженно откликнулась Раймонда. — Сто лет ничего не случалось, я думала, совсем уж заглохло... А с этим Федей — не могло не случиться!

Я старалась не глядеть на ее огромные, готовые лопнуть ноги.

— Ну и что? — пропела Монечка. — Аборт сделаю. Делов-то: раз, два.

Да, Монька была из тех женщин, кто предпочел бы десять абортотворений одному визиту к стоматологу. Но сейчас даже переодевание белья было бы для ее тела истязанием. Как, каким образом в этом полусгнившем теле угнездилась новая

жизнь — страшная, слепая, сумасшедшая? Как она могла там приютиться, глупая?

— Хотя, — оживленно добавила Монежка, — я бы с удовольствием еще родила. А что? Я могу.

Я уехала в командировку. Звоня, спрашивала о Раймонде со страхом. Положение ее было прежнее. Я уточняла: не хуже? Мне отвечали: не хуже.

Потом ей стало лучше. Гертруда Борисовна после этого рискнула включить Федю в экологическую систему семьи. Она передавала с ним харчи для Раймонды, распахнутые по банкам, баночкам, коробочкам и пакетам («Еда — самое главное!!»). По-прежнему, когда звонила Раймонда, она первым делом докладывала дочери состояние собственного нездоровья, потом заведомо трагически вопрошала:

— Ты сегодня брала что-нибудь в рот?!

Федя, может быть, прочувствовав ответственность миссии, навещал Раймонду ежедневно. Дела шли на поправку. Вернее, они приближались к тому порогу, за которым, засучив рукава хирургического халата, ждал-подждал Монежку широкоплечий полковник.

В русской классической литературе и в западной классической литературе существуют примеры, когда врачи женятся на спасаемых пациентках. В русской литературе героиня больна традиционной чахоткой, в западной — более тонко — душевным расстройством. В русской литературе она, как водится, гибнет, в западной — конечно же, выздоравливает, крепнет, да так, что к черту бросает своего благодетеля. Логично задаться вопросом: если женитьба на спасаемых пациентках — столь типичное явление, что даже обобщена как в русской классической, так и в нерусской классической литературе, то, может быть, это вообще непоборимый закон жизни — и нам, под финал, остается порадоваться на полковничиху Раймонду Арнольдовну? Или пример из газет: врач сделал женщине операцию транссекса, то есть по ее настоятельной просьбе превратил в мужчину, но так в нее (в него то есть) сильно влюбился, что пришлось ему под влиянием страсти сделать операцию на себе, превратив себя в женщину. (Потом они жили долго и счастливо и умерли в один день.) Это я к тому, что, если бы полковник воспылал страстью к Раймонде, но счел бы, что жениться на ней — скандальный мезальянс (а пациентка в этом смысле, конечно, неисправима), он мог бы вполне провести на себе операцию по удалению полковничьих погон, хотя, не спорю, это сложнее, чем поменять пол. Возможно, полковник в предвидении счастливых перемен уже бы и начал потихоньку сдирать свои погоны, но тут подкачала Раймонда.

С ней случилась редкая штука, в связи с которой она поначалу хихикала, говоря, что у нее все — самое редкое. Пока могла говорить.

С ней случился синдром Лайла. От какого-то лекарства стали по всему телу отслаиваться кожа и слизистые. Началось с языка, но никто не обратил внимания.

А через неделю она уже лежала в кожном отделении больницы имени Мечникова, и заведующий сказал Гертруде Борисовне (по телефону), что надежды нет.

Я зашла в отделение, когда дверь процедурной была приоткрыта. Огромные зеркала внутри нее удваивали происходящее. Там, в этом зеркальном зале, конвульсивно передвигались совершенно голые существа, сплошь разрисованные красным, зеленым и синим. В ритуальных масках, они исполняли танец североамериканских индейцев. Эти голые лунатические существа беззвучно заклинали языческих богов очистить их тела от струпов и язв. Они судорожно зачерпывали из жертвенных сосудов неведомые вонючие мази и жадно покрывали ими свои лишай и экземы.

Раймонда лежала в палате на двоих. Туда помещали умирать. Недолгих партнеров заносили поочередно и, в той же последовательности, выносили ногами вперед. Сбоев не бывало.

На Раймонду невозможно было смотреть. Словно щадя меня, она крепко спала. На другой кровати лежала старуха в содранных пузырях красной вол-

чанки и орала, не закрывая рта. Она была умалишенная, а может, рехнулась от боли.

Заведующий сказал, что синдромом Лайла страдали в нашем городе за последние десять лет не более десяти человек и восемь из них умерли.

— А вы же понимаете, что при ее сердце...

Он велел мне забрать из холодильника все баночки с провиантом. Раймонда не могла проглотить даже таблетку.

Когда я пришла назавтра, она лежала с открытыми глазами.

— Ты, как змея, шкуру меняешь,— сказала я очень бодро.

Она что-то промычала, еще, еще. Я разобрала: «Сырое яйцо».

Я сбегала в гастроном, отковырнула скорлупу.

Она с наслаждением выпила. Еще одно. Еще.

Потом промычала: «Федя...» Я кивнула.

На соседней койке лежала молодая женщина в содранных пузырях.

Медсестра сказала, что за это время из палаты вынесли уже пятерых.

Вымыв возвращенные баночки, Гертруда Борисовна осталась не у дел. И снова она обратила королевские взоры на семейную жизнь сына.

Одну из жен Корнелия можно было бы назвать базовой. Именно от нее он отправлялся в свои матримониальные походы и к ней, как правило, возвращался. В базовом лагере он некоторое время отдыхал, понемногу приводил в порядок снаряжение и амуницию — и снова вступал на опасную, но увлекательную тропу. Во время кратких передышек он успокаивал по телефону очередную покинутую жену, говоря, что живет с базовой «все равно как с соседкой». Все вокруг только крикали от этой испытанной веками немудрящей ловкости. Не крикала только базовая жена. Слова Корнелия, кстати сказать, были правдой, хотя и отчасти, так как с соседкой при случае он пожить как раз мог, а с ней — в узкосупружеском смысле — как раз и нет. Он говорил своей базовой, что у него по этому делу — белый билет и что ему давно уже можно мыться в женской бане. Погасив таким образом волны страстей в нежеланных грудях, он устремлялся к новой точке на немеркнущем брачном горизонте.

Дальше действие разворачивалось по жестко заданному сценарию. Сначала базовая жена, не брезгуя также и подкупом Гертруды Борисовны, мобилизовывала все связи для установления местонахождения этой точки. Затем производила рекогносцировку на местности. Далее на точку тщательнейшим образом собиралось досье. После этого события вступали в самую напряженную фазу.

То было воистину библейское состязание Рахили и Лии за право любить Иакова. Не мороча никому голову мандрагорой, детьми и наложницами, соревнующиеся стороны пихали своему библейскому мужу деньги, одевали-обували во все импортное, с мясом выдирали в профкомах путевки на юг, обещали машину — ну и, конечно, всячески ублажали Гертруду Борисовну. С гордостью матери она говорила, что «бабы от Нелика в постели плачут». Если он мог ходить в женскую баню, то понятно, отчего они плакали, но многоборье зачем? Ужель и впрямь прав А. Н. Толстой, что это в характере русской женщины — любить и любить мужчину, даже если у него что-то не так? Но Корнелию попадались также и нерусские. Выходит, ему просто очень везло. Итак, ублажая Гертруду Борисовну, они вручали ей весы и меч Фемиды, чтобы она могла избирать достойнейшую. Это не всегда оказывалось легко. Базовая жена, известно, была пройдоха со связями. А новая — пройдоха еще та, но связи ее до конца ясны не были.

И пока Гертруда Борисовна, с черной повязкой на глазах, поигрывая мечом и весами, пребывала в своем традиционном раздумье, Раймонда поправилась.

Что ее вытащило с того света? Сырые ли яйца, мечты о Феде или сопротивление жмурикам на соседней койке? Неправдоподобно.

Но что правдоподобно, если подумать?

Жизнь вообще призрачна. А вот у некоторых в сердце знай себе забудки круглогодично цветут. Разве это не странно? Причем ладно бы цвели, если б там климат был умеренный, а то температура — самая жаркая, да и почва-то должна стать уже пустынной после бесчисленных катастроф реактора и всякого другого. Ах нет!

Что касается Раймонды, ее-то загадку я разгадала. Тут вообще все просто. Сердце ее из-за порока имело отверстия малюсенькие. Кровь оно пропускало небольшими, очень небольшими порциями. И вот из-за этого жизнь в ее теле словно бы замедлилась — а значит, и смерть притормозила свое разрушение. Все соки тела, все его клетки, все его, главное дело, чувства еще долго-долго оставались свежими. Такие больные всегда выглядят лет на десять-пятнадцать моложе, это любой кардиолог подтвердит. Мозг и душа их как бы законсервированы, то есть сохраняются в том состоянии, как их настигла болезнь сердца, — чаще всего в подростковом.

Итак, Раймонда выписалась из кожной клиники и стала ждать операцию. Она наконец решилась на это. Ей следовало теперь отдохнуть, а затем подготовиться.

Отдых и подготовку она поняла, конечно, по-своему. Случилось так, что вылитый ангел Федя опять глухо залег на криминальное дно, то есть настолько глухо, чтобы у Раймонды — не ведаю как — завязалась переписка с капитаном речного судна из города Ростов-на-Дону и, параллельно, с мирным садоводом из Молдавии.

Откуда они взялись? Гертруда Борисовна говорила, что они приезжали в Ленинград отдыхать. Но где Монька могла их встретить? У нее уже была инвалидность второй нерабочей группы, что, ясно, ею не афишировалось, но она постоянно находилась на Обводном не в силах покинуть свой пятый без лифта. Конечно, вполне возможно, что кавалеров подкинули жены Корнелия (одна — капитана, другая — садовода), а мудрая Гертруда Борисовна, мудрее ветхозаветного Бога, не стала обижать никого и приняла оба дара.

Но я все-таки думаю, было иначе: Монечкино сердце в поисках сердца, работающего на тех же волнах, испускало чары столь сильного свойства, что они попросту распространялись в открытом эфире сами собой — впрямую, свободно и быстро, презируя расстояния, — и вот совершенно самостоятельно на разных широтах-долготах засекали садовода и капитана.

Капитан речного судна писал: «Ты просишь рассказать, что заставило меня расстаться с первой женой. Она предала меня. У меня был дублер, с которым она связала свои чувства. И я остался за бортом. Потом, как ты знаешь, я женился вторично. Подруга, я думаю, ты не видишь много внимания от мужчин. Их нет, они спились от вина, а если остались до 30 лет и старше, то их уже не женишь все равно — это мотологичи в прямом смысле. Сама подумай, да разве может быть мужчина порядочным, если только овдовевший по несчастью».

Садовод был мягче и лаконичней. Он присылал открытки с цветами: «Монечка моя маленькая женстинка! С приветом из города Дубоссары! Как там бьется твое золотое сердечко? Скоро ли операция? В этот солнечный праздник я от души желаю тебе ЛЮБВИ а главное ДОЛГИХ ЛЕТ жизни! Короче как говорят в наших местах не спеши нам еще рано нюхать корни сирени!»

Письма она показывала мне с восторгом.

Спрашивала про одного:

— Как, по-твоему, он меня любит?

Спрашивала про другого:

— Как, по-твоему, он меня любит?

А я спрашивала ее:

— Неужели у тебя везде-везде поменялась кожа и слизистые? Неужели у тебя теперь все новенькое?

И она отвечала:

— Все-все. Новенькое-новенькое. И т а м, кстати сказать, тоже. Я теперь прямо как девочка! — И, зажимая нос, давилась беззвучным смехом.

Осенью ее поместили в пульмонологический центр готовить к операции. А через месяц вдруг выписали со странными, взаимоисключающими рекомендациями: соблюдать строжайший постельный режим и — эскулапово иезуитство! — «санировать ротовую полость». Операция откладывалась на неопределенный срок.

Состояние Моньки ухудшалось. Наконец оно сделалось крайним, то есть уж настолько тяжелым, что она согласилась перевезти себя к родительнице.

Гертруда Борисовна в те поры жила на Садовой, недалеко от кинотеатра «Рекорд». Трудно даже представить, как на нее подействовала эта доставка тела на дом. Она, всю жизнь бегавшая от самых махоньких, еще не для всех заметных проявлений смерти, оказалась приперта полутрупом к стенке, причем — на тебе! — в своей же квартире. И никуда не денешься!

Полутруп синел, хрипел, поминутно плевался кровью и назавтра вполне обещал стать трупом. О лечении зубов не могло идти речи. Раймонда не выдержала бы даже вида зубоучебного кресла, не говоря уж о том, что она на сей раз — при всем желании — не могла бы нарушить постельный режим.

Правда, она кое-как подползала к окну, распахивала его и, на вскрики мамаше не обращая внимания, криво хватала ртом осенний воздух.

Она звонила мне:

— Ты знаешь, я буквально задыхаюсь... Что бы это значило?..

В ее шепоте звучало приглашение совместно разгадать захватывающую дух тайну. Я, думая о неисправности телефона, машинально щелкала по трубке. Но телефон был в порядке. Не в порядке был голос Раймонды. Он звучал как с того света.

— Я сегодня всю ночь не спала,— шептала она,— думала, задохнусь... Потом забылась на часочек, просыпаюсь— вся в поту... Понимаешь, такое чувство, как после этого...— Она взрывалась кашлем.— Ну, э т о г о... Я же все-таки женщина! — возмущенно заканчивала она и снова кашляла.— Я так не могу...

Наконец в больнице, откуда отфутболили Раймонду, удалось найти человека, который разъяснил картину. Он сказал мне: так вы же прочитайте ее диагноз. И ткнул пальцем в бумажку. Он ткнул в одно неразборчивое словцо, незаметно затерявшееся в густом кишении мелких каракулей. Ну так что? спросила я. — Так это же рак вилочковой железы,— сказал врач,— один случай на миллион населения. А у нее,— добавил он,— вот, все же написано: с голову ребенка.

Как туда мог проникнуть рак, в этот запертый объем, где загнанным зверем взламывало ребра готовое лопнуть сердце? Туда, где в чудовищной давящие разбухших легких еле-еле пробивалась тончайшая струйка дыхания? Туда, в грудь, к которой эскулапы приникали ушами, глазами, перстами, приборами — каждодневно?

Или Господь Бог, словно кухарка, раздраженная живучестью полудохлой мухи, схватил первое потяжелей, что попало под руку,— и хрсь!.. Чтоб уж наверняка.. Да не перебор ли это?!

А может, Монька просто вытянула не тот билетик? Вот ведь: разбросана кучка экзаменационных билетов, она взяла один... побледнела... А ты рискни, подмени, может, не заметят! А то — пусть снижают балл — брось этот, тяни с разрешения другой! Вдруг повезет? Не бывает, чтоб два раза... Перетяни! Перетяни билетик!..

Широкоплечий полковник отказался от Раймонды раньше, чем я узнала диагноз. Из-за этого Моньку и отправили «санировать ротовую полость». Родителям сразу сказали, что дело безнадежно, но из какого-то старомодного милосердия, а скорее всего просто по халатности и оттого, что остальных диагнозов Моньки хватило бы с лихвой, чтоб переправить на тот свет человек пятнадцать, слово рак эскулапы не произнесли. Кличка смерти оказалась удобно табуированной.

А Раймонда задыхалась.

В дождливый и темный осенний день мы отправились с Арнольдом Ароновичем валяться в ногах у врачей больницы имени Нахимсона. Перед выходом инвалид промыл стеклянный глаз, провел рукавом по облезлой кепке и натянул белеющее в швах пальто. Мы плелись сквозь заваленные мусором дворы, сквозь переулки, залитые холодным плачем, мы не видели разницы между светом и тьмой. Непонятно что лилось сверху. Циклоп тупо постукивал палочкой и тяжело дышал. Кроме глаза и пальцев, отнятых еще в финскую, у него, уже на гражданке, откромсали часть печени, желудка, а селезенку убрали полностью,

вместо правой ноги он довольствовался протезом, теперь стоял вопрос о левой. Удовлетворяя свое детское любопытство, Творец забавлялся им как хотел: то крылышко оторвет, то щупальце, то усик, то еще крылышко, — а он все ползал. А может, Создатель эксперимент научный ставил: сколько кусков мяса можно обкорнать в человеческом теле, чтобы это еще было совместимо с жизнью?

В кабинет, где сидела комиссия по госпитализации, мы прошмыгнули так, чтобы показать, что хотим занимать как можно меньший объем. Я намерилась расположить к себе собрание своей компетентностью вкупе со смиренностью самой нижайшей. Я вкрадчиво лепетала: понимаю, для всех мест не хватает. Это так естественно! Я понимаю, что пациентка безнадежна и моя просьба неприлична. Я понимаю, что негуманно просить врачей тратить на нее время и средства, когда они (врачи, время, средства) нужны людям, имеющим реальные шансы к полноценному возвращению в трудовой строй. (Меня не перебивали.) И все-таки... Хотя немножко облегчить предсмертные страдания... И, проглотив иголку Адмиралтейства: в качестве громадного исключения...

Мне был задан только один вопрос:

— Вы что — хотите, чтобы мы ее здесь вскрывали?

И уже в спину брошено:

— Она просто задохнется, вот и все.

На улице было мертво.

...Раствори меня этой осенней водой, прими в землю, отпусти душу. Отпусти в землю, раствори душу, прими боль. Прими душу, раствори в земле, отпусти боль. Сделай же хоть что-нибудь!..

Я боялась, что циклоп рухнет. Я пыталась было взять ему такси. Но он сказал:

— Я еще в молочный зайду. Здесь всегда сметана и творог свежие.

...Приползла домой. Лежала, лежала. Я не знала, чем защитить себя от смерти. Мысленно принялась за письмо: «Любимый, я всю мою жизнь, оказывается, сначала — летела к тебе, потом приземлилась и побежала к тебе, потом устала и пошла к тебе, потом обессилела и поползла к тебе, а теперь, на последнем вдохе, — тянусь к тебе лишь кончиками пальцев. Но где мне взять силы — преодолеть эту последнюю четверть дюйма?..»

Получалось красиво. Но, проливая самые чистые слезы, я отлично знала, что месяца через два-три потребую свои письма назад.

Не было защиты от смерти.

Звонок пробил меня гальваноразрядом. Звонил телефон.

— Ну? И чего же тебе там сказали? — передразнивая кого-то очень похожего на себя, с любопытством прохрипела Монечка.

Вмиг я стала ужом на сковороде. Тебе надо освободиться от избытка гормонов... Тебе надо заняться частичным восстановлением... главное, регулярно...

— Так ты зайдешь к нам завтра? — перебила Монечка. — Заходи, ладно? — И прогнусавила медленно, как разборчивая примадонна: — Знаешь, чего я тебя попрошу? — Было похоже, будто она канючит «вкусенькое» или зовет в уборную. — Знаешь? Угадай! — Зашлась в долгом кашле. — Эн-ци-клопедию! — проговорила она с комичной важностью. — Хочу про свою болеть все узнать. И картинки погляжу.

А у меня поутру отнялись ноги. То есть они оставались в порядке, и все остальное было как бы в порядке, но идти на работу я не могла. Исчезли силы встать. Руки были не в состоянии поправить одеяло.

Потом я кое-как села. Скрючившись, просидела на краю постели долго, долго, в самой неудобной позе. Тело словно застыло. То было смертное окоченение.

Врач не хотел давать больничный. Он вообще не понимал: рак у родственницы, а ходить не могу я. Какая связь? Потом, брезгливо взглянув, дал.

Я пролежала несколько дней.

...Я видела квартиру Гертруды Борисовны на Садовой — и там себя у стены коридора. В противоположной стене одинаковые двери обеих комнат были открыты. В каждой из них слева, от двери, было по одинаковому телевизору.

В одинаковых экранах синхронно проплывали одинаковые изображения. Перед каждым экраном спиной ко мне сидело по человеку. Левый телевизор смотрела Монечка. Правый, за перегородкой, ее отец. Они повторяли друг друга, каждый в своей комнате. А на кухне, замыкая треугольник, сидела Гертруда Борисовна. Был поздний вечер — один на всех.

К счастью, не все в этой жизни такие слабаки и задохлики: базовая жена Корнелия вступила в решающую схватку с очередной соперницей. Она присмотрелась как следует к своим картам, три раза взвесила, семь раз отмерила — и, вымев губки, грохнула по столу козырным тузом.

При ближайшем рассмотрении им оказался широкоплечий полковник. Да не тот, а другой! Россия богата полковниками, пушминой и лесом. Капиллярные связи базовой жены густой сетью проросли во все сферы. Сейчас нужен был полковник. Она достала. Вот этот-то новый полковник и согласился резать Раймонду. И все стало на свои места: Раймонда попала в Военно-медицинскую академию, Гертруда Борисовна освободилась от покойника, а базовая жена на время заполучила Корнелия — чинить ему амуницию и снаряжение для дальнейших походов.

Она же, став главным режиссером действия, взяла себе также функцию полевой почты, осуществляя связь между полковником и немобильной родительницей оперируемой. Полковник в своей депеше с прямою солдата уведомлял Гертруду Борисовну, что дочь не выдержит даже наркоза, о чем родительница подписала на своей кухне бумажку, добавив устно и совершенно неожиданно: «А если Бог захочет — так выдержит».

...Раймонда хвасталась, что ее укладывают в ба-ро-ка-ме-ру. Там насыщают кислородом. Туда помещают далеко не всех! Сознывая свое избранничество, Раймонда хихикала и кривлялась. Я спросила: как там лежит, в этой барокамере? Она сказала, что так-то, конечно, ничего, а скучновато. Голос у нее от барокамеры стал чуть потверже. Она прохрипела мечтательно:

— Вот если б одного из этих подложили!..— И кивнула на чернокожих курсантов в иноземной форме.

Я приносила ей послания от капитана и садовода. Почерк у них был, конечно, не очень,— разбирали всей палатой.

Но потом Раймонда пригорюнилась. Вспоминала Федю. Потом вспомнила Глеба и стала серой. Потом сказала:

— Зачем только мы с Рыбным разошлись? Сама не знаю. Сейчас бы лучше него никого и не надо. А выписалась бы отсюда — так и состарились бы вместе. Чего еще?..

Для меня это был показатель того, что она сдала окончательно.

Вторая жена Коли Рыбного, дама, напрочь лишенная иллюзий, аккуратная, цепкая и очень прижимистая, заявила, что в больницу к Раймонде Коля пойдет только через ее, второй жены, труп. Но Коля, к чести его, понял, кто из жен ближе к этому состоянию. На свидании с Раймондой он был очень ласков, то есть настолько, чтоб это не походило на последнюю ласку у смертного одра, и даже почти скрыл подавленность. Он подарил ей шкатулочку собственного изготовления. Шкатулочка была очень красивая, инкрустированная.

Ах, окажись Коля верующим, будь у нас в заводе христианские обычаи! Он бы тогда попросил у Раймонды прощения, и она бы простила — и попросила бы прощения у него, и он бы простил. А вместо того он насильственно улыбался, глупо шутил и, как если б сидел на колу, говорил не своим голосом — а дома в тот же вечер слег с гипертоническим кризом.

У него была красивая фигура. В шкатулочку Раймонда сложила письма от капитана и садовода. Бабы в палате завидовали. Медсестры тактично делали вид, что тоже глотают слюнки. Короче говоря, Раймонда и тут была королевой, так что соседки подавали ей судно с первого раза.

Мы с базовой женой пришли за день до операции. По сути, прощаться. Когда базовая отвернулась, Монька дернула меня за руку:

— Сбегай за папиросами.

Она, конечно, приняла мое возмущение охотно и даже за милую душу. Она моментально согласилась, что да, курить ей нельзя. Оживившись, она привела

поучительный пример: позавчера парнишке сменили один клапан, один, представляешь, а он затыкнулся — и приказал долго жить. Так ей же не для себя: она медсестру отблагодарить хочет.

Я взбеленилась: кого ты этим обманешь? И подумала: а и Бог с ней, уже не поправишь. Может, это последнее желание... Принесла.

Потом говорили о пустяках. Я пыталась отвлечь внимание Раймонды житейскими эпизодами с воли: кто что кому сказал, а тот ответил, а потом тот сказал, ну а этот, конечно, ответил. Открыв рот, она слушала с детской жадностью. Затем дала мне взамен свою игрушку: полковник-то оказался голубоглаз, светловолос — мамочки мои! — а сколько знал анекдотов...

...— Ну что? — деловито попытожила базовая жена, когда мы вышли на улицу.— Нос уже заострился.

...Она живет в избе-пятистенке. Сама — на хозяйской половине, за разгородкой — сестра-дурочка. Сестрица, дитя малое, день-деньской игрушечной железной дорогой балуется: знай куколок под паровозик подкладывает. Шум, гам! Ее половина — что сарай: веревки намыленные валяются, кровавые топоры, колья, крючья заржавелые повсюду раскиданы; на электрическом стульчике грузный ворон дрыхнет. Стены картинками из учебника судебной медицины оклеены: типы петель (мягкие, полумягкие, жесткие), отличия удушения от повешения, типы повешений и типы удушений; классификация странгуляционных борозд. На потолке — дифференциация входного и выходного отверстий пули. В красном углу — фотка Мерилин Монро (в гробу). На ковре настенном — пистолеты, шпаги, Лепаж стволы роковые. На старинном трюмо — разноцветные яды во флакончиках фигурных. Подойдет, стерва, нюхает — в зеркале зубки скалит. Куколки, паровозом члененные, пищат! Ворон проснется — каркает! Дым коромыслом, визготня!

А за разгородкой пустынно и тихо. Серый пол, голые стены, слюдяное оконце. Ласковая бабушка на единственном табурете покойно сложила поверх колен усталые руки. Она смотрит прямо и просто. Она спиной чувствует идущего по дороге.

Путник приближается. Обходит избу. Открывает дверь.

И видит глаза.

Операцию назначили на двадцать пятое декабря — один из кратчайших дней года.

Я гнала мысли о ней весь день. День оказался долгим.

Зачем они взялись ее потрошить? Показать студентам фантастические внутренности? Бесценная картина для поклонников материалистического постижения мира! Сейчас позвонят. Я задохнусь. Они скажут: «Раймонда...» — и прибавят к ее имени глагол совершенного вида. Сейчас позвонят. День тянется вечно. Они скажут: «Раймонда Арнольдовна...» — и пауза, рвущая кишки пауза!.. Нет, позвонят родичи. Скажут: «Наша Монежка...» А глагол, глагол?! Сейчас позвонят. Мы все избегаем этого глагола, мы заменяем его эвфемизмами... А вступления чего стоят! Сейчас позвонят. Вам следует собрать все ваше мужество. Мы вынуждены сообщить вам тяжелое известие. Пожалуйста, крепитесь. Возьмите себя в руки. Глагол?! Сейчас позвонят. Рядом с именем Монежки этот глагол невозможен.

...День начинался ночью и ночью заканчивался. Сейчас позвонят.

В этот день не позвонили.

* * *

...Очнулась? Где? Где она очнулась?..

Уходя, мы приходим; умерев, рождаемся; заснув, просыпаемся в новом пространстве; проснувшись, засыпаем в пространстве покинутом. Рождаясь, мы умираем в прошлой жизни — там нас оплакивают прошлые близкие, мы смутно догадываемся, что оставили себя там оплакать, что наши прошлые близкие там безутешны, но мы гоним прочь эти мысли, а ночью вновь исчезаем из данного звена многомерного светового промежутка, переходя в смежное звено бесконеч-

ной цепи превращений, и вновь нас оплакивают навсегда далекие близкие, а в новой жизни (да живы ли они, когда молчит телефон?..) новые близкие, обреченные к плачу, никогда не замечают подмены.

Она умерла в прошлой жизни. Там позвонили, сказали.

Бескрайние поля белых ромашек подхватили ее мягкими волнами — качали, унесли печали, повели... Ах, вечное блаженство!

Оденьте, оденьте меня кожей, попискивает душа, — дайте мне ручки-ножки, я на земле плясать хочу, — на что мне ваше блаженство. Да не перепутайте: ручки-ножки! А то, пробудившись камнем, тысячу лет станешь припоминать: а летал ли сойкой? Камень спит крепко, как камень, и видит каменные сны... Пока не поздно, пока я помню себя: верните мне мои ручки-ножки! Да они у тебя больные были, болели. Где болели? Ничего не болели. Не помню. Да чуточку и поболели — плывать. Верните! Верните! Верните!..

...На!!!

Вспыхнув метеоритом, сгорает душа, и уголь обрастает кожуркой, и зернышко насквозь прожигает землю и там, где люди растут вверх ногами — в наоборотном небе, — вновь восходит звездой. Ах, кружится голова!.. Природа, конечно, своими циклами терпеливо намекает на кабальную цепь бесконечности. Из нее не вырваться, шаг в сторону равносильно невозможному. Мы состоим на восемьдесят процентов из воды, тридцать процентов земного времени мы спим, то есть слепыми эмбрионами болтаемся во вселенских околоплодных водах и, прилежно проходя назначенные нам фазы, изображаем по кругу всех представителей земного мира. Мы спим; право на сон гарантировано нам Всеобщим Законом и обеспечено наличием подушек в магазинах «Товары в дорогу», а также нашим желанием сна.

Хлынул свет, и оркестр сыграл 1-й концерт П. И. Ч. для фортепиано с оркестром. Два ангела в расстерилизованных одеждах радостно матерились. Раймонда не разбирала их языка, она вообще ничего не слышала, но понимала вне слуха.

— Надо же! Никакого рака-то и не было! — говорил один ангел.

— Обыкновенный гнойник с голову ребенка! — вторил другой. — Эка невидаль!

Между ними невидимо возник некто Третий, который сказал: ловцам Истины с помощью вещного сачка я всегда буду подкладывать фальшивую карту. Вы, расщепители материи, вы, называтели новых игрушек, вы и на йоту не приближаетесь к Истине, ибо усилия ваши устремлены в противоположном направлении. Не Истина важна вам, но ярлык. Назвав, вы тешитесь, что познали. Разобрав часики, вы думаете, что поняли механизм Времени. Вскрыв сердце, вы уверены, что вскрыли Причину, так как сердце для вас — мышечный орган отчетливо механистического устройства, а другое вам не открыто. Гнойник, говорите вы? Назовем так...

Никто Его не услышал.

Десять часов Он пристально следил за стыковкой Судьбы — и Земного Образа. Операция прошла успешно. Сорокалетней Раймонде Арнольдшне Рыбной в день католического Рождества, о котором никто не вспомнил, руками главного ангела и его ассистента, усвоивших все знания, накопленные человечеством, были вшиты в сердце два искусственных клапана американского производства, а еще один, ее собственный, основательно подправлен.

Оркестр грянул туш. К трапу подкатили длинную ковровую дорожку. Раймонда занесла ногу над верхней ступенькой...

— Гертруда Борисовна, — сказала в телефонную трубку старшая сестра отделения реанимации, — почему вы не приходите навестить свою дочь? У нас рядом с ней лежит менее тяжелая больная, а ее мать специально приехала из другого города, она здесь ночует!

— Так, может, ей почевать больше негде, — бросила в сторону Гертруда Борисовна. — Не на вокзал же идти! — А в трубку пропела: — У меня моча сегодня шла цвета клубники со сливками.

Это было потом. А до того, очнувшись на каталке, Раймонда снова не догадалась, что в новой жизни ее снова не ждут.

Ангелы склонились над ней и нарочито громко задали свой материалистический вопрос:

— Раймонда Арнольдовна! — Впиваясь в зрачок, они жиденько похлопали ее по щекам. — Скажите нам, пожалуйста, какое сегодня число?

Раймонде суждено было сказать исторические слова.

И она их сказала:

— Принесите... пожалуйста... косметичку...

Только тогда я поняла ее настоящее имя.

Ее триумф начался тогда же и длился долго. На второй день она села и сделала начес. На третий — потихоньку прошмыгнула в туалет. На четвертый день, точнее ночь, прогулялась к подружкам на отделение и курила на лестнице. На пятый день, излучая торжественность и благодать, полковник сказал, что он разрешает ей осторожно садиться на койке, держась крепко за вожжики. Раймонда великодушно изобразила все, что хотел от нее полковник.

Через некоторое время он взял ее под руку и замедленно-пышным шагом, словно караульный Кремля, повел длинным-длинным коридором прямехонько до лифта. Он красиво пропустил Монечку вперед, и они поднялись на отделение. Там, не успев присесть на койку, Монька взяла карандаш для бровей и намалякала мне записку: «Принеси пожалуйста твое бархотное платье, помаду втон, ниметский бюссгальтер, твои сапоги на коблукe, комбенацию розовую, бусы или цэпочку». Слово «скорей» было, конечно, подчеркнуто дважды.

Ее демонстрировали на медицинских конференциях. Это было похоже на выступление факира с красивой ассистенткой. Факир вертел туда-сюда черные картинки рентгенологических обследований, разматывал белые ленты электрокардиограмм, выкликал магические числа анализов. «Где больная?» — начинали возбужденно кричать мужчины, сидящие в зале. (Там было больше мужчин, чем женщин, вообще много мужчин, и все они хотели видеть Раймонду.) «Больная здесь?» — кричали они.

И тогда факир делал жест рукой.

Ассистентка вставала и красиво скидывала бархатное платье.

Профессионально невосприимчивые эскулапы чувствовали себя немножко на стриптизе. Тело Раймонды было вызывающе не больничным. Даже если бы факир поместил ее в ящик, а потом распилил пополам, это было бы менее эффектно. Шов можно было обнаружить, только приподняв упругую грудь. Под занавес факир говорил, что дает гарантию на двадцать лет, а потом вошьет новые клапаны. Раймонда, под стать клапанам, улыбалась по-американски. А в зале между тем, о чем она не знала, побывали и врачи из больницы имени Нахимсона, те, что предлагали вскрытие (без предварительной стадии лечения). Короче говоря, справедливость торжествовала по всем направлениям.

...Гертруда Борисовна крепко села на телефон. Сначала она звонила знакомым:

— Мне будет плохо с сердцем! Мне и так достается — будь здоров! А что теперь будет — уже не знаю. Я в трамвае однажды видела женщину после такой операции! У нее в груди тикало, как часы! Громко! На весь вагон! Можете мне верить: тик-так!! тик-так!! Ой, мне стало плохо! Чувствую, сейчас упаду — и порядок! Пришлось вылезать!

Потом она звонила полковнику и говорила такие слова:

— Она же выйдет из больницы и сразу... станет замуж выходить! Я же ее знаю! А можно ли ей этим заниматься с ее сердцем?!

— Замужеством? — ехидно уточнял полковник. — Я подумаю.

Сознавая, что на первых порах ей придется перекантоваться у мамыши, и разумно предвидя известного рода трения, Раймонда перед выпиской еще раз зашмыгнула в кабинет полковника. Оттуда она вышла с листком, который бережно, на отлете, донесла до поста медсестры, там попросила папочку и листок в нее спрятала. Переступив порог мамашинной квартиры (та переехала на Манчестерскую), она, не раздеваясь, развязала папочку и протянула листок Гертруде Борисовне.

— Что это? Диета? — захохотала тетка, поднесла листок к окну и, далеко отведя руку, прочла:

«СПРАВКА

Выдана гр. Рыбной Р. А. в том, что 25.12.85 она перенесла операцию по частичному протезированию сердца. Выписана в удовлетворительном состоянии.

Рекомендована половая жизнь с учетом индивидуальной потребности.

Документ выдан для предъявления по месту требования.

Зав. отделением госпитальной хирургии
полковник Тарасюк В. Н. (подпись)»,

число, печать.

И Раймонда отправилась предъявлять документ по местам требования.

Сначала она вылетела в г. Ростов-на-Дону, где на белом-белом судне (ударение на первый слог!) ее ждал-поджидал белозубый капитан. Он устроил ужин с шампанским в ее честь! «Ты бы видела каюту: шик!» Сын поднес ей цветы!

Тем временем Третий Ангел вострубил, и люди услышали: Чернобыль. И третья часть вод сделалась польнью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки.

А Раймонда плыла себе и плыла: по Дону-батюшке, по Волго-Дону, по Волге-матушке, по Волго-Балту,— и ее воды были сладки. Под сладкое тиканье часов забывался на ее груди капитан...

В Ленинграде была пересадка: капитан отбыл в Ростов-на-Дону — жить с нелюбимой женой и растить любимых внуков, а Раймонда, в знак благодарности пригласив базовую жену Корнелия, поехала к садоводу — срывать сладкие, сладкие плоды.

За это время я, кое-как сопрягая «сердечную непосредственность» с правилами казенного слога, составила бумажку, в которой просила объявить полковнику благодарности, и отправила ее в учреждение со сверхъестественным адресом: Москва, Красная площадь...

Раймонда вернулась с причесочкой и загорелая; злая базовая жена тащила ведра черешни и абрикосов. Хотела бы с ним остаться? — спросила я Монечку.

— Да ну, жарко,— ответила она.— Не для моего здоровья климат.

Потом все же выяснилось, что на самом деле не пришлось для ее здоровья.

— Он уже старый,— тактично сформулировала Раймонда, морщась досадливо и с жалостью.

К мужчинам она была особенно сострадательна.

Новая жизнь! Не во всем, конечно, а новая. Раймонда по-старому влюблялась в новых мужчин. Операция не вернула ей паспортный возраст. Как это объяснить, я не знаю, а Раймонда, видно, не задумывалась. Она врала направо-налево, что ей двадцать пять. Действительно врала, ведь по новой дате рождения ей было меньше годика. Она без конца просила мое бархатное платье — «на концерт» (читай: в ресторан). И всякий раз какой-нибудь новый юноша, не старше двадцати, возвращал мне его на пятый этаж... Раймонде все же тяжело было подниматься, а что она говорила кавалерам — я не знаю. Наверное, уж что-нибудь да придумывала.

Но главным событием этого периода явилось второе пришествие ангела Феда. И, возможно, это был не прежний Федя из прежней жизни, а новый Федя из новой жизни. Кто может поручиться, что нет?

И они зажили как бы по-новому. Перелицованная жизнь имела тот же цвет, но чуть более яркий, еще не выгоревший оттенок.

Зимой они с ангелом даже вкусили загородного люксу. Моська не хотела, чтобы Федя заметил, как медленно поднимается она к себе на пятый этаж. И они поселились в хибарке ангеловых корешков. Обводный на месяц расцепил объятия, чтобы сомкнуть их навек.

Снег был белый, огонь в печке был яркий. В Новый год Раймонда подняла чайник с кипятком и опрокинула себе на ногу. От лютой муки она ухнулась в обморок. В травматологическом ей наложили мазь, и она заплакала. Ее стали стыдить, но оказалось, что мазь перепутали: не для заживления дали, а что-то для разъедания. Ясно, Раймонда рассказывала про это с удовольствием: всегда-то с ней происходило небывалое и опять она, черт возьми, была героиней дня! Они

так извинялись, ты бы видела!! А Федя, если бы ты знала, такие перевязки делает — будьте любезны! Лучше любого доктора, серьезно я тебе говорю!

Короче, все шло лучше некуда. Раймонда, это которая у тебя по счету шукура? Третья, что ли? А х... — пардон! — а черт его знает! — у Раймонды на щеках прелестные ямочки.

Федя стал постоянным ночным слушателем Монечкиных фирменных часиков. Но мне все равно казалось, что это не часики вовсе, а, может быть, бомба с часовым механизмом... Вот-вот взорвется! Ложись!.. Да ты, ты ложись, Монечка!

Куда там.

Она вскарабкивается ко мне на пятый этаж — и сразу:

— Как наша талия?..

Ворох новостей. Садовод прислал открытку. Да ты читай, читай, я специально притащила: «Любить тебя есть цель моя, забыть тебя не в силах я!» Ну сказано — застрелись! Слушай, ты же эту кофточку все равно не носишь?..

Раймонда сидит на диване, качает ногой в драном чулке, курит «Беломор» («Гертруде только не говори!») — и ссыпает в рот пригоршни каких-то лекарств. Вид у нее победный и хитрый.

— А я на работу устроилась!..

Как это? У Моньки — вторая группа инвалидности, нерабочая. То есть вскоре после операции стала рабочая — но не для бара же! А она, конечно, подалась в свой бар. Может, ей надо было себе доказать. А может, ничего она не доказывала, а захотелось — и пошла: целый день на ногах, дымина, гвалт, ну и рюмочка-другая, не без того, надо думать. За несколько месяцев довела себя до нерабочей группы. Где же сейчас работать?

Да не важно где. В одной конторе. Главное — как я устраивалась! Ты послушай! Это же а-нек-дот! Короче, на флюшку пошла, как на казнь: сразу же эту кастрюлю с ручками в нутре видать. Что делать? Ну, думаю, все, конец. Тут эта, которая ответы дает, отвернулась, я — р-раз! — вытащила себе из коробочки нормальный ответ: на «Р» взяла, чтоб похоже было. Не повезло какому-то Рындичу. Вторым номером программы — проверка этого, ну что там космонавтам проверяют? — вестибулярного аппарата. Мне по должности положено: оформить собрались монтажником хорошего разряда. Там такое, значит, кресло, тебя крутанут, крутанут, еще крутанут, потом встала, руки вперед — и пошла прямо-пряменько! Мать честная! А у меня только что кровь из вены брали натошак — думаю, я и без кресла сейчас шмякнусь. Тут же на моих глазах трех мужиков крутили: один зашатался, как зюзя, другой — брык! — и с катушек, даже носом пропахал, а третий говорит: нет, вы лучше уж так вытурите, не сяду. Короче, всех забраковали к едрене-фене. А мне врачиха после говорит: вас в космос надо, замечательный ваш аппарат! Я говорю: знаю, но мне пока не по должности. Ну, самое страшное — терапевт: он же трубкой слушает, заключение пишет! Я так подгадала, чтоб к самому концу приема влететь, ну вот чтобы три минуточки осталось! Влетаю. Он сидит — уже бутерброды наворачивает, а главное — нет, это просто Бог! — не наш сидит, а совершенно новый, первый раз меня изволит видеть. Разложила я перед ним все свои бумажечки, говорю: чего всухомыатку питаться, я бы вас борщом накормила! Ну, слово за слово — оченно мы, видно, им понравились! Подмахнул не глядя. Так что я теперь — слушай внимательно — экс-пе-ди-тор! Правильно сказала? Вот. На машине весь день катаюсь. Почти на личной. И шофер молодой, неженатый. Почти.

Ну, можно подумать, Раймонда, тебе прямо-таки износу нет! Все течет, а только ты одна не меняешься. Часики в твоей груди стучат ритмично и громко. За это времечко уже умерли: королевский пудель Патрик и твой бедный отец Арнольд Аронович. Он все же не вынес ампутации второй ноги. Давным-давно умерла первая жена Глеба. Вышла замуж твоя дочь. Родился: сын дочери, твой внук (!), Гертрудов правнук. Гертруда: переехала на 5-ю линию Васильевского острова. Корнелий: переместился на жилплощадь лучшей подруги базовой жены — продавщицы пива с лицом старого слесаря, растящей двух внуков.

Часики цокают-гарцуют на серебряных своих копытцах. Или это Господь Бог, держа веревочку неизвестной длины, знай себе стрижет маникюрными

ножничками: чик-чик, чик-чик... Скоро ли Конец Света, Господи? А вот ужю достригу — тогда. Он орудует ножничками филигранно и точно, с унижительной для жертвы безостановочной аккуратностью. А тебе, можно подумать, Раймонда, все износу нет! Да это не я говорю, это Господь Бог нервничает! Больно много дает он предлогов для фантазий наших неумных, избаловал: подумаешь! — цепи превращений, звезды, зерна, цикличность природы! А Он просто зайдет в комнату — и выключит свет. Именно в ту секунду-то и выключит, когда поверишь, что свет надолго.

Конечно, Он не мгновенно выключит. Ему же еще надо найти выключатель, протянуть руку... А пока Он этим отвлекся, ты еще много чего успеешь.

Ты еще взахлеб поживешь этой перелицованной — как новенькой — жизнью. Но фактура ткани, которая не шелк, не маркизет и не мадаполам, останется грубой, и ты изотрешь сердце в кровь. (Да как же и раньше не истерла?..) Ты будешь жить со своим уголовным ангелом на Обводном, будешь ревновать, и плакать, и давать соседкам бигуди, и одалживать им треху до утра, и бегать ночевать к мамаше в синяках семейного происхождения, и лепетать про мебель и общественный транспорт. И однажды твой ангел ударит тебя так сильно, что испугается сам и убежит, и, когда придут медики, ты будешь лежать неподвижно на полу в луже крови, но, еще не успев склониться к тебе, они различат ясный стук твоих упорных, жадных, слепых часов.

И вот тут-то Он выключит свет.

Неправда! Неправда! Прежде чем свет погаснет, ты еще будешь счастлива!

Ты еще будешь счастлива, потому что твой Федя поскандалит с соседями, подымет в запале их цветной телевизор, а потом разожмет руки, и за это его отвезут в Кресты, и ему замаячит три года, и ты будешь счастлива, потому что придешь ко мне и, сдавшись бессоннице, будешь рассказывать, как ты любишь его, какое у него нежное тело и пахнет ребенком, — а твое тело снова станет таким, как до операции, словно без операции, потому что гарантия была дана с расчетом на упорядоченный образ жизни, а ты такой не вела никогда, и ты будешь с молчаливым фанатизмом потрошить папиросы, папиросу за папиросой (десять пачек папирос), и высыпать табак в ситцевый мешочек, ведь в Кресты запрещено передавать иначе, и я вызову тебе две «скорые», «скорую» за «скорой», поскольку даже пригоршни лекарств, если запивать их водкой и слезами, не в силах подправить грубую ткань жизни, и твоя громадная печень снова будет разрывать незащищенный живот, а сердце, захлебываясь, взламывать жесткие ребра, — а ты будешь старательно расковыривать каждую папиросину — папиросу за папиросой — молча, упрямо, и делать это будет не так-то легко твоими коротенькими пальцами с обгрызенными до мяса ногтями, и, когда уедет вторая «скорая», ты проводишь из окна ее своими небесными глазами и поползешь в Кресты передавать табак, и ты будешь счастлива, потому что я подскажу тебе, что в случае регистрации брака с тобой ангел Федя скостит себе срок, ибо тогда по документам у него окажется на руках неработоспособная жена-инвалид, которую надо кормить, и ты придешь ко мне вскоре с невысказанной прической и загадочным видом и тут же выпалишь, что вас по-же-ни-ли! — да-да! все было как в настоящем загсе, и женщины в длинном платье спрашивала согласия жениха, невесты, поздравляла — вот кольцо! — а Федя был в белой рубашечке, чин-чином, и его теперь выпускают через три месяца, а твоя фамилия теперь — Иванова!

...И потом, уже потом, когда я увижу тебя в гробу, то есть когда я тебя в гробу не увижу, потому что эта страшная кукла с инородной гримасой непереносимого страдания, с тем настоящим возрастом мертвой плоти, который только в гробу и посмеет проступить, который вылезет вместе с грубыми следами разложения (замазанными кое-как опереточным гримом), — этот безобразный распухший труп, изуродованный майской жарой и небрежностью администрации морга, этот всем чужой, попорченный, фальшивый фантом, словно для варварского обряда принаряженный в твою одежду, чтобы ловчее собезьяничать твою оболочку, настольно не будет иметь к тебе никакого отношения, что я спокойно и глубоко вдохну из распахнутого в небе окна, куда радостно отлетела твоя навсегда свободная душа, и торжествующая, рвущая сердце радость подхватит меня на гребне светлой и сильной волны.

Что может быть точнее — «...воскресе из мертвых, смертью смерть поправ». Ну а если не «воскресе»? То есть если не для всех воскресение очевидно, если не для всех оно отчетливо и неприкрыто? Тогда скажем так: умерев, мы попираем смерть. Умерев, мы рождаемся без промежутка. День смерти и день рождения считать одним днем.

...И наоборот?

Конечно. Но, пока еще длится день, мне надо успеть.

Я расскажу, как твоя мать, конечно же не пошедшая на похороны, будет на поминках красиво делать большие глаза и занимать гостей страшными рассказами про твоего ангела Федю («Его блатная кличка — Суровый, нет-нет, Свирепый! Можете мне верить!!») и как она, отменная хозяйка, еще будет успевать при этом окидывать взором длинный поминальный стол — ничто не ускользнет от ее домовитого внимания — и строго, чтобы все гости слышали, будет обращаться на дальний конец, к твоей дочери: «Ты сегодня брала что-нибудь в рот?! Обязательно возьми что-нибудь в рот!!» «А вы, а вы, Гертруда Борисовна?» — с нарочитым участием подхватят гости; «Ну что вы, — траурно опустит глаза тетка. — Разве я могу проглотить хоть каплю? Изжога, отрыжка, запор»; и как сюда, на поминки, вдруг придет Глеб — точнее, его приведут, потому что он будет уже совершенно слепой, а до того он станет искать тебя в крематории, но не найдет, потому что в слепоте своей будет всех спрашивать Рыбную, ничего не зная про Иванову, и он будет шарить руками по стенам холодного зала, и горько плакать, и не найдет тебя все равно, и узнает по справочному адресу твоей матери (она будет жить уже возле Мариинского театра), и в прихожей протянет ей розы, сделанные будто из розового воска, и сунет сто рублей, а вокруг будут толкаться наевшиеся люди, и Глеб бодро-бодро повторит: «Теперь мы все будем держать связь через Гертруду Борисовну! Через Гертруду Борисовну!..» — глядя куда-то вверх с просветленной улыбкой слепого, но дальше прихожей не двинется, и его уведут (какой-то мальчик), а Коля Рыбный, глядя ему вслед, захочет скрыть невыносимую жалость — и не сможет; и тогда я пойду на кухню и увижу, как моя глупая, бедная тетка сидит одна-одинешенька и с аппетитом поедает куриную ножку.

А до того, еще в крематории, какие-то две женщины в черных косынках, переминаясь в тошнотворном ожидании процедуры (ожидание будет затягиваться, и Корнелий снова побежит пихать кому-то деньги и, с матерком, будет внятно подсчитывать убытки, а базовая жена подчеркнуто по-семейному будет вручать ему таблетки и отирать пот с его лба), — до того две незнакомые мне женщины будут тихо вести разговор.

— Никогда я не видела этого Федю, — скажет одна. — А жаль, Монежка все в больнице говорила: «Нина Петровна, это же вылитый, вылитый Аллен Делон!»

Служащие в черном выведут из дверей ритуального зала бьющуюся в истерике женщину, старик уронит венок, послышатся голоса: «Теперь наша, наша очередь!», «Выбрали, идиоты, зал — возле самой уборной!»

— А я к ней приходила уже за день до всего, — скажет другая, — она лежала уже такая худая, ничего не ела, а я ей говорю: «Монежка, съешь хоть ложечку! За папу, за маму!» А она мне говорит: «Нет, Вера Сергеевна, я за папу, за маму не буду. А вот за Феденьку — съем!» — и подмигнула так...

Но еще до того ты будешь ждать меня за чугунной оградой грязного больничного двора — худая, в каком-то сиротском пальто, похожая на подростка-детдомовца, и, как только я увижу тебя (а ты еще не успеешь меня увидеть), я сразу пойму, что буду помнить это всегда: ограду, тебя за оградой. И потом ты попросишь меня перелезть к тебе, а я не перелезу.

И мы будем разговаривать, разделенные оградой, и ворота будут на замке. Ты станешь, конечно, хвастаться, что, когда гуляешь с внуком, мужчины говорят ему: «Как ты на мамочку свою красивую похож!» — а потом, когда ты отвечаешь им, что не мамочка, они долго не могут понять кто.

А до того, до того я уже буду знать, что закину впервые свой невод — и придет он с морской травой, а закину второй раз свой невод — и придет он лишь с тинной морскою, а третий раз закину я невод — и зачерпну только голого неба, а твоя душа, навеки свободная, хрустально смеющаяся надо мной душа, ускользнет, ускользнет — и так будет ускользать всегда, сколько ни изощрена

и мелкочейста будет моя сеть. И я буду знать, что сначала отчаюсь, а потом обрадуюсь.

Я буду знать наперед, что в долгие часы, когда неожиданная чернота станет наваливаться, погребая меня заживо, а в глотку будут заколачивать камень, я не смогу отогнать ясной мысли, что ты хочешь стать телом.

Конечно, ты невесомо танцуешь там, в полях белых ромашек. Но кто ты — без тела?! На что тебе это вечное блаженство? Я вижу голодного ребенка, который через стекло лижет кусок хлеба в витрине — и плачет, плачет... Ты просишь сиротливо: хоть на минуточку... Ручки-ножки... За что тебя так быстро увели с этого детского праздника, где цвел запах мандариновых корок?

И я с ужасом пойму, что тебе ни к чему, ни к чему стерильное блаженство стерильных полей. Твоя неуловимая для меня душа неотрывно стоит у небесного окошка и жалобно смотрит на землю... Да и кто же ты без тела, в конце концов?! У души нет даже крохотных обкусанных ногтей, которые можно было бы обкусать еще и ярко намазать лаком! Боже мой, я всегда буду чувствовать, как ты молишь себе вещную оболочку: хоть на минуточку... ручки-ножки...

И тогда я скажу тебе: на что тебе эта живодерня! не устало ли твое детское сердце в этой морилке?!

И мне легко будет говорить эти слова, потому что для меня они будут правдой. Но не для тебя! И я буду себя чувствовать не вправе занимающей место и тело. У тебя ли я их украла?

Отчего же каждая минута жизни дается мне с таким трудом? Отчего я дышу с таким сопротивлением, ни один вдох не дается бесплатно, и мне так скучно жить? А дальше, я знаю, будет еще скучней. Твою ли жизнь я живу, сестра?

И зазвонит телефон.

— Приветик! — скажешь ты.— Читала, что мой обожатель пишет? «Не спеши, нам еще рано нюхать корни сирени!» Будь здоров сказано!

И, не видя тебя, я отчетливо увижу, что ты улыбаешься, улыбаешься — конечно, улыбаешься.

Ленинград.



ВЛАДИМИР ЛОБАС

*

ЖЕЛТЫЕ КОРОЛИ

Записки нью-йоркского таксиста

Часть четвертая

КАК Я СТАЛ НАСТОЯЩИМ КЭББИ

Глава 11. САМОЕ ЯРКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

А телефон звонил и звонил. Едва я только слышал его, дисциплинированное мое сознание тотчас же отдало телу команду: встать! — но тело не подчинилось. То тяжелое, чем наполнялись, пока я лежал, мышцы плеч и спины, было свинцовое изнеможение вчерашнего двадцатидвухчасового рабочего дня. Вчера мне казалось, что эти часы пролетели совсем незаметно, а усталости я, пока крутил баранку, и в самом деле не ощущал. Сейчас, однако, не мог пошевелить ни рукой, ни ногой.

Телефон между тем умолк. Человек свободный, никем не понукаемый, я мог валяться на диване сколько мне заблагорассудится. Мог вообще не поехать на работу, устроить себе внеочередное воскресенье. Я так и решил: сегодня — день отдыха. Заслуженного и необходимого. Единственное, что я должен сделать, это переставить чекер на другую сторону улицы. Иначе в восемь часов его ветровое стекло украсит штрафной талон. Допустить этого никак нельзя, и, стало быть, нужно все-таки подняться.

Первым делом я выглянул в окно. Чекер не угнали: желтый его капот высовывался из-за здоровенного мусорного бака, возле которого я на рассвете поставил свой кэб, поближе к входу в дом.

На кухонном столе — придавленная сахарницей пачечка влажных зеленых бумажек. Деньги на видном месте положены с умыслом: чтоб жена и сын, прежде чем уйти утром из дому, пересчитали бы их и узнали о моем — сто семьдесят семь долларов! — рекорде. Однако же пачечка моя вроде бы выглядит похудевшей. Со вздохом извлек я из-под сахарницы деньги, пересчитал и вздохнул еще раз: сто пятьдесят четыре. Значит, двадцатку взяла жена, а три доллара — сын.

Я знал, что жена бережет мои таксистские деньги, что она до сих пор носит привезенное из Союза пальто. Что мотовство сына пока ограничивается лишним куском пиццы, билетом в кино. Мне не в чем было упрекнуть своих иждивенцев, но денег все-таки было жалко.

Вспомнил я и о повестке в уголовный суд. Нет, я ее не порвал и не выбросил, трезво рассудив, что утро вечера мудренее. И теперь, разыскав изжеванную, сырую бумажку, снял с полки англо-русский словарь и принялся за поиски неразборчиво вписанного термина, определявшего состав моего «преступления». «S», с трудом разбирал я каракули полицейского, «о», потом вроде бы «l». Вскоре я убедился, что слова, начинающегося на «Sol», с окончанием «ing», в словаре нет, но в конце концов отыскал глагол, основа которого совпадала по орфографии со словом в повестке. Однако же смысловые значения этого глагола никак не вязались со вчерашним происшествием: выпрашивать подаяние; приставать к мужчинам («Ее обвиняли в том, что она приставала к мужчинам на улице»); подстрекать население к бунту...

Да ведь это просто потрясающе! — обрадовался я прочитанному. И так здорово, что не выбросил сгоряча шовестку. Нет, я непременно приду в суд в назначенное время! (Мне даже досадно стало, что разбирательство состоится аж через месяц.) В отглаженном костюме, в начищенной до блеска обуви я войду в зал заседаний и, обуздав благородное негодование, бесстрастным тоном расскажу подробно о том, что в действительности произошло, а закончив, в упор спрошу полисмена: «Так в чем же все-таки вы меня обвиняете? В том, что я «выпрашивал подаяния». Или в том, что я «подстрекал население к бунту»? О, это будет та еще сцена! И если кому-то и вправду следует не на шутку опасаться предстоящего суда, так уж, наверное, этому болвану в полицейской форме!

Шаркая по полу чужими, чугунными ногами, я добрался до ванной. Чужая, вспухшая будто от пьянства физиономия с красными глазами глянула из зеркала. Нужно было хоть как-то умыться, но донести пригоршню воды до лица я не мог: левая рука дрожала.

Опять грянул телефон.

— Извини, что разбудила,— сказала жена.

— Ты меня не разбудила, я уже встал.

— Ты не забыл, что нужно переставить машину? Я звоню уже второй раз.

— Я был в ванной,— сказал я.

— Ты отдаешь себе отчет в том, когда ты вернулся домой? — Жена старалась, чтоб в ее упреке не прозвучала нотка раздражения.— Я же чуть с ума не сошла.

— Так получилось,— сказал я, натягивая непросохшие джинсы.

— Пожалуйста, не вздумай сегодня работать,— попросила жена.

Меньше всего горел я сейчас желанием вкалывать. Однако в том, что жена взяла из привезенных накануне денег двадцать долларов, а теперь уговаривала меня отдохнуть, побыть дома, было какое-то противоречие. Я сунул ключи в карман и захлопнул входную дверь.

Из оставшихся ста пятидесяти четырех долларов около двадцати уйдет на заправку, думал я под жужжание лифта. Шестьдесят два пятьдесят принадлежит хозяйке. Но если устроить сегодня выходной, этот долг удвоится. За то, что чекер целый день простоит под окном, мне придется уплатить деньгами, которые я привез домой накануне. Если пойти на это, получится, что за двадцать два часа я заработал девять долларов!

Я был совершенно свободным человеком, хозяином самому себе. Но какой хозяин мог бы заставить меня, не спавшего ни минуты, снова сесть за руль?! Впрочем, я и не собирался выкинуть сейчас такой номер. Я решил поступить р а з у м н о : переставлю машину, вернусь, выкупаюсь, подремлю, а где-то после полудня...

Прокуренные легкие с наслаждением втягивали живительный после дождя воздух. Я обошел мусорный бак, и по сердцу словно полоснули ножом: треугольное, меньшее из стекол водительской дверцы было разбито, сама дверца, конечно же, открыта, а распакнутая крышка багажника раскачивалась на ветру, чуть позванивая вырванным с мясом и повисшим на изогнутой заклепке замком. Деловому автомобильному вору недосуг было возиться с отмычками под дождем. Он открыл машину по-быстрому — молотком и зубилом! — и украл (это вам не шалун подросток) новенькое запасное колесо, домкрат, новенькие кабели, фонарик. Багажник был пуст, на дне его стояла вода.

Как ни горька была моя печаль, но главное еще предстояло выяснить: украден ли счетчик? Стоивший, по словам хозяйки, четыреста с лишним монет, электронный счетчик я почему-то не оставлял в багажнике, как это делают многие таксисты, а уносил домой или же, как вчера, завернув в тряпку, прятал под сиденье. «Никогда! Больше никогда не оставляю я в кэбе счетчик!» — поклялся я и, царапая ладонь об осколки, ринулся искать его под сиденьем и тотчас убедился, что вор заглянул и сюда. Исчезли из-под сиденья и монетница с мелочью, и блок сигарет, и даже бумажный пакетик с двумя бутылочками кока-колы; однако же — наперекор худшим моим предчувствиям — завернутый в тряпку счетчик обнаружился в том самом месте, где я его и оставил. Провидение все-таки сжалилось надо мной в окаянное это утро; но как ни крути, как ни верти, а вчерашних денег не хватало на то, чтобы и стекло вставить, и оснастить багажник новым замком, новой запаской и новым домкратом.

Поскольку рассчитывать на сочувствие хозяйки не приходилось, я тут же решил, что не стану докладывать ей о случившемся, а сэкономлю, сколько уж удастся, и куплю вместо новой запаски подержанную и подержанный домкрат. В багажник хозяйка не заглядывает.

Всецело, казалось бы, поглощенный этими размышлениями, не забыл я, однако, о том, что за спящей у меня — двадцатидвухчасовая смена да бессонное утро. Начинать

рабочий день не отдохнув было нельзя. И, подвывая крышку багажника обрывком шпагата, положил я себе не отступать от намеченного плана: переставить кэб, возвратиться домой, позавтракать, подремать.

Именно с таким намерением я и объехал вокруг своего квартала, вокруг соседнего, а поставить машину было негде. Еще один квартал, еще. Даже если я и найду теперь место для чекера, у меня все равно нет сил тащиться пешком домой почти целую милю. Я закурил, выдохнул вместе с дымом ядреное словцо — и двинул на ведущее в Манхеттен шоссе!

Помните, читатель, сценку, с которой начинались мои записки? Как приехавший в Нью-Йорк путешественник, выйдя утром из отеля, никак не может сесть в такси, хотя у подъезда их выстроилась целая очередь. Как в ответ на просьбы страждущего ему хамят отлынивающие от работы таксисты. Тогда я признался, что одним из хамов был я. Хотя вы из деликатности и не решаетесь мне задать вопрос, но я знаю, что вам, конечно же, интересно, какой именно из ленивых жлобов был я. Тот ли, что, подпирая стенку, дерзил? Или, может, какой-нибудь из картежников? Или тот, что промчался мимо отеля, не остановившись на свисток швейцара и сделав малопримечательный жест, означающий «на-кася выкуси»?

Хоть и мало радости в том признаваться, но случалось мне оказываться на месте каждого из описанных хамов. Только в карты я не играл, а все остальное бывало. Если утром я стоял под отелем и меня спрашивали: «Вы свободны?» — я отвечал, что еще не начинал работать. Если это происходило днем, я говорил, что у меня перерыв; вечером — что уже кончил работать. Если же возле моего кэба появлялся, скажем, инвалид на костылях и мне становилось стыдно, то я уж, конечно, старался его не обидеть: открывал капот и врал, что кэб поломался.

И люди верили?

Да ведь я заботился не о том, чтобы они мне поверили, а лишь о том, чтобы отвязались! И потому, когда ко мне подходил обычный человек, то есть такой, который, возмущаясь в душе моим поведением, этого не показывал, голоса не повышал, а по-людски просил: «Пожалуйста, отвезите меня на вокзал. Я на поезд опаздываю», — я отвечал: «Это в а ш а з а б о т а».

Но неужто руки бы у тебя отвалились, если бы ты отвез инвалида или пассажира, опаздывающего к поезду? Да как вам сказать. Руки, разумеется, не отвалились бы, но ведь я потерял бы свое место в очереди аэропортчиков, в которой простоял час или больше.

А зачем хамил? Да затем, что в ответ на грубость вежливый человек, как правило, повернется и уйдет...

Стояние под отелем — тяжелая нервотрепка. В любую минуту может вынырнуть из-за угла синий «додж» с инспекторами Комиссии такси и лимузинов. Увидят они знакомую картину: желтую очередь, в голове которой люди размахивают руками, подзывая такси, — и пожалуйста бриться. Водители первых двух кэбов получают штраф по сто долларов¹.

Но позволь, позволь, кэбби! Главное-то все равно непонятно: за каким лешим торчал ты под отелями, а не работал по городу, подбирая всех подряд, как положено честному таксисту? Сколько водитель, который честно трубил по улицам, зарабатывал в час?

Десять долларов².

А сколько ты получал за ходку в Ла-Гвардию?

Десять долларов.

Так какой же смысл мухлевать? Ты ведь обычно битый час только до ж и д а л с я пассажира в Ла-Гвардию. Неужели же ты не понимал, что понапрасну растрачиваешь время?

Еще бы не понимал! Терзался, с ума сходил. Но вы поставьте себя на мое место. Даже после не двадцати двух и не восемнадцати, а всего-то, смешно сказать, после каких-нибудь шестнадцати часов накануне если я кое-как еще добирался до Манхеттена, то откуда мне было взять силы, чтобы ползти в заторах? Пробираться на перекрестках сквозь обтекающую кэб толпу?

Если вы, живя в Нью-Йорке, регулярно пользуетесь своей машиной, то, наверно,

¹ По нынешним правилам за отказ от работы таксист платит штраф двести пятьдесят долларов.

² Имеется в виду — при старых тарифах десять центов за каждую одну шестую мили.

ведь и недели не проходит без того, чтоб, когда вы останавливаетесь на красный свет, подкативший сзади желтый кэб не толкнул бы бампер вашего автомобиля своим. Глаза повывлазили, что ли, у остолопа? Представьте себе, это именно так. Точнее не скажешь. Смотрит кэбби вперед своим мутным взглядом и красный свет еще видит, а вашу машину — нет.

Сколько раз, безуспешно прождав под отелем — часа два! — пассажира в аэропорт, я рвался работать по городу, но останавливал сам себя: нельзя! Будет несчастье. Разобью чекер. Задавлю пешехода...

На протяжении всего рабочего дня каждый кэбби только и думает что о деньгах, однако поведение его определяет не только желание заработать побольше, но еще и степень усталости: соотношение часов отдыха и часов, проведенных за рулем.

Зарабатывая в среднем по девять-десять долларов в час, мы, чтобы свести концы с концами, должны были делать за день сотнягу чистыми. Деньги эти любой кэбби мог заработать за одиннадцать часов, а тринадцать часов отдыхать. Поужинать вместе с семьей, посмотреть телевизор, выспаться. Работа в такси ведь не только простая, но и легкая. Даже при соотношении часов отдыха и труда двенадцать к двенадцати кэбби на следующий день вполне работоспособен. Он не станет шакалить под отелем. Что он — враг самому себе? Зачем ему снижать свой среднечасовой заработок?

Но много ли нужно, чтоб выбиться из графика двенадцать к двенадцати? Заскочил таксист в мастерскую масло сменить, спросил механиков: сколько придется ждать? Говорят: минут сорок. А ждать приходится часа полтора. Казалось бы, что за беда! Ну придется разок поработать подольше, подумаешь!..

С трудом поднимется на следующее утро кэбби, но прохладиться под отелем себе не позволит. Он не враг самому себе. Он не хочет снижать свой среднечасовой заработок. Он будет вертеться по городу как бес и, несмотря на то, что устал и не отдохнул, сто пятнадцать долларов «грязными» (то есть до заправки) сделает за двенадцать часов, не останавливаясь ни на минуту, сжевав на ходу всухомятку свой бутерброд и (невелик пан!) тридцать раз включив счетчик, тридцать раз отсчитав сдачу, тридцать раз сказав «спасибо» — за каждый квотер чаевых. Но теперь и при соотношении двенадцать к двенадцати, которое трудяге удалось-таки выровнять, не будет у кэбби сил на следующее утро. Потому что степень усталости определяет не только количество проведенных за баранкой часов, но еще и второй, не менее важный фактор — число п о с а д о к.

Вот что такое одна посадка.

— Универмаг «Мэйси»!

Находимся мы, допустим, на углу Второй авеню и Шестьдесят третьей улицы, и ничего нет проще, чем из этой точки проехать к пересечению Тридцать четвертой улицы с Америка-авеню, где расположен знаменитый магазин. Кати себе, кэбби, прямехонько, потом повернешь направо — и дело в шляпе. Но в том-то и загвоздка, что ехать прямо по Второй авеню нельзя! То есть если хочется, то пожалуйста, запретительных знаков на этой магистрали нет. Однако, проскакав резво метров триста, кэб наткнется на поперечный поток машин, вливающийся с моста Квинсборо в Манхеттен. Так будет утром. А поближе к вечеру застрянет кэб перед въездом в туннель, соединяющий центр города с Квинсом.

Оптимальность любого маршрута в Манхеттене меняется на протяжении дня несколько раз: утренние заторы, послеобеденные и предвечерние возникают в разных зонах; да учтите еще, что скопление машин нарастает от понедельника к пятнице. Ну и что в том особенного? В любом бизнесе свои сложности. Согласен. Но обо всех подводных камнях направляющийся в универмаг «Мэйси» водитель должен вспомнить в течение считанных секунд. И в те же секунды не имеет права упустить:

что с широченных Пятьдесят седьмой и Сорок второй улиц поворот на Пятую и Седьмую авеню — запрещен;

что Пятьдесят пятая улица тоже исключается: там лопнула канализационная труба, взорван асфальт мостовой;

и что на Пятьдесят третьей улице тоже пробка — из-за машин, направляющихся к отелям «Хилтон» и «Шератон».

Мало того: в те самые секунды, когда таксист мысленно прокладывает маршрут, наперерез его машине сломя голову перебегает дорогу подросток. Нужно притормозить!

А слева угрожающе — сейчас зацепит! — приблизилась машина мусоросборщика. Нужно вильнуть рулем!

А пассажир просит:

— Пожалуйста, прикройте окно — дует.

Или:

— Пожалуйста, приглушите чуть-чуть радио.

С ясной улыбкой откликнется на просьбу клиента кэбби, все рассчитавший, тормознувший, вильнувший, и в конце поездки, получив сверх двух пятидесяти пяти по счетчику еще и сорок пять центов на чай, будет, что называется, премного доволен, ибо останется ему всего лишь еще тридцать девять раз проделать подобную, то есть совсем нехитрую операцию — и таксистский день будет сделан. Но вот если кэбби ошибется... Нет, не хватается за сердце: я не имею в виду тот момент, когда дорогу перебежал подросток. И не намекает, что кэб могла искалечить мусоросборочная машина. Однако же если ошибка таксиста, всего-то-навсего угодившего в пробку, будет стоить ему минут девять или, скажем, тринадцать, то на исходе такого неудачного часа кэбби с грустью вздохнет: что-то маловато я за этот час заработал.

И если на протяжении двенадцатичасовой смены еще два-три раза таксист попадет в затор по своей вине, да раз-другой из-за строптивного клиента («А я вам говорю — поезжайте п р я м о!»), да случится кого-то из пассажиров подождать, да совсем недолго пошарить по улицам в поисках очередной работы, да потерять четверть часика в очереди у автовокзала, — то в конце подобного дня кэбби уже не вздохнет коротко, а — выскажется! В том духе, что мать вашу так-перетак: я сегодня бабки не сделал! И черт разберет — почему?! Я же вкалывал как проклятый!

Если посадок за день было у таксиста всего, скажем, пятнадцать или шестнадцать: все больше «дальнобойные» рейсы, и чуть ли не треть времени водитель провел на шоссе, — это, считайте, баловство, а не работа! Если же счетчик пришлось включить раз двадцать пять, крепко умается кэбби. Если сорок, на карачках будет ползти от машины до лифта. Если же пятьдесят — нужно обладать недюжинной силой воли, чтоб, вернувшись домой, заставить себя ополоснуть лицо.

А если в течение дня тебе не везло? Если ты застрял в мастерской? Если не везло всем — выдался мертвый день? Если сломался счетчик? Если пришлось заменить рулевую тягу или запаять радиатор, и ты влетел, ну, пусть даже не на сто, а всего на пятьдесят долларов? (Механики, они ведь такие: чихнет — и гони полтинник!) Ну, что тогда делать?

А надо — взять себя в руки и не только сегодня, но и завтра немножко, пару часиков, переработать. Пару часиков недоспать.

Теперь соотношение часов отдыха и труда, за которым таксист не следит (потому что счет приучился вести только долларам), обернется против него, и назавтра менее проворно будет вертеться по городу кэбби, будет чаще ошибаться при выборе маршрута, и чуть медленней будут капать квотеры чаевых, потому что не каждому пассажиру он улыбнется, не каждую мелкую просьбу исполнит с готовностью и свой минимум, без которого нельзя возвращаться домой, сделает он уже не за двенадцать, а за тринадцать часов, а на сумму, покрывающую ремонт, уйдет у него не два, а три часа. И соотношение станет шестнадцать к восьми.

Покрутив шестнадцать часов баранку, вывернется кэбби на издерганную, высматривавшую его в окошко жену («Не по бабам я таскался! Не нужен мне твой ужин!»), выпьет баночку пива, если найдет в холодильнике, и, пропитанный потом, завалится спать... И если наутро какая-нибудь старушонка справедливо укажет ему, что не там, где следовало, он повернул, что она хорошо понимает, зачем он так сделал, вдруг почувствует кэбби, что трясутся у него от бешенства руки, наливается кровью лицо, и, останавливаясь посреди дороги, не узнавая своего голоса, заорет — на кого? на беспомощную женщину: «Убирайся вон из моей машины! Никуда я тебя не повезу!..»

Каких только грубостей не слышат бедные пассажиры от таксистов! Иной сгоряча и номер запишет, и пригрозит жалобой, но потом остынет и жаловаться не станет. Даже не понимая причин хамского поведения кэбби, пожалеет его, простит.

А сколько терпят таксисты от пассажиров! И жалуются только друг дружке.

Мы все много лучше, чем нам самим кажется. Сентенция с двойным сиропом? Что ж, скептиков мы — статистикой! Хоть и домашней, но увесистой.

За семь лет, что я проработал в такси, в кэбе моем побывало примерно сто тысяч человек. Минимум такое же число людей я отказался взять — и когда намертво стоял под отелом, и когда шастал по улицам со включенным сигналом «не работаю». Я не брал

клиентов без чемоданов. Не брал черных. Не брал подростков. Не брал ортодоксальных евреев (гарантированный Бруклин). Многие из этих людей видели, что я их обманываю: сказал черному, что не работаю, и тут же взял белого. Сказал, что машина сломалась, — и схватил чемодан. Хотя бы один из ста обиженных записывал мой номер — я много раз видел это. И много раз сам, бравирюя, давал карандаш — пиши! А сколько человек пожаловались на меня по этому поводу? Ни один.

Из ста тысяч клиентов, воспользовавшихся моими услугами, хоть с одним из ты счи я поскандалил. По разным поводам. Будучи и правым и неправым. И отказывался везти. И выбрасывал из багажника чемоданы. До драки не доходило, но оскорбления с обеих сторон сыпались самые-самые. И опять-таки люди записывали мой номер. Сколько же из этих официально заявили свою жалобу? Лишь один³.

Если спросить меня, какое самое яркое впечатление вынес я из тех лет, что проработал в такси, обменявшись двумя-тремя словами почти с каждым из ста тысяч моих пассажиров, я скажу не задумываясь: самое яркое мое впечатление — это бесконечность человеческой доброты.

Глава 12. ДРУЖБА ЗА ДОЛЛАР

Впрочем, в предстоящей главе речь пойдет совсем не о человеческой доброте. Это глава о друзьях и врагах выбившегося из сил кэбби — о швейцарах нью-йоркских отелей.

В то ли именно утро, что последовало за моим «рекордом» и взломом багажника, или в какое другое, когда в моих мускулах, как и в мускулах каждого кэбби, стала все гуще накапливаться непроходящая усталость (как накапливается пыль под диваном, куда не добирается нерадивая щетка), когда не только засыпая, но и просыпаясь я чувствовал себя разбитым, произошел один жутковатый случай, после которого я стал мечтать: какое несказанное это было бы счастье, если бы мне удалось подружиться хоть с каким-нибудь швейцаром!

А случилось следующее. Смурной от хронического переутомления, пропитанный запахом бензина, вез я по Парк-авеню некую женщину с мальчиком лет пяти, непоседливая попка которого все никак не находила себе места ни рядом с мамой, ни у мамы на руках, ни на приставном стульчике. В конце концов он решил, что в кэбе лучше всего стоять, уцепившись ручонками за нижний рельс, по которому ходит отделяющая водителя от пассажиров перегородка, — толстое стекло ее было сейчас открыто.

Прилипший к жезленным никотиновой кислотой деснам язык мой не поворачивался выговорить мамаше, что сынишку надо усадить, что, не дай Бог, мне придется неожиданно тормознуть, что пацанчик может удариться. Вместо того чтобы поучать пассажирку, я вел кэб осторожно, поглядывая на мальчика в зеркало заднего обзора. Ну для чего мне было учить эту мамашу, если я видел ее в первый и последний раз в своей жизни, по которой нам вместе выпало проехать от здания «Пан-Ам» до Семьдесят второй улицы?

Но пассажирка моя придерживалась иных правил. Если ей что-то не нравилось, она не считала нужным это скрывать. По крайней мере от шофера такси.

— Почему вы остановились на желтый свет? — с раздражением спросила она.

Я мог бы объяснить ей, что Парк-авеню — одна из самых опасных магистралей в городе. Что здесь нельзя проскакать на желтый. Что я своими глазами видел именно тут... Но я промолчал: нам оставалось еще десять кварталов.

Светофоры на Парк-авеню переключаются с интервалом, который при допустимой в городе скорости позволяет водителю пересечь примерно пять улиц. Если будешь спешить, проскочишь и шестую. Я же ехал помедленней, следя за мальчишкой, миновал всего четыре перекрестка и снова остановился на желтый. На этот раз мамашу прямо-таки передернуло от моего мелкого «жульничества».

— Думаешь, я не понимаю, зачем ты это делаешь? — сказала она.

— Ну зачем? — недобро спросил я.

— Затем, что, пока ты стоишь, счетчик работает!

Она подразумевала, что я нарочно затягиваю время поездки, чтобы вырвать у нее лишние десять центов.

³ Чтобы предупредить все возможные сомнения по данному поводу (откуда нам, мол, знать, сколько человек на него жаловалось — один или пятьсот, и какие еще там фортели выкидывал этот автор), я указал в самом начале книжки свой таксистский номер 320718. В личном деле таксиста регистрируется каждая поступившая на него жалоба. В моем фигурирует одна-единственная. Это жалоба клиента, от которого я отказался принять часвые.

— Угрр! — зарычал я: прилив злости так сдавил мне горло, что в нем застряла самая пакостная брань, которую я только знал на обоих языках — на английском и русском. И было бы куда как мудро, если бы я выплеснул в лицо этой дамочке весь свой активный запас, потому что я сделал хуже. Слепленный обидой, не видя, где в этот момент находились руки ребенка, я резко, изо всей силы задвинул тяжелую прозрачную гильотину перегородки и услышал — душераздирающий крик!

Сжавшись от ужаса, закрыв ладонями лицо, я явственно видел кровь и отрубленные детские пальцы...

Крик за спиной не утихал, и, вжимаясь в руль, я не смел оторвать от лица ладони. Только когда до меня дошло, что кричит не ребенок, а женщина и что это не вопль, а нечто членораздельное вырывается у нее: «Запомни, сегодня ты водил такси последний раз в своей жизни!» — я оглянулся.

Зашедшегося в истерике мальчика держал кто-то из прохожих. Обими ручонками ребенок тянулся к матери — они были целы!

— Не вздумай смываться! — с угрозой шепнул мне тихарь в штатском, показывая свой жетон.

Я выбрался из машины. Где-то неподалеку завывала сирена: переодетый полицейский вызвал патруль по радио. Мальчик всхлипывал у матери на руках, а я стоял, привалившись к чекеру, и повторял про себя: «Не могу. Я больше не могу. Я больше не выдержу!»

— Что ты натворил? — ринулся ко мне подоспевший полисмен.

— Я не знаю, почему она вызвала полицию, — сказал я.

— Гадина! — кричала женщина. — Он же чуть-чуть не изувечил ребенка!

Но жалоб в сослагательном наклонении нью-йоркская полиция не принимает. Жуть осела. Однако я понимал, что продолжать так работать, как я раньше работал, нельзя. Крутить сейчас баранку я не в состоянии. Мне необходим отдых. Но в то же время мне необходимы и деньги. Арендную плату за кэб вынь да положь.

Где же выход? Как совместить несовместимое? Невозможно ведь!

Оказывается, возможно...

Для того чтобы кэбби мог одновременно и передохнуть, и не потерять драгоценный час даром, ему необходима всего лишь за доллар купленная дружба со швейцаром, под крылышком у которого вы спокойноенько позавтракаете вспотевшей в целлофановом кулечке булочкой, а позавтракав, сладко подремлете, скрючившись на сиденье.

Швейцар-то дремать не будет! Каждого человека, выброшенного из отеля на тротуар вращающейся дверью и на секунду замешкавшегося у входа, он непременно допросит: «Куда вам ехать?» Если такси требуется для короткой поездки по городу, подкупленный вами швейцар не станет вас беспокоить. Он остановит пробегающий мимо кэб. Но если гость едет в аэропорт, в Лонг-Айленд, в Нью-Джерси (хоть и редко, но и такой фарт может выпасть таксисту), ваш великолепный друг в мундире с золотым аксельбантом хлопнет в ладоши и крикнет: «Первый кэб!» И тогда очередь таксистов, которые платят швейцару добровольную дань, подвинется, и вы окажетесь на одну машину ближе. Как по-вашему, стоит доллара такая дружба? По-моему, стоит.

Если отель многолюдный, если очередь движется, то минут через тридцать—сорок, отдохнув малость, вы окажетесь первым, и теперь надо покончить с булочкой, вылезти из машины, подойти к швейцару, заглянуть ему в глаза, погладить его по плечу (только без фамильярности: не похлопать, а именно погладить), скромно улыбнуться и сказать: «Будь другом, дай мне, пожалуйста, Кеннеди»...

Если в знак своего царственного согласия швейцар опустит веки или же пусть и поморщившись, но все-таки кивнет, если только рот его не искривится, не выплунет, что ему осточертели эти вечные приставания, эти несурзные таксистские претензии, если только он не гаркнет: «Стой возле своей машины!» — считайте, что дело слажено. Допросив следующего клиента с чемоданом и выяснив, что тот направляется в ближний аэропорт, ваш высокий покровитель хоть и хлопнет в ладоши, но ни за что не крикнет: «Первый кэб!» Будьте уверены: он крикнет: «Ла-Гвардия!» — а уж как там таксисты, которые стоят в платной очереди позади вас, договорятся, кто из них возьмет, а кто не возьмет эту «Ла-Гвардию», вас не касается. Кто-нибудь непременно возьмет и швейцару доллар заплатит. Вам же нужно теперь набраться терпения...

Пройдет еще минут сорок, может — час, постарайтесь не нервничать. Повторяйте про себя, повторяйте, что вы — отдыхаете, набираетесь сил, и пусть еще не раз раздастся клич «Ла-Гвардия!», и ожидающиеся аэропортов таксисты будут злобно шептаться за

вашей спиной: «Что он там химичит, этот жук?» — «Да он не хочет брать Ла-Гвардию». — «Ух, сукин сын: только Кеннеди ему подавай!»... Но вы не обращайтесь внимания. Зато когда прозвучит долгожданное «Первый кэб!», не сомневайтесь: вы получили именно то, что заказывали, — не рубленую котлетку, а натуральный бифштек! Поскорей открывайте багажник и суйте в подставленную руку два доллара. Да, это двухдолларовый сервис. Дороговато, конечно, но — стоит. Ох стоит!

Пусть часа полтора пришлось дожидаться выгодного пассажира, пусть минут сорок завяла дорога, пусть вы вернетесь в город с обратным клиентом лишь часа через три или даже четыре, — но с деньгами!

Начинайте все сначала. Становитесь под отель, заказывайте швейцару Кеннеди и ждите. Разве, мотаясь по улицам, продираясь сквозь заторы, сделаешь больше?

Сказать правду — больше. Немножко, долларов на пятнадцать больше. Однако после восьми часов непрерывной работы в дневном манхеттенском столпотворении кэбби — как выжатый лимон. Язык — набок. Случится мертвый час — он не может выиграть гонку.

А кэбби, которому покровительствует швейцар, полон сил! После легких аэропортовских долларов поработать еще часика три-четыре, чтоб дотянуть до нормы, ему нипочем. В десять вечера он уже в постели, следит, затаив дыхание, за непобедимым Рокки. «Ё-моё!» — восхищается кэбби любимым своим героем, бросая лукавый взгляд на жену (да, он такой: дома — вежливый, «не выражается»), и, чистенький, обласканный, уже проваливаясь в сон, шепчет: «Завтра утром моя красавица не поедет на работу в метро. Ее повезут на такси, как большую начальницу!» И жена, улыбаясь в темноту, тихо скажет: «Спи, мой кэбби, спи...»

Всем на свете, даже семейным счастьем может одарить таксиста швейцар!

А как же насчет того, чтоб заглядывать в глаза? Заискивать? Унижаться?

Вот, согнувшись под дождем, перебегает через авеню старый мой знакомый, доцент политэкономии из Ленинграда, прикрывает ладонью, словно огонек на ветру, сосиску с капустой и преподносит угощение бугаю в униформе «Шератона». Бугай принимает сосиску и делает вид, будто лезет в карман. Но бывший доцент, который у пассажира из горла вырвет недостающий пятак, испуганно отгораживается от швейцара ладонями, словно тот собирается достать из кармана не доллар, а револьвер. Нет, нет, ни за что на свете не возьмет он деньги за сосиску! Не доллара ждет от швейцара кэбби, а Кеннеди.

Ну и много таких добровольцев среди таксистов? Вроде бы совсем немного. Но все же их куда больше, чем швейцаров...

Расположение швейцара иные кэбби ценят так высоко, что изо дня в день бесплатно возят своих покровителей с работы домой. А чтоб капиталы швейцаров не задерживались в кубышках, вездесущие кэбби подыскивают подходящие для инвестиций дома, бензоколонки да надежных честных парней, обычно из своих же таксистов, попавших в беду (украли тачку, разбил тачку), которым деньги нужны позарез и которым, стало быть, можно ссудить десять тысяч на новую машину под тридцать три процента годовых!

Но как подступиться к швейцару? Начинать-то дружбу надо не с тридцати трех процентов и не с бензоколонки, а с доллара в обмен на Ла-Гвардию...

Поставив кэб у гостиницы, я подхожу к швейцару.

— Друг, — говорю я с нежностью и пихаю ему в карман доллар, — дай мне, пожалуйста, аэропорт.

Я плачу — авансом! Я не привередничаю. Я согласен поехать в Ла-Гвардию. Но швейцар отшатывается от меня, словно благовоспитанная девица от уличного пристава. Прикрыл прорезь кармана одной рукой, а другой отпихивает мою, дающую!

— Пош-шел ты! — цедит он сквозь зубы. — Работать надо! Нечего под гостиницами ошиваться.

И ведь знаю же я, что берет, подлец, у других кэбби. Еще Узбек, который в последнее время как сквозь землю провалился (помните таксиста, который вечно прижимал к груди, словно раненую, свою левую руку), — так вот, еще этот самый Узбек обещал познакомить меня со швейцарами «Шератона», которые «продают» аэропорты всем русским. Почему же мою мзду не принимает швейцар? Чем мой доллар хуже? И разве, если сейчас вынесут Кеннеди, я не дам второй? А поди ж ты — не хочет.

Потому что меня не знает. Может, я, заплатив доллар, обнаглею: полезу вертеться у подъезда и вместо швейцара допрашивать («Такси? Куда ехать?») появляющихся из дверей постояльцев, что есть непорядок. Увидит кто-нибудь из служащих отеля (а они

все лютые завистники швейцара, ибо никто, включая главного управляющего, не зарабатывает столько, сколько швейцар) — накапают, подведут под монастырь. Кому это нужно?

Но даже и не в этом заковыка, что не знает меня швейцар, а в том, что не хочет со мною знаться.

- Слышь, ты, кажется, водитель такси? А?
- Совершенно верно, мой друг!
- А где же твой кэб?
- Да вот: это мой чекер.
- А ты не можешь сделать мне одолжение?
- С удовольствием! Какое?
- Стой возле своего кэба...

Дружбу с первым моим швейцаром судьба подарила мне неожиданно, словно первую женщину — шестнадцатилетнему мальчику. Она, первая женщина, всегда ведь сама находит своего обсыпанного прыщами купидона...

Как-то поздним вечером на злополучном углу Парк-авеню и Сорок второй улицы, где получил я новостку в уголовный суд (автобусы не только увозят оттуда пассажиров в аэропорты, но и привозят их туда же из аэропортов), сел в мой кэб седой человек с потертым чемоданчиком, с которого свисала бирка «Британские авиалинии», и назвал адрес — где-то рядом с Карнеги-Холлом. Сообщил, что прилетел сейчас из Лондона, покалякал о погоде. Очень мне интересно, какая в Лондоне погода! Целый день я только и думал, у кого бы разузнать: дождь там сегодня или туман? Вдруг старик погрузился и говорит с обидой:

- Так, значит, ты меня не узнаешь?
- Безбровое невыразительное лицо...
- Нет, не узнаю. А кто вы?

Тут он меня и огорошил:

- Я швейцар отеля «Веллингтон»!

Шутка ли: случайная эта встреча могла превратить непосильный мой труд в приятнейшее времяпрепровождение! Само небо, видать, сжалилось над моей долей, и мне оставалось только не испортить Высший Замысел.

- Не обижайтесь, сэр, что я вас не узнал. Дело в том, что я новый водитель. Объяснение было принято благосклонно.
- Между прочим, сэр, вы так и не сказали, как долго вы пробыли в Лондоне.
- Два дня.
- Что же вы там делали? — ласкался я.
- Да ничего особенного. Я ведь вдовец, во время отпуска себя девать некуда. (Какой удивительный, какой доступный швейцар!) А в Лондоне я сходил к отелю «Веллингтон».
- Вот здорово!.. Гм, а зачем вы туда ходили?
- Познакомился со швейцаром.
- Ну и о чем же вы с ним говорили?
- О чаевых.
- Ха! Куда ж ему с вами тягаться?! Нью-Йорк и Лондон — смешно сравнивать.
- Как раз нет. У него дела не в пример лучше. Понимаешь, какая у меня проблема: рассыльные, молодые парни, когда выносят багаж, не хотят говорить мне, куда гость едет. А не зная этого, как я могу брать с таксистов деньги за аэропорты?
- Тоже мне, называется, швейцар! Недотепа. Потому и чемоданчик потрепанный.
- Зачем же вам, сэр,— изумляюсь я,— у рассыльных спрашивать? Вы у госте й спрашивайте. Кому же как не швейцару спрашивать?
- Так-то оно так... А под каким отелем ты работаешь?
- Под «Статлером»,— заливаю я.
- И хорошо зарабатываешь?
- Не особенно,— скривился я, но земля подо мной не разверзлась.— Очереди кэбов у нас под «Статлером» длинные. А у вас под «Веллингтоном» тоже длинные?
- Не сказал бы. А сколько ты платишь за аэропорты?
- Как все. Ла-Гвардия — доллар, Кеннеди — два.
- Послезавтра я выхожу на работу,— сказал старик.— Приезжай ко мне послезавтра.

Я не приехал — прилетел! Швейцар встретил меня как сына. Побежал к администра-

тору, справился, сколько выездов назначено на утро. Выписывались из отеля человек тридцать. И горы чемоданов вскоре выросли и в вестибюле и снаружи у подъезда. И шайка жадных кэбов с не выключенными моторами собралась за моим чекером. И жестоко била меня лихорадка азарта!

Но чемоданы веллингтонских постояльцев разбирали водители маршрутных микроавтобусов, которые возили бережливых путешественников группами в Кеннеди за пять долларов, в Ла-Гвардию — за четыре. Для гостя обедневшего нью-йоркского «Веллингтона», где люди останавливаются, чтобы сэкономить, расход на такси до аэропорта слишком чувствителен. Это вам не «Плаза» и даже не «Рузвельт».

Потеряв два часа, я уехал пустым. Старик беспомощно развел руками. Он тоже был огорчен: мы ведь с ним так ладно, так по-деловому обо всем сговорились!

Да, отели бывают разные. И швейцары тоже. Черные, пуэрториканцы, англосаксы... Под «Плазой» стоит украинец, а под «Холоран Инн» — очаровательная блондинка. Лишь одна закономерность бросалась в глаза: все сговорчивые, свои в доску, швейцары, которые охотно принимали мой однодолларовый аванс, стояли у захудалых гостиниц. А у процветающих, когда я, поставив свой чекер в очередь, подходил пощупать почву: «Доброе утро, дружище!» — мне отвечали:

— Не крутись под ногами, парень! Стой там, где стоит твой кэб!

Самый престижный, самый блистательный отель в Нью-Йорке — это, конечно, «Вальдорф-Астория». Здесь останавливаются главы государств, нефтяные магнаты, владельцы контрольных пакетов, звезды. Это отель для хозяев жизни, здесь в чести лимузины. С телефонами и телевизорами, с холодильниками и барами. Если вы попросите, чтобы такой лимузин закрепили за вами на недельку — на время вашего пребывания в Нью-Йорке, — это вам обойдется тыщонки эдак в три-четыре.

Швейцар, сосватавший промышленяющему самостоятельно водителю лимузина такую работенку, получает двадцать процентов комиссионных. Зная это, не так уж трудно представить себе, с какой миной выслушивает швейцар «Астории» обычную таксистскую просьбу: «Будь другом, дай мне Кеннеди. Я тебе заплачу...»

Как ни странно, но чаще, чем богачи, лимузины заказывают вовсе не богачи. Тысячами такие люди не разбрасываются, ни на неделю, ни на целый день им «роллсройс» не требуется, но и от таких швейцару перепадает куда больше, чем от таксистов.

Вот у подъезда «Вальдорфа» под свисающими полотнищами звездно-полосатых знамен появляется очень симпатичный и очень молодой человек.

— Чем могу служить? — склоняется швейцар.

— Найдется тут у вас приличный лимузин?

— О, разумеется.

— Сколько будет стоить?

— Пятьдесят долларов в час.

— Но мне нужен еще, э-э, и толковый парень.

— Понимаю. Том!

Подлетает Том, на ходу снимает фуражку.

— Тебя зовут Том?

— Yes, sir!

— Нужно съездить к Морскому вокзалу.

— Yes, sir!

— Встретить одну леди.

— Yes, sir!

— На обратном пути я выйду у «Тиффани», а ты отвезешь леди и по дороге вроде бы к слову скажешь, что возишь меня уже года три. Ясно?

— Yes, sir! Если позволите, я на вас пожалуюсь.

— Это еще зачем?

— Скажу, что вы кошмарный человек: работаете день и ночь. Замучили и себя и меня. Что я решил от вас уходить.

— Э, да ты неглуп.

— Yes, sir!

А на эстакаде в порту, когда по сходям уже текут пассажиры, когда до ответственной встречи остаются минуты, когда молодой человек порывается выскочить из лимузина, Том не выпускает его. Том просит денег. Но сдачу с небрежно брошенной ему сотни не отдает. И требует еще.

- Ты чокнулся?! Мы же условились: пятьдесят долларов в час.
- Сэр, лимузин подается минимум на два часа.
- Так ты же получил за два часа!
- Сэр, вы, кажется, заказывали, э-э, особый сервис...

Впрочем, у всякого свой вкус: кому арбуз, а кому свиной хрящик. Может, главам иных государств и нравится помпезная «Вальдорф-Астория», а нам, таксистам, прямо скажем, не очень. Поджидая клиента у «Вальдорфа» или у отеля «Пьер», кэбби чувствует себя, как запасной игрок: его пустят в ход, если что-то не заладится с лимузинами. Нет, всем этим отелям-дворцам я, как и каждый нью-йоркский кэбби, предпочитаю «Хилтон», подпирающий небо над Пятьдесят четвертым кварталом Шестой авеню.

Во всей некоронованной столице Америки не сыщется, наверное, таксиста, который хоть раз в недельку не тормознется у «Хилтона» сыграть в нашу лотерею, возможный выигрыш в которой — рейс в аэропорт, а ставка — десять минут ожидания в непрерывно ползущей очереди.

Здесь, у «Хилтона», таксисту не позволено заявлять: «Я не возьму Пенсильванский вокзал», «Я не поеду в универмаг „Мэйси“». Никто не хочет «Мэйси»! А потому катись-ка ты, дерьмо такое, подальше от нашего «Хилтона»! Шансы же на выигрыш в лотерею под «Хилтоном» самые высокие.

Тысячу номеров этого небоскреба населяют не хозяева жизни, не ее генералы, а публика, стоящая на социальной лестнице ступенькой ниже, — «полковники». Это самые занятые в Америке люди; никто не ценит свое время так высоко, как обитатели «Хилтона». Они не позволяют себе застрять в Нью-Йорке на целую неделю. Они всегда спешат. Спешат стать завсегдатаями «Вальдорфа». От «Хилтона» до «Вальдорфа» всего шесть кварталов, но ведь большинству и целой жизни не хватает, чтоб эту дистанцию преодолеть.

Обычно постояльцу «Хилтона» за время пребывания в городе такси требуется трижды. Утром он едет в офис. Вечером — на развлечение. Завтра, в крайнем случае послезавтра — прощай, Нью-Йорк!

Ежедневно сотни гостей, покидая «Хилтон», по традиции благодарят швейцара денежкой. И полковники щедрее генералов. Они с а м о у т в е р ж д а ю т с я, когда суют швейцару пятерку или десятку, а бывает, и больше... «И я по-царски его вознаградил... Я почувствовал себя уверенней, когда дал непомерные чаевые». Это заметки не оптовика-бакалейщика и не биржевого спекулянта. Так написал о себе один из высокочтимых в нашем веке художников слова, Джон Стейнбек («Путешествие с Чарли»).

Двести долларов — это н о р м а л ь н ы й для швейцаров «Хилтона» день. По пятницам получают они и по триста; в кануны праздников уносят и по пятьсот! Скажите, какой же душой надо обладать, чтобы при таких доходах еще и воровать у стоящих в честной очереди таксистов дорогие работы и продавать их исподтишка?

В кои веки достался и мне счастливый билетик: едва мой кэб стал первым — выходит пассажир в сопровождении тележки с багажом. Но швейцар не отдает мне законный выигрыш. Он с поклоном о чем-то спросил гостя, а в мой кэб сажает другого: «Колизей» или небоскреб «Крайслер», доллар сорок пять! Спрашиваю: в чем дело? И в лучшем случае достаиваюсь ответа, что гость с багажом — ждет. Знакомого... Жену...

Казалось бы, все прекрасно: он ждет, и я подожду. Погружу его чемоданы, отъеду от центрального входа несколько метров и буду ждать, как мы всегда ждем клиентов, за которыми заезжаем по договоренности. Но швейцар специально засадил в мою машину «Колизей», чтоб я поскорей уматывал, не мешал коммерции. Позади меня, из второго или третьего в очереди кэба, посылает швейцару воздушные поцелуи таксист, который ему п л а т и т. А гостю с багажом швейцар уже шепнул, что сейчас усадит его в х о р о ш и й кэб к х о р о ш е м у таксисту ⁴...

Сколько раз, карауля свою удачу у «Хилтона» и услышав команду «чекер!», я выруливал было из очереди, но швейцар меня останавливал:

— Стой где стоишь!

Что тебе не так? Ты же сам позвал чекер.

⁴ Это обычный трюк, который приносит швейцару двойные дивиденды: повышенные чаевые от гостя, которому оказано особое внимание (его не просто запихнули в кэб, а в х о р о ш и й!), плюс пошлина, взимаемая с таксиста.

— Нужен гаражный чекер!

Это еще почему?

— Багажник без запасного колеса нужен — вместительный. Понял?

Вранье — на голову не налезет. Пока я водил гаражный чекер, мой багажник без запасного колеса не понадобился ни одному швейцару.

— Доллар таксистский тебе нужен, а не багажник, свинья ты в цилиндре! — ору я.

Гогочут кэбби. Омерзительны им бугаи в раззолоченных мундирах. Но кому охота наживать под отелем, у которого работаешь, недруга? Никто не вступится. Крики, скандал, и в результате я уезжаю пустым. Горите вы огнем без пламени!..

Потом, лет шесть спустя, когда я уже больше не мог водить кэб и свободного времени стало вдруг так много, что потянуло меня все это вспоминать и записывать, понял я, что имелаась, кроме прочих, у меня еще личная причина, из-за которой никак не удавалось мне снюхаться со швейцарами: я их ненавидел! Попробуйте понравиться человеку, который вам ненавистен. Не думаю, что у вас это выйдет...

Я старался не стоять под отелями. Мотался по улицам. Но часам к четырем пополудни, когда нервы окончательно выматывало (бампер к бамперу! — скопление машин), а перед подъездом «Хилтона», в «гроте», выстраивалась вереница спешащих усесться в такси клиентов, когда желтая змея поползла безостановочно, словно удирала от опасности, я пристраивался в хвост — попытать удачу: может, мне удастся вырваться из городского ада — в аэропорт!

Однако в часы пик рядом с общей очередью таксистов непременно возникала вторая — для избранных. Это подвезжали дошлые кэбби, которых швейцары «Хилтона» избрали себе в подручные, чтобы обжуливать дураков, то есть всех остальных водителей.

Встав на раму кэба, как всадник в стременах, взмахом руки или гудком «конно-гвардеец» подает знак, чтоб его заметили. Вижу! — кивает швейцар и, не отрываясь от основной работы, усаживая подряд всех пассажиров на короткие расстояния, следит, величественный и расторопный, за приближением очередного чемодана.

— Куда вам ехать? Не знаете? Позвольте взглянуть на ваш билет... О, аэропорт Тетерборо. Я посажу вас, сэр, к надежному парню, который знает дорогу... О, сэр, большое-большое спасибо.

Дирижерский знак приглашает солиста вступить, и в хилтонский «грот», огибая голову желтой змеи, врывается «гвардеец».

— Эй, куда прешь, ублюдок!

— Не видишь — очередь!

— Не давайте ему работы!

Но работу дает швейцар. Гневным взглядом, короткой фразой укрощается бунт таксистов:

— Он подбирает своего пассажира — по договоренности.

И поди проверь. И когда проверять? И как? Уже захлопнут багажник. Уже умчался в овейный легендами Тетерборо доллар за сорок, фыркнув гарью нам всем в морды, швейцаров данник, избранник, — поздно скандалить. Получай, горластый правдоискатель, свой доллар пятьдесят пять.

— Как же ты прорвался к этой кормушке? — спросил я как-то одного из самых хищных хилтонских коршунов — Феликса, московского в недавнем прошлом фарцовщика и изрядного, надо сказать, негодяя. Он не брезговал воровать работу даже у своих, у русских, под «Мэдисоном» и, когда его совестили Ежик или все тот же Скульптор, простодушно объяснял:

— Вы тут годами стоите и один у другого работу не воруете потому, что вы все друзья. А мне никакие друзья ни на фиг не нужны. Мне нужны деньги в кармане!

Но был все же Феля таксистом. Русским. Начинал в одно время со мной. И носил тот же тяжкий камень на шее — шестьдесят два пятьдесят, арендную плату. А может, просто захотелось ему поразить меня своей пронырливостью, не знаю. Только поделился он со мной своей тайной, как куском хлеба — с другим голодным.

Подступиться к трехсотдолларовому швейцару для кэбби немислимо! Тем паче иммигранту, который и объясниться толком по-английски не может. Мертвым субботним утром, выбравшись, приодевшись, запарковал Феликс свой чекер неподалеку от «Хилтона» и вошел в винный магазин:

— Дайте мне коньячок французский, виски шотландское, «столичную» — все в один пакет. В подарочной упаковке.

Сделали.

— Еще один такой же пакет.

Швейцары-то дежурят у «Хилтона» парами.

С тяжелым пластиковым кулком в каждой руке отправился Феликс на штурм господствующей над таксистским Нью-Йорком твердыни. И сердце его дрожало. Он знал, что победа будет за ним, что швейцары — возмут! Он имел к людям подход.

Отель еще дремал. И караульные дремали. И желтая змея спала, растянувшись квартала на три. Людей у подъезда, в «гроте», почти не было.

Феля — к швейцарам. Показывает карточку — таксистские права. Так и так: вчера гость из «Хилтона» забыл в моем кэбе эти два пакета.

— Какой еще гость? Фамилия? Номер комнаты?

— Откуда мне знать.

Переглянулись швейцары, подозрительным чем-то пахнет. Но пакеты — нарядные, с бантами. И смотрит этот русский таксист такими честными глазами. Может, просто дурак?

— Босс говорит: нельзя брать чужое. Но гут...

— О'кэй, парень! В Америке самое главное — слушаться босса. И брать чужое, конечно, нельзя. Давай-ка сюда эти пакеты! Ты хороший кэбби.

Феля осмелел, подмигнул:

— Я внутрь не заглядывал, но, по-моему, там коньячок, виски, «столычная». Увидимся, ребята, в следующую субботу.

Минут через тридцать Феликсов чекер в порядке общей очереди вполз в просыпающийся «грот». Швейцары заметили, переглянулись. Тут выносят багаж. Да Феля-то в очереди — третий.

Теперь, как птичка в кулаке, затрепыхалось Феликсово сердце. Неужто у людей совсем совести нет? Неужели обидят?.. Не обидели.

— Чекер! — гаркнул швейцар.

Ну не орел ли Феликс? На моих ведь глазах доходил парень. Грязный, заросший, жена его бросила. Ушла к хозяину медальона, израильянину. На стоянке в Ла-Гвардии отошел как-то Феликс к киоску купить булочку, возвращается — чекер на брюхе лежит. Все четыре ската взрезаны. Не воруй у своих работу под «Мэдисоном»! И никто ничего не видел. Кому голову монтировкой раскалывать?

А теперь Феликс заново на свет народился! Бодр и весел. Работает по десять часов. Посадок у него за день пятнадцать, выходной — святыхня. Жена? А что, мало в Бруклине баб? Ты в русском бардаке на Брайтоне еще не был? Надо, надо сходить... Есть конфетки!

Раз в недельку паркуется Феликс на Шестой авеню, заносит работодателям их до лю. Тихо, скромно. В конвертике...

Послушал я Фелю, посмотрел, как пересчитывает он свою выручку: шесть двадцаточек, четыре десяточки. (Мне ведь не надо, чтоб таксист р а с с к а з ы в а л, как он сделал бабки. Мне, как и любому кэбби, достаточно одним глазом на эти бабки взглянуть: где твои пригоршни мелочи? где пачка скомканных, взмокших в кармане однодолларовых бумажек? Знаем, кто ты такой!) Поблагодарил я за науку, за откровенность, пообещал не болтать (теперь-то уж сколько лет прошло как открыл Феликс магазин кошерных деликатесов; говорят, хорошо торгует) и подумал: а в самом-то деле, почему бы и мне не пойти столь заманчивой, а главное, уже протоптанной стезжкой? Вслед ведь легче. И что я — сотнягой для такого дела рискнуть не могу? И ведь Феля меня приглашал. Видать, нужен ему еще один русский в шобле. Иначе зачем рассказывал бы?

Субботним утречком надел я свежую рубашку, выбрился, запарковал свой чекер на Шестой авеню возле винного магазина и вошел.

— Вам помочь? — налетает на меня продавец, а я отмахиваюсь:

— Погоди, дай поглядеть, подумать...

И, чувствуя, что меня мутит, как с перепоею, подумал: разве мало и без того пропитался я всякой грязью в такси? зачем же мне непременно еще и в этой луже вываляться? Не смогу я «честно» глядеть в лица этим мерзавцам, называя паролем: «Нельзя брать чужое. Но гут...» Будут мои глазки юлить, бегать. Ну а как не возмнут подношение, прогонят — ведь какой будет позор! Нет, я уж как-нибудь иначе. Не сошелся свет клином на «Хилтоне».

— Дай мне бутылку смирновской, — сказал я совсем уже было заскучавшему от моих раздумий продавцу. И купил еще для жены вишневки, этой, знаете «Peter Hearing»...

Глава 13. ЧЕСТНЫЙ ШВЕЙЦАР

Был в Манхеттене только один отель — «Мэдисон», — швейцары которого позволяли любому таксисту, в том числе и мне, дожидаться пассажира в аэропорт. Но, само собой, уникальное это место собирало немыслимые очереди желтых кэбов — и, конечно, всю нашу русскую стаю.

Однажды я увидел у центрального подъезда израильянина-кэбби по имени Шмуэль, с которым мне очень хотелось кое-что обсудить. Стоя посреди тротуара, на том самом месте, где положено находиться швейцару, Шмуэль допрашивал: «Куда вам ехать?» — каждого появляющегося из револьверной двери гостя, останавливал кэб, принимал чаевые.

— Учитесь, как делать деньги! — веселился Шмуэль, показывая нам горсть собранной за несколько минут мелочи.

«И не совестно?» — подумал я, не решаясь, впрочем, сделать замечание вслух. Сметливый Шмуэль был непререкаемым авторитетом для работающих под «Мэдисоном» таксистов — и для израильян, и для русских, и для арабов. Со Шмуэлем кэбби советовались по самым серьезным вопросам: у кого, например, у греков, или у поляков, или же у пуэрториканцев, можно подешевле взять в аренду медальон. И даже хозяева медальона интересовались мнением Шмуэля: у какой, скажем, из страховых компаний лучшая (не самая дешевая, а самая надежная и самая выгодная) страховка — у «Игала», «Эмпайр» или «Нассо»? С того самого дня как я получил неизвестно за что повестку в уголовный суд, у меня взводом сидело в голове — показать ее именно Шмуэлю. Но за прошедшие с тех пор недели мне так и не представился случай сделать это. Застать Шмуэля под «Мэдисоном» было трудно: он не торчал здесь с утра до вечера, как большинство таксистов, которых я знал. Шмуэль принадлежал к той немногочисленной когорте водителей экстра-класса, которые дружили со всеми швейцарами и работали под всеми отелями.

Сейчас, однако, Шмуэль вел себя недостойно с точки зрения таксиста, усаживая гостей в кэбы и получая за это квотеры, и мне вообще расхотелось просить у него совета. Стыдясь поведения всеобщего любимца, я сам остановил такси для какой-то девушки, а протянутый квотер не принял.

Шмуэль немедленно оттер меня плечом и, не закрывая дверцу, подождал, пока девушка выложит монету на его ладонь.

— Это не твои деньги, — сказал мне Шмуэль и направился к подпиравшему стенку у входа в отель кряжистому, коротко стриженному парню, на котором не было цилиндра и на которого я не обратил внимания: мало ли кто ошивается возле гостиницы. Шмуэль ссыпал мелочь в карман кургузого, не по росту, сюртука и похлопал парня по плечу.

— Это наш новый босс, ребята! Как тебя зовут?

— Меня зовут Фрэнк, — отвечал, набычившись, парень.

Когда появился рассыльный с чемоданами, Шмуэль открыл багажник и протянул Фрэнку доллар. Но Фрэнк отрицательно покачал головой: он хотел быть честным швейцаром.

Когда к очередям под «Мэдисоном» добавился еще и честный швейцар, там и вовсе житья для таксистов не стало. Не только на меня — на многих матерых кэбби произвел гнетущее впечатление отказ Фрэнка взять у Шмуэля доллар. Мэдисонские аэропортчики расползались по городу в поисках новых пристанищ.

Число посадок — жестокий показатель количества пассажиров, воспользовавшихся моим кэбом, — росло ото дня ко дню: двадцать восемь, тридцать шесть, сорок два, пятьдесят три... Деньги, конечно, я зарабатывал, но давались они кровью. По утрам все чаще не было у меня сил подняться, и все чаще я не мог донести пригоршню воды до лица.

А знойное лето между тем превращало Манхеттен в раскаленную духовку; приходилось поднимать стекла и включать кондиционер. «Как у тебя тут чудесно!» — говорили мне пассажиры, усаживаясь в чекер. Но за эту побрякушку, за пользование кондиционером, таксист расплачивался не только перерасходом горючего. Поневежит кэбби минут эдак сорок в зефирно-ласковых струях — бац! — на приборной панели загорается красный сигнал, и одновременно беспомощный чекер останавливается посередине авеню: от-

ключился, не выдержав нагрузки, двигатель. Стой теперь и жди, пока он остынет.

Приходится возвращаться под «Мэдисон». Опять Начальник, Длинный Марик, Скульптор; одни и те же осточертевшие рожи — глаза бы мои их не видели! Постоишь часа два — получишь клиента на десятку, в Ла-Гвардию. Как носильщики, которые, будучи не в состоянии взвалить на плечи чересчур тяжелую ношу, вынуждены уменьшать ее вес (хотя из-за этого им придется вместо одной ходки делать две), мы расплачивались за потерянные у отеля часы ночной работой, а утром, не отдохнувшие, не имеющие сил крутить баранку, снова становились под отель. На скользкую я ступил дорожку...

Стояли мы как-то возле «Мэдисона», вдруг глядь — к нашей очереди пристраивается «форд» «2W12». Медальон Узбека, а за рулем — пуэрториканец. Подходит к нам.

— Давно стоите?

— Пять минут. Три машины ушли в Коннектикут.

Засмеялся, оценил юмор.

— Рентуешь? — настороженно интересуется Помидор.

— Нет, моя,— погладил пуэрториканец крыло машины.

— У русского, что ли, купил? — допытывается Помидор.

— Откуда мне знать, у русского или у китайца. Я купил у брокера.

Узбек жил на отшибе от русской колонии, где-то в Бронксе; никто не знал ни имени его, ни фамилии. Только номер медальона — «2W12» — мы, таксисты, помнили. Куда девался Узбек, ни один из нас не имел понятия.

— Отняли у него медальон — продали за долги!

— Не имеют права: он болеет!

— Его на коляске возят...

— Пятки давно сгнили,— высказался Доктор. Но было непонятно, прослышал он что-нибудь или просто хвастает своей прозорливостью.— Помните, поцы, что я ему говорил?..

Мы помнили. Вот уж кто не стоял под отелями, так это Узбек. Что случилось с нашим товарищем? Что будет с каждым из нас?

Я стоял теперь у бокового входа, куда как новичка перевели Фрэнка. Не потому, что новый швейцар нравился мне больше, чем старый высокомерный ирландец Шон. Напротив: честный Фрэнк был для таксистов хуже спесивого своего коллеги, который не вмешивался в наши делишки. Да и багаж к боковому подъезду рассылные выносили реже, чем к центральному. Но зато очереди не собирались здесь длинные: два-три кэба, не больше. Таксистская лотерея у бокового входа разыгрывалась азартней, но игру портил Фрэнк. Все зависело от его настроения.

Когда город затихал после утренней спешки, я подкатывал к боковому подъезду. Занял я очередь, допустим, третьим. За полчаса две машины, что были передо мной, ушли. Ну как выпадет мне сейчас Кеннеди? Вдруг у Фрэнка припадок служебного рвения:

— Кэбби, кончайте базар! Первая машина берет первую работу. Знать ничего не знаю!

Отслужив пять лет в военном флоте, сменив лихое матросское прошлое на швейцарские будни, парень погибал от тоски. И погиб бы, задохнулся, если бы сама жизнь не поставила его перед жгучей тайной одной рыженькой парикмахерши, которая — цок-цок-цок — каждое утро пробегала мимо отеля.

Знаете, как это бывает: абстрактная, совершенно отвлеченная проблема — есть ли жизнь на Марсе? существовала ли Атлантида? — внезапно становится в а ш е й проблемой: вы должны во что бы то ни стало ее решить! Так случилось и с любознательным по натуре Фрэнком, когда он почему-то почувствовал себя обязанным доподлинно установить: носит ли эта рыженькая лифчик или же не носит?

Не такая уж, казалось бы, каверза, да рыженькая путала карты. То появится в дымчатой, как смог над июльским Манхэттенем, блузке, и замечаю я, что Фрэнк уже склоняется к положительному решению: по-видимому, мол, да, носит. Однако на следующий день плотной вязки джемперок повергает матроса во власть сомнений, в голове у парня сундур, на лице растерянность. А назавтра такой финт: в неурочное время, когда ее никто не ждет, когда, изогнувшись эдаким вопросительным знаком, чтобы не запачкать томатным соусом свой приталенный, с иголочки скортук, Фрэнк глотает сосиску, является

рыженькая в шортах, накинув на плечи плащ. Голые ножки сверкают, тут и сосиской подавиться недолго.

Мы же, по совести говоря, ни капли не сочувствовали Фрэнку. Наоборот, мы радовались, когда он, не зная, как подступиться к своей проблеме, терзался. Мы — это кэбби-кореец, которого я называл Ким Ир Сен, заплывший жиром сириец Акбар (не знаю почему, но — Акбар), а я был для них просто «эй, чекер!».

Пока погруженный в свои раздумья Фрэнк, стоя на посту, как бы отсутствовал, мы старались рассеивать накапливающихся перед входом отеля постояльцев, дабы швейцар, очнувшись, не засадил в кэб к кому-нибудь из нас кого-нибудь из них. Особенно в этих операциях свирепствовал Акбар; он только коленом под зад не давал, прогоняя людей на угол. Обычно в руках Акбара были раскрытый термос с пловом и ложка.

— Ланч! — рычал Акбар на каждого, кто осмеливался, не имея при себе чемодана, приблизиться к его «доджу». — Ты покушал? Я тоже хочу кушать!

Славно мы зажили, когда рыженькая завела моду останавливаться и болтать с Фрэнком. Дождаясь в спокойной обстановке аэропортов, мы от нечего делать прислушивались к этим разговорчикам. Говорил в основном Фрэнк. Очень тихо, взволнованным шепотом, а рыженькая только диву давалась: «Ой, надо же!..»

Но понять, что именно в монологах швейцара ошеломляло парикмахершу, было не просто. Между разрозненными словами Фрэнка, которые время от времени удавалось уловить, логической связи не было: восемьдесят лет... снизу доверху... полный маразм... пять миллионов... «Надо же!» — приговаривает рыженькая и, вытянув палец по направлению к громадине «Мэдисона», увлеченно, совсем не замечая, что Фрэнк вот-вот нырнет под ненароком распахнувшийся плащ, пересчитывает за чем-то этажи отеля: семнадцать, восемнадцать, девятнадцать... Наверное, ей, ничего не выдавшей в своей жизни, кроме Нью-Йорка, моряк рассказывает о грозных, высотой с небоскреб, гренландских айсбергах или тихоокеанских цунами. Под романтическую эту музыку Ким Ир Сен получает Ла-Гвардию, Акбар — Кеннеди, но едва я оказываюсь первым, ко мне тутчас привязываются какие-то бизнесмены: отвези их в «Колизей», им срочно нужно!

— Джентльмены, неужто вы таких простых вещей не знаете? — журю я их, настырных, радуясь, что Фрэнка поблизости нет, что он куда-то запропастился. — Здесь, у «Мэдисона», стоят только те кэбы, которые обслуживают иностранных туристов. Запомните: такси всегда нужно ловить на углу.

Глядь, прямо на меня идет Фрэнк. Почему-то я не сразу его узнал. Ну, думаю, все! Засадит он мне сейчас этот «Колизей», плакала моя первая очередь. Но Фрэнк спешит мимо. Он куда-то летит! И цилиндра на нем нет — рабочий день швейцара закончен. Поэтому-то я и не узнал его. А на углу — рыженькая. Машет ручкой. Она нашего Фрэнка и без цилиндра узнала.

Наверное, Фрэнку удалось-таки решить проблему, поскольку не такой он был человек, чтоб, не справившись с одной, приняться за другую: прельсть какую хорошенькую, но, главное, д в у л к у ю испаночку, которая туда же — цок-цок — повадилась шнырять мимо импозантного, одетого по моде прошлого столетия красавца швейцара.

Любовь с рыженькой еще пламенела, и Фрэнк, постоянно высматривая ее в толпе, пристального внимания на других женщин не обращал, когда однажды (это произошло у меня на глазах), машинально встретив и машинально проводив взглядом промелькнувшую мимо фигурку испаночки, он буквально остолбенел, сопоставив два не укладывавшихся в голове изображения: строгое, в очках личико — и то, что он увидел, обернувшись девушке вслед: самую легкомысленную в Манхэттене, резвую, как ртуть, попку. Фрэнк нахмурился, и губы его прошептали: «Так не бывает!»

Пробегая как-то мимо «Мэдисона» — черная макси-юбка и черный жакет, — испаночка вдруг вспомнила, что ей надо позвонить, и попросила швейцара разменять доллар. Деликатные, избегавшие прикосновения пальцы уронили одну из монет, она покатилась; последовал грациозный наклон, и длинная, до щиколоток юбка приоткрылась ледящим душу разрезом!

В своем первом злоупотреблении служебным положением Фрэнк, однако, не пошел

дальше того, что предложил девушке воспользоваться телефоном, установленным в его каморке. «А это удобно?» «О чем вы говорите?!» Но швейцар не поперся следом в каморку. Как и подобает джентльмену, он остановился у порога. Зато говорил без умолку! В уши беспечной жертвы полился испытанный яд:

— Восемьдесят шестой год! — услышал я. — В полном маразме... девять миллионов...

Видимо, от волнения Фрэнк что-то перепутал. Кто это с прошлой пятницы постарел на шесть лет? Чьи это пять миллионов успели превратиться в девять?

— Надо же! — изумлялась испаночка.

— Снизу доверху! — заговаривал ее колдовскими словами Фрэнк, а испаночка будто под гипнозом, вытянув хрупкий пальчик, уже пересчитывает этажи «Мэдисона»:

— Двадцать два, двадцать три, двадцать четыре...

Чем выше запрокидывается ее голова, тем пристальней всматривается Фрэнк в туманности кофточки, хотя тут-то тайны нет: испаночка лифчик не носит, каждому ясно.

А вот смешливая медсестричка на коротеньких толстых ножках без этой части туалета не обойдется. Никким образом. Но Фрэнк уделяет внимания толстушке ничуть не меньше, чем худышкам. Его цилиндр теперь вертится целыми днями как на шарнирах; всем девчонкам, у которых находится минутка послушать его, швейцар рассказывает и про старческое слабоумие, и про миллионы и всех зазывает в каморку взглянуть на чей-то портрет. Девчонкам это ужас как нравится, а нам еще больше!

Нам — раздолье, таксистская вольница! Кто из кэбби хочет ждать аэропорта, тот и ждет. Не до нас Фрэнку. Я уже столько раз слышал его монолог, что постепенно уловил смысловые связи между разрозненными словами, и когда Фрэнк затягивал увертюру о погоде, меня так и подмывало просуфлировать ему его тезисы.

1. Нельзя быть добрым.

Пожалеешь кого-то — погубишь себя. К примеру, он, Фрэнк (да, его зовут Фрэнком), опомниться не может, как этот девяностолетний маразматик, спекулируя на отзывчивости молодого штурмана, поставил его возле этой «конюшни» собирать квартиры...

2. «Пятнадцать миллионов».

— Представляете: ходить без посторонней помощи не может, одинок, как перст, а продать — ни в какую! Из упрямства: ему дают пятнадцать миллионов! Честное слово, я бы продал за семь. Так нет же, тянет на своих плечах эту громадину — «Мэдисон». Мне бы плюнуть, пусть делает что хочет, но мой покойный отец безумно его любил. Нет, отец любил не отель, а своего старшего брата, моего дядю... Хотите взглянуть?

(В следующей мизансцене Фрэнк продолжает монолог, опершись рукой о притолоку каморки; это комментарий к не видимому нам портрету.)

3. «Снизу доверху».

— Да, он хозяин этой конюшни. И надо отдать ему должное: светлая была голова. Начинал в свое время мальчиком на побегушках. Но теперь совсем спятил. Он, с одной стороны, не хочет, чтоб единственный племянник ждал его смерти, он хочет передать наследнику отель, но, с другой, — ставит нелепые условия. Снизу доверху, по всей лестнице — от швейцара до главного управляющего, — должен пройти я, чтобы научиться руководить этой машиной. И если бы только это!

Очередная девушка появляется из каморки, делает шаг — и проваливается в ловушку. Выживший из ума миллионер, оказывается, требует от Фрэнка нечто совсем уж нелепое: сперва жснись, а потом уж вступаи во владение. Ну не бред? Легко ли в наше время найти девушку, готовую посвятить себя семье? Он, Фрэнк, пробовал — сплошное разочарование. Вот сейчас стоял и думал: а не послать ли все к чертям и снова в море? Сарай все-таки здоровенный. Сколько в нем этажей! Тридцать один, тридцать два, тридцать три...

Что же, девчонки все подряд были дуры?

Не думаю. Но взволнованный шепот, горящие глаза, ладная, в сюртуке фигура нравились им. И разве Фрэнк был хуже других парней, которые ввали о чем-то другом? И заливал-то с такой простительной целью: привлечь внимание, заинтересовать.

Мы же тем временем творили что хотели! Акбар объявлял перерыв на ланч, Ким Ир Сен обслуживал иностранных туристов, а я скрывался в засаде за кипарисом в бетонной тумбе при входе в отель. Отсюда я вижу всех, а меня не видит никто. Подойдет к моему чекеру клиент, подергает ручку, увидит, что водителя нет, и отправится себе на угол ловить такси. Я же спокойно жду заветной минуты. Как только рассылные выкатят на тележке багаж, я эдаким соловьем-разбойником выскочу из засады и схвачу чемодан!

Вполне овладев жанром стремительной любовной новеллы, Фрэнк, однако, не рассчитал своих сил, замахнувшись на многоплановый, с параллельными линиями роман. По дуруости неизвестно зачем затащил он как-то в свою каморку хипповатую неказистую бабенку с лиловыми губами, причем, в нарушение собственных же правил, не остановился на пороге, а поперся следом и даже прикрыл дверь.

Когда же минут через десять отдувающийся Фрэнк вывалился из каморки с перепачканным помадой ртом, то лицом к лицу — надо же! — столкнулся с поджидавшей его на ступеньках отеля рыженькой парикмахершей, которая на этот раз не нашла никакого повода, чтоб завлекательно расхотаться при встрече, а вместо «здравствуй» сказала Фрэнку:

— Подонок!

В бешенстве Фрэнк отер рот рукавом, но когда понял, что натворил, выскочил — на кого бы, вы думали? — на меня с Ким Ир Сенем:

— Кэбби, здесь не базар! Мне менеджер что приказал?

Напомнить бы дрянчуге, что менеджер не велел, наверное, и девчонок в каморку затаскивать.

Мы расплачивались за беспутство Фрэнка. Напрасны были все наши усилия прикормить рассылных долларами, которые отвергал Фрэнк. Мы платили рассылным, чтобы они почаще выносили багаж на нашу сторону, к боковому подъезду. Но один приступ черной меланхолии уничтожил результаты многодневных наших усилий. Мы строили замки на песке.

— Первый кэб берет первую работу! — орал Фрэнк.

Орать ему быстро надоело, парень он был незлой, однако же распуганные крикливым швейцаром рассылные выносили все аэропорты к центральному подъезду.

Не берусь судить: то ли Фрэнка подкосила ссора с рыженькой, то ли сглазила его лиловогубая дурнушка, но на углу, куда мы привыкли сгонять надоедливых клиентов, переодевшегося после смены швейцара не встречали больше ни испаночка, ни толстушка медсестричка. Фрэнк резко снизил требования к контингенту девиц, стал активнее и развязнее клеить их, но это не помогало: заигрывания бывшего матроса утратили шарм. Озорной прежде взгляд стал просящим, интонации — бодряческими, и женщины, с которым он заговаривал, немедленно «поумнели»: они не желали ни слушать байки про сумасшедшего дядю, ни смотреть на его портрет, и никто не заглядывал теперь в его каморку.

— Так даже лучше, — жаловался Фрэнк сменявшему его в три часа пополудни швейцару-пуэрториканцу. — Из-за всех этих шлюх я за прошлый месяц не отложил ни цента. Бар, диско, мотель — никаких чаевых тут не хватит.

За смену Фрэнк не собирал больше сорока долларов.

— Почему ты такой глупи? — сладко жмурясь, шептал ему Ким Ир Сен. — Ла-Гади — бак⁵...

— Кеннеди — два! — поглаживал плечо сюртука Акбар.

— Стойте возле своих машин! — огрызнулся Фрэнк.

Он был непутевым, но все-таки честным швейцаром! И оставался таким еще долго, пока на горизонте не появилась Дылда-с-изумленным-лицом.

Глава 14. УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Как гром с ясного неба грянул суд по поводу штрафа «остановка запрещена».

— Вы признаете себя виновным? — спросил арбитр.

В отглаженном пиджаке, строгий и сосредоточенный, я отлично понимал, что если

⁵ Доллар (разговорное).

сейчас мне удастся отмазаться от штрафа, то я не только сохранил свои доллары, но еще получу (и это главное!) серьезные гарантии на выигрыш дела в уголовном суде. Ибо, оправдавшись здесь, я смогу предъявить там документ о моей невиновности. «Странный этот полисмен,— скажу я, положив на судейский стол сегодняшнее решение арбитра, если только оно будет оправдательным,— хотел поначалу оштрафовать меня за остановку в якобы запрещенном месте. А когда я указал ему на абсурдность его действий, он со зла не придумал ничего лучше как обвинить меня в «подстрекательстве к бунту». Уж не знаю, плакать мне или смеяться».

— Не виновен! — звонко отвечал я на вопрос добряка арбитра, симпатии которого явно были на стороне живых людей, которым иной раз приходится ненароком отступить от скучных бюрократических «Правил паркования». Эту характеристику арбитра я вовсе не выдумал ни с того ни с сего. Она сложилась у меня, когда я вдумывался в происходившее перед моим слушанием.

Разложив перед арбитром какие-то схемы и фотографии, юный самоуверенный адвокат, нанятый таксистом, разделял под орех взопревшего полисмена.

— Не укажете ли вы на схеме перекресток, где именно в момент нарушения находился кэб? — попросил адвокат полисмена, и тот указал.

— А вот фотография! И какая хорошая, какая четкая! — непонятно почему светился радостью адвокат.— Будьте уж так любезны, покажите нам это самое злополучное место и на фотографии... Затрудняетесь? Ничего, ничего,— подбадривал хитрый балагур полисмена.— А вы, случайно, не помните, с какой скоростью ехал кэб?.. А с какой скоростью ехали вы?.. Но вы же только что заявили, что ваша машина стояла! — Адвокат беспомощно уронил руки.— У меня нет больше вопросов. Полисмен не ориентируется на фотографии, он не помнит, где, собственно, произошло так называемое нарушение. Обстоятельств он тоже не помнит: может быть, он стоял, когда водитель такси проехал мимо, а может,— наоборот, ехал сам полисмен, а кэб стоял. Этот полисмен выписывает так много штрафов, что не помнит кому и за что. Но если мы все же хотим узнать, что в действительности произошло на данном перекрестке, то пусть нам об этом правдиво и подробно расскажет мой подзащитный...

— Отличная работа! — похвалил молодого адвоката арбитр и, едва кэбби пробубнил: «Я вообще никогда не нарушаю», объявил решение:

— The case's dismissed! ⁶ Следующий!..

— Ваша честь! — торжественно начал я, предвкушая легкую победу.

— Я не «ваша честь»,— тотчас осадил меня арбитр.

— Сэр! — поправился я.— О безобразиях, которые вытворяют на улицах Нью-Йорка некоторые полисмены, вам известно лучше, чем кому-либо другому.

— Говорите по существу,— вторично перебил меня арбитр.

Многие люди, если их перебивают, и тем более в официальной обстановке, теряются, начинают бекать-мекать. Многие, да не я! Заблаговременно разработал я убедительнейшую, хотя, может, и не очень правдивую версию происшествия. Но опровергать эту версию сейчас было некому: полисмен, с которым мне предстояло встретиться лицом к лицу в уголовном суде, на сегодняшнее слушание вызван не был ⁷. Я мог говорить все что вздумается. И тем не менее мои показания отличал изысканный лаконизм.

— Такси, за рулем которого я находился, остановила женщина с ребенком в коляске. Я вышел из кэба, чтобы погрузить в него детскую коляску.

У кого поднимется рука наказать такого обходительного кэбби? Не поверить же моему искреннему тону было невозможно, и я видел: арбитр верит моим словам!

— Все? — спросил арбитр.

— Остановка заняла меньше минуты,— не удержался я добавить заключительный штрих и поправил безукоризненно повязанный галстук.

— Я признаю вас виновным,— сказал арбитр.

— Ка-ак? — взвился я.

— Мое решение основано на том, что вы сейчас рассказали,— охотно пояснил арбитр.— Вы ведь не только остановились возле знака «остановка запрещена», но еще и вышли из кэба. Штраф — двадцать пять долларов. Следующий!

⁶ Дело закрыто! (Юридическая формулировка.)

⁷ В штате Нью-Йорк полицейских вызывают на слушания по поводу нарушений правил движения, но не вызывают при разбирательстве о нарушении правил паркования автомобилей.

У центрального подъезда «Мэдисона» собралось не меньше десяти кэбов: здесь мне нечего было делать. Но среди томившихся в очереди таксистов я заметил Шмуэля.

Поговорить с авторитетным кэбби мне было необходимо: день слушания в уголовном суде приближался, а после того как я самым дурацким образом прошляпил «запрещенную остановку», уверенности в своих юридических талантах у меня поубавилось.

— Ты можешь посоветовать, что мне делать? — спросил я Шмуэля, приглашая его в сторонку, чтобы нашему разговору не помешали кэбби-трепачи. Но куда от них денешься? Каждый норовил вставить слово.

— Поздно ты надумал советоваться, — сказал Скульптор.

— Врать в суде нужно было умно, а ты соврал глупо, — поднял назидательный палец Начальник.

— Вас не спрашивают! — злился я, показывая Шмуэлю повестку. — Ты понимаешь, за что, собственно, меня тащат в суд?

Через плечо заглянул Длинный Марик.

— Бублик, ты еще не расквитался с тем чемоданом? Шмуэль, у него, между прочим, нет гражданства. Этот чемодан может ему дорого стоить.

— При чем тут гражданство? — бесился я. — Какой чемодан? Ну что ты мелешь!

Шмуэль возвратил мне повестку и сказал:

— Я не знаю, что там у тебя на самом деле произошло. Ты спрашиваешь совета? Пожалуйста: прежде чем идти в уголовный суд, ты должен встретиться с адвокатом.

У бокового подъезда мне тоже нечего было делать: там разорвался Фрэнк. Не имело смысла занимать очередь за Ким Ир Сенем и новичком-греком, пытавшимся зацепиться у этой гостиницы. И все-таки, проезжая мимо «Мэдисона», я тормознул, поскольку заметил необычное расположение фигур перед вращающейся дверью: швейцар стоял не возле входа в отель, а возле первого кэба, где стоять ему не полагалось. На капоте желтого «доджа» сидели рядышком грек и кореец, Фрэнк допрашивал их:

— Кто этот нищий?

Таксисты молчали.

— Кто этот нищий?

Опять, наверное, что-то украли, подумал я и — подальше от греха — уехал...

Асфальт оплывал под ногами прохожих. Попытка включить кондиционер на самую минимальную мощность закончилась тем, что мотор сдох. Я еле дополз до «Мэдисона»: нужно было постоять, пока двигатель хоть немного остынет.

Как и час назад, фигуры у бокового подъезда были расположены не по правилам. Сognaв шофернюг в нестройную шеренгу, Фрэнк расхаживал перед ними взад-вперед и, обливаясь потом в своем плотного сукна сюртуке, твердил:

— У нищего есть брат...

Тут Фрэнку пришлось сделать паузу, поскольку Акбар, стоявший в строю с термосом и ложкой в руках, самовольно отлучился, чтобы прогнать на угол замешкавшуюся у вращающейся двери старушку. Наконец разгильдяй-сириец вернулся на место, и тогда, чеканя каждое слово, швейцар произнес нечто несусветное:

— Но у брата нет братьев! — Лихо сдвинул цилиндр набекрень и хитро прищурился. — Кто этот нищий?

Так, стало быть, никто ничего не украд, и Фрэнк занят вовсе не расследованием. Бедный парень, видать, разделил участь им самим же выдуманного дяди. То ли от тоски по своим подружкам, то ли от сорокаградусной жары он слегка чеканулся.

— Кто этот нищий?

— Дорогой мой друг! — подобострастно отвечал Акбар, разводя в воздухе ложкой и термосом. — Мы люди неученые. Разве мы можем отвечать на твои такие сложные вопросы?

— Могу я, в конце концов, сесть в такси? — выскочив из-за спины сирийца, напустилась бабка на швейцара.

Фрэнк стиснул виски пальцами. Он не мог разорваться на сто частей, чтобы и безмозглых таксистов учить уму-разуму, и одновременно усаживать в кэбы сварливых старушек. Швейцар облил презрением шеренгу и, как бы желая сказать: «Так будет со всяким болваном, который не способен...» — распахнул дверцу первой машины. Вредная бабка прыгнула в кэб.

— Универмаг «Александрс»!

Акбар заскрежетал зубами, спрятал термос под сиденье и включил мотор.

Я шнырял по городу, высматривая чемоданы. Поднаторев в этой охоте, я чувал их, как гончая — зайца, но раз за разом более проворные кэбби выхватывали багаж у меня из-под носа; я устал и проигрывал гонку.

Стал под «Хилтон».

— Чекер! — вызвал швейцар.

У вращающейся двери громоздились тележки с багажом, но команды «открывай багажник!», которой я ждал, не последовало. Загрохотали приставные сиденья: мой кэб захватили пятеро гогочущих парней с какими-то бирками на лацканах модных пиджаков, а шестой, эдакий нервный губошлеп, дергал ручку правой передней дверцы, чтобы усесться рядом со мной.

Я имел полное право не впустить его и вообще вытурить всю гоп-компанию из машины: в чеkere не разрешается возить свыше пяти пассажиров. Но ехали парни на Уолл-стрит, а это не такая уж плохая работа, по тем временам — пятерочка. Я открыл замок и, пока губошлеп усаживался, сказал его приятелям, что в принципе брать шестерых таксист не имеет права, что им нужно было бы нанять две машины, что, конечно, они сэкономят, а я «подставляю голову». Прозрачный мой намек был схвачен на лету.

— Мы все понимаем! — весело загалдела ватага. — Мы будем страшно признательны!

Доллар-другой сверх счетчика был мне обеспечен.

Чем больше кэбби знает о том, что происходит в городе, тем больше он зарабатывает денег. Бирки на лацканах пиджаков означали: в «Хилтоне» собрался какой-то конгресс. Что за конгресс — мне до лампочки, а вот когда он заканчивается — для меня исключительно важно! В этот день тысяча освобождающихся номеров отеля выдаст тысячу аэропортов. В этот день нельзя терять ни минуты ни на улице, ни под «Мэдисоном». Чемоданов в хилтонском «гроте» будет так много, что хватит их всем: и прикормленным коршунам, и общей таксистской очереди. И потому, не успев еще выехать из «грота», я спросил:

— Ну, когда по домам, джентльмены?

— Завтра! Завтра! — закричали джентльмены, а уж после этого я полюбопытствовал, кто они такие.

— Юристы! Юристы! — кричат пиджаки с бирками.

На ловца и зверь бежит: мне было бы очень кстати получить за спасибо, да еще прямо в кэбе, юридическую консультацию!

— Весь «Хилтон» битком набит болванами адвокатами! — шумят парни.

— А как насчет умных? — подыгрываю им я. — Неужто ни одного нет?

— Есть! Есть! — надрываются адвокаты. — Ларри Фишман умный!

— Самый умный!

— Гениальный! — И уже скандируют: — Лар-ри Фиш-ман! Лар-ри Фиш-ман.

Сидевший рядом со мной губошлеп зарделся; было ясно, что Ларри — это он.

— Кроме шуток, мистер Фишман, — сказал я, ложась к нему на колени, чтобы дотянуться до бардачка и извлечь оттуда повестку. — Мне нужно бы проконсультироваться...

И до чего же славные были они, не отвыкшие еще от студенческих замашек. Так им хотелось дурачиться, горланить: Уолл-стрит! «Хилтон»! жизнь распахнулась! — но какой-то занудливый кэбби (ну какое им до меня дело?) попросил совета — и притихли. Даже Ларри своего дразнить перестали. А он вроде бы обнюхивал мою повестку, изучая ее близорукими глазами. Чем-то смущенный, почему-то виноватый.

— Понимаете, Vladimir, — без запинки прочел он мое имя (его язык был обучен произносить заковыристые иностранные слова), — ваши неприятности не по нашей части. Мы специалисты по финансовым делам. Мы же работаем в корпорациях.

Беспокойство мое всколыхнулось: профессиональный юрист — затрудняется.

— Ларри, кончай трепаться! Давай сюда!

Несколько рук разом протянулось в окошко перегородки. Ларри вопросительно взглянул на меня и, лишь когда я кивнул, отдал друзьям повестку.

— Что же вы там все-таки вычитали? — нетерпеливо спросил я.

— Это повестка в уголовный суд, — сказал Ларри.

— Я знаю. Но в чем меня обвиняют?

— Вы только не обижайтесь. — Мальчишеское лицо выглянуло из окошка перегородки.

На кого обижаться? За что?

— По этой статье обычно судят.— Мальчишка-юрист произнес опять незнакомое мне слово: hooVers? hooVers?..⁸

— Что это значит?

— Prostitutes...

Ах как остроумно! Мне сразу разонравились эти хохмачи. Чудесный объект они выбрали для своего филлярства.

— Я же специально вас предупреждал, чтоб вы не обижались,— оправдывался мальчишеский голос.

— Мы не специалисты,— сказал Ларри.

Но я не хотел их слушать, забрал свою повестку и с непроницаемым лицом крутил баранку до самой Уолл-стрит, горбатой и кривой улочки, которая, как известно, правит всем финансовым миром и проезжая часть которой тем не менее настолько узка, что на ней не смогли бы разехаться не только два пузатых чекера, но даже два крошечных «фольксвагена».

Осадив развязных юнцов, оборвав столь важный для меня разговор, я поступил правильно и ничуть о том не жалел. Весь Манхеттен буквально кишел в этот день бирками участников юридического конгресса, и мне не пришлось выискивать в толпе юриста. Он сам нашел меня.

— Поедете в «Хилтон»?

Важный, усталый господин. Руку оттягивает портфель с бумагами. Покорно ждет решения кэбб. Возьму я его или не возьму?

— Вы — адвокат? — Я разглядывал бирку на его лацкане.

И тут вдруг важный господин взорвался.

— Совсем распоясались! — Он имел в виду клан нью-йоркских таксистов.— Вы что, адвокатов не возите, а прокуроров возите? Или наоборот? — Самовластно уселся в кэб и захлопнул дверцу.— «Хилтон»!

— Зря вы это, мистер,— примирительно сказал я.— Мне просто хотелось попросить вас, если вы юрист, сесть рядом со мной: у меня неприятности и мне надо бы вас кой о чем спросить...

И опять: уже не вчерашний студент, а американец в летах, перед которым я к тому же провинился, учинив ему нелепый допрос до того, как пригласил в машину, едва лишь понял, что бестактность таксиста была непреднамеренной, тотчас же выразил готовность выслушивать мои рассказы:

— Ну, что же у вас стряслось?

— Взгляните, сэр, что это такое?

— Гм... Вообще я не специалист по уголовным делам...

Но эту отговорку я уже слышал и спросил напрямик:

— Таковую повестку могла получить проститутка?

— Гм, если вы так ставите вопрос, то в принципе да...

— Но ведь это же ни в какие ворота не лезет! — взъярился я: какая-то непостижимая для здравого смысла юридическая закавыка всерьез оборачивалась против меня.— Как можно таксиста, труженика, и проститутку судить по одной и той же статье?!

— Закон не учитывает род занятий правонарушителя.

Тут уж настал мой черед сказать «гм...». Стараясь скрыть овладевающую мной робость, я с натугой выдавил из себя:

— А решение судьи по такому делу может повлиять на получение гражданства?

Однако участник юридического конгресса уже умаялся отвечать на мои вопросы.

— Vladimir, я не хочу вас запугивать. Как юрист я могу сказать вам только одно: в уголовный суд ни по какому поводу нельзя идти без адвоката.

— Да где же я возьму адвоката?! Откуда у меня деньги на адвокатов?

Мой пассажир достал визитную карточку, черкнул что-то на ее обороте и сказал:

— Это телефон очень хорошего адвоката, моего друга. Позвоните ему, он много с вас не возьмет.

Постепенно из моей речи исчезало обращение «сэр», вместо него я все чаще пользовался нагло-ухарским «мистер». Когда, например, не захлопнувшаяся задняя дверца начинала тревожно дребезжать на ухабах, я говорил:

— Мистер, если вы сейчас на повороте вылетите из машины, кто тогда будет платить по счетчику?

⁸ Имеется в виду hooker.

Когда, польхая сигнальными огнями и оглушая улицу сиреной, мой чекер обгоняли полицейские, я говорил:

— Знаете, мистер, куда они так спешат?

— Куда?

— Выпить кофе...

Туристов я угощал достопримечательностями Нью-Йорка, а поскольку для роли гида знал город недостаточно, то бессовестно пускал в ход фальшивки.

— В этом доме жили Рокфеллер и Никсон,— вполне добросовестно сообщал я клиснтам, проезжая мимо здания 610 по Пятой авеню, но остановиться потом было трудно...

— А в этой церкви венчались Элизабет Тэйлор и Ричард Бартон.

Дамы ахали, впросак я не попал ни разу, а самым большим успехом пользовался мой знаменитый соотечественник Барышников; за него — платили!

— Хороший был у вас день? — спрашивает меня измотанная сверхурочной работой машинистка.

Разъезжать на такси ей, конечно же, не по карману. В мой кэб она села потому, что боится ночного метро. Но, приобщившись на несколько минут к комфорту, чувствуя, что ее усталое лицо помолодело в полумраке кэба, женщина расслабляется и, услышав от меня, что день был хороший, совсем уж легкомысленно толкует ответ таксиста:

— Вы, наверно, возили сегодня каких-нибудь знаменитостей?

Нельзя же теперь ее разочаровывать.

— Только что — хотя вы все равно не поверите — в этом кэбе ехали Барышников и Лиза Минелли.

Чуть слышный, приглушенный стон:

— О-ох!..

Таксисту, который вез Барышникова, американка не может дать на чай меньше чем доллар. Даже машинистка. Я уж не рад, что наврал ей. Но пассажирке моей так отродно предвкушать завтрашние свои рассказы — и сослуживцам, и боссу, и соседке,— в к а к о м кэбе ехала она вчера, что сейчас ей непременно хочется быть щедрее всех звезд, «осчастлививших» мой чекер.

В дорожавших автоматических мойках я регулярно мыл свой кэб за счет славы Барышникова да еще за то, что показывал легковерным пассажирам « ж е н с к у ю т ю р ь м у »!..

Когда въезжаешь на мост Трайборо (а я въезжал на него ежедневно), вровень с высоко проложенной автострадой поднимается триада серых, с решетками на окнах корпусов. Уж не помню, кто из таксистов сболтнул мне, будто это женская тюрьма. Было ли это правдой, я понятия не имел, но показывал корпуса всем подряд.

— А вот это, между прочим, женская тюрьма Нью-Йорка...

И самые шумные, развеселые из моих пассажиров умолкали, становились тихими, задумчивыми. Женская тюрьма!..

Как-то в очереди на Морском вокзале досталась мне многодетная мамаша-наседка вся в веснушках и в хлопотах, чрезвычайно озабоченная четырьмя своими дочками. Уменьшенные копии своей родительницы, тоже конопатые, сестренки были до того похожи друг на дружку и, словно русские матрешки, отличались только размерами. Чтобы маме было удобнее, я усадил ее на переднее сиденье, но всем своим существом она была там, сзади, со своими твореньями, в которых даже сейчас, по дороге в Ла-Гвардию, старалась запихнуть все хорошее, красивое, а главное, поучительное, что только можно было почерпнуть за время поездки в такси.

— Поедем через Центральный парк? — закинул я, нацеливаясь лишний разок прокатиться по Трайборо.

— Слыхали? — откликнулась мамаша.— Сейчас вы увидите Центральный парк!..

— Здесь похоронен Христофор Колумб,— кивнул я, будто старому приятелю, на памятник великому мореплавателю, стоящий посреди площади, названной в его честь.

— Слыхали? — тербит захлопотанная мамаша своих матрешек.

Мы мчались по мосту Трайборо мимо серых корпусов.

— А это, между прочим, женская тюрьма Нью-Йорка...

— Слыхали?

Мамаша была не только смешная, но и очень сердечная. Она сумела, превозмогая себя, оторваться на минутку от конопатых девочек, с тем чтобы частицу своего внимания

уделить таксисту. И расспросы ее не сводились к вульгарному «как бизнес?». Она поинтересовалась, в котором часу я сегодня выехал, долго ли мне еще предстоит работать. Я отвечал, что, как и многие нью-йоркские кэбби, работаю примерно восемьдесят часов в неделю...

— Слыхали?

— Но ни один кэбби во всей Америке,— совсем уж разошелся я,— не работает столько, сколько мама, у которой четверо детей!

— Слыха...

Бедняга не могла ни выдохнуть, ни вдохнуть. Будто муж поздравил ее с днем рождения по радио. Голубые глаза увлажнились, и она уставилась на меня, прижав руки к груди...

Потом я целый месяц рассказывал таксистам, какими чаевыми был вознагражден за свой экспромт, но, поскольку я говорил правду, никто не хотел мне верить.

Когда это было? Весной? Летом? Осенью?.. Вертаться по Манхэттену как белка в колесе, таксист теряет ощущение времени. Но если я подобрал матрешек на Морском вокзале (и, стало быть, еще промышлял там), то случилось это, безусловно, до того, как я разгадал загадки швейцара Фрэнка, и, стало быть, именно в те тревожные дни, когда надо мной уже вплотную нависло разбирательство в уголовном суде.

Разумеется, я позвонил по номеру, который записал для меня отзывчивый юрист, и его коллега, «недорогой адвокат», объяснил мне, что никакой необходимости срочно разбирать полицейские каракули нет; мы встретимся прямо в суде и успеем наговориться. Дело мое, несомненно, будет улажено, однако, если я хочу, чтобы в назначенный день он действительно появился в суде, т р и с т а долларов должны быть уплачены заранее. Не потому, что он мне не доверяет, а таково общее правило всех адвокатов по уголовным делам.

Я не знал, как поступить: и суда я боялся, и денег было жалко...

В час пик, когда такси нарасхват, высаживая очередного клиента у входа в Центральный парк, услышал я свист швейцара, доносившийся с противоположной стороны улицы. Возле отеля «Святой Мориц» маячил фибровый чемоданишко.

Уверенности, что несолидный этот чемодан поедет в аэропорт, у меня не было, а разделяла нас двойная желтая полоса. Если полицейский заметит, что я ее пересек...

Поняв мои колебания, швейцар опять дунул в свисток и при этом помахал руками, изображая порхающую птичку,— стопроцентный аэропорт! Представляя эту пантомиму, швейцар ни в коем случае не обманет таксиста: подобными вещами не шутят. Я развернулся против движения вливающейся в парковую аллею Шестой авеню — и не зря! Фибровый чемоданчик направлялся в Ла-Гвардию.

— Въезжайте в парк! — скомандовал клиент.

Мне это было на руку: через парк, значит, мост Трайборо, но закончив запрещенный разворот, я не мог отказать себе в невинном таксистском удовольствии — отчитать пассажира:

— Как у вас язык поворачивается говорить водителю подобные вещи! Швейцар показал мне, что вы опаздываете на самолет, и я ради вас пошел на грубейшее нарушение. Зачем же вы заставляете меня сделать второе?

Мы уже углубились в парк, а я все свербел:

— Штраф за меня небось платить не стали бы!

В ответ на мои наскоки нахал зевнул.

— Таксиста не могут оштрафовать, если я сижу в кэбе.

— А вот это совсем уже постыдное хвастовство! — полез я в бутылку.

Пассажир тоже повысил голос:

— Прикуси язык, кэбби! Ты знаешь, кто я?

— Да зачем мне это знать! Какое мне до этого дело?

— Я комиссар полиции Чикаго! — цыкнул на меня пассажир, но его слова ничуть не охладили меня.

— Ага! — закричал я, еще пуще входя в раж. — Наконец-то один из вас мне все-таки попался!

— Что за выражение — «попался»? Думай, что говоришь, кэбби!

Этот пятидесятилетний остряк, которому вздумалось подразнить меня, не догадывался, по-видимому, что на самом деле я вовсе не злюсь; ибо что может быть отраднее для издерганного кэбби, чем повод излить из своей души на чью-то голову наболевшее!

— Только и знаете что издеваться над таксистами! — шумел я, прикидываясь, будто и впрямь поверил, что он комиссар полиции.— У вас же времени не остается ловить настоящих преступников!

— Не болтай о том, чего не знаешь! — гудел самозванец.— Я всегда говорю моим ребятам: не трогайте кэбби, если он накрутит пару лишних долларов, как ты сейчас,— намылится небось тащить меня через Трайборо? Я тебя сразу раскусил!

— Так вы же сами сказали: «Езжай через парк»,— по-настоящему обиделся я.

— Представляю, какой концерт закатил бы ты мне, если бы я велел тебе ехать по мосту Квинсборо,— хмыкнул мой пассажир; тертый, видать, калач.— Да это уж ладно. Но если ты, сукин сын, вздумаешь развозить наркотики, вот тогда мы с Мак-Гвайром⁹ живо возьмем тебя за одно место! Ты меня понял?

— И буду! — кривлялся я.— И буду развозить наркотики. Потому что честно работать вы все равно не даете. Житья от вас нет! Повестки в уголовный суд ни за что раздаете!

— Полицейские не выписывают повестки в уголовный суд ни за что. Это ты можешь рассказывать кому угодно, только не мне!

— Значит, не выписывают? — кричал я, дотягиваясь, не снижая скорости, до бардачка.— А это что такое? — И, не оборачиваясь, протянул на заднее сиденье замуоленную повестку.— Что это, спрашиваю я вас, такое?..

— Ага: solisiting! — злорадно загоготал на удивление осведомленный клиент, с ходу расшифровав и неразборчивую пропись ing'овой формы, и суть моего «преступления». — Сорок вторая улица и Парк-авеню! Все понятно.

— Что вам понятно? — по инерции огрызнулся я.

— Автобусная остановка возле билетных авиакас! Ты воровал пассажиров у городского автобуса. Сколько человек ты успел затащить в свой кэб, прежде чем тебя сцапали?

— Трех,— немедленно сознался я, а странный этот тип аж хлопнул себя по колену от избытка непонятных мне чувств.

— Так я и знал, что он хороший хлопец!

— Кто?

— Полисмен.

— О, просто замечательный,— съехидничал я.

— Доброе сердце,— убежденно покачал головой пассажир.— Ты учти, он ведь имел полное право припать тебе еще и подсадку. Но он пожалел тебя.

— Он дал мне «остановка запрещена».

— А мог бы инкриминировать вымогательство. Вот тогда ты попрыгал бы.

— Какое там вымогательство! — возмутился я.— Я брал по шесть долларов с человека до Кеннеди... Я понятия не имел, что таксистам запрещено подбирать клиентов на автобусной остановке. Я вообще это слово solisiting впервые услышал от полицейского...

Пассажир сразу же поверил мне и смягчился.

— Так вот почему ты вялпался,— сказал он.— Ты шкодничал по незнанию, а полицейский подумал, что ты совсем уж отпетый жулик. Ты войди в его положение: он стоит на посту, а тут прямо перед его носом какой-то кэбби откалывает левые номера. Ты меня понял? Что, по-твоему, он должен был делать?

— Мне-то теперь что делать? — с горечью сказал я.— На днях суд, адвокат хочет триста долларов...

— А зачем тебе адвокат на первом слушании?

Ни один из профессиональных юристов ничего мне об этом не говорил...

— А разве будет еще и второе?

— А как же! Сейчас тебя вызывают на предварительное. Судья только спросит, признаешь ли ты себя виновным. Тридцать секунд — больше времени он тебе не уделит. Там таких фруктов, как ты, будет знаешь сколько... Ты меня понял?

Шлагбаум поднялся, впуская нас на мост Трайборо.

— Женская тюрьма,— кивнул я в сторону триады серых корпусов, угощая гостя из Чикаго достопримечательностью Нью-Йорка.

⁹ Комиссар полиции Нью-Йорка в конце семидесятых годов.

— Только не ври,— отмахнулся гость.— Это диспансер для особо опасных психов. Я смутился, а пассажир, почесав затылок, сказал:

— Учти, шанс выкрутиться у тебя есть на первом слушании. Если ты виновным себя не признаешь, судья распорядится вызвать полисмена, который выписал повестку. Полисмен даст показания — и пиши пропало.

— А если я признаю себя виновным, что мне будет? — спросил я, но тут добровольный мой консультант рассердился:

— Если ты, рохля, брал всего по шесть долларов, а теперь собираешься признать себя виновным, то нечего морочить мне голову! Когда тебя обвиняют, надо защищаться! — Доброхот этот настолько завелся, что ему претило мое малодушие.— Выиграть в принципе было бы можно, но судья ведь не даст тебе рта открыть. Ты понял?

Досадуя, что я ни черта не понял, что всерьез обсуждать со мной мое дело нельзя, наморщив лоб и покусывая губу, пассажир размышлял вслух:

— Судья позволит тебе произнести только одну из двух стандартных формулировок: «виновен» или «не виновен». Можно воспользоваться третьей — «виновен — при смягчающих обстоятельствах», но у тебя же никаких смягчающих обстоятельств нету. Что ты можешь сказать? Что ты не знал? Этому судьи терпеть не могут. Разозлится и влепит тебе так, что будешь знать! Ты, между прочим, не вздумай разговаривать с судьей так, как ты это себе со мной позволяешь. Хуже нет как разозлить судью, ты понял?

Мы приближались к Ла-Гвардии, а он, как назло, замолчал. Отвернулся и смотрит в окно. Наверно, ему просто надоело ломать мозги из-за моих неприятностей. Я въезжал уже на рампу Главного вокзала, когда чекер вздрогнул от громоподобного «хха! хха!», и какое-то сатанинское вдохновение озарило лицо пассажира.

— Не виновен — при смягчающих обстоятельствах,— хрипловатым от волнения голосом произнес он.

«Бессмыслица какая-то»,— с тоской подумал я. Но мой клиент еще раз повторил эту бессмыслицу, смакуя каждое слово:

— Не виновен — при смягчающих обстоятельствах! — Он прямо-таки корчился, восторгаясь своей уловкой, сути которой я никак не мог раскумекать.

— Допустим, я так скажу...

— Да ты понимаешь, что ни один судья такого никогда в жизни не слышал?!

— Ни и что?

— Судья удивится!

— Чем же это мне поможет?

Мы стояли лицом к лицу под вывеской «American Airlines».

— Ну ты даешь! — с обидой сказал пассажир. Он вложил в мое дело столько изобретательности, столько души, что готов был полюбить меня, но я отталкивал его своей тупостью.— Если судья удивится, он скажет: «Что случилось?» и, стало быть, позволит тебе говорить. Желаю удачи, Lobas!

Пассажир подхватил разделявший нас чемодан.

— Сэр, куда же вы?! — воскликнул я в отчаянии.— Как же вы после всего бросаете меня на произвол судьбы?!

— Что еще такое?

— Как «что»? Судья-то, наверное, скажет: «Что случилось?» — а вот что я ему скажу?

Мой добрый гений взглянул на часы, он опаздывал к самолету.

— Слушай меня внимательно. Когда судья произнесет «что случилось?», ты скажешь ему так: «Ваша честь, обратите внимание только на одно обстоятельство...»

Но я не слушал! С криком «стойте! погодите!» я метнулся к чекеру, схватил авторучку и путевой лист и на нем, на своей сегодняшней путевке, вкривь и вкось понесся строчить обрывки слов той потрясающей речи, которую научил меня произнести в уголовном суде незнакомец, выдававший себя за комиссара полиции Чикаго.

Ты еще услышишь эту речь, читатель, но всему свое время.

Глава 15. СУД

Подъезжая к «Мэдисону», я вспомнил, что с утра ничего не ел. Повернул за угол, к боковому входу, отдал ключи аргентинцу Альберто: подвинешь, мол, мой чекер, если очередь тронется,— и бегом за два квартала, к тележке под полосатым зонтом. Пожадни-

чал: купил не тоненькую сосиску, а толстенную сардельку. С луком, с горчицей. И — назад. Уселся на капоте и, попеременно дуя на сардельку и пробуя ее губами — остывает ли? можно ли уже куснуть? — стал наблюдать за «чокнувшимся» швейцаром.

Фрэнк то ли снова собрал таксистов, то ли вообще не отпускал их от себя. Он расхаживал перед шеренгой, приговаривая в такт шагам:

— Отец и сын ехали в автомобиле...

Ать-два!

— Попали в аварию, и отец погиб...

— Бедняга! — фальшиво посочувствовал Ким Ир Сен чужому несчастью.

Фрэнк поморщился и продолжал:

— Когда пострадавших доставляют в госпиталь, доктор заявляе...

Ать-два!

—...«Я не могу оперировать этого мальчика, он — мой сын»...

— У меня никогда не было аварии,— хвастливо заявил Акбар, выуживая из термоса кусок мяса.— Я хороший водитель!

Властным жестом приказав болтуну заткнуться, Фрэнк замер на месте и вдруг озадачил таксистов довольно-таки неожиданным вопросом:

— Кто этот доктор?

Ким Ир Сен, Акбар и Альберто угрюмо молчали.

— Кто этот доктор? — повторил швейцар, но несчастные, съехившиеся под его гневливым взглядом кэбби безмолвствовали.

Из вращающейся двери показался гость, и Фрэнк издевательски хмыкнул:

— Такси, сэр?

— Пожалуйста,— откликнулся гость, не догадываясь, что симпатичный, открывающий перед ним дверцу кэба швейцар действует, как настоящий садист.

— Мистер Фрэнк! — взмолился Альберто.— Лучше я заплачу вам доллар...

— Два, если вынесут Кеннеди,— лебезил кореец.

Но напрасно. Фрэнк усадил клиента в первый кэб и отправил Альберто на площадь Колумба. Ким и Акбар переглянулись как приговоренные.

— Кто этот доктор? — терзал таксистов неумолимый Фрэнк.

Я проглотил остаток сардельки, и в этот момент откуда-то с неба ко мне слетел невидимый ангел, сел рядышком на капот чекера и шепнул мне: «Мать»...

— Мать! — сказал я вслух.

Ложка с горкой риса застыла у рта сирийца. Фрэнк скосил глаза в мою сторону. Я почувствовал, что в моей жизни опять настала минута исключительной важности.

Тишину нарушил писклявый голос корейца.

— Конечно, доктор — это мать мальчика,— произнес он безразличным тоном.— Потому-то она и не решилась его оперировать.

Видали прохвоста! Никогда бы не подумал я, что мой друг Ким способен на такую подлость. Но справедливый Фрэнк не обратил внимания на болтовню корейца и шагнул ко мне.

— Как ты догадался?

Я скромно потупился.

— Здорово! — сказал Фрэнк.— В нашем кубрике только я один сумел разгадать эту загадку.

Швейцар последовательно осмотрел мою лысину, чахлую, с седыми волосками грудь, плохо заправленную в джинсы рубашу, давненько не чищенную обувь. Наверное, на всем крейсере, где он служил, не было такого неопрятного матроса...

— А ну-ка послушай! — испытующе произнес Фрэнк.— Поезд длиной в одну милю проходит через туннель, протяженность которого также составляет одну милю.

Навострил уши интриган Ким Ир Сен, словно саблю в ножны, сунул ложку в термос обжора Акбар.

— При скорости шестьдесят миль в час сколько времени понадобится поезду, чтобы пройти сквозь туннель?

— Одна минута! — выпалил кореец.

Фрэнк даже не посмотрел в его сторону, а я тем временем мучительно напрягал свой мозг: не завалились ли, случайно, в складках моего серого вещества остатки премудростей, которые в незапамятные времена вдальбивал в мою вихрастую тогда голову наш вернувшийся с фронта учитель физики в старой шинели, с деревянной колодкой вместо

правой ноги? Нет, недаром, видать, он ругал меня: «Лобас, у тебя в голове ветер! Не будет из тебя толку, пойдешь в дворники!» Он оказался пророком: ибо даже здесь, на другом конце света, в Америке, я стал если не дворником, так шоферюгой-таксистом, которого к тому же на днях будут судить как проститутку, поскольку закон не учитывает рода занятий преступника.

— Так сколько времени понадобится поезду? — уже нетерпеливо переспросил Фрэнк.

Но тут мое ухо опять ощутило чье-то нежное дыхание: «Two!» На этот раз я смекнул, что мне помогает местный, американский ангел, поскольку подсказки свои нашептывает он на английский язык.

— Две минуты! — сказал я, и Фрэнк хлопнул меня по спине.

— Молодец!

— Одна минута! — заспорил кореец.

— Одна! — ерепенился Акбар.

— Стойте возле своих машин! — приструнил их Фрэнк, обнимая меня за талию. Он смотрел на мою физиономию с такой радостью, словно это было личико испаночки.

— Ты русский? — спросил Фрэнк.

— Русский, — ответил я.

Однако на том наш разговор иссяк. Фрэнк искренне хотел подружиться с близким ему по уровню интеллекта человеком, но он не знал, о чем со мной говорить. Мне же еще сильней, чем Фрэнку, хотелось закрепить нашу только что родившуюся дружбу, однако как это сделать, я тоже не знал. О чем я мог беседовать с молодым швейцаром? О девушках? О бейсболе?

Отлично понимая, что если я когда-нибудь расскажу эту историю, то мне никто не поверит: ну, скажут, это ты уж точно выдумал! — я попросил Фрэнка переписать для меня загадки про доктора и про поезд своей рукой. Просьбу мою Фрэнк охотно согласился исполнить, тут же примостился переписывать и даже добавил еще одну загадку, очень сложную, про десять яблок, которую потом ни я и никто из моих знакомых, включая профессора Стенли, не смог разгадать. Зато Стенли сказал, переписывая загадки, Фрэнк не сделал ни единой грамматической ошибки и что все запятые в его автографе, который я бережно храню и по сей день, стоят на местах...

Пока Фрэнк писал, Ким с Акбаром прогоняли клиентов от входа в отель, но вот швейцар вернулся на свой пост, и аэропортчики приуныли. Из вращающейся двери показалась грузная женщина с модным портфелем.

— Такси? — спросил Фрэнк.

— Да, пожалуйста.

— Куда едете? — поинтересовался Фрэнк, и мы все трое насторожились. Это было что-то новенькое. До сих пор честный швейцар никому такого вопроса не задавал.

Женщина ответила, что едет в «Кингс-госпиталь», в Бруклин, и добавила еще какое-то слово, которого ни один из нас не расслышал. Но даже не расслышав, мы, таксисты, догадались, что слово это чрезвычайно важное.

— Ты хочешь, — спросил Фрэнк корейца, — поехать в «Кингс-госпиталь»?

— Всю жизнь мечтал! — отрезал Ким, подчеркивая, что он замечает перемену в поведении швейцара.

— А ты, — спросил Фрэнк Акбара, — этот госпиталь знаешь?

— Я в Бруклин не поеду! — с вызовом отвечал сириец.

Швейцар, однако, не стал ругаться с обнаглевшими таксистами, а просто открыл дверцу моего чекера и пригласил женщину садиться.

Теперь, убежденные, что швейцар схитрил и обвел их вокруг пальца, оба кэбби ощерились:

— Первый кэб получает первую работу!

— Здесь очередь!

— Ты и ты! — гаркнул на них Фрэнк. — Чтоб вашего духу тут больше не было! Ясно? Вот первый кэб! — И швейцар указал на «додж» стоявшего позади меня черного таксиста.

Выезжая через несколько минут на шоссе, я уже знал, какое мы недослышали слово: «И обратно...»

«В «Кингс-госпиталь» и обратно» — вот что сказала Фрэнку женщина с модным портфелем. Улавливаете нюанс? Разве Ким и Акбар отказались бы отвезти эту пассажирку в Бруклин, если бы знали, что счетчик будет превесело стрекотать и всю

обратную дорогу в Манхеттен? Кому охота возвращаться из Бруклина пустым? Но чем, скажите на милость, дальний рейс в Бруклин и назад хуже аэропорта?..

«Позволь, позволь,— слышится мне вопрос,— а как же ты повез эту женщину? Неужто ты знал, где находится «Кингс-госпиталь»?» Господи, да конечно же не знал! Но ведь я понимал, что Фрэнк по д о с о в ы в а е т мне эту работу! Как же я мог ляпнуть, что не знаю дороги?.. Таксист не знает дороги только в том случае, если ехать н е в ы г о д н о. Спросите любого кэбби, где находится «Bullshittonn»¹⁰, и он не задумываясь ответит, что не раз там бывал! Если только нужный вам адрес находится за городской чертой и, стало быть, оплата д в о й н а я — мы все знаем! Чем трудней будет найти адрес, чем больше я наделаю ошибок, тем больше заплатит клиент!

Ну а если бы пассажирка твоя, когда ты начал у всех встречных переспрашивать дорогу к госпиталю, возмутилась: как же, мол, так, взялся везти, а куда — представления не имеешь? Пусть бы только попробовала! Да посмей она пикнуть, я бы знаете как ее отчитал! В краску вогнал бы! Застыдил. За что? За черную неблагодарность. Ведь все остальные кэбби вообще отказались ее взять! О, я уж выдал бы!

Но женщина ничем не возмущалась. Направляясь по шоссе имени Рузвельта на юг, крайне смутно представляя себе, в какую точку огромного Бруклина моей клиентке нужно попасть, я знал куда более важные вещи, чем место расположения какого-то дурацкого госпиталя. Я знал, что моя пассажирка — психиатр из Хьюстона. Что в Нью-Йорк она прилетела всего на один день (то есть времени жаловаться на таксиста у нее нет) и, наконец, что ей нужна к в и т а н ц и я! Эта врачиха не только не знала Нью-Йорка, но еще и собиралась заплатить мне ч у ж и м и д е н ь г а м и, и я с чистой совестью несся по самому длинному маршруту — по кольцевой дороге!

Когда я разыскал госпиталь, на счетчике уже было больше, чем я заработал бы, получив пассажира в Кеннеди... Деньги, естественно, в этот день сделались легко и быстро, и часам к восьми я уже вернулся домой.

Увидев меня в дверях в такое необычное время, жена побледнела как полотно, но тут же по выражению моего лица поняла, что ничего плохого не случилось. Я быстренько принял душ, и мы дружно, славно всей семьей уселись за стол. Наутро я отвез жену на курсы в Манхеттен, а вечером часам к девяти опять был уже дома. На этот раз, увидев меня в дверях, жена ничуть не испугалась и спросила:

— Ну, ты видел своего Фрэнка?

— Как же я мог видеть Фрэнка,— еле сдерживаясь, ответил я,— если сегодня в «Американе» закончился съезд виноторговцев? Фрэнк, по-твоему, стоит под «Американой»?

Только теперь до жены дошло, насколько нелепый она задала вопрос.

— Я не подумала,— сказала жена.

— Надо все же хоть иногда думать,— пошутил я, нейтрализуя промах жены, но ни она, ни сын не оценили моего остроумия.

Они сидели, уткнувшись в свои тарелки, и без всякого энтузиазма слушали, как я очень увлекательно рассказывал им, что взял под «Американой» на протяжении дня две Ла-Гвардии и два Кеннеди. Что виноторговцы платили превосходно, еще лучше, чем юристы: один оставил мне на чай четыре доллара, а другой — три шестьдесят пять! Но ни жена, ни сын даже ради приличия не восхитились, не сказали «ого!» или «ух ты!», как сказал бы на их месте любой таксист.

Обиженный безразличием своих близких, я и вовсе не стал рассказывать, как я vez сегодня компанию развеселых богачей, которых один из них по имени Чарли усадил в мой кэб — д л я х о х м ы (вместо того чтобы вызвать лимузин); как они гоготали по этому поводу и допытывались у остряка Чарли, какой же следующий фортель он выкинет. Если, мол, для начала они очутились в желтом кэбе, то чего же им ждать дальше? А, Чарли?..

— Папа, мне нужно купить кеды,— прервал мои мысли сын.

— По-моему, мы совсем недавно купили тебе кеды,— вовсе не имея в виду попрекать сына, просто так сказал я; однако жена сочла необходимым за него заступиться:

— Ты же знаешь, что он играет в футбол...

Я знал. И мне нравилось, как здорово у сына получается. Но кеды, которые он повадился покупать, были эквивалентны примерно двум Кеннеди. Заработанных в чекере денег было, слова не подберу, как жалко!

¹⁰ Выдуманное это название можно перевести (с натяжкой) как «город-брехунец».

— Идея! — бодро сказал я. — Давайте попробуем починить старые, а если не выйдут...

— В Америке не чинят кеды, — уставясь в пол, буркнул сын.

— Но ведь мы же не американцы, — легко, по-спортивно парировал я, ничуть не задевая юношеского самолюбия. — На Брайтоне есть русская мастерская. Почему бы тебе не зайти не спросить?

Ради Бога, объясните мне, что я сказал обидного? А сын — вспыхнул! Он вышел из-за стола, не сказав матери «спасибо», не придвинув за собой стул. Это было отвратительно. Я поднял палец, но жена схватила меня за руку. Я хотел сказать сыну, чтобы он вернулся и поставил стул на место, но жена прикрыла мне рот.

Хлопнула дверь. Я попытался высвободить руку.

— Интересно, зачем вы оба, стоит мне позвонить, говорите, чтоб я поскорей возвращался домой?

Жена отпустила руку.

— Потому что мы тебя совсем не видим.

— Ну вот — увиделись...

— Я всегда гордилась тем, — сказала жена, — что в нашей семье не бывает ссор из-за денег.

Я тоже гордился этим; и, наверное, поэтому сказал:

— Скандал произошел не из-за денег.

— А из-за чего?

— Из-за твоего не нужного заступничества.

Жена рассердилась: она говорила искренне, а я говорил неправду. Зеленые глаза загорелись, щеки вспыхнули, и она стала такой чужой и такой красивой, что мне немедленно захотелось покаяться и объяснить ей, почему я становлюсь таким злым и мелочным, и рассказать хотя бы о сегодняшних весельчаках. О том, как, расплываясь со мной, шутник Чарли дал мне пятерку (при счетчике три девяносто пять) и сказал, чтобы сдачу я оставил себе, и как все его веселые приятели вдруг рассердились! Ничего смешного в этой в ы х о д к е они не усмотрели, протянутый мною доллар брать постеснялись и еще пуще стали отчитывать Чарли, окончательно, дескать, потерявшего чувство меры. Чарли оправдывался: он оставил мне доллар и пять центов на чай потому, что я «хороший парень». Но один из приятелей, выражая мнение остальных, отвечал так: «Верно, парень он хороший, никто не спорит. Однако зачем же хорошего парня портить?»

Но я не мог рассказать об этом жене. Потому что, если бы я объяснил ей, к а к а я у меня теперь работа, ее лицо стало бы жалким и маленьким, как дулька, и она сказала бы то, что я уже не раз слышал от нее за этот таксистский год:

— Ну зачем, скажи мне, зачем мы сюда приехали?!

Вестибюль уголовного суда Манхэттена — это полумрак под высоченным сводом, каменные плиты пола, несмолкающий гул многотысячной черной толпы и безотчетное гнетущее смятение...

«Не виновен — при смягчающих обстоятельствах!» — повторял я как заклинание, а в душу гадкой холодной жабой закралось сомнение: а не посмеялся ли надо мной пассажир из отеля «Святой Мориц»? Почему звать, а вдруг это был розыгрыш, который сейчас вылезет мне боком? Ну как разозлится судья за это самое «не виновен — при смягчающих обстоятельствах» да упечет меня за решетку суток эдак на двадцать — в одну камеру с этими черными бандюгами, наводнившими вестибюль, среди которых я и в самом деле выглядел белой вороной.

Черная чиновница в справочном окошечке долго разыскивала, но разыскала-таки номер моего дела (не потеряли, собаки!) и направила меня в шестой зал, длинный, как станция собвея, и до отказа забитый двумя-тремя сотнями негров-уголовников, половину которых составляли подростки. С трудом отыскав свободный стул, я пристроился в предпоследнем ряду.

Все встали: величавый еврей в черной мантии взошел на кафедру. Судейский стражник с револьвером на боку начал вызывать преступников к ее подножию. Он неразборчиво выкрикивал обвинения, и преступники — все подряд, поголовно! — признавали себя виновными. По-видимому, они понимали, что их участь решает какой-то ужасный судья, сообразил я, заметив, что ни один из обвиняемых не смеет и заикнуться перед судьей ни о «смягчающих обстоятельствах», ни тем паче заявить о своей невинности.

— Виновен!

— Виновен!

— Виновен!

Однако же прошло совсем немного времени, четверть часа, наверное, или еще меньше, и мой обострившийся слух, приспособившись к акустике гулкого зала, уловил вдруг слова приговора, который вынес судья очередному бандюге, признавшему себя виновным:

— Штраф пять долларов!

Я содрогнулся: такого не может быть! Вероятнее всего, я просто ослышался. Но следующий диалог между судьей и преступником прозвучал, повторив предыдущий слово в слово:

— Виновен.

— Штраф пять долларов.

Чересчур поспешное мнение мое о жестоком судье немедленно изменилось на противоположное! «Какая отвратительная карикатура на правосудие!» — думал я, наблюдая, как все эти люди — убийцы! грабители! насильники! — с наглыми усмешечками покидают зал суда, чтобы наверняка тут же приняться за свое.

Эта картинка представляется мне весьма поучительной в том смысле, что слишком часто и слишком неосторожно принимаем мы на веру самый несуразный вздор, стоит только рассказчику начать свою побрехушку с магических слов: «Я видел своими глазами...» Я ведь тоже был очевидцем фарса, происходившего в уголовном суде Манхэттена. Я слышал все своими ушами! И если бы стражник с револьвером выкликнул бы мою фамилию одной из первых в то утро (то есть если бы мне не довелось проторчать в зале уголовного суда несколько часов), то я несомненно рассказывал бы потом и таксистам и пассажирам о том, как в моем присутствии судья приговорил добрую сотню головорезов-рецидивистов к штрафу в пять долларов! И слушатели мои кипели бы благородным негодованием.

Но стражник, казалось, забыл обо мне, и, по мере того как на скамьях, что были поближе к кафедре, освобождались места, я стал короткими перебежками пробираться вперед: там, по крайней мере, хоть не прирежут. Добравшись до третьего или четвертого ряда, я уже мог расслышать не только приговоры, но и обвинения, которые выкрикивал стражник, и вскоре понял, что все «уголовники» в моем зале четко делятся на две категории. Преступления подростков заключались в том, что они перебежали через пути собвея или через шоссе. Этим судья присуждал по пять долларов, а преступники постарше были гарлемскими джипси, то есть самыми несчастными кэбби, которые зарабатывают свой кусок хлеба в черных гетто. Они развозят черных пассажиров, которых обычно не берут желтые короли, в кэбах без медальонов, без страховки, на искалеченных колымагах; а кэб одного из подсудимых, как выяснилось, не имел даже номерных знаков.

Тяжесть этих грехов судья определял «на вес».

— Незарегистрированный таксомотор!.. Без паспорта!.. Без страховки!.. Без лицензии на извоз!.. Техинспекцию не проходил!.. Водитель без водительских прав!.. — басил стражник с револьвером, бросая один за другим на столик, стоявший между ним и преступным кэбби, штрафные талоны. Затем стражник собирал талоны в пачку, приподнимал ее на руке, чтоб судье было получше видно, а тот, прищурившись, оценивал: «пятьдесят долларов», а если пачка была потолще — семьдесят долларов.

Через час-другой я уже настолько освоился в уголовном суде, что мне стало скучно ..

— Народ города Нью-Йорка против Владимира Лобаса! — вспомнив вдруг обо мне, выкрикнул стражник, и я, с трудом передвигая непослушные ноги, поволок себя к подножию кафедры

Черная аудитория притихла, и в этой тишине я прочел ее мысли как свои собственные. только вывернутые наизнанку: дескать, этот б е л ы й, наверное, натворил дел, если уж попал в уголовный суд вместе с нами.

— Solisiting! — с мрачным видом сообщил судье стражник.

— Не виновен — при смягчающих обстоятельствах! — выпалил я и умолк, задохнувшись от ужаса.

Стражник скептически шмыгнул носом и на всякий случай поправил на боку револьвер. Фигура в черной мантии зашевелилась, судья перегнулся через кафедру и смотрел на меня сверху вниз, моргая округлившимися от удивления глазами.

— Что случилось, кэбби? — сказал судья

Отступить теперь было поздно, и речь, которой научил меня пассажир из отеля «Святой Мориц» и которую я вызубрил наизусть, хлынула из меня, как шампанское из неохлажденной бытылки.

— Ваша честь! Прошу вас: обратите внимание только на одно обстоятельство — на место преступления, в котором меня обвиняют. Это же проклятая Богом Сорок вторая улица. Мой кэб окружали сто проституток, пристававших к мужчинам! Сто сутенеров приставали к прохожим, зазывая их в публичные дома! Сто торговцев наркотиками предлагали публике на выбор: марихуану, таблетки, кокаин! Но из всей этой замечательной компании полицейский выбрал меня, самого опасного уголовного, таксиста, который трудится в поте лица по семьдесят два часа в неделю. Ваша честь, я спрашиваю вас: где справедливость?!

Черный зал завыл от хохота. Судья махал обеими руками и кричал, обливая меня густым, как мед, еврейским акцентом:

— Ша! Ша! Хватит! Кэбби, ты закроешь наконец свой рот?! Ты, может быть, дашь и мне сказать слово?

Я покорно умолк. Затих в ожидании приговора зал.

— Уголовное дело за номером...

Судья зачитал вслух нескончаемо длинный номер, поплямкал губами и, совсем уж вогнав меня в страх, кончил так:

— Объявить закрытым за отсутствием состава преступления!..

Я бежал по Бродвею! Несказанное счастье переполняло меня и изливалось в беге. В эту минуту я не задумываясь дал бы на отсечение руку, настолько я был увсерен, что мой пассажир — мой спаситель! — был самым настоящим Комиссаром! Но сегодня, оглядываясь назад, я вынужден сознаться, что, к сожалению, наверняка я этого не знаю. И только сам мистер Ф. Ю. Гуинн, который возглавлял чикагскую полицию на пороге восьмидесятых годов, может сказать, учил ли он когда-то попавшего в передрагу нью-йоркского кэбби, как выиграть дело в уголовном суде Манхеттена, или же то был вовсе не он. Но вспомнит ли Комиссар такую чепуху? И еще ведь вопрос: попадет ли ему в руки моя книжка?

Глава 16. МОЙ САМЫЙ ИНТЕРЕСНЫЙ СОБЕСЕДНИК

Всего двое суток не виделись мы с Фрэнком. Еще месяц назад мы даже не здоровались, а сейчас обрадовались встрече, как закадычные, водой не разольешь, кореша! Прежде всего Фрэнк сообщил мне новость: ночью в комнате 2214 проститутка зарезала гостя.

Представитель немецкого бюро путешествий, сопровождавший группу туристов из Мюнхена, держал в бумажнике солидную пачку наличными — на непредвиденные дорожные расходы. Проститутка, которую он подцепил в первый же по приезде вечер, каким-то образом пронюхала о деньгах. Вероятно, увидела, когда немец платил ей. Она исхитрилась подсыпать клиенту в стакан со спиртным снотворное, а когда тот уснул, полоснула по горлу опасной бритвой.

Мы заспорили. Я был уверен, что проститутку не поймают, а Фрэнк убеждал меня в обратном. Похохатывая, похлопывая один другого по спине, по плечу, мы заговорили о врачихе из Хьюстона. Ловко, ловко провел мой новый друг этих двух дураков — Акбара и Ким Ир Сена.

— И обратно! — веселился я.

— И обратно, Vladimir! — подмигивал Фрэнк.

Я достал из кармана два заранее приготовленных доллара... Позволь, кэбби, позволь! А почему это ты приготовил для Фрэнка всего-навсего два доллара? Ты же сам проболтался (за язык тебя никто не тянул), что только в один конец, до госпиталя, твой счетчик выбил больше, чем если бы ты поехал в Кеннеди. А сколько полагается швейцару за Кеннеди, мы уже, слава Богу, знаем. Выходит, ты едва подружился с парнем, как тут же его и обжулил? Так?

Совершенно, совершенно не так! Подобной мысли у меня и быть не могло, чтобы Фрэнка — обжулить! Я просто не хотел его портить. Сегодня я дам ему пятерку за Бруклин, а завтра за Лонг-Айленд он сам потребует десятку. Так ведь тоже нельзя... Но когда я достал эти два доллара, Фрэнк знает что сказал? Он сказал: «О нет, Vladimir, нет!» Он ведь был честным швейцаром. А я стоял как болван со своими двумя долларами в руке, не зная, что делать.

А почему непременно ты должен был что-либо делать? Неужто тебе необходимо было потянуть за собой в грязь и Фрэнка, всучить молодому парню свою пакостно мелкую взятку?

Ох, с вами ни стань ни ляг. Не дал — плохо, дал — тоже плохо. Разве я потому совал Фрэнку доллары, что старался сделать его таким же, каким становился я сам? Я думал совсем о другом. Ведь хотелось же мне и завтра и послезавтра вернуться домой в девять вечера, а не в три часа ночи. Но какой же честный швейцар станет из друзейских побуждений ежедневно, постоянно допрашивать гостей отеля у вращающейся двери, куда им ехать, и, обжуливая очередь горластых таксистов, подсовывать мне лакомые куски? И разве Фрэнк не жаловался, что зарабатывает меньше всех остальных швейцаров? А кроме того, мне еще показалось, что свое «нет!» он произнес с какой-то не свойственной ему прежде интонацией, с которой обычно говорила Дылда-с-изумленным-лицом. Это самое «о нет!» прозвучало у Фрэнка вроде бы категорически, но — не окончательно: в том смысле, что я, мол, хоть и отказываюсь, однако не могу запретить тебе попросить меня о том же еще раз.

Пока мы с Фрэнком пререкались, кореец Ким и аргентинец Альберто допрашивали гостей у вращающейся двери, но по-хулигански на угол их не прогоняли, а останавливали проезжавшие мимо такси, открывали дверцы и собирали чаевые. Набрав жменю квотеров, Ким Ир Сен подошел к Фрэнку и высыпал их в карман его сюртука. Поскольку это была не взятка — деньги эти действительно принадлежали Фрэнку, ибо были собраны на его территории, — честный швейцар возражать не стал, а чтобы не чувствовать себя должником подхалима кэбби, вообще ничего не заметил.

Услыхав звон монет, которого не услышал Фрэнк, я неожиданно понял, что в моей таксистской карьере опять наступил важный момент.

— У тебя полным-полно мелочи, Фрэнк, — сказал я, — а мне сдачу давать нечем. Разменяй, пожалуйста, пять долларов.

Ни о какой взятке не было теперь и помину, и Фрэнк доверчиво принял мою пятерку. Он собрал четыре двадцатипятицентовика в столбик, отдал его мне и сказал «раз». Собрал еще столбик — «два». Следующий он укладывал, как мне показалось, чуть помедленней, может, думая о чем-то постороннем.

— Хватит, Фрэнк, — сказал я, принимая третий столбик, и наши глаза встретились.

— Кончай! — неуверенно запротестовал было Фрэнк. — Я ведь дал тебе только три...

Но тут рассыльный вынес чемоданы, и я побежал открывать багажник. На прощанье Фрэнк погрозил мне пальцем: дескать, Vladimir, теперь-то уж я твои шутки знаю, больше ты меня не проведешь!

— Не бери себе в голову! — крикнул я. — Мы же еще увидимся!

Мы увиделись через несколько часов, когда рабочий день Фрэнка закончился, но он еще не ушел, а болтал о чем-то со сменившим его швейцаром. На углу нетерпеливо помахивала сумочкой Дылда-с-изумленным-лицом. За Ла-Гвардию, откуда я только что вернулся, швейцару причитался доллар.

— Фрэнк, разменяй мне еще пятерку, — сказал я. — Серьезно. Без дураков.

— Ты опять! — погрозил мне пальцем Фрэнк, когда я, приняв четвертый столбик, отстранил его руку.

— А он неплохо разменивает тебе деньги, — заметил второй швейцар, подтолкнув Фрэнка плечом.

— Когда мой чекер стоит в хвосте очереди, — сказал я, — а его вызывают в Кеннеди, я размениваю еще лучше. Чем дальше мой чекер стоит, тем лучше я размениваю.

Швейцары засмеялись.

— Познакомьтесь, — сказал Фрэнк. И представил меня: — Это мой друг!

— Марио.

Мы скрепили знакомство рукопожатием, а в это время из вращающейся двери показался третий цилиндр, принадлежавший хромому семидесятилетнему швейцару Монти.

Монти задыхался и не мог говорить: он слишком быстро бежал. Там, у центрального подъезда, где сейчас дежурит Монти, уже минут десять психует главный администратор отеля мистер Крафт. Он опаздывает на поезд, но ни один из таксистов-аэропортчиков не хочет отвезти босса Монти на Пенсильванский вокзал. Свободного же такси на улице все никак не попадалось, и Монти всерьез опасался, что его могут уволить. Кому нужен швейцар, который не может держать таксистов в узде.

Фрэнк выразительно посмотрел на меня.

— Садитесь, Монти,— сказал я.

Мы лихо — на красный свет, еще раз на красный! — обогнули квартал и подлетели к центральному подъезду.

— Спасибо, Монти! — сказал мистер Крафт, протягивая швейцару доллар; это был достойный человек.

— Большое спасибо в а м, мистер Крафт,— отвечал Монти. Он благодарил босса не столько за доллар, сколько за то, что босс простил его.

Со мной же мистер Крафт расплатился еще лучше. По дороге он записал в блокнот мое имя, мой номер и сказал:

— Вернитесь в отель, найдите моего помощника мистера Барнета и передайте ему, что я поручил вам доставить в «Ньюарк» багаж финских спортсменов.

Я вернулся в отель, передал помощнику приказ начальства и добавил, не уточняя, от кого именно это исходит — от мистера Крафта или не от мистера Крафта,— что ему, мистеру Барнету, следует записать мое имя и мой номер, как сделал это сам мистер Крафт, на случай, если возникнет необходимость в подобного рода работе.

— Вы всегда можете вызвать меня через любого швейцара,— сказал я.— Фрэнк, Монти, Марио — они все меня знают.

Фрэнк мужал день ото дня. Остепенился, перестал вертеться под цокот каблучков. Все его помыслы теперь поглощала Дылда-с-изумленным-лицом. Я был удостоен.

— Мэри.

— Рад познакомиться...

Тоскливая пауза.

— Фрэнк, тебе не передавал Монти — твой дядя опять тобой недоволен? Он тут разорвался, приказал тебе зайти к нему...

Я ожидал, что Фрэнк подмигнет мне и скажет что-нибудь вроде: «Опять этот выживший из ума старикан!» — но «наследник» не принял пас. Изумленная, как оказалось, была совсем из другой оперы: замужняя сорокалетняя дама, мать троих детей. С Фрэнком ее познакомил муж. Проходя мимо «Мэдисона», он присматривался к аккуратному, чистоплотному, хотя и из простых, парню. А присмотревшись, подошел, завел пустячный разговор — и пригласил в гости. Фрэнк отвечал без обиняков, по-солдатски: я, мол, не гомосексуалист. Но муж это прекрасно понимал. Он-то был многоопытным, убежденным гомосексуалистом. Привязанный, однако, к детям, он ничего не хотел менять в своей жизни — и повторил приглашение. Фрэнк пришел и был радушно принят. Бокал виски, легкий треп, и вот уже он с Изумленной в спальне вдвоем, и робкий голос за дверью:

— Солнышко, ты о'кей? Все хорошо?

— Да, да! Сделай так, чтоб тебя искали...

Расстегнув сортук, Фрэнк продемонстрировал на рубашке вензель «С»¹¹. Это она подарила. Вынул из пистончика часы с крышкой. Серебряные. Подарил муж.

Удачу свою Фрэнк объяснял трезво:

— Я человек не их круга. Семью не разобью. И зачем мне в мои годы эта женщина с детьми? А они обо мне заботятся. Хотят, чтоб я учился на бухгалтера. Мэри говорит, что устроит всю мою жизнь...

У бокового входа теперь царил новый порядок. Первая машина стояла с открытым багажником. За право открыть багажник и дожидаться аэропорта и Ким Ир Сен, и Акбар, и Альберто, и случайные, залетные водители платили швейцару доллар. Вынесут Ла-Гвардию — ты в расчете; за Кеннеди — доплата. Мистер Барнет ставил Фрэнка в пример всем остальным швейцарам: гостей, которым понадобился кэб для поездки по городу, от бокового входа на угол не прогоняли. Получая мзду с таксистов-аэропортчиков, Фрэнк не сокращал приток и законных чаевых. Пассажиры на короткие расстояния развозила машина, находившаяся в хвосте. Возвратясь же, кэбби не терял своего места в очереди за аэропортами. Нам нравился такой рациональный порядок.

Заработок швейцара у «Мэдисона» относительно скромнен. Монти собирал за день долларов сорок, Марио — шестьдесят. Фрэнк, самый молодой, со стажем без году неделя, не уходил без сотни! Источником сверхприбылей Фрэнка стала окрашенная в желтый цвет полоса бровки тротуара¹² перед входом в «Мэдисон».

¹¹ «Кристиан Диор».

¹² Желтый цвет на бровке тротуара означает запрет на стоянку.

— Эй, мистер! — багровея, орал Фрэнк.— Не вздумайте оставлять здесь свой драндулет! Это вход в отель, а не стоянка!

Хрустнула зеленая бумажка.

— Сэр, не забирайте ключи. Вдруг придется подвинуть машину...

Ну а если бумажка не хрустнула, если легкомысленный автомобилист, убегая по своим делишкам, бросал швейцару через плечо: «За мной не заржавеет! Мы потом с тобой увидимся!» — Фрэнк нырял в свою каморку, вызывал по телефону тягач и, наблюдая, как «беспризорную» машину уволоакивают на штраф-площадку, сардонически приговаривал: «Он п о т о м со мной «увидится»! Ты «увидься» со мной сейчас!»

— Vladimir, ты интересуешься баскетболом? ¹³

Деньги в такси доставались мне нелегко, и даже ради Фрэнка я не хотел выбрасывать на игру несколько долларов. Но Фрэнк не отставал.

— Если ты знаешь таксиста, который поигрывает, присылай его ко мне!

Фрэнк стал самонужнейшим человеком в отеле. Я никогда не слышал, чтобы гости интересовались, когда будут дежурить Марио или Монти, мистер Барнет или другой помощник мистера Крафта. А вот о Фрэнке каждый день кто-нибудь да спрашивал:

— Куда запропастился этот парень? Будет утром? О, черт!

— Он завтра выходной? Oh, shit! ¹⁴

Поскольку на баскет я не ставил и других кэбби не подбивал, Фрэнк быстро ко мне охладел. Но я все равно не возвращался теперь домой после десяти вечера. Дело было уже не во Фрэнке. И не в Марио. И не в мистере Барнете. И вообще не в отеле «Мэдисон». Разменяв однажды по наитию пятидолларовую бумажку на три доллара мелочью, я понял, что в руках у меня отмычка к сердцу самого спесивого, битком набитого деньгами швейцара.

Богатеи из «Вальдорф-Астории» не могли противостоять соблазну, когда я спрашивал:

— Разменяешь пятерку мелочью?

Каждый швейцар хочет избавиться от пригоршней монет, постоянно оттягивающих его карманы.

— Два... Три... Четыре...

— Хватит.

— Ты неплохо размениваешь!

— Если вынесут Кеннеди, а ты вызовешь чекер, я разменяю еще лучше...

— О'кей, мой друг! — Это мне говорит незнакомый швейцар.

— Привет, Ирвинг! — здороваюсь я, подъезжая к отелю «Шератон». — Разменяй-ка...

— С удовольствием!..

— Возьми, пожалуйста, ключи: я сметаюсь в пиццерию.

И — через дорогу! Если очередь тронется, Ирвинг подвигать мой чекер не станет, но скажет кому-нибудь из таксистов, чтоб подвинули. А если вынесут Кеннеди?.. Моя пицца уже в духовке. Уже прихлебываю я кофеек. Вдруг пронзительный свист. Оглядываюсь — Ирвинг машет рукой: давай живо! А рассыльный уже захлопывает багажник моего чекера. Эй, сестренка, сунь-ка мою пиццу в кулечек. Дай-ка крышечку для стаканчика. Кофе будет хорош и остывший. Мы потом срубаем и холодную пиццу. Некогда мне сейчас гужеваться — Кеннеди!

Проезжая по улице — с пассажиром ли, без пассажира ли, — я здороваюсь с каждым швейцаром. С Мануэлем у «Эдисона», с Базилио у «Астории», с Фернандо у «Импайр», с Робертом у «Холидей Инн». Почему это Бруно не улыбнулся мне, а как-то странно развел руками? «Извините, мисс, минуточку! — говорю я пассажирке. — Я обслуживаю этот отель. Мне швейцар должен передать что-то важное...»

— Бруно, ты хотел мне что-то сказать?

— Но ты занят...

— Да я мигом: одна нога здесь, другая там!

— Возвращайся немедленно!

— Через две минуты буду как штык, м о й д р у г!

А что? Он теперь и в самом деле м о й д р у г. Возвратясь, размениваю традиционную пятерку.

¹³ Пари на результаты баскетбольных матчей — одна из основных статей дохода нью-йоркских букмекеров.

¹⁴ Ругательство.

— Раз, два...

О, это хороший признак, если швейцар за пять долларов дает мне всего два мелочью. Так и есть:

— Скажи дежурному за конторкой, что я послал тебя отвезти портфель-дипломат на «Люфтганзу». Гости забыли. Быстро!

О'кей! Мне не жалко трех долларов. Доставка портфеля — это особый сервис. Возить портфели без пассажиров Комиссия такси и лимузинов нам категорически запрещает. Я уж не премину сообщить об этом рассеянному немцу. Я не останусь в накладе!

— Привет, дружище!

— Привет! А ну разменяй-ка...

Ассигнация исчезла, но никакой мелочи я не получаю. Прекрасно! Мне не жаль пяти долларов...

— В три ноль-ноль будь здесь как часы! Вымой кэб. Поедешь на кладбище...

Едва ли когда-нибудь прежде задумывался я над тем, что все города на земле для живых построены мертвыми, а мы, живые, где ни живем, все строим и строим вокруг города мертвых. Такие вот мысли вызвал у меня листок, вырванный из блокнота, который в обмен на пять долларов вручил мне один из приятелей-швейцаров, усадивший в свежевывмытый, как и велено было мне, чекер некоего молчаливого господина. Причем, усаживая этого клиента, швейцар с нарочитой строгостью наказывал мне, чтобы я не за страх, а за совесть позаботился о нем, поскольку это настоя щ и й д ж е н т л ь м е н, хороший человек, и притом — из Мельбурна. Географическое уточнение это прозвучало, по-моему, совсем уж неуместно; однако смысл его мне открылся, как только я взглянул на листок, на котором было написано:

«С. КОГАН.

Еврейское кладбище».

Электрический разряд скользнул по спине где-то между лопатками, я оглянулся и переспросил:

— Еврейское кладбище?

«Мистер Мельбурн» безразлично кивнул, и я поплыл, подхваченный ласковой волной отрады. Вам понятно мое состояние? Если нет, то представьте себе, что вы задались целью разыскать в Нью-Йорке человека по имени С. Коган, и подумайте: много ли времени у вас это займет? Даже если вы попытаетесь искать его по телефонной книге, можете ли вы вообразить, сколько там будет Коганов с инициалом S: Сэмов и Самюэлей, Сеймуров и Соломонов, Сильвий и Сильванн, Сюзанн и Софий... А если вашему С. Когану позвонить по телефону нельзя? А если учесть, что мертвых С. Коганов во много раз больше, чем живых? А если вспомнить, что вы прибыли в Нью-Йорк из далекого Мельбурна и, по всей видимости, даже не отдаете себе отчета, сколько здесь еврейских кладбищ? Вообразите, что с вами сделает пройда, в кэбе которого вы оказались, после того как вас купил и продал лицемерный швейцар?! Но я был не такой! Для начала я скромно, прилично двинул к мосту Квинсборо.

«А почему ты, собственно, поехал в Квинс?»

— Как это «почему»? Да просто потому, что я не бандит с большой дороги, а в Квинсе расположены самые ближние еврейские кладбища. Я ведь не ставил себе целью ободрать как липку безответного джентльмена из Мельбурна. Я только одного хотел: чтобы это была моя последняя работа на дню.

«Но разве так поступил бы на твоём месте порядочный человек? Разве не должен ты был подсказать приезжему из Австралии, что еврейских кладбищ в Нью-Йорке много и для розыска могилы нужна еще хоть какая-нибудь информация?»

— «Порядочный человек»?! Ишь какими словами привыкли разбрасываться! Да, к вашему сведению, если бы у меня совсем уже совести не было, я бы такого Мельбурна — заплатил я за него пять долларов или не заплатил! — поволок бы прямо на мост Вашингтона и начал бы розыски с Нью-Джерси!

«Ох, кэбби, кэбби, тебя не переспоришь. Но позволь задать тебе еще один вопрос: с кем это ты все время б е с е д у е ш ь? Ну, допустим, кое-где, помнится, обращался ты к читателю, это еще куда ни шло. Таксисту можно простить столь «свежий» литературный прием. Но кого это ты постоянно подталкиваешь игривым локотком? С кем сшибаешься? Кого избрал ты себе в качестве такого удобного оппонента, все доводы которого тебе известны заранее и которого ты непременно и так легко побеждаешь? А?...»

— Не ваше дело! «Оппонента!» Вы что, никогда не видели, как кэбби, крутя баранку, доказывает что-то, доказывает? Гримасничает. Злится. Иронизирует. Вы вглядываетесь, а на заднем сиденье — никого. Кэбби один в своей желтой клетке. Ему, стало быть, приятно поговорить с «умным человеком». Я лично, еще когда только обживался в гаражном чекере, так вошел во вкус — ого-го! Бывало, еду, болтаем... Занятный получается разговорчик: остроты с обеих сторон так и брызжут; а сзади слышу: бу-бу-бу, бу-бу-бу... Суется идиотский пассажир в чужую беседу. А, чтоб ты скис! Ну чего вам, мистер, от моей души надо? А пассажир как разозлится: «Отцепись от меня! О чем мне с тобой говорить? Я сам с собой разговариваю!»

Нью-Йорк, Нью-Йорк...

Гоня желтый кэб по Нью-Йорку, в каких только местах не сподобился я побывать! Возил клиентов и на скачки в Бельмонт, и на бега — на вечерние ипподромы «Йонкерс» и «Рузвельт»; на рок-концерты, и на бейсбольные матчи, и в зоопарк, и в тюрьму, и в парки, где играют в гольф, и на аэродром для маленьких частных самолетов, а вот на кладбище еще не был ни разу.

Пока «мистер Мельбурн» беседовал с прислужниками смерти, я бродил среди могил и только дивился, как много уже похоронено здесь эмигрантов из России из моей, третьей волны, тех, кто рвался в Новый Свет вместе со мной в погоне за лучшей долей. Под каменными плитами успокоились и активист-отказник, пробивавший дорогу в свободный мир не только себе, но и всем нам; и художочный Юлик Смутьсон со своей скрипачкой-четвертинкой, которому там, в Советском Союзе, была закрыта дорога в консерваторию; и просто Софочка Цам, игриво приподнявшая пухлым плечиком шлейку чуть-чуть более, чем следовало бы, откровенного — для кладбища — сарафана. С белых фаянсовых овалов, укрепленных на памятниках, мне улыбались такие привычные, такие понятные мне лица.

Еврейская бабушка в русском платочке...

Еврейский дед — комсомолец двадцатых годов в рубаше с украинской вышивкой...

Еврей с печальными грузинскими глазами и грузинскими фамилиями...

Уже в Бруклине, на том кладбище, что выходит одной своей стороной на северный отрезок Ошен-Парквей, молчаливый господин из Мельбурна нашел-таки то, что искал, словно иголку в сене: свежий, еще не оплывший под дождями холмик, обозначенный воткнутой в грунт табличкой:

«SHIRLI COHEN

1961—1979»

Но тут от неожиданности я охнул и отступил на шаг. С соседней вертикальной, в мой рост, плиты на меня глядел исчезнувший Узбек. Я не мог обознаться, это был он — «2W12».

Для надгробного памятника вдова Узбека выбрала фотографию не того несчастного моего сверстника, который нянчил больную руку и с вымученной железнозубой улыбочкой просил у меня таблетку, а жилистого, уверенного в своих силах работника, который был отцом ее детей и которого она так упорно тянула из родного Самарканда в Америку. Почему он умер так рано, бугай-экскаваторщик, настоящий еврейский муж, который не пропивал зарплату, а приносил жене всю до копеечки? Он крепко пил, но по праздникам, рассказывал, что запросто «переходил за литр». Что сделал с этим атлетом желтый кэб в считанные два-три года!

Но так ли уж назидательна была для меня участь Узбека, который не слушался ни Доктора, ни мудрого Шмуэля, ни Длинного Марика, хотя они все желали ему добра? Узбек думал, что он умнее всех: не стоял под отелями, не желал знаться со швейцарами, пахал от зари до зари — и вот результат. Моя же таксистская карьера складывалась по-иному. Я проработал всего лишь немногим более года, а уже возвращался домой все чаще и чаще засветло. И дело тут было не в отмычке «разменяй-ка пять долларов!», и не в случайных поездках в Лонг-Айленд или Вестчестер, которые выпадали ведь не чаще чем раз в неделю.

Дело было, как я теперь понимаю, в том, что, проехав около пятидесяти тысяч миль, пообщавшись примерно с двадцатью тысячами пассажиров, проиграв свой первый штраф «остановка запрещена» и «отгавкав» второй — «Solisiting»; да еще научившись не моргнув глазом обманывать своих товарищей (ибо за чей же счет доставались мне дальнобойные рейсы без очереди?), я стал настоящим кэбби!

Глава 17. Я «ПОДАЮ В ОТСТАВКУ»

Мои новые зубы отливали благородной голубишной дорогого унитаза, а я никому на свете не был должен ни цента! Это было, конечно, здорово; но чем лучше шли мои дела в такси, тем хуже и хуже обстояли они на радио. Всего лишь девять с половиной минут в неделю наговаривал я в студии записи, но установленный в ней микрофон обладал крайне неприятным свойством. Каждого, за кем захлопывается звуконепроницаемая дверь, микрофон просвечивает насквозь и — куда там детекторам лжи! — читает, словно по книге, самые затаенные твои помыслы. И если сознание сотрудника вещающей на соцлагерь радиостанции наводнено соображениями, связанными с куплей-продажей ценных бумаг, датами и адресами всевозможных аукционов, сведениями о кризах, шубах и прочих западных соблазнах, микрофон превращает его — в приживала, в ничтожество, боящееся потерять легкий эмигрантский заработок и потому заискивающее перед американским боссом.

Полноценным сотрудником микрофон «Радио Свобода» позволяет чувствовать себя только тому иммигранту, который, оказавшись в свободном мире, год за годом продолжает жить духовной жизнью, бедами и болью той страны, которую покинул. Я же хотя и не помышлял ни о предметах роскоши, ни о спекуляции, но все-таки цены на бензин, которым я заправлял кэб, теперь беспокоили меня больше, чем международные цены на зерно, о закупках которого я рассказывал советскому слушателю. И ни руки, ни душу невозможно было отмыть от «дружбы» со швейцарцами.

Мою программу «Хлеб наш насущный» вскоре удлиннили — с девяти с половиной до тринадцати с половиной минут. Теперь передача моя состояла из д в у х разделов, первый из которых, «Продовольствие и планета», был посвящен м и р о в о м у сельскому хозяйству, а второй, как и прежде, советскому.

Многоопытный мой редактор, устав читать мне нотации, поступил в высшей степени мудро; отныне тексты моих программ, направленных его умелой рукой в постоянное тихое русло, не вызывали нареканий политического отдела. На фоне сообщений о голоде в Индии или Африке комментарии о нехватке продовольствия в СССР воспринимались не как доказательство врожденного порока социалистической системы, которая не в состоянии прокормить себя, а как критика е е о т д е л ь н ы х недостатков. Спорить с редактором было бессмысленно, отказаться от еженедельного чека у меня не хватало решимости; а вскоре в ящичке с надписью «Lobas» я обнаружил журнал, о существовании которого прежде и слыхом не слыхал, — «Фармерс дайджест». Отныне, объяснил мне редактор, моя программа будет состоять из т р е х разделов. Кроме «Продовольствия и планеты», я должен вести еще одну новую рубрику: «Аграрная мощь Америки».

Что и как мог я писать о сельском хозяйстве США, если никогда не видел ни одной американской фермы, не разговаривал ни с одним американским фермером? Но мой редактор был человек-камень:

— Вы должны научиться работать так, как работает большинство наших сотрудников: по материалам печати.

Он не был советским агентом, которому поручили развалить изнутри «Радио Свобода». Он был обыкновенным чиновником, которому дотянуть до пенсии оставалось всего два года. Автор же, который п о с т о я н н о пишет «по материалам печати», то есть журналист на подхвате (без своей темы, без своего лица), — это самый удобный для редакции сотрудник: что ему подсунут, то он и сварганит.

Семь бед — один ответ! Зачем корпеть над переводами с а н г л и й с к о г о ? В с о в е т с к и х журналах полным-полно того самого материала, который хотелось бы слышать редактору в моей программе. В «Молодом коммунисте» мне попался роскошный опус: «Тень голода над современным миром»; в ленинградской «Смене» за прошлый год отыскал я завирально-футурологическое эссе о будущем «голубого континента», о том, как дрессированные дельфины будут пасти для человека рыбы стада. В «Техника — молодежи» приглянулась мне толковая заметка о новой американской машине для уборки ягод.

— Видите, как у вас получается, когда вы з а х о т и т е, — нахваливал меня редактор.

Красная лампочка, к которой я когда-то так рвался, сыграла со мной скверную штуку: моя программа на «Радио Свобода» стала моим позором. Микрофон превратил и меня в приживала, выклянчивающего легкий эмигрантский заработок; и теперь, здраваясь в коридоре с «одним влиятельным американцем», я преданно заглядывал за

стекла его очков, стараясь угадать: знает ли он, из каких источников черпаю я материал для своих передач, или еще не знает? «Поймают — выгонят!» — думал я.

Нужно было готовить плацдарм к отступлению...

Наш дом, «рай бедняков», покидала первая эмигрантская семья. Все русские высыпали во двор. Женщины наблюдали суету переезда издали, а мужчины подходили, предлагали помощь. Эмигранты — народ бережливый и считают предосудительным тратить деньги на то, что можно сделать своими силами. Отъезжающие благодарили доброхотов, но от их бескорыстных услуг отказывались: мебель таскали нанятые, умелые грузчики — мы провожали своих соседей в лучшую жизнь. Купленный наконец рыбный магазин освободил Розу от обязанностей официантки в доме престарелых.

Из чрева фургона-грузовика выглянул Миша.

— О, Володя! Ты как раз мне нужен.

Но сначала мы поговорили о его новом жилье. Три спальни, веранда, сад, гараж — дворец!

— Володя, мой адрес легко запомнить: три девятки, Ротшильд-авеню...

Ротшильд-авеню — это джунгли, район, куда белый человек поедет только в случае необходимости. Миша не приглашал меня на новоселье, он хотел, чтобы я наведался к нему в магазин.

— Подскочи, когда у тебя будет время.

Впрочем, для обид оснований не было: живя в одном доме, мы не ходили друг к другу в гости.

— Хватит уже мучаться в чекере, — многозначительно сказала Роза.

— У меня ты будешь иметь не меньше, — сказал Миша.

— А делать что нужно? — поинтересовался я.

— Ничего, — простодушно отвечал Миша. — Ровным счетом ничего. Так ты заскочишь?

— Он заскочит, — пообещала Роза.

И вот автобус шел по широкой, постепенно сужавшейся магистрали уже минут тридцать; он давно миновал застроенные особняками тенистые улочки-аллеи, и теперь в битком набитом салоне почти не оставалось белых пассажиров: в районы трущоб и нищеты ехали черные.

Дом номер 999 по Ротшильд-авеню торчал посреди сгоревшего, поросшего бурьяном квартала. Из входа в магазин дохнуло запахом помойки. Войдя, я оказался в просторном помещении, гудевшем, как растревоженный улей. Здесь продавалось все! Слева от меня высились пирамиды апельсинов и яблок, справа с металлических крюков свисали мясные туши, у задней стены мерцала стойка деликатесов, а посередине магазина замкнутым кругом выстроились рыбные прилавки. В центре этого круга на деревянном помосте за кассой стоял Миша в брезентовом фартуке. Четверо продавцов швыряли на звонкие тарелки весов смерзшиеся серые комья, из которых торчали рыбы головы, а Миша получал с покупателей деньги. Торговый конвейер работал безостановочно, и прошло, наверно, несколько минут, прежде чем на меня (единственного в толпе белого) обратил внимание юркоглазый черный подросток-продавец и что-то шепнул хозяину.

Миша послал мне мимолетную улыбку и громко позвал: «Хаим!» Старичок с трясущимися руками поднялся на помост, и Миша уступил ему место за кассой.

— Это брат бывшего хозяина. Я его жалею, но пока мы с тобой поговорим, двадцать—тридцать долларов он украдет, — посетовал Миша. — Он так привык: всю жизнь в торговле.

— Может, поговорим в другой раз? — предложил я.

— Перестань! — отмахнулся Миша. — Я, Володя, уже не такой голодный на деньги.

Громким, на весь магазин шепотом продавец-подросток веселил покупателей:

— Эй, леди, валите скорей сюда, я вам все, что захотите, продам за полцены, пока этот еврей на нас не смотрит!.. Эй, братишка, дай мне быстренько тебя обслужить, пока наш еврей болтает с другим евреем!

Прищурившись от восхищения, Миша комментировал:

— Этого ханыгу он обвесил на двадцать шесть центов, а обсчитал на восемнадцать. Эту толстуху обвесил на четырнадцать, а обсчитал на двенадцать. Никого не пропустит. Четырех покупателей обслужил и не дал ни одного пластикового мешочка!

Настоящий продавец, просвещал меня Миша, отпуская товар, одновременно снижает его себестоимость. На те деньги, которые только что с шутками-прибаутками черный подросток украл у своих соплеменников, можно снова купить на оптовом рынке несколько фунтов смерзшихся серых комьев, снова их продать — и при этом опять обчислить и обвесить.

Мы вышли на улицу, и, пока огибали сгоревший квартал, я узнал, что, хотя в Мишином магазине поддерживается полный ассортимент — и живая рыба, и красная, и дорогие креветки,— деньги он делает на самых дешевых, мороженных сортах, которые закупает по пятьсот долларов за тонну, а продает по полтора доллара за фунт. В неделю — восемь тонн. Каждая тонна — это две тысячи долларов чистой прибыли!

Шальные тысячи эти, однако, хлынули к Мише не вдруг и не сразу. С противоположной стороны сгоревшего квартала торчала еще одна хибара, к которой мы сейчас направлялись.

Цементный пол и знакомая уже вонь, но в лавке пусто, покупателей нет. За прилавком томится Роза. У самого входа на каких-то ящиках негр-оборванец разложил горку картошки, горку лука, горку бананов... Это была жалкая пародия на Царство Процветающей Торговли, откуда мы пришли.

— Сделай закусить! — скомандовал Миша, и Роза ожила, засуетилась. На подоконнике беспросветно грязного окна появилась бутылка армянского коньяка, огурчики-помидорчики, копченый угорь и четыре стопки: к нам присоединился Том, негр, продающий овощи. Миша пустил его торговать просто так, чтоб Роза не оставалась одна в лавке. Одной все-таки страшно. Арендной платы Миша с Тома не берет; Том убирает в лавке, а платит только за электричество.

Выпили...

Приблизительно год назад Миша отдал хозяину рыбного отдела в людном магазине восемнадцать тысяч наличными, которые собрал, продавая сосиски, надел брезентовый фартук и стал за прилавок. Что до сих пор знал он о рыбе? Он умел приготовить форшмак, умел засолить селедку. Короче говоря, Миша знал, как рыбу кушают, но он ничего не знал о том, как ее продают. Торговали втроем: Миша, Роза и старенький брат бывшего хозяина. Держать продавцов не имело смысла: хозяйки лишь приценивались к рыбе, но свои продуктовые талоны они относили в отдел, где продавали цыплят. В конце недели Миша подвел итог: двести долларов убытку.

И следующая неделя тоже оказалась убыточной. Ночами Роза рыдала в подушку:

— Что я тебе говорила?! Мы же отдали все, что имели!

Беседу нашу, журчавшую под коньячок, никто не прерывал. Дверь, впустившая с полчаса назад меня и Мишу, больше не открывалась. Покупатели черного гетто совершенно не интересовались, какие сегодня у Тома овощи, почему сегодня у Розы рыба.

Примерно так же обстояли дела год назад и в рыбном отделе, расположенном посередине многолюдного продуктового магазина: Мишину торговлю душил конкурент. Рыба, которую Миша закупал на оптовом рынке не тоннами и даже не центнерами — самая свежая, самая вкусная,— стоила дорого. Хозяйки приценивались к Мишиной рыбе, но покупали — у конкурента.

Объединившись с двумя-тремя такими же неудачниками, как он сам, Миша стал закупать более крупные партии и платить — дешевле. Он вставал в три часа ночи, являлся на оптовый рынок к открытию и каждый вырванный у оптовиков цент отдавал покупателям! Он с н и ж а л цены. Громадных свежих карпов Миша продавал по себестоимости — дешевле, чем в соседней лавке отпускалась мороженная мелюзга. Каждая убыточная неделя оставляла в Мишином бюджете кровоточащую рану, но Миша понимал: каждая тысяча уплывавшей между пальцами прибыли — это гвоздь в гроб конкурента!

Почуввав недоброе, конкурент стал держать лавку открытой семь дней в неделю, закрывать позже Миши, но спохватился поздно; хозяйки уже уверовали: у русского рыба дешевле и лучше!

Роза сделала вылазку:

— Это правда, что вы хотите продать лавку?

И конкурент не рискнул упустить свой шанс — сбить с рук умирающий бизнес. А дальновидный Миша, покупая прогоревшую лавку, вовсе не планировал извлекать из нее большой доход.

Когда бутылка коньяка уже опустела, в лавку вошли две женщины. Купили у Тома картошки, иронически осмотрели Розин прилавок.

— Почему у вас рыба стоит два тридцать? Мы всегда покупаем ее по полтора доллара.

— Покупайте там, где вам нравится,— сказала Роза.

Жещины вышли.

— Ты здорово торгуешь,— хмыкнул Миша.— Сколько ты с утра наторговала?

— Двадцать восемь долларов,— кокетливо сказала Роза.

— Ого! — обрадовался Миша.— Сегодня она, по крайней мере, не будет просить у меня на такси!

Счастливые супруги повернулись ко мне.

— Володя, на ней дом и двое детей — она не может работать. Закрывать эту лавку нельзя: если мы закроем, кто-то другой откроет. Здесь должен стоять свой человек.

— Я же тут ничего не делаю,— сказала Роза.

— Если мне хорошо, так и тебе тоже будет хорошо,— сказал мне Миша.

Я понимал, что это не пустые слова, и мне надоело быть нищим. Гонорар за мою программу, удлинившуюся по времени и состоявшую теперь из трех разделов, увеличен не был; мне платили все те же сто девяносто долларов. Но неужели же я приехал в Америку для того, чтобы торговать рыбой?

Наша память устроена так, что все тягостное изглаживается из нее несравненно быстрее, чем светлые зарубки. Разругавшись с очередным хозяином желтого кэба и — в который раз! — оставшись без машины, я чувствовал себя, как матрос, которого списали на берег.

Когда мы с женой приезжали в Манхеттен посмотреть новый фильм, я не мог равнодушно пройти мимо «Хилтона» или «Мэдисона». «Смотри, Кеннеди!» — подталкивал я локтем жену, указывая на рассыльного, выкатившего на тротуар тележку с чемоданами, и с гордостью думал: «Неужели это я ночью, под дождем перерезал путь зловещей машине и бесстрашно подхватил побежавшую по шоссе истеричку?!» Ссоры с пассажирами, детская ручонка у гильотины перегородки, окурки, которые мне приходилось выгребать из предназначенной для денег кормушки, взломанный багажник и разбитые хулиганами окна кэба — все это выветривалось из головы, как только мышцы покидали ощущение усталости. Я познакомил жену с Длинным Мариком, со Скульптором и Шмуэлем.

Единственной категорией лиц, связанных с желтым бизнесом и вызывавших у меня неприязнь, были хозяева кэбов. Менял я их с той же легкостью, с какой в свое время Фрэнк менял женщин. Они не снижали мою арендную плату за те потерянные для меня часы, когда кэб простаивал в мастерской, и я расплачивался с ними той же монетой. Если кэб, который я арендовал, нуждался в ремонте, то лучшим автомехаником для меня был тот, у кого в данный момент оказывался свободным подъемник.

— Что с машиной?

— Перегревается...

— Оставь ключи и приходи через пару часов, все будет в порядке.

И я оставляю ключи. Меня не кольшет, что сделает с машиной механик — вымоет радиатор за тридцать пять долларов или поставит новый за сто шестьдесят: платить по счету будет хозяин.

А сколько раз в ответ на мой упрек: «Ну почему вы не поставите в кэбе перегородку?» — хозяева кэбов стыдили меня:

— Что ты такой трусливый? Не бери черномазых — и все будет о'кей!

Как-то в воскресенье примерно за час до рассвета остановили мой кэб в безлюдном Сохо два белых парня:

— Двадцать первая улица и Восьмая авеню!

По тротуарам Двадцать первой улицы шли в церковь принаряженные прихожане; нужного моим пассажирам дома здесь не оказалось.

— Водитель, сверните в Двадцать вторую...

Людей на авеню, куда я уже выехал, нет, и перегородки в кэбе, которую сейчас самое время захлопнуть, тоже нет, а я уже был наслышан: когда пассажиры меняют адрес («Поверните сюда, сверните туда»), кэбби должен быть начеку!

Въезжать в тихую Двадцать вторую улицу было страшновато, но сразу же за углом я увидел мотоциклиста-полисмена, который выписывал штрафную квитанцию брошенной у гидранта машине. Когда же и в этом квартале не оказалось дома, который

разыскивали сидевшие у меня за спиной парни, я подумал: «Ну а если бы я остановился возле полисмена — что я мог бы ему сказать?»

— Сэр, это на Девятнадцатой улице. Между Шестой и Седьмой авеню.

— Пожалуйста, мы хорошо заплатим...

Почему вдруг я стал для них сэром? С чего это они мне хорошо заплатят? В шесть утра — ни в будни, ни в воскресенье — таксистам никто хорошо не платит... И шепчутся, шепчутся... И как мне знать: дом они ищут или глухой заулочек?

Сворачивая на Девятнадцатую улицу, я глянул еще раз в зеркало заднего обзора, и сердце не защемило, не екнуло, а внятно сказало: у б и й ц ы! Как бешеный рванулся вперед кэб!

— Эй, что ты делаешь?

Но я знал, что делал: где-то здесь, совсем-совсем рядом должно быть пожарное депо! Набравшая скорость машина споткнулась от внезапно впившихся в скаты тормозных колодок и поплыла по мокрой от росы мостовой...

— С ума сошел?!

Но я уже выскочил из машины и бросился к окрашенной в красную краску подворотне, где, невидимые с проезжей части, стояли двое пожарных, они пили кофе из бумажных стаканчиков.

— Что случилось? — Оба пожарника вздрогнули, на заскорузлых пальцах, на стенках стаканчиков возникли кофейные потеки. — Ты ранен?

Я задышался и не мог говорить.

— Тебя ограбили?

— Нет.

— Так что же случилось?

— Ничего... Просто я испугался...

Пожарники злились — за переполох, за пролитый кофе — и, наверное, поэтому стали смеяться.

Тем временем оба моих пассажира вылезли из кэба, и, услышав смех пожарников, один из них выкрикнул:

— Могу поспорить: он — еврей!..

Парни не спеша направлялись в ту сторону, откуда мы въехали в улицу, — не к пожарному депо, а к Шестой авеню. Они уходили — легкие, стройные, в летних рубашках, заправленных в тугие облегающие джинсы.

— У них ничего с собой нет, — сказал мне пожарник. — Ты же видел, когда они садились, что у них ничего нет.

Было жалко отстуканных на счетчике трех без малого долларов, было невыносимо стыдно...

— У них был сверток, — сказал я.

Пожарники переглянулись и, неся перед собой стаканчики, двинулись к кэбу. Достигшие уже середины квартала парни ускорили шаг и скрылись за углом — на Шестой авеню.

Поставив стаканчики на крышу кэба, один из моих спасителей заглянул внутрь.

— Э, да он, кажись, и в самом деле из пархатых! — сказал пожарник. — С кого же еще станет экономить сотню на том, чтобы не поставить в кэбе перегородку?

Возле заднего сиденья на полу машины лежал увесистый булыжник, вывалившийся из смятого бумажного пакета...

Предостережение было яснее ясного: хватит с тебя приключений! не лезь больше в желтый кэб! — но я истолковал происшедшее в том смысле, что это сбылось предсказание цыганки, нагадавшей мне когда-то найти в кэбе мешок с деньгами, а вышло, дескать, что я нашел нечто несравнимо более ценное — жизнь.

Однажды, когда я начитывал в студии записи очередной выпуск своей списанной из советских журналов программы, за стеклянной перегородкой возник «один влиятельный американец». Дождавшись паузы, он сказал в микрофон:

— Когда закончите, найдите, пожалуйста, ко мне.

«Интересно, как у них обставляются подобные сцены? — подумал я. — По-американски: лимиты, дескать, исчерпаны, денег на вашу программу больше нет; или по-русски: «Как вы могли дойти до того, чтоб списывать из московских изданий, сукин вы сын?!»

В просторном кабинете, в котором до сих пор мне ни разу не довелось побывать,

находились «профессор новостей» Кукин и мой редактор. Когда я вошел, разговор оборвался.

— Вашу передачу прослушивали и обсуждали мюнхенские рецензенты,— сказал американский босс.

— Это наша высшая, так сказать, инстанция,— поспешил пояснить Кукин.

— Вот, почитайте сами,— сказал редактор, протягивая мне полосу телетайпной с перфорацией по краю, бумаги.

Буквы прыгали перед глазами, я с трудом разобрал:

«Глубокое понимание темы... лояльный по отношению к советскому слушателю тон... Рекомендуется к повторной трансляции. Рассмотрите возможность удлинения программы до 18,5 минуты...»

Трое добропорядочных господ в ладно сшитых пиджаках благосклонно кивали, как бы приглашая меня в свое приятное общество, а я чувствовал, что мое лицо идет пятнами, будто они отхлестали меня по щекам. Противным срывающимся голосом я сказал:

— Я на Западе сравнительно недавно и не знаю, как у вас принято... Посоветуйте мне: если я не согласен с тем, что вы принуждаете меня делать, куда мне на вас жаловаться?

Я не видел реакции на их лицах, потому что глядел в пол.

— Если сотрудник не согласен с политикой учреждения, в котором служит,— натужно с фальшивинкой произнес невозмутимый джентльмен-редактор,— то он подает в отставку.

Выражение это «подать в отставку» как-то не вязалось ни с потрепанной моей фигурой, ни с мизерным моим заработком, ни с головоломным моим социальным статусом. Ведь я и сам уже не мог разобраться, кем же я, в конце концов, стал: комментатором «Свободы», автором еженедельного радиообозрения, который вынужден подрабатывать в желтом кэбе, или я таксист, который подрабатывает на эмигрантском радио?

— Спасибо,— сказал я своим старшим коллегам.— Мне надо подумать над тем, что вы мне сейчас объяснили.

Я совсем не представлял себе, как жить дальше, но твердо знал, что теперь, на исходе пятого года пребывания в Америке, мне придется еще раз сломать свою жизнь и еще раз начать ее заново...

Глава 18. БИЗНЕС ДЛЯ ДУРАКОВ

— Поднимите правую руку,— сказал судья Ванг.

Сакраментальная торжественность наполнила паузу.

— Поклянитесь, что будете говорить правду. Только правду. Ничего, кроме правды...

Но об этом: как мы получали американское гражданство,— я расскажу позднее, а сейчас о другом.

Еще в самом начале, когда я только засел за свою книгу, захотелось мне соблазнить иных читателей одним обещанием: тому, кто возьмет в руки мои «Записки», я подскажу, как в паутине жизненных путей-перекрестков отыскать ту заветную стежку, что ведет к кисельным берегам при молочных реках — к беспечному достатку для любого и каждого, и даже для того, кому осточертело ходить на службу, но тем не менее хочется вкусно пожить! Мало того — стежка эта каким-то образом минует годы бессонных трудов и годы иссушающего душу скопидомства: подвижнические хлеб и воду, пятый — без лифта — этаж.

Что ж, вот сейчас как раз и можно рассказать про эту стежку, в конце концов, не бог весть какой секрет. А поскольку кое-кто из читающей публики, вероятно, поинтересуется, могут ли вступить на этот путь, ведущий к сказочной жизни, те, у кого с изначальным капиталом туговато, ну совсем ничего нету, отвечаю сразу же: могут — все!

Эй, кэбби, ты вообще-то как — хорошо себя чувствуешь? Голова не болит? Может, хватит уже все писать и писать? Может, лучше покатаемся, проветримся, поедem в то самое заведение у моста Трайборо, которое ты повадилсЯ выдавать пассажирам за женскую тюрьму?

Чтоб утихомирить всплески сарказма, уточняю: человек я вполне здоровый и вполне заурядный, никак не светоч ума. Но разве мало среди обеспеченной публики самых

заурядных людей? Кто сказал, что публика эта сплошь интеллектуалы и таланты? Да ничем они не лучше, чем мы с тобою, читатель! И если тебя интересует т о л ь к о э т о , читай скорее главу — и через несколько минут ты будешь знать все необходимое про один безусловно легальный способ и лишь слегка удивишься тому, до чего это просто, да, может, в уголке твоего сознания мелькнет мысль о том, как много твоих знакомых, которых ты издавна и искренне привык уважать, проделали в свое время это или нечто подобное. В конце же, возможно, ты с удивлением обнаружишь, что тебе почему-то совсем не хочется воспользоваться своим новым знанием — тем самым простым и легальным способом — даже для того, чтоб избавиться от тоскливой службы и себя самого и жену...

А теперь, читатель, если ты все же не передумал, дай мне свою честную руку, и сквозь рассеивающийся мрак неверия и сомнений мы бодрим спортивным шагом двинем прямо на станцию, с которой отправляется твой поезд — в будущее!

Сесть в этот поезд так же просто, как и в любой другой, что отправляется ежеминутно с Центрального или Пенсильванского вокзалов: кто захочет, тот и садится... Чтобы ехать поездом, ничего, разумеется, не нужно ни знать, ни уметь; но, с другой стороны, ни природный ум, ни ямочки на щеках, ни дипломы престижных университетов ни капельки не помогут и ничего не у с к о р я т. Поезд будет идти строго по расписанию: в первый год — со скоростью один доллар в час...

Да, не экспресс. А потому, приятель, если есть у тебя свои планы: если ты примериваешься открыть химчистку или магазин деликатесов, ждешь наследства или иного поворота в своей судьбе, — в добрый час! Но вот если тебе надеяться не на что, если ты ни к чему не пригоден и работать не хочешь, тогда — идем! Впрочем, стой: может, ты фантазер? Может, ты мечтаешь о яхтах, о несчетных миллионах и собственном «боинге»? Если это так, я помочь тебе не могу. Дороги к несметным богатствам я не знаю. Ты учти: я тебе обещаю всего-навсего квартиру в Кью-Гарденс и скромный «катлас». Правда, тышконки две-три в месяц ты сможешь откладывать на черный день или на старость, и работать вы оба не будете: ни ты, ни жена. Ты согласен? Тогда пошли!

Слышишь лязг буферов? Это катит состав. Во какая — ту-ту! — плывет мимо нас машина! Промелькнули огни, замер стук колес; что с тобою, приятель? Почему ты такой печальный? Ах, ты думал, что сразу? Не горюй, всему свое время, поедешь и ты! И не зайдем, а с полным комфортом, как путешествуют люди бизнеса. Какой сегодня день? Четверг? В понедельник, самое позднее во вторник, ручаюсь, ты станешь самым настоящим бизнесменом!

Никакого дела ты не знаешь? Не бери себе в голову, не боги горшки обжигают... Вообще ни к чему не пригоден? Ерунда!.. Денег нету? Это, конечно, хуже. Неужели совсем ничего? Но собвейный жетон есть? Ну вот видишь, а ты прибеднялся... Мы с тобой заскочим в парочку офисов, познакомимся с другими бизнесменами, подмахнем пару бумажек — и чихнуть не успеешь, как завертится-закрутится самый простой и самый надежный бизнес для всех и каждого — бизнес для дураков!

Деловых встреч, которые превратят мечтателя в предпринимателя, будет всего две, и первая из них произойдет в конторе спекулянта, который перепродает медальоны. Да, мне известно, что еще минуту назад у тебя, читатель, и мысли не было покупать такси, но ведь я тебе этого и не предлагаю. И ни один спекулянт не предложит. И причина, надеюсь, понятна...

Конторы таксистских брокеров размещаются и на площади Колумба, и в здании «Пан-Ам», и на сомнительной Десятой авеню, но мы покинем Манхеттен. Мы отправимся в закоулки самого грязного Квинса или в Южный Бронкс, туда, где на углах ошиваются стаи шпаны; и лучше не надевать на шею хвастливую золотую цепочку.

В скверные районы посылаю я тебя, читатель, не для пушей экзотики, а потому, что едва ты начнешь разговор о бизнесе, едва ты откроешь рот, как твой коллега, бизнесмен, немедленно тебя раскусит. Как бы тщательно ни подготовил я тебя, любому брокеру сразу же станет ясно не только то, что ты голоштанник, но и то, что ты лодырь, который водить такси вовсе и не собирает (ведь ты же не собираешься?), и в чем состоит твой дешевый фокус. Потому-то и нужен нам особый спекулянт: злобный, тонуший в долгах, запутавшийся в мелких аферах, которому обязательно хоть раз в неделю кто-нибудь бьет морду и у которого весь офис — это обшарпанный письменный стол, приотвившийся в заброшенном складе между горами разобранных на детали ворованных кэбов.

Соберись, подходя к столу. Но приятное впечатление произвести не старайся: не сияй, не заискивай, не здоровайся. Взгляни прямо в тухлые злые глазки и твердо скажи:

— Джерри, мне надо взять в аренду медальон.

— А кэб у тебя есть? — спросит Джерри, и ты смотри же не ляпни: «Какой еще кэб? Нету у меня никакого кэба, и на кой он мне сдался?» Джерри задал исключительно важный вопрос, и отвечать на него нужно сугубо по-деловому:

— Я хочу, Джерри, арендовать медальон с покупкой кэба.

— Нового? — на всякий случай спросит Джерри, и лицо его чуть-чуть посветлеет, когда ты ответишь, что новый кэб тебе ни к чему, вполне сгодится подержанный. — Какой же марки машину ты хочешь? — спросит Джерри, интересуясь на самом деле вовсе не маркой, а — тобой, кто ты есть и чем ты дышишь, и уж тут-то не нужно играть с ним в прятки. Скажи откровенно:

— Мне все равно, хоть «форд», хоть «додж», лишь бы машина была хорошая.

И Джерри поймет, что в этот кэб ты сам не сядешь. Но ты не стесняйся, ты дай понять, что левые номера с тобой не проходят и за всякую рухлядь ты переплачивать не намерен; все должно быть честно; зато за медальон и машину — пожалуйста! — приготовлен у тебя полновесный аванс: пятнадцать сотен.

Ох какой ты!.. Да помню я, помню, что у тебя никаких сотен нет. Но ты должен сказать, будто есть. Так среди бизнесменов принято. Если ты этого не скажешь, Джерри может подумать, что ты фрукт похлестче его. А как только ты упомянешь эти пятнадцать сотен, он смекнет, что у тебя за душой ни гроша, но оценит твою тактичность. Джерри привык вырывать свой кусок у таких, как ты: клиенты с деньгами к нему не заглядывают; а потому церемониться с ним нечего, требуй, а не проси:

— Джерри, ты можешь сделать, чтоб я в понедельник — выехал?

От привкуса разлившейся желчи, от неприязни к тебе Джерри скривится, но скажет: «Что за вопрос!» — и выложит на стол — контракт.

А вдруг не выложит? Разве не может случиться, что спекулянт расфрыкается, психанет и под какие-то выдуманные полторы тысячи бизнес делать не станет?

К твоему сведению, недоверчивый мой читатель, полторы эти тысячи вовсе не выдумка, и Джерри в отличие от тебя прекрасно знает, откуда они возьмутся. Но вполне допускаю, что какие-то деньги — пятьсот или триста, на худой конец, долларов — он потребует сразу, и если у тебя нет ничего...

Вот именно! Что тогда?

Тогда ты — обидишься; скажешь, что твоя честность известна всем, а если кое-кто думает о тебе иначе, то, стало быть, сам такой и есть...

Ну и...?

И мы пойдем делать бизнес с Мухаммедом.

А если и Мухаммед?..

Попытаем счастья у Анастаса или у Сахира.

А если и эти тоже?

Но так не бывает. Спекулянтам всегда нужны клиенты без денег.

Нужны?

Еще как!

Зачем?

Люди, у которых нет денег, соглашаются на любые условия. Если сегодня цена за аренду медальона четыреста пятьдесят долларов в неделю, Джерри вырвет у тебя пятьсот; потому-то он и поспешил подsunуть тебе контракт — годовой или двухгодичный.

На кой же черт мне подписывать?

Но у тебя нет денег. Неужели ты думаешь, что тот драндулет с двумя сотнями тысяч миль на спидометре, который Джерри всучил тебе, лопухому, согласился бы купить хоть кто-нибудь, кроме тебя?

Ну так и я не хочу! Что я — хуже всех?

Ты не хуже, но у тебя ведь нет денег. Самое главное сейчас для тебя — повернуть сделку, а старенький кэб ты же все равно не будешь водить.

Но изношенную машину придется чинить!

И чинить ее будешь — не ты.

А платить, интересно, кто будет?

Платить придется тебе. И сдерет с тебя Джерри три шкуры: те, у кого в кармане пусто, всегда платят вдвойне. Но ты переживай в меру. Хоть разбитую колымагу ты купишь не понарошке, обещанные пятнадцать сотен отдашь сполна и как миленький

будешь выплачивать и рассрочку, и проценты, и аренду, но ты постарайся все же утешиться мыслью, что з а р а б а т ы в а т ь все эти сумасшедшие деньги будешь — не ты.

С тяжелым сердцем, облапошенный, расстанешься ты с брокером, читатель, но это обманчивое чувство. Подписанный контракт, сторгованный, уж какой он ни есть, кэб — это шаг на подножку поезда.

Теперь желающих вступить с тобой в деловые отношения найдутся десятки в любом районе Нью-Йорка, но мы вернемся в Манхеттен. Ты, наверное, помнишь, читатель, встреченного мельком в первых главах мальчишку-кэбби из русских эмигрантов, Йоську, который стеснялся мочиться на асфальт и возил с собой баночку с крышечкой? Он не засиделся за баранкой, а придумал для себя иное, имеющее отношение к такси занятие. Именно в связи с этим его занятием нам и придется разыскать Йоську, который за эти годы обзавелся семьей, стал отцом двух дочурок и хозяином шестнадцати медальонов.

Найдем мы Йоську на Вест-сайте, в районе Двадцатых улиц, около ремонтной мастерской, где чинятся Йоськины тачки. Он клиент важный: заваливает механиков работой, — и потому владелец мастерской разрешает ему пользоваться телефоном.

Дряхлый Йоськин «рафика», доверху набитый запчастями: пружинами, радиаторами, рессорами, шлангами, — обычно запаркован у входа в мастерскую, а сам Йоська околачивается внутри. Когда раздастся звонок, он в ы х в а т ы в а е т трубку, и довольно часто оказывается, что звонят именно ему.

— На день или на ночь? — с ходу уточняет Йоська и тотчас же объявляет радостным голосом: — Уже договорились! Именно то, что вам нужно! У меня сейчас есть! — И переходит на вдумчивую интонацию честяги: — Ну зачем даже говорить такие вещи! Абсолютно... Как новенькая!.. — И заканчивает твердым, как гранит: — Уговор для меня дороже денег: вы начнете работать — с с е г о д н я ш н е г о д н я.

Называть хозяина шестнадцати медальонов Йоськой не полагается и обратиться к нему следует так:

— Д ж о з е ф , мне нужны водители...

— Двое? — спросит Йоська, и тут его нужно подправить:

— Трое.

Из-под сиденья «рафика» на свет появится замусоленная тетрадка.

— Машина в приличном состоянии? — поинтересуется Йоська-Джозеф, и нужно ли в данном случае подсказывать ответ? Язык человека, уже пообещавшего пятнадцать сотен аванса (пусть даже каких-то ирреальных, но все же пятнадцать сотен долларов!), сам найдет и подходящие слова, и ту единственно правильную интонацию — легкой обиды, с которой они будут произнесены:

— Джозеф, о чем ты говоришь?! Кэб как новенький!

«Кэб в хор. сост.» — несколько снижая оценку, пометит Йоська в тетрадке и с а м распишет схему рабочего расписания, при которой драндулет, за который еще нужно платить и платить, не будет простаивать ни минуты, поскольку гонять его будут т р о е водителей:

«Вод. № 1	5 ут.	—	5 веч.,	понед.	—	пятн.	—	325 долл.
Вод. № 2	5 веч.	—	5 ут.,	понед.	—	пятн.	—	375 долл.
Вод. № 3	48 час.	—		субб. + воскр.			—	220 долл.».

Кучу долларов принесут в конце следующей недели эти водилы номер один, номер два и номер три! Но львиную долю из этой кучи придется отдать — за аренду медальона и в виде первой выплаты за драндулет. Излишек же, который остается, к сожалению, очень скромнен — всего пара сотен, не больше; и стоило ли вообще городить огород? Но будь справедлив: ведь и вкалывал за эти деньги — не ты...

Между тем Йоська уже захлопнет тетрадку, поблагодарит тебя (неприменно благодарит!), пожмет, уже не зная, как бы от тебя избавиться, твою честную руку, и ты почувствуешь, что и в самом деле нора уходит, но ты не в состоянии сделать ни шагу. Ноги станут чугунными. «О, проклятие!.. Все погубило!»

Деловые контакты, в которые ты так простодушно поверил, замечательная схема «вод. № 1 + вод. № 2 + вод. № 3», а самое главное, живые деньги, которые предстояло получить всего через несколько дней (о, как больно!), — все это миф, мираж. Разве затравленный Джерри, которому раз в неделю бьют морду, отдаст ключи от драндулета без оговоренных полутора тысяч?! Да скорей Гудзон потечет вспять, в горы!.. Что-о? Какой еще, к свиньям, контракт? Под ним покамест стоит только в а ш а подпись.

Джерри запросто дает подписать эту бумажку клиенту; он сам, пока дважды не пересчитает бабки, ни в жизнь не подпишет!.. Где же взять ничтожные эти сотни, без которых все расплзается, словно веревочная лестница в кошмарном сне? О, лучше бы, наверное, не дожидать до этого часа!..

Друг мой, друг мой, как-нибудь лунной ночью, проснувшись в глядящем на океан небоскребе где-то на Барбадосе, или Акапулько, или ином, средней руки курорте, огладишь ты разметающуюся рядом двухсотдолларовую богиню, подумаешь, что имеешь полное право разбудить ее, но тебе это вредно, нашаришь на тумбочке сигареты и, пустив в потолок струйку дыма, задумаешься о необычайной своей судьбе: о том, кем ты был и кем ты стал!..

Ты будешь вспоминать скорее всего о приятном, согревающем душу, например, о том, как скупал по дешевке отслужившие свой срок полицейские машины, которые потом перекрашивал в желтый цвет; словно живой встанет у тебя перед глазами первый твой брокер Джерри, и ты непременно добредешь до той жестокой минуты, когда, чуть было не поскользнувшись в лужице машинного масла у въезда в ремонтную мастерскую, ты судорожно схватился за рукав Йоськиной курточки. Только никогда не вспоминай об этой вспышке отчаяния со стыдом.

Ну и что, если зыркнул на тебя словно на сумасшедшего Йоська? И совсем уж ерунда, что ты выставил себя перед ним лопухом, не знающим азов бизнеса. Зато ведь, оказавшись во м н и м о й финансовой ловушке, ты не стал малодушно советовать ся, как бы тебе извернуться, а проявил характер: побагровел и вызверился на ни в чем перед тобой не повинного хлопца с той дикой, бессмысленной лютостью, которая и была порукой конечного твоего успеха!

— Слушай, Джозеф! — заорал ты не своим голосом. — Слушай и запомни: я считаю, что у меня есть водитель, когда он положит на стол залог, пети-мети. Без денег мой кэб я не дам никому!

— Да мы тут что — в игрушки играем?! — попятился Йоська, дивясь такому напору. — Каждый водитель кладет на бочку залог за машину — пятьсот монет.

И ты спасен. Пятнадцать сотен, которые вымогал Джерри, принесет шоферня! Но и переведа облегченно дух, ты не сразу отпустил Йоську. Ты уже вошел в раж, распалился и стал многословно оговаривать то, что оговаривать было совершенно излишне: что, если украдут счетчик или взломают багажник, снимут скаты или разобьют стекло... Однако Йоська терпеливо, как мама, успокоил тебя: прежде чем сесть за руль, каждый водитель обязан подписать документ о своей стопроцентной ответственности за машину.

А если он попадет в аварию и свернет себе шею? А если, не приведи Бог, его пристрелит грабитель? Ведь вдова затаскает по судам, обдерет как липку! Не обдерет. Йоська свое дело знает. Ни один водитель не сядет в твой кэб, пока не подпишет и другой документ — о том, что ты его н е н а н и м а л и ответственности за него не несешь. Он — самостоятельный п о д р я д ч и к. Перед лицом закона вы два абсолютно равноправных партнера: он — поскольку работает, ты — поскольку отнимаешь у него деньги!

Дни рождения бизнеса наполнены, впрочем, не только страхами и суетой. Они приносят и маленькие неповторимые радости... Все эти дни жена будет поминутно обмирать со страху, а ты — рассеивать ее тревоги.

— А бензин? Ты подумал, во что обойдется только один бензин? — выпалит вдруг жена, и ты разъяснишь, что бензин покупают водители.

— А страховку кто будет оплачивать?

— Неужели непонятно? — откликнешься ты утомленным голосом. — Страховку оплачивает хозяин медальона.

— А если водитель заболет?

— Тогда, наверное, он пойдет к доктору...

— При чем здесь твои дурацкие шуточки? — взвьется жена. — Кто заплатит за потерянные дни?

И до чего же это приятно, когда жена предоставляет вам повод блеснуть юридическими познаниями! Водитель арендует кэб на тех же условиях, что жилец арендует квартиру. Уважительных причин, по которым можно пропустить очередной платеж, не бывает; задолженность водителя автоматически погашается за счет пяти сотен внесенного им залога.

— А если водитель уволится?

— Джозеф пришлет другого.

— Да кто он такой, твой Джозеф? С какой стати он будет искать для нас водителей и откуда он их берет?

Лучший способ успокоить и себя и жену по данному поводу — это купить номер «Пост» или «Ньюз», раскрыть газету на разделе «Спрос труда» и отыскать в нем колонку, где мелькает призывное: «ТАКСИСТ — САМ СЕБЕ ХОЗЯИН!» Под одним из таких объявлений, где сулятся баснословные заработки и новые кэбы, непременно обнаружится уже знакомый номер телефона — Йоськин!

Семьдесят долларов за каждое объявление платит Йоська. Но каждый водитель, который получает работу при посредничестве Йоськи, платит ему пятьдесят долларов, и каждый хозяин тоже дает пятьдесят — за каждого водителя... Вкусно? Тоже хочется? Не уйдет от нас и этот кусок!..

А поезд в будущее — уже тронулся! Так плавно, так естественно, что вроде бы и незаметно, когда же именно это произошло. Метафорическое движение его поначалу едва ощутимо; но где-то в глубине души наивного, только-только начавшего деловую жизнь бизнесмена уже поселилось ласковое, как котенок, чувство тайной гордости за себя, сумевшего засадить троих шоферюг в старый кэб, купленный на их же, по сути, бабки; и теперь по улицам Нью-Йорка среди тысяч желтых машин колесит и твой! И пусть твоя новая жизнь по-прежнему скудна и убога, но теперь ты знаешь, что это — не навсегда! Там, впереди, за синими даями, уже горит огонек надежды: в дождь и в метель, от зари до зари, двадцать четыре часа в сутки трое сосватанных Джозефом «боссов» крутят и крутят баранку твоего драндулета, и каждый час ты становишься на о д и н доллар богаче. Всего лишь на один, но зато — и когда трясешься в собее, и когда смотришь телевизор, и когда спишь — синхронно с ударами твоего сердца тикает безостановочный счетчик... Только — во имя самого для тебя, молодой бизнесмен, святого — не прикасайся к отсчитанным им долларам! Нарушивших эту заповедь неминуемо ждет беда. Чем чаще будет ломаться кэб, тем чаще придется бегать к Йоське за новыми водителями, и настанет день, когда станет ясно, что машину под арендуемым медальоном пора менять. Это испытание придет с неотвратимостью захода солнца, и с расточителями первых долларов не станет связываться даже Джерри...

Но если быть благоразумным, то через полгода удачно инвестированный собвейный жетон превратится тычонок эдак в пять или даже шесть; так что в случае чего уже можно уплатить за новый старый кэб, который хоть и под проклятия водил, но послужит, послужит, а когда заглашник опять нарастет, настанет время расширять бизнес.

Еще один медальон с покупкой драндулета будет взят в аренду, и уже шестеро «боссов» будут толкать п о е з д; и ты оглянуться не успеешь, как их — «боссов» — станет девять!

Чем больше, однако, денег будет протекать между пальцами, тем болезненней будет ощущаться очевидная несправедливость того, что тебе достаются крохи по сравнению с доходами хозяев медальонов, которые ведь загребают жар т в о и м и руками.

Ты начнешь принохиваться к непомерным ценам, наведаешься к брокеру, справишься об условиях банковского займа... Но, заглядывая в брокерские офисы на Лексингтон и на Десятую авеню, ты раз за разом будешь наталкиваться на стену — чудовищных размеров первый взнос. Даже при условии, что по Нью-Йорку колятся уже три укомплектованных тобой такси, собрать требуемую сумму практически невозможно. Так, значит, нужно запустить еще три тачки, засадить еще девятерых водителей, пусть работают!

Э, легко болтать языком. С желтыми машинами постоянно что-то случается: то поломка, то авария; да и «боссы» вынимают душу. Чего только стоят ночные, часика в три, звоночки:

— В машине не крутится руль, на ней нельзя работать!

Этот идиот не знает, что, если не крутится руль, нужно нажать на газ — тогда руль повернется.

— Я застрял на Фар-Рокавей...

«Застрял»? Он захлопнул в машине ключи и теперь среди ночи поднимает хозяина. Возьми, остолоп, каменку, трахни по стеклу, открой замок, а утром — вставь новое стекло! Раз заплатишь — впредь не застрянешь... Но так говорить нельзя. Нужно встать, одеться — и отвезти запасные ключи.

И все-таки если не опускать руки, искать пути перестройки бизнеса, тыкаться, спрашивать-переспрашивать, то в конце концов прояснится некая своеобразная законо-

мерность: когда на площади Колумба для первого взноса требуют пятьдесят тысяч, на Лексингтон берут сорок, а в черном Бруклине — двадцать три.

Ты предусмотрительно снял с шеи цепочку, спустился в метро и вынырнул из-под земли в районе заброшенных складов. Знакомые груды шасси и трансмиссий, снятых с краденых кэбов; разверни колченогий стул и усядься на него верхом.

— Джерри, сколько нужно, чтобы выехать на своем медальоне?

— Смотри какую машину ты хочешь — новую или старую.

— Машина у меня есть.

— Двенадцать штук.

Когда Мухаммед требует двадцать три, Джерри удовлетворится двенадцатью.

— А какие займы, проценты?..

Пока Джерри будет выписывать в столбик: восемнадцать процентов по первому займу, двадцать шесть процентов по второму, — возьми обеими руками, да покрепче, за спинку оседланного стула, чтобы не свалиться ненароком, когда ты увидишь, что по третьей ссуде, которую Джерри предоставит тебе как доброму старому клиенту из своих личных средств, платить придется всего лишь четыре с половиной процента!..

— В месяц, — объяснит Джерри. — Четыре с половиной процента — в месяц...

Могильной жутью повеет на тебя от маленькой, да удаленькой этой цифры, но одновременно в твоём сознании возникнет и здравая мысль, что горбатить за эти проценты будешь — не ты.

Отдав все, что удалось накопить, ты опять заключаешь сделку на кабальных условиях, но зато в твоём бизнесе произошла революция: теперь ты выращиваешь два колоса там, где вчера выращивал один. За кэб, который сдается водителям, ты по-прежнему получаешь доллар в час, но сверх того, став хозяином медальона, одновременно наживаешь и второй — мистический доллар-призрак! Доллар, который тебе даю т, но который тотчас же исчезает в кармане ростовщика или в окошечке банка. На этот доллар не купишь сосиску. Этот доллар нельзя разменять на четыре квотера. Его вроде бы нет, но в то же время он — есть!

Полновесная ценность этого доллара ощутится лишь года через три, когда недоступный для тебя прежде брокер с площади Колумба встретит тебя на пороге своего кабинета, пригласит в кресло и, мельком просмотрев твои бумаги, объявит, что, мол, стоит тебе подписать вот этот документик и еще вот этот да поставить свою подпись на обороте, как ты станешь хозяином корпорации, то есть еще двух медальонов!

С трудом шевельнется приросший к гортани язык:

— Елки-палки, за корпорацию ведь нужно кучу денег положить в виде первого взноса.

И тут сын великого Энди Гринбаума — Ноэль Гринбаум доверительно коснется твоей руки:

— От вас, сэр, мне не нужно ни единого цента!

Доллары, которые ты не разменивал на квотеры, доллары-призраки, которые исчезали в окошечках банков, выпали кристаллами на дно оплаченной части займов. Не дрейфь — подписывай! Здесь и здесь. Не забудь на обороте...

Отныне у тебя забот невпроворот! С утра пораньше ты в ремонтной мастерской; потом надо выкроить время, чтобы подскочить на распродажу скатов, потом на свалку, где распродают по частям ворованные кэбы, прицениться, сколько стоит дверца, почему крышка капота. Нужно еще приискать и недорогой «рафик» и в «Пост» позвонить:

ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАРАБОТАТЬ 600 ДОЛЛАРОВ В НЕДЕЛЮ!

САДИТЕСЬ ЗА БАРАНКУ ХОТЬ СЕЙЧАС!

Отныне твой телефон станет твоим проклятием: он будет разрываться. «На день или на ночь?» Не успеешь положить трубку — опять звонят. «Да, абсолютно... Ну зачем даже спрашивать такие вещи? Кэб как новенький!..» Но каждый звонок — это деньги! Пятьдесят долларов платит тебе таксист, который получает работу, и еще пятьдесят дает недотепа хозяин, который сам не в состоянии подыскивать водителей для своих драндулетов.

Вокруг перегруженной займами корпорации будут порхать арендованные медальоны-подспорье, и твой поезд будет набирать и набирать скорость: двенадцать, шестнадцать, двадцать два, тридцать шесть долларов в час! И когда ты ешь и когда ты спишь, все крутится и крутится колесико волшебного счетчика. Но, с другой стороны, и ночных

звонков, треволнений, хлопот, неприятностей, которые будут доставлять тебе водилы, станет так много, что ты призадумашься: а правильно ли ты их выбирал? Ведь они звонят и звонят. Ты старался отбирать для себя — самых честных, но они на проверку все подряд оказывались прохвостами. Каких только сказок они не рассказывали, чтобы урвать из твоих денег хоть несколько долларов или, на худой конец, отсрочить платеж! То выдался мертвый день, то полицейский придрался «ни за что», то взломали ночью багажник и украли запаску, то заболел ребенок...

Ты отдавал предпочтение пожилым, осмотрительным, семейным — они калечили кэбы. Они врезались на полном ходу в фонарные столбы, в автобусы; они превращали в груды металлолома дорогие «вольво» и «кадиллаки». И всегда непременно, что бы ни произошло, клялись и божились, что виноват во всем какой-то другой — «мазер-факер».

Лишь со временем откроется тебе, что они все одинаковы. Ты даешь им возможность трудиться и содержать свои семьи, но разве они это ценят?! Шоферня — это отбросы общества, выродки, мразь! Пожалеешь, уступишь — они сядут на голову. Оставят нищим, поезд пойдет под откос. А потому, если ты белый, сажай в свои колымаги чернозадых; если ты пархатый Хаим, нет для тебя лучшей кандидатуры чем араб-ублюдок; если ты настоящий янки — бери греков и китаез: тогда тебе легче будет их презирать...

Был мертвый день? Но разве в хорошие дни я повышаю арендную плату?

Полицейский нарушил закон? Поддай на него в суд.

Ребенок? У меня тоже есть дети!..

Хочешь работать — плати и работай. Не заплатишь — долг будет удержан из депозита, и катись на все четыре стороны!.. Дневная или вечерняя?.. Уже договорились!.. Да, мне нужен водитель с сегодняшнего дня!..

ЭПИЛОГ

Я уже побывал по меньшей мере у десятка таксистских брокеров — и на площади Колумба, и на Десятой авеню, — и уже сторговал у Джерри старенький кэб, и восстановил бывшее знакомство с Джозефом-Йоськой, но решил все же не подписывать контракт на аренду медальона, пока не наведаюсь еще раз в рыбный магазин.

...Звенели на тарелках весов смерзшиеся серые комья; черный продавец-подросток вдовновенно обвешивал, обсчитывал и развлекал толпу.

Заметив меня среди покупателей, Миша не выразил особой радости.

— Ты очень долго думал, — сказал Миша через прилавок.

На место, которое некогда предлагалось мне, был взят другой человек...

Но ведь я пришел к Мише вовсе не затем, чтобы получить работу в его лавке. Я хотел предложить богатому рыбаку бизнес! Мы с ним на пару купим корпорацию: два такси — одно для него, а другое для меня. На своем кэбе я буду работать сам, а Мишин сдадим в аренду. Я буду следить за этой, второй машиной как за своей, буду нанимать шоферов. Через пять лет банковские займы будут погашены, и Миша, не ударив пальца о палец, утроит вложенный капитал: станет владельцем полностью выплаченного медальона. Чем плохой бизнес?

— А кто говорит, что плохой, — откликнулся Миша и поинтересовался, сколько денег нужно вложить, чтобы купить два медальона.

— Тридцать шесть тысяч, — назвал я самую низкую цифру брокера из Южного Бронкса.

— Гит! — кивнул Миша и поинтересовался еще одной подробностью: какую часть этих денег должен дать он и какую даю я.

К неприятному этому вопросу я был, разумеется, вполне готов. Моя доля вложений составит ровно пятьдесят процентов, но в виде восемнадцати чеков по тысяче долларов каждый, который Миша будет ежемесячно депонировать на свой счет. Ничего больше добавить я не мог; черед говорить был Мишин, и он сказал:

— Если я даю деньги, а ты — чеки без покрытия, то, Володя, это не называется бизнесом.

Я молчал; глупо было ожидать иного ответа от лавочника.

— Будет лучше, по-моему, купить вместо двух такси одно, — уже откровенно куражился надо мной торгаш. — Как ты считаешь?

— Тебе виднее. — сказал я. — Покупай одно...

— Володя, ты не хочешь понять, о чем я с тобой говорю,— не унимался Миша.— Меня лично такси не интересует. Как ты смотришь на то, чтобы мы купили один медальон — для тебя?..

Только теперь я смекнул, куда он гнет.

— Какие же ты возьмешь с меня проценты?

Самодовольное лицо помрачнело.

— А зачем мне твои проценты?

— Какая же тебе выгода одалживать мне деньги?

— Выгода? — обиделся этот торгаш.— Очень большая! Если мне хорошо, так я хочу, чтоб и тебе было хорошо,— вот моя выгода.

Чего угодно я ожидал — и грубого отказа, и ростовщической ловушки — и только не оставил за лавочником права на поступок, которого мне самому покамест не довелось совершить. И потому, скомкав слова благодарности, которых Миша действительно ждал от меня, я стал распространяться о гарантиях — о заверенном у нотариуса по всем правилам долговым обязательстве, в котором черным по белому...

— Володя, если ты захочешь украсть мои деньги,— перебил меня Миша,— эта бумажка мне не поможет.

И — хотя не сразу, не назавтра и не через неделю, а месяца через три, когда медальон подскочил в цене тысяч на шесть, когда условия банковского займа стали жестче,— я получил от Миши восемнадцать пачек по тысяче долларов в каждой, и с этого момента моя жизнь опять (в который уж раз!) началась заново.

В Южном Бронксе, в конторе Майкла Росса я встретился с моим будущим партнером Стивом, таксистом, который десять лет отрубил за баранкой гаражного кэба, собирая восемнадцать тысяч на первый взнос, и мы поставили свои залихватские подписи под бумагами, которые свидетельствовали, что отныне медальон «4G36» принадлежит Стиву, а «4G37» — мне.

Инспектор Комиссии такси и лимузинов навесил драгоценные эти бляхи на капоты двух новых чекеров, и мы со Стивом двинули в город через мост Квинсборо, за которым нас поджидала бездомная душевнобольная «регулирувица». Дувший с Ист-ривер ветер облепил ее фигуру тоненьким платицем с оборванным вкось подолом; ветер растрепал тяжелый сноп ее длинных, цвета спелой пшеницы волос, а она, то и дело прикладываясь белозубым ртом к горлышку бутылки в бумажном пакетике, гнала наши чекеры — в Манхеттен! в Манхеттен! — и захлебывалась от веселого вина, от собственного хохота и ветра; и, проезжая мимо нее, я был счастлив ничуть не меньше, чем она.

Меня ждали мои — еще не наезженные — двести пятьдесят тысяч миль; но чтобы рассказать о них: о дороге, которая вела, вела и в конце концов привела меня на станцию, с которой отправился мой поезд в будущее,— мне придется, передохнув малость после первой части «Желтых королей» (это та книга, которую вы прочитали и которая стоила мне шести лет мучительного труда за письменным столом), взяться за вторую часть — «Хозяева».

И сколько бы сил у меня ни отняли эти не существующие покамест страницы, я обязательно их напишу, уж хотя бы потому, что никак не могу забыть ни старого парализованного кэбби из отеля «Апартаменты принца», ни того, как пришлось моей жене и мне, спасая жизнь сына, сперва просить защиты у бруклинской полиции и у судьи, а потом б е ж а т ь из «рая бедняков» — из нашего комфортабельного и дешевого дома, принадлежащего городу. Во что бы то ни стало обязан я написать и особую главу, о гангстерах одного из самых жестоких кланов нью-йоркской мафии — Комиссии по такси и лимузинам, которые воспрянули духом при новом «крестном отце», надели черные рубашки, в пять-шесть раз расширили бизнес и уже не только грабят таксистов, но и бьют (чего прежде все-таки не бывало), и порой — до смерти. Не могу я, конечно, забыть ни того, как встретил в каменной пустыне Нью-Йорка своего спасителя — таксистского бухгалтера мистера Гопника, ни того, как однажды нашел-таки в своем чекере мешок с деньгами — точь-в-точь как мне предсказала цыганка в мой первый таксистский день.

Как-то не по себе становится при мысли, что если я поленюсь, махну рукой и заброшу свою писанину, то ведь больше никто на земле обо все этом не вспомнит!..

— Поднимите правую руку! — сказал судья Ванг.— Поклянитесь, что будете говорить правду. Только правду. Ничего, кроме правды.

Я поклялся, и тогда мне был задан вопрос, на который обязан ответить каждый, кто заявил ходатайство о получении американского гражданства.

— Вы любите Америку? — спросил судья.

— Да,— соврал я.— Люблю...

Дождаясь, когда ее вызовут в кабинет иммиграционного судьи, рассказывала потом жена, она больше всего боялась, что перепутает, кто кого приводит к присяге: спикер палаты — государственного секретаря или наоборот. Но судья Ванг не стал терзать мою жену каверзными вопросами. На собеседовании с нею судья в основном говорил сам.

— Ты русская,— сказал моей жене судья Ванг,— а потому не старайся быть американкой в большей степени, чем женщины, которые в этой стране родились. Почаще готовь русские блюда, старайся соблюдать русские обычаи и праздники, покупай для сына русские пластинки и русские книги — американскими он обзаведется сам.

Я слушал слова судьи Ванга, обращенные к моей жене, и думал о том, что смысл их относится и ко мне. Разве я не старался быть американцем в большей степени, чем любой из моих американских начальников на радиостанции? И разве в конечном итоге я не добился того, что моя работа на «Радио Свобода», о которой я когда-то мечтал, стала моим позором?

Пять прожитых в Америке лет пусть немногое, но все-таки кое-что изменили в моем образе мышления, и теперь я смутно догадывался, что, претендуя на некую миссию: говорить советским людям правду! — сам-то я остался, пожалуй, «советским человеком», только навыворот, с обратным знаком.

Каждый прожитый в Америке день делал меня чуть-чуть более похожим на людей, окружавших меня, и я постепенно начинал сознавать, что говорить правду советским людям нужно было — там; а теперь, в Нью-Йорке, жить духовной жизнью России, которую я по собственному желанию покинул, это поза; и не надо пытаться подчинить (или посвятить) свою жизнь какой-то единственной, пусть и достойной цели (даже красной лампочке, к которой я когда-то так рвался), а надо — просто жить...



ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

МИХАИЛ ЗЕНКЕВИЧ
(1891—1973)

*

НЕВИДИМАЯ СВИРЕЛЬ

* * *

Как будто черная волна
Под быстроходным волнорезом,
С зеленой пеной под железом
Ложится справа целина.
И как за брызжущей водою
Дельфинов резвая игра,
Так следует за бороздою
Тяжелый золотистый грач.
И радостно пахать и знать,
Что на невидимых свирелях
Дыханьем жаворонков в трелях
О ней звенит голубизна.

1912.

* * *

В купоросно-медной тверди,
В дымном мареве полей
Гнутся высохшие жерди
У скрипучих журавлей.
И стоит понуро стадо
С течью пенистой у губ;
Чуют ноздри, как прохлада
Дует тягой в мокрый сруб.
Вот, дрожа, на край колодца
Плещет солницами бадья,
И в гортань сухую льется
Мягким холодом струя.

1913.

* * *

Под солнцем тучка сушит кисею
И на поля и на луга внизу
Роняет тень лиловую свою,
Предсказывая дальнюю грозу.

Орел распластан в небе недвижим,
И камнем тень его, на землю пав,
Терзает и когтит вдали под ним
Добычу, выхваченную из трав.

Высоко в небе самолет гудит,
И точкой тень его, пронзая свет,

Как будто для того, чтоб был он сбит,
Его наносит на земной планшет.

Чем ярче солнце жизни в высоте,
Чем выше дерзких взлетов потолок,
Тем резче фиолетовую тень
Вычерчивает смерть у наших ног.

1939.

Жизнь моя, как летопись, загублена,
Киноварь не вьется по письму.
Ну, скажи: не знаешь, почему
Мне рука вторая не отрублена?

В. Нарбут.

— Эх, Володя, что твоя рука!
До руки ли, до соленой влаги ли,
Если жизнь прошел ты от Цека
По этапам топким до концлагеря!

Как сполохами, сияет здание
Надписью «Ц. К. Б. К. П. (б-ов)»...
Горло сжали, как петля, рыдания.
Где ж твой пропуск? Или не готов?

Этих букв сверкающая светопись
Будоражит мировую тьму...
Жизнь твоя загублена, как летопись,
Киноварью вьется по письму.

Стол... Окно... Но где Китайгородская,
Белокаменная где стена?
Видишь: ледяная ширь Охотская
Заполняет глубину окна...

В зале заседанья так накурено,
И без оселедца, неживой —
Восковой папировкой Мичурина
В дыме виснет голый череп твой.

Там встречался ты с поэтом-тезкою,
Приносил стихи он в Прессбюро,
При тебе подчас с усмешкой жесткою,
Чтоб исправить, брался за перо.

Вновь весна! Надежда, как проталина...
Он не раз в присутствии твоём
Говорил, чтоб как-нибудь у Сталина
Для него устроили прием.

И дворец из стали нержавеющей
В честь его под площадью возник,
А тебе открылся мрачно веющий
Вечной мерзлотой земли рудник.

Два поэта, над стихами мучаясь,
Отливали кровью буквы строк,
И трагической, но разной участью
Наградил их беспощадный рок!

Ты мечтал, цынгою обескровленный,
 Что с любимую в полночный час
 На звезде, заранее условленной,
 Встретишься лучистой лаской глаз.

На мороз ты шел как бы оправиться,
 Ноги вспухшие чуть волоча,
 Чтоб в глаза звездой могли уставиться
 Два ответных ласковых луча.

Всей душою в лучезарной мгле топись!
 Позабудь про скорбь, скорбут и тьму!
 Жизнь твоя загублена, как летопись,
 Кровь твоя стекает по письму!

Ведь и смерть, как жизнь, лишь дело случая,
 И досками хлюпкими дрожа,
 Затянула в трюм тебя скрипучая,
 Ссылная рудничная баржа.

Но свиданья, что тебе обещано,
 Не разъять бушующей воде:
 Два влюбленных взгляда вечно скрещены
 На далекой золотой звезде!

6—10 сентября 1940.

* * *

Большая мысль ночная
 В рассветный час в тиши
 Мелькнула, пролетая,
 Над озером души.
 Секунда помраченья
 Прошла волной тревог,
 Но я ее значенья
 Понять сквозь сон не мог.
 Слезинкой серебрится
 Одна звезда во мгле,
 А мысль — ночная птица —
 Скрывается в дупле.
 Вот солнце в ярком зное
 Торжественно взошло.
 Исчезло все ночное,
 И на душе светло.
 Но чувствую в смятеньи:
 Нет-нет да промелькнет,
 Врезаясь в полдень, тенью,
 Ее ночной полет.

1955.

Публикация и подготовка текста С. Е. ЗЕНКЕВИЧА.



ПУБЛИЦИСТИКА

ВИКТОР ЯРОШЕНКО

*

ЭНЕРГИЯ РАСПАДА

Очерки политических обстоятельств 1989—1990 годов

Где-то с прошлой весны, может быть, с принятием Российским Верховным Советом декларации о суверенитете, а может, и значительно раньше, покатилося по стране зловещее слово — распад. Все чаще в разговорах, все чаще в газетах, потом и в парламентских речах, а вот уже и от президента услышали мы диагноз — распад. Мы и сами видим, не слепые, что распад... И не в том он, что пусты магазины, что плотной стеной вся страна стала в очередях, что со страхом ждали зиму, а потом весну, что старухи привычно и спокойно готовятся голодовать, профессионально готовятся — сушат сухари, засыпают в банки рожки, топят масло... А в том, что оказался всяк сам по себе посреди такой же растревоженной толпы — и куда идти, что делать, как детей спасать, никак не возьмем в толк.

Страна вдруг затрещала, как льдина, поползли по ней разломы, и люди побежали от краев к центру, а трещит и там...

Зыбко, неуверенно, страшно людям. Смутное время. Одни депутаты смелы: не визжат, не дрожат, стоят в очереди к микрофону, все делят статус, суверенитет свой поднимают.

Пять лет решали экономическую реформу. Сначала робко — к хозрасчету: первая, вторая, третья модель. Потом как-то модели забылись, стали говорить о региональном хозрасчете. Потом о самостоятельности предприятий, кооперации. Пятилетка прошла в этих разговорах. Последний год закружило быстрее, подпирали советчики, да и жизнь не давала передыху.

Аренда. Долговременная аренда с правом наследования... Дошли до собственности, пожонглировали вокруг владения-распоряжения, вспомнили про отчуждение.

Решили переходить к рынку. Как? Какому? Опять дискуссия. То ли привечать рынок, то ли гнать, откуда пришел, то ли укоротить министерию, прикрыть монополию, то ли ввиду чрезвычайных обстоятельств чрезвычайные полномочия дать. То ли продать чего людям, то ли так раздать, а может, и вовсе ничего не давать, сами прокормятся. И с землей, с землей неясно. Сохранить вчуже в руках государства как общественную, а может, в аренду раздать, а лучше бы и в собственность. А может, продать? Кому? Почему?

По очереди солирует каждый из трио экономических академиков, а иногда и экономическим членкорам дают сыграть соло — в этом же ансамбле. Слушает общество — хорошо играют: каждый со своей манерой, каждый свою партию ведет, да умело как!

Возникло вдруг слово «санация» и погасло, вспыхнуло «разгосударствление», да явно пожухло по сравнению со стремительно набирающим мистическую силу новым словом — «приватизация».

Программа за программой, проект за проектом.

Два года наблюдал я наш политический процесс, строительство и демонтаж, делая заметки,— теперь пришла пора как-то осмыслить увиденное, понять сию же т.

Каждый день нашей быстротекущей жизни приносит свое что-то, но ведь есть и логика, причина, следствие, есть сюжет. Чтобы его увидеть, нужна перспектива, отстраненность, историческая дистанция. Отступим в прошлое, чтобы увидеть смысл происходящего сейчас.

Великий иллюзионист Арутюн Акопян лет десять назад в «Науке и жизни» давал уроки начинающим упражнять ловкость рук. Давно это было, но главный принцип я запомнил крепко: отвлечь внимание зрителя. Он не сводит глаз с правой руки, а левая

достаёт из рукава красную ленту; он к левой прикован, а мастер правой нажимает кнопку на сюртуке, и выскакивает заяц. Советы фокусника не один я запомнил.

И в нынешней игре, сдаётся мне, так. Вот я и старался не поддаться на побочные, отвлекающие сюжеты, даже такой крупный и интересный, как российский.

Дума

Сколько раз за последние годы говорилось, что мы-де новички, дети, несмышлениши, на глазах всего мира учимся демократии, нам ещё предстоит войти в совершеннолетие и достичь зрелости, соблюдая при этом девственность мыслей и намерений.

Для нас, опасющихся насильственного изменения наших политических обстоятельств, весьма поучительна грустная история русской соглашательской линии, линии, направленной на поиск согласия даже в отсутствие реальных перспектив для него.

Этот негативный опыт не бесспорен, но спорностью своей он и небезынтересен, во всяком случае интересен не меньше, чем опыт решительного крайнего радикализма, который мы изучаем с младых ногтей. Странное дело — этот опыт, казалось бы, должен интересовать лишь нынешних крайних радикалов, но и скромнейшие из конформистов штудируют «сегодня рано — завтра будет поздно».

А парламентский опыт, трагическая попытка вывести страну из сползания в глубочайший кризис, не удавшаяся по множеству причин, но отнюдь не только из-за плохой работы Думы,— немногие его сейчас знают.

* * *

Наверное, нам с нашим бюджетным дефицитом, экономической стагнацией, коррупцией, межнациональными проблемами небесполезно почитать стенограммы занятий Государственной думы последних месяцев Российской империи. Куда нынешним стенограммам до тех, старорежимных! Вот тексты речей, вот приложения, список членов Государственной думы по партийным группировкам, списки членов избранных Государственной думой комиссий, должностные лица (Совещание) Государственной думы, Совет министров и должностные лица, дававшие разъяснения Государственной думе, исчерпывающий личный алфавитный указатель членов Думы.

Возьмем, к примеру, известную всем личность — Керенский Александр Федорович. Из личного указателя мы узнаем, что он член Государственной думы от Саратовской губернии (от 2-го съезда городских избирателей), член V отдела, член комиссий (бюджетной, по наказу избран в комиссии по запросам, по судебной реформе), он подписал (указано какие) печатные материалы, заявлял о запросах (таких-то), говорил на такую-то тему (и соответствующие страницы ответов), выступал по запросам (соответствующие страницы), выступал к порядку занятий Государственной думы; мы можем найти все его возгласы с места (и все было слышно!), нетрудно найти и замечания председателя ему, очень много (едва ли не больше всех), и объяснения по личному вопросу.

Приведен и предметный указатель, где легко найти любой обсуждаемый Думой вопрос и как шла баллотировка, когда какая проходила (разделением ли, выходом в противоположные двери, открытым ли голосованием, закрытым ли, баллотировка записками, шарами). Найдем и таблицу движения законопроектов и законодательных предположений, и алфавитный указатель к ней; список заявлений о запросах и вопросах, внесенных в Государственную думу; наконец, расписание занятий Государственной думы.

Нет, русская демократия не вчера родилась. Она не беспамятное детдомовское дитя. Десятилетняя ее короткая жизнь — от 1-й сессии первой Государственной думы до разгона Учредительного собрания — требует специального и глубокого анализа, какой дал А. И. Солженицын в своем «Красном колесе». Мы в наших целях сопоставительного отчета напомним лишь некоторые моменты.

Как известно, выборы в первую Государственную думу проходили в феврале—марте 1906 года, после грозных событий декабря 1905 года. 11 декабря был опубликован избирательный закон. По этому закону избирательного права не получали женщины, молодые люди до двадцати пяти лет, военнослужащие, ряд наций. Выборы проходили по куриям — сословным разрядам — и были многоступенчатыми. Курии не были равны, голос не был равен голосу. В землевладельческой курии, скажем, один выборщик приходился на две тысячи избирателей, в городской на 4, в крестьянской на 30, в рабочей на 90 тысяч.

И все-таки, несмотря на все ухищрения, первая Дума получилась слишком уж либеральной.

В первой Думе было 478 мест. Они распределились так: партия народной свободы (конституционно-демократическая партия — кадеты) — 179, автономисты разных регионов — 63, октябристы — 16, беспартийные — 105, трудовики — 97, социал-демократы — 18. Как видно, кадеты безраздельно господствовали в первой Думе. Учредительный съезд этой партии прошел в октябре 1905 года. Среди лидеров этой партии были известные ученые, профессора, юристы, историки, правоведы. Членом ЦК партии народной свободы был В. И. Вернадский, ставший депутатом Думы и членом Госсовета от академической курии. В статье «О Государственном совете» (который был преобразован в верхнюю палату) Вернадский писал (1906):

«Жизнью выдвинуты два коренных вопроса, которые должны быть разрешены во что бы то ни стало. С одной стороны, в России неизбежно установление свободных условий личной и общественной жизни на принципах равенства, а с другой — коренное разрешение земельного вопроса... Жизнь дошла до такого предела, что эти вопросы будут или разрешены легальным путем сверху, или взяты силою снизу»¹.

Через восемьдесят лет мы снова перед этими вопросами. И в принятии нами тех или иных оценок многое будет зависеть от того, чему научил нас наш горький опыт XX века.

* * *

Надо сказать, что при всем ее несовершенстве первая Дума оказалась на значительной нравственной высоте, коли смогла уже в начале своих занятий на заседании 16 мая 1906 года единогласно (!) принять законопроект об уничтожении смертной казни, законопроект, так никогда и не реализованный. Наоборот, началась эскалация террора, казней, насилия, перешедшего в гражданскую войну, угли которой тлеют и сейчас.

За прошедшие десятилетия мы далеко ушли по пути упрощения и ожесточения нравов. Не думаю, что сейчас в обществе, а тем паче среди депутатов, это предложение соберет большинство, — тенденция скорее в другую сторону.

Чрезмерно либеральная первая Дума была распущена 9 июня 1906 года. Были назначены новые выборы.

Вторая Государственная дума получилась еще более левой, и жизнь ее тоже была коротка — с 20 февраля до 2 июня 1907 года.

Чтобы справиться с засильем либералов (которых одинаково ненавидели ультраправые, близкие к правительству и правительственные круги, и ультралевые, большевистские), нужно было изрядно поколдовать над новым избирательным законом. Новый избирательный закон был опубликован безо всяких консультаций с Думой 3 июня 1907 года. Это событие у историков получило наименование «третьеиюньского переворота», или «третьеиюньской системы». Поэтому наши историки третью и четвертую Думы называют третьеиюньскими.

В соответствии с этой традицией нынешнюю законодательную систему (съезд плюс Верховный Совет) можно было бы назвать «перводекабрьской», президентскую систему — «мартовской», а сложившуюся в результате передачи Верховным Советом части своих полномочий Президенту — «сентябрьской» системой. Систему президентского правления, возникшую в декабре 1990 года, — «декабрьской». От декабря 1988 до декабря 1990 года страна прожила целую жизнь, перенесла множество болезней, обольщалась всякими искусами.

* * *

В «третьеиюньском» законе 1907 года действовало сразу несколько фильтров, в «перводекабрьском» 1988 года ввели для фильтрации негодных окружные избирательные собрания, прямое представительство от общественных организаций. В избирательном законе образца 1988 года причудливо соединилось правовое сознание конца XX века с архаическим принципом куриального представительства (общественных организаций), причем в число последних зачислили и компартию — «руководящую силу», «ядро» политсистемы, — и профессиональные союзы, и творческие союзы (тоже, в сущности, профессиональные), и комитет (не союз) женщин, и ряд других комитетов, и не суще-

¹ «Страницы биографии В. И. Вернадского». М. 1981, стр. 206.

ствующую Педагогическую ассоциацию, и Академию наук (ведомство науки), и Совет колхозов, и филателистов, и проч. и проч.

В третьей Думе было 442 депутата, отнюдь не левые и не либералы задавали теперь здесь тон. Центр сместился вправо. Раскладка политических сил в третьей Думе была такой: крайние правые — 50 мест, умеренно-правые и националисты — 97, октябристы — 154, прогрессисты — 28, кадеты — 54, мусульмане — 8, региональные депутаты и автономисты — 7, польское коло — 11, трудовики — 14, социал-демократы — 19.

Теперь в разных политических обстоятельствах возникало то одно, то другое большинство. Когда центр (октябристы) голосовал направо, получалось правооктябристское большинство, когда налево — октябристско-кадетское большинство.

М. В. Родзянко, председатель третьей и четвертой Государственной думы, лидер октябристов, так характеризовал задачи третьей Думы: «Укрепление расшатанной неудачной войной военной мощи России, возможное исправление поколебавшегося финансового положения государства и экономических производительных сил страны и засим восстановление внутреннего порядка и закономерности во всем...»²

Третья Дума отработала весь положенный ей срок.

Выборы в четвертую Думу проводились в сентябре—октябре 1912 года. Политический характер Думы не изменился. Правоцентристское большинство — 283 голоса, октябристско-кадетское — 226 голосов.

«Народное представительство — Государственная дума основой своей работы положила убеждение в необходимости вести страну путем эволюции, но не революции, к развитию либеральных реформ»³.

Ленин призывал вырвать демократию из рук либералов.

Вырвали и растоптали.

А либералы звали растить ее, возделывать, как сад, по выражению П. Н. Милюкова, «на зыбучих песках русской общественности»⁴.

* * *

Осенью 1915 года, после ряда военных поражений, сенсационных разоблачений измен, чудовищной коррупции, очевидной некомпетентности правительства, в Думе возникла принципиально новая расстановка сил. Появился «прогрессивный блок», в котором соединились правые (кроме крайне правых), прогрессисты, октябристы, националисты, кадеты. Они понимали блок как единство всех «патриотических сил», объединяющихся ради общей победы в войне и дальнейших демократических надежд в стране.

Национал-прогрессист, член Думы от Волынской губернии, от съезда землевладельцев Василий Витальевич Шульгин в заседании 28 августа 1915 года так объяснил причину образования блока:

«Мы сейчас стоим перед союзом одной части общества — консервативной, с другой — либеральной. И мы, консерваторы, мы совершенно в другом положении, чем они. Они ведь в продолжение многих лет (среди них есть старые борцы, как они говорят, борцы за свободу), в течение десятков лет добивались известных идеалов, известных либеральных принципов... Когда разразилась эта страшная война, это страшное бедствие, перед ними встал вопрос, что на время надо отказаться от всего этого, забыть обо всем, употребить все силы только на одну цель — борьбу с внешним врагом. И они это сделали. Они сказали: да, мы все это забудем на время, мы хотим только одного — победить... Они пришли к нам и, как я понимаю, другими словами, но сказали эту же мысль. — Они сказали: «Конечно, мы будем бороться и за эту Россию, которую мы называем униженной и оскорбленной, но если вы хотите, чтобы мы боролись полными силами и полным размахом, со всей энергией и воодушевлением, то скажите нам, что за реками крови есть проблеск свободы».

Вот что они нам сказали...

И мы их поняли, им поверили и с полной искренностью им ответили: г., свобода — великое слово, оно очень большое и очень широкое; если написать его на этом знамени,

² Родзянко М. В. Крушение империи. Государственная Дума и февральская революция 1917 г. Нью-Йорк. 1986, стр. 232.

³ Там же, стр. 235.

⁴ «Государственная Дума. IV созыв. Сессия IV. Заседание I-е. Стенографический отчет 19.VII.1915 г.». Петроград, стр. 93.

то нужно это слово сдерживать, мы не пишем тех обещаний, относительно которых мы не уверены, что исполним их в полном объеме, но мы вам можем обещать другое, мы можем обещать, что все наше желание — идти по этому пути с вами, поскольку позволяют обстоятельства... Мы знали, что мы должны ковать единство. Мы понимали, что свобода вещь очень растяжимая и, давая одним, мы отымаем от других. Вот почему мы сделали известную серединную программу, которую и вынесли на суд общественный»⁵.

П. Н. Милюков, признанный лидер конституционно-демократической партии, не раз заявлял, что главный смысл существования блока состоит в самом факте его существования. Вероятно, он имел в виду взаимопонимание, взаимопритирание различных общественных сил, складывающийся консенсус от правых до почти левых в общем «патриотическом усилии».

Главный политический смысл блока был, как теперь бы сказали, в стремлении к консолидации.

* * *

Думаю, что эти же мотивы удерживают большинство съездов народных депутатов.

«Впервые за 70 лет выборы с выбором в Советском Союзе привели к тому, что на съезде есть около 300 убежденных радикальных депутатов. Вместе с умеренными и независимыми так называемый «либерально-прогрессивный блок» разрастается до 800—900 депутатов» («Вашингтон пост», цит. по: «АиФ», 1989, № 23).

И нынешний центр раз за разом голосует направо в стремлении к консолидации.

* * *

Однако консолидация далась дорогой ценой: отсутствием реального политического процесса в Думе, стремлением сгладить противоречия, не допустить раскола, отказом от принципиальной критики действий правительства из опасения вызвать недовольство правых. В результате — потеря инициативы и политического влияния в народе. Здесь была и ныне актуальная дилемма: с одной стороны, консолидация в блоке давала ощущение единства, силы, иллюзию, что единение в Думе знаменует единение в обществе, с другой — хрупкость единства, узость базы согласия, лишала возможности принципиальных и решительных действий.

Все партии «прогрессивного блока» не хотели революции, боялись ее, стремились сделать все, чтобы предотвратить неуправляемое развитие событий. Для них революция была синонимом поражения, позора и катастрофы.

Нам еще предстоит во многом пересмотреть политические оценки, которые давали действиям Думы и ее членам, исходя из требований политической конъюнктуры, их противники из ультралеворадикального лагеря. Да, лидеры блока, прогрессисты, кадеты не хотели революции, они хотели мирной эволюции существующего режима в демократическое государство. Признавали они для себя допустимыми только законные средства. По этим правилам и нужно оценивать их деятельность, не забывая о конечном историческом поражении и, стало быть, об исторической ответственности за происшедшее потом.

В знаменитой речи на заседании Думы 1 ноября 1916 года (подробно разобранный А. И. Солженицыным в «Октябре 1916») П. Н. Милюков обрушился на правящий режим: «...недоверие к власти сменилось чувством, близким к негодованию... Говорят, что один из министров, услышав, что Дума собирается говорить «об измене», взволнованно воскликнул: «Я, может быть, дурак, но я не изменник». Пусть так,— не все ли равно, имеем ли мы в данном случае дело с глупостью или изменой? Глупость или измена — выбирайте любое. Последствия те же». П. Н. Милюков в той речи сформулировал принцип, впоследствии модифицировавшийся в принцип «революционной законности», он жив и поныне, им всю пользуются сейчас: «Когда мы обвиняли Сухомлинова, мы ведь тоже не имели тех данных, которые это следствие открыло. Мы имели то, что имеем теперь — инстинктивный голос всей страны и ее субъективную уверенность (Рукоплекскания.)» (разрядка моя.— В. Я.).

«Субъективная уверенность» всей страны, которой играют политики,— страшная вещь. «Изменник», «враг народа», «коррупционер», «адыловщина», «мафиози» — для этих политических обвинений в нашей истории XX века, увы, никогда не нужно было слишком много фактов.

⁵«Стенограммы Государственной Думы...», стр. 1162—1163.

Закончил свою речь Милюков непримиримо: «Кабинет... не заслуживает доверия Государственной Думы и должен уйти».

Доклад департамента полиции об этой речи начинался так:

«Кульминационным по своей резкости из вчерашних выступлений... было несомненно выступление... П. Н. Милюкова. Его речь, построенная в ораторском смысле необыкновенно искусно, избоблюющая недомолвками и намеками... пропитанная сарказмом, третирующая свысока лиц, стоящих у вершины власти, очевидно, предназначалась для так называемой широкой публики, достаточно озлобленной против правительства, чтобы принимать без проверки и критики самые тяжелые обвинения против последнего»⁶.

Речь Милюкова была запрещена к публикации — и в тысячах копий молниеносно разлетелась по России.

В либеральной среде его выступление восприняли как сигнал к началу революции. Правые так ее и окрестили — «штурмовым сигналом». Сам же Милюков впоследствии писал, что его целью было предотвратить, а не вызвать революцию. «Я знал, что революция во время войны приведет Россию к великой катастрофе». Милюков тогда бросил с трибуны слово «измена», которое подхватила толпа. Слово, под которым у него, строго говоря, доказательств не было. Милюкову возражали — факты на стол! Он игнорировал факты.

У парламентской борьбы есть свои сложные правила. У шахмат свои, а у бокса свои. Нельзя упрекать парламентские партии в том, что они проиграли, действуя парламентскими методами, как нельзя упрекать гроссмейстера в том, что он сдал партию, не попытавшись послать противника в нокаут.

Милюков обвинял председателя Совета министров Б. В. Штюрмера во взятках, которые-де тот брал через своего секретаря. Штюрмер подал на Милюкова в суд за клевету, что, впрочем, не помешало Николаю II отправить его в отставку. Судя по всему, доказательств у Милюкова, кроме обвинений на страницах печати, не было никаких. Однако политическое значение публичного обвинения расходится с юридическим: общество принимало обвинение потому, что в душе каждый был убежден, что да, такое возможно. Представления людей об этой власти говорили, что такое может быть, от них всего можно ожидать.

Не в этом ли объяснение и удивительной популярности Т. Гдляна и Н. Иванова — народных депутатов и бывших следователей по особо важным делам? Им верят люди на слово, потому что не верят их оппонентам.

* * *

...Вот выходит на трибуну лидер прогрессистов Иван Николаевич Ефремов (от Области войска Донского, от съезда землевладельцев) и говорит: «Никогда в стране престиж власти не падал так низко, никогда не были возможны такие унижительные характеристики, такое пренебрежительное отношение к носителям власти; никогда, наконец, в отношении к власти не наблюдалось такого недоверия и не высказывались такие чудовищные подозрения, какие в настоящее время народная молва передает с тревогой и волнением из уст в уста»⁷.

Наше не структурированное вначале никак кроме как по территориям народное собрание содержит в себе зародыши (а теперь уже сформировавшиеся ядра) многочисленных политических направлений, течений, умонастроений — словом, своего рода партий: автономисты и суверенитетчики, фундаменталисты-коммунисты, еврокоммунисты, популисты-уравнители, кооперативисты, синдикалисты, социал-демократы, либералы, христианские националисты и христианские демократы, интернационалисты, националисты, унитаристы (империалисты), русские прогрессисты-националисты, перестройщики-экономисты, либеральные коммунисты всех оттенков вплоть до социально-демократических, изоляционисты, евроцентристы, исламисты, евразийцы, глобалисты и регионалисты, аграрники и саентисты, государственники и приватисты, сторонники колхозно-совхозного аграрного сектора, арендаторы и фермеристы и, наконец, большая группа партий ведомственных интересов, наиболее структурированных и организованных в этом обществе.

⁶ Аврех А. Я. Распад третьеиюньской системы. М. «Наука». 1985, стр. 119.

⁷ «Стенограммы Государственной Думы. Сессия 5...», стр. 73—74.

А. И. Солженицын так подытожил деятельность Думы:

«Наши четыре последовательных Государственных Думы мало выражали собой глубины и пространства России, только узкие слои нескольких городов, большинство населения на самом деле не вникло в смысл тех выборов и тех партий. И наш блистательный думец В. Маклаков признал, что «воля народа» и при демократии фикция: за нее всего лишь принимается решение большинства парламента» («Как нам обустроить Россию»).

* * *

Читая стенограммы Государственной думы, видишь, как постепенно нарастает ожесточение, как рушится единство общества, как все настойчивее преследуют инородцев, как ущемляют национальные чувства, как эвакуируют — выселяют — губернию за губернией, и вот уже миллионы людей, потерявших дом и кров, голодных и холодных, бродят по просторам России, умирают на станциях, молят о куске хлеба и кружке кипятку — и это не в холерном девятнадцатом, нет, это еще в почти благополучном пятнадцатом...

А Дума воюет с «немецким засильем», решает еврейский вопрос как важнейший для страны, обсуждает плюсы и минусы введения военной цензуры, в качестве формул перехода к очередным делам предлагая вполне благонамеренные формулировки — «известно ли правительству о следующих возмутительных случаях?», что оно намерено сделать для их неповторения впредь?.. Кадеты угрожали иногда в запальчивости даже улицей.

Но на улице шла совсем другая, недумская жизнь. Страна и Дума расходились все дальше, все меньше было точек взаимодействия, понимания. Дума теряла нерв общества. Дума с «правительством доверия» и страна без доверия к Думе и правительству расходились все дальше, и из этого вышла совсем внедумская альтернатива, вышла катастрофа.

Ни Государственная дума, ни Временное правительство Государственной думы, ни лелеемое в долгодетных мечтах как невероятная победа либеральных сил Учредительное собрание уже не спасали ситуацию. Иные наступали времена — времена неверия и отчаяния: разваливался фронт, разваливалась страна. Иные времена, иная логика, иные аргументы. Исчерпывалось время, отпущенное на легальные, цивилизованные решения. Нарастал соблазн решить все разом. Крайние левые и крайние правые оказались у концов каната — кто перетянет.

«Прогрессивный центр» не тянул никуда. Это-то и поняли большевики, понял Ленин, чья репутация после июля семнадцатого, после вызовов в суд к следователю Александрову⁸ и неяски, шалаша в Разливе упала в обществе невероятно низко. Но не общество уже решало — решали вооруженные массы, пулеметные команды. Ленин почувствовал, понял, что можно брать власть, что она плохое лежит, стоит только взять — народ позволит. И в январе 1918-го он понял, что и Учредительное собрание разогнать уже можно, уже позволят люди, изверившиеся и в партиях, и в ораторах, и в газетах, позволят большинству, которому уже все равно.

Варились в недрах страны варено страшно...

Социалисты со своей иступленной верой в мировую революцию и жадной власти взяли страну, не осознававшую себя, впавшую в горячку.

* * *

Проницательные люди сразу поняли неизбежность и суть военного коммунизма. А. А. Богданов-Малиновский в письме Луначарскому писал уже 18 ноября 1917 года:

«Военный коммунизм, разливаясь от фронта к тылу, временно переустроил общество: многомиллионная коммуна-армия, паек солдатских семей, регулирование потребления — смягченный коммунизм потребления; применительно к нему нормировка сбыта, производства... Вся система государственного коммунизма есть не что иное, как убудюк

⁸ Бывший большевик и член Второй Государственной думы Г. А. Алексинский 17(4) июля сообщил журналистам, что некоему прапорщику Ермоленко (состоявшему на службе контрразведки), попавшему в германский плен, было предложено германским генеральным штабом вернуться в Россию при условии вести пропаганду в пользу мира. Штаб якобы сообщил при этом Ермоленко, что такую же агитацию ведет в России и агент германского генерального штаба Ленин... Всероссийский центральный исполнительный комитет по требованию большевистской фракции образовал комиссию для расследования в составе Гендельмана, Гоца, Дана, Либера и Крохмалея. Но Временное правительство постановило сосредоточить все следствие в руках прокурора Петроградской палаты... («Шестой съезд РСДРП(б)». М. 1934, стр. 280).

капитализма и потребительского военного коммунизма, что не понимают нынешние экономисты, не имеющие понятия об организационном анализе. Атмосфера военного коммунизма породила максимализм... В России максимализм развился больше, чем в Европе, потому что капитализм у нас слабее и влияние военного коммунизма как организационной формы относительно сильнее»⁹.

К коммунизму этому русское государство толкали нужды войны, сверхчеловеческие усилия народа. В необходимости создания особых, как бы теперь сказали, тоталитарных структур (с неизбежностью требующих политического оформления) были убеждены и правые, и левые, и центр. П. Н. Милюков, например, говорил 15 февраля 1917 года, выступая в Думе за десять дней до революции: «Мы приближаемся к моменту, когда понадобятся величайшие национальные усилия»¹⁰.

«Страна далеко опередила свое правительство. Но мысль и воля страны только случайно, через узкие щели, которые оставляет мертвый бюрократический механизм, может превращаться в полезное действие. Господа, это зрелище глубоко оскорбительно для великого народа, и оно становится невыносимым, когда вы знаете и видите, что судьба великого национального дела зависит исключительно от того, будет ли с пути народа сброшено это досадное и позорное препятствие... Все слова уже сказаны, все речи произнесены, действуйте смело, говорят нам со всех сторон, страна и ваши защитники с вами, они вас поддержат»¹¹. Это говорит лидер кадетов, либерал, демократ, вождь центра.

А вот следом за ним выступает профессор Левашев, правый:

«Требуется твердая, решительная и энергичная единоличная власть, снабженная самыми широкими полномочиями для пресечения всяких злоупотреблений, всякого проявления злой воли...

Конечно, такой властью может быть только диктатура...»

Ультраправый Марков 2-й о том же говорил в Думе еще 19 июля 1915 года: «Я думаю, что в любительском порядке не может осуществиться столь великое и столь грандиозное дело, как мобилизация всех заводов, приспособление всей промышленности к производству военных снаряжений. Я думаю, что кроме правительственной власти, никто не сможет этого достигнуть... Должна быть стройная организация, должно быть возглавление, должно быть верховное управление вроде того, как есть верховное управление санитарной части, с правом творческой власти, с правом карательной власти, с правом пересылать рабочих за тысячи верст (вот один из источников вдохновения авторов ГУЛАГа.— В. Я.), с правом доставлять необходимые материалы, с правом наказания тех, кто уклоняется, с громадным колоссальными правами, организация, возглавленная одной волей, одним приказом»¹².

Петр Струве в статье «Исторический смысл русской революции и национальные задачи», опубликованной в сборнике «Из глубины», писал: «В настоящий момент, когда мы живем под властью советской бюрократии и под пятой красной гвардии, мы начинаем понимать, чем были и какую культурную роль выполняли бюрократия и полиция низвергнутой монархии. То, что у Гоголя и Щедрина было шаржем, воплотилось в ужасающую действительность русской революционной демократии».

И теперь также вспоминаю двухдневный Учредительный съезд «Демократической России». Проклинают коммунистов, коммунистический режим, большевистский переворот — все верно и все пошлость опрощения. Проницательные люди давно сказали, что дело куда страшнее и стыднее.

«Русская революция оказалась национальным банкротством и мировым позором» (П. Струве).

Новые демократы-популяреры этого стараются не замечать, уничижительно бранят Горбачева и все, им сделанное, снова возбуждают народ на циничное отрицание всего государственного, — и становится страшно от ожидания нового позора и новой национальной катастрофы.

* * *

Историческая вина большевизма неизбывна, ее еще предстоит осознать обществу, но, похоже, общество не очень-то стремится понять, что большевизм, нетерпимость,

⁹ Цит. по: «Московский комсомолец», 13.10.90.

¹⁰ «Стенограммы Государственной Думы...», стр. 1330.

¹¹ Там же, стр. 1332.

¹² «Стенограммы Государственной Думы. IV созыв. Сессия IV. Заседание I-е...», стр. 57.

утопизм, эмоциональная реактивность, ожесточение и недоброжелательство к преуспевающему составляют важнейшую — и постоянную — компоненту нашей политической атмосферы, в которой расцветает новый, опять-таки народный и, конечно же, демократический большевизм, стремящийся развернуть свою опору в структурированной для этого массе.

П. Струве так объяснял происшедшее: «Старый режим самодержавия опирался в течение веков на социальную власть и политическую покорность того класса, который творил русскую культуру и без творческой работы которого не существовало бы и самой нации, класса земельного дворянства. Систематически отказывая сперва этому классу, а потом развившейся на его стволе интеллигенции во властном участии в деле устройства и управления государством, самодержавие создало в душе, помыслах и навыках русских образованных людей психологию и традицию государственного отщепенства. Это отщепенство и есть та разрушительная сила, которая, разлившись по всему народу и сопрягшись с материальными его похотями и вожделениями, сокрушила великое и многосоставное государство»¹³.

Как теперь, в перспективе прошедших лет, видно, большевики, в сущности, сохранили режим отщепенства, распространив его на все общество, включая и собственную партийную массу, от которой в политической жизни страны не зависело ничего и которой было дано одно право — оплачивать, одобрять и поддерживать.

Отщепенство и насилие стали важнейшими средствами поддержания государства.

* * *

Неожиданно и как-то сразу рухнуло самодержавие; отрекся царь, установилось Временное правительство, в первом же «Обращении» ограничившее срок своих полномочий. Ленин немедленно начинает против него войну.

«В «Письмах из далека», кроме муляжа «изолгавшегося» (за восемь дней пребывания у власти!), «продажного из продажных», «заговорщицкого» Временного правительства и плакатной фигуры героического пролетариата, у которого похитили плод победы, есть еще несколько ведущих мотивов. Один из них, всенепременный и обязательный, — игра на ближних и самых острых житейских потребностях масс, которые правительство «не хочет» удовлетворить. Могло бы удовлетворить, но не сделает этого, ибо оно, правительство, буржуазно-помещичье, тайно монархическое, империалистическое и т. д. Второй мотив — уверенные обещания, что большевики, придя к власти, удовлетворят все потребности масс сразу и радикально»¹⁴.

В Древнем Риме, на закате республики, боролись две партии — оптиматы и популяры. Оптиматы — сторонники знатных, богатых нобилей, Сената, защитники их привилегий, их неограниченной власти («номенклатуры», по Восленскому). Для обуздания народа оптиматы стремились сплотить «благонамеренных граждан», ограничить власть народных трибунов, усилить власть «лучших», «первых» принцепсов или даже одного принцепса, фигуры, в общем неопределенной, но во всем противоположной тирану («Тиран, попирающий все законы, конфискующий имущество богатых и знатных, изгоняющий их с родины и раздающий богатства бедноте...»¹⁵).

Популяры боролись против засилья богатых, их роскоши, коррупции, несправедливостей. Плебс был не чужд идее сильной власти тирана, способного обуздать знать.

Ленинский стиль (возвратимся в наш завершающийся век) усвоили и нынешние популяры, ловцы народного восторга. Главное, выскочить на трибуну, набрать в легкие воздуху — и вбивать, вбивать в наэлектризованный зал: «Неужели пролетариат России проливал свою кровь только для того, чтобы получить пышные обещания одних только политических демократических реформ? Неужели он не потребует и не добьется, чтобы в с я к и й трудящийся т о т ч а с увидал и почувствовал известное улучшение своей жизни? Чтобы всякая семья имела хлеб? Чтобы всякий ребенок имел бутылку хорошего молока и чтобы ни один взрослый в богатой семье не смел взять лишнего молока, пока не обеспечены дети?»

Не такую ли беспардонную демагогию слышим мы и от нынешних радетелей социальных гарантий, требующих, чтобы к райским садам современной западной цивилизации наш пролетарий был доставлен непосредственно и без потерь?

¹³ Цит. по: «Родник» (Рига), 1990, № 4, стр. 62.

¹⁴ Штурман Дора. В. И. Ленин. Париж. YMCA-PRESS. 1989, стр. 47.

¹⁵ «Культура Древнего Рима»: М. «Наука». 1985, т. I, стр. 49.

Перводекабрьская система.

1.12.88 — 15.3.90

Проект изменений и дополнений, которые предлагалось внести в Конституцию СССР, был опубликован для всенародного обсуждения в субботу, 22 октября 1988 года.

Постановление Президиума Верховного Совета СССР, напечатанное в том же номере газеты, что и проект, давало на «всенародное обсуждение» сроку чуть больше месяца — до 25 ноября.

Последовавшее обсуждение было быстрым, коротким, суетливым. В нем участвовали только газеты; Верховный Совет получил тысячи писем с предложениями, но они не были опубликованы, а потому неизвестно, насколько они были учтены.

Когда у красного горнила
 Стонала Русь: Господь, спаси! —
 Явилось имя Михаила
 На клиросы всяя Руси.

Эти стихи Владимира Кострова были опубликованы в ноябрьской книжке «Нового мира» (выходившего тогда еще по графику), в те дни, когда страна читала проект нового избирательного закона.

В конце ноября 1988 года собрался на свою последнюю, внеочередную 12-ю сессию наш одиннадцатый Верховный Совет.

Последняя сессия бесцветного созыва была исторической: она приняла важнейшие поправки и изменения к Конституции страны и новый избирательный закон.

Общественность проявила заинтересованность в обсуждении законов. Листая газетные подшивки, среди активных участников обсуждения то и дело встречаем имена многих известных теперь людей. Новая ситуация дала им шансы, немислимые еще недавно.

Если судить по газетной полемике, больше всего возражений (и наиболее резких) вызвало предложение прямого делегирования в депутаты от общественных организаций (отмененного меньше чем через год в избирательных законах всех республик, кроме Казахстана и Белоруссии). Все, кто выступал против этого нововведения в избирательную практику, доказывали, что оно означает отступление от конституционного принципа прямых, равных и тайных всеобщих выборов. «Предлагаемые выборы делают избирательное право частично прямым и частично равным», — сходились все оппоненты новаций.

Осенью 1988-го немало было высказано сомнений по поводу целесообразности столь быстрых изменений, да и проведение выборов в такие жесткие сроки некоторые считали поспешными. Социолог А. Н. Алексеев, фрезеровщик Г. А. Нестеров и кандидат технических наук Ю. М. Нестеров так сформулировали свою позицию в «Литературной газете»: «Мы за то, чтобы изменения в Конституции состоялись не раньше чем на съезде народных депутатов... Нужен съезд народных депутатов, чтобы изменить Конституцию, а не изменение Конституции, чтобы собирать съезд».

Теперь, после вереницы съездов, мы видим, что съезд оказался инструментом слишком громоздким и неквалифицированным, чтобы создать и принять Конституцию.

Немало было высказано опасений и по поводу Комитета конституционного надзора (опасений, так и не снятых до 1-го съезда и вылившихся в первый политический кризис), желчных слов по поводу принципа совмещения должностей, неожиданно предложенного Горбачевым еще на XIX партийной конференции. Принципиальные сомнения в юридической прогрессивности предлагаемых изменений высказал тогда на страницах «Известий» доктор юридических наук Б. П. Курашвили: «Председатель Верховного Совета по своим полномочиям близок к единоличному президенту. Он один имеет право называть кандидатов на высшие посты в государстве, без его согласия они не могут быть даже выдвинуты для баллотировки. По существу, он сам формирует команду власти. Единоличный президент вполне может быть звеном демократически организованной системы высших органов власти. Но лишь в том случае, если он находится под контролем парламента. А для эффективности парламентского контроля, видимо, необходима многопартийная система, а значит, парламентская оппозиция».

О предстоящем 1-м съезде народных депутатов Б. П. Курашвили высказался еще тогда недвусмысленно и резко: «На мой взгляд, это искусственный, надуманный орган, орган митингового, а не рабочего характера... Общество лишается непосредственно избираемого нормального парламента и получает взамен странную комбинацию из „надпарламента и подпарламента“».

За месяц обсуждения какого-то устойчивого консенсуса так и не наметилось в обществе; согласования позиций не произошло. Все позиции согласовала внеочередная, 12-я сессия одиннадцатого Верховного Совета страны.

И дальше все несло так же стремительно: до 25 января 1989 года — регистрация кандидатов по новому избирательному закону, до 25 февраля — обсуждение кандидатур, 26 марта — выборы.

С первых дней начались конфликты, столкновения. Потом, когда сообщениями о них заполнились газеты, стало ясно, что это не частности, а разрастающаяся политическая борьба, в которой имеющие власть не остановятся ни перед чем. В большинстве округов нежелательных кандидатов с самого начала и близко не подпустили к регистрации; впрочем, наиболее настырных и изошренных, на которых работали подготовленные команды, остановить при регистрации не удалось — в ход пошла «поп-механика» окружных собраний, действующая зачастую так ретиво, что почти в 400 округах оставили лишь по одному кандидату — партийному руководителю. Предосторожность не излишняя, но, как показал Ленинград, где удалось развернуть кампанию против таких кандидатов, не универсальная...

Быстро пронеслась избирательная кампания, вся страна самозабвенно играла в выборы, а 26 марта 1989 года пошла на избирательные участки.

Тут-то и оказалось, что многие прежде бесспорные и самоочевидные кандидаты либо не набрали необходимого большинства голосов, либо им предстоит второй тур. Вторых были назначены дополнительные выборы, выдвинуты новые кандидаты, и кампания затянулась чуть ли не до дня открытия 1-го съезда.

Все это происходило под нарастающий гул межнациональной напряженности, на фоне армянского землетрясения, гибели подлодки «Комсомолец», кровопролития в Тбилиси (уже после выборов!), в промежутках между триумфальными вояжами за рубеж наших высоких делегаций...

Росла преступность, пустели полки магазинов, экологисты безнадежно сражались в очередной экспертизе канала Волга — Чограй, не обращая особого внимания на прочие проекты, даже такие сомнительные, как гигантский международный нефтехимический проект, за который бился Совет Министров.

Прибалтика, Грузия, Молдавия требовали суверенитета. Бурлили Армения и Азербайджан. Безнадежно взывал к справедливости Карабах. Еще не проснулась Россия.

Вот такая диспозиция была на 25 мая 1989 года.

От 1-го съезда страна ждала многого. А что получила?

* * *

К удивлению телезрителей, оказалось, что собрания представителей есть не только в Китае, но и у нас, коих 446 человек, и начинают они работу не как все прочие депутаты — 25 мая в 10 утра, — а значительно раньше, и заседали они до тех пор, пока не подготовили предложения по составу Президиума и по многим другим, как потом выяснилось, позициям.

Начала ощущаться не блестящая, зато уверенная в себе режиссура съезда.

Скоро выяснилось, что предусмотрительные представители (список которых ни разу не публиковался, они остались в истории нашей страны инкогнито) разработали множество полезных инструментов: и временный регламент (когда, кому и о чем выступать), и, что особенно важно, повестку дня из десяти пунктов...

Тут вышла замужа. Против инициативы 446-ти выступил, как вы помните, депутат А. Д. Сахаров. Это было его первое выступление на съезде, и клакеры были застигнуты врасплох. В выступлении Сахарова было два принципиальных момента: он предупредил против опасности превратиться в съезд выборщиков, утверждающих то, что решено за них, и предложил для начала принять Декрет съезда. Высказавшись за альтернативные выборы, А. Д. Сахаров предупредил: «Мы опозорим себя перед всем нашим народом... если поступим иначе».

Еще был май восемьдесят девятого, еще впереди была волна забастовок, показавших, что народ настроен несравненно радикальнее, чем сообщество депутатов, — подобная расстановка сил, как учит русская история, ведет к катастрофе.

Некоторым предложения Сахарова показались вполне логичными и приемлемыми — ведь он просил, казалось бы, лишь соблюдать общепринятую в мире процедуру: чтобы выбор главы государства и правительства происходил после доклада, прений,

после обсуждения пролегоменов внешней и внутренней политики, а никак не до, авансом. Как решили, все знают: сначала выборы, потом все остальное.

Проект повестки дня, предложенный московской группой депутатов, о котором говорил А. Д. Сахаров, имел в себе два принципиальных пункта, которые отличали его от официального проекта. «Избиратели, народ, избрали нас и послали на этот Съезд для того, чтобы мы приняли на себя ответственность за судьбу страны, за те проблемы, которые стоят перед ней сейчас, за перспективу ее развития, — говорил депутат А. Д. Сахаров, — поэтому наш съезд не может начинать с выборов. Это превратит его в съезд выборщиков. Наш Съезд не может отдать законодательную власть одной пятой своего состава»¹⁶.

Смысл расхождений состоял в том, что Сахаров и московская группа хотели сильного, полновластного съезда, другие — управляемого Верховного Совета.

Насколько реалистичным было предложение Сахарова? Думаю, жизнь показала: съезд в таком числе и в таком составе вряд ли способен быть чем-либо еще кроме как коллегией выборщиков. Сахаров предложил в качестве одного из первых пунктов повестки дня съезда принять Декрет съезда народных депутатов. Внести изменения в соответствующие статьи Конституции. Провозгласить съезд верховной властью в стране.

Меньшинство съезда определилось еще до его начала, на первом же собрании «представителей», когда за «московскую» повестку дня проголосовало меньше 15 процентов депутатов. У них оставался шанс обратиться к съезду, они этот шанс использовали — и проиграли.

«Московский пример» вышел как-то боком. Не сумев договориться внутри «делегации», право выбрать членов Верховного Совета предоставили съезду, и съезд решил безошибочно: вычеркнули всех сколько-нибудь известных людей. Так идея депутатской независимости сгорела, брошенная на алтарь групповых и территориальных интересов. Парадоксально, но через год, на 1-м съезде народных депутатов России, повторилась та же ситуация.

Когда говорили о «московской группе», «московской фракции» 1-го съезда, явно выдавали желаемое за действительное. Никакого единства среди депутатов-москвичей не было и быть не могло. Избранные народом по округам и по партийным спискам, от творческих союзов и прошедшие в результате манипуляций представляли собой не единство, а целый спектр позиций.

«Меньшинство» (оппозиция) не успело оформиться на 1-м съезде; оно оформилось позднее, создав Межрегиональную депутатскую группу. Впрочем, политически она была поставлена в п а т о в о е положение, что проявилось во втором выступлении Сахарова.

В первый же день 1-го съезда при обсуждении кандидатуры М. С. Горбачева на пост Председателя Верховного Совета возник вопрос о совмещении должностей. Первым его поднял депутат В. А. Логунов, предложивший Горбачеву снять с себя обязанности Генерального секретаря и члена Политбюро ЦК КПСС. Потом об этом говорили и на 1-м съезде, и на 2-м, и на 3-м, и на XXVIII съезде КПСС, потом уже устали говорить, и снова, уже в октябре 1990 года, депутат Л. И. Сухов (тот самый, который в первый же день съезда сравнил Горбачева не с Лениным и не со Сталиным, а с великим Наполеоном, «который, не боясь ни пуль, ни смерти, вел народ к победам, но благодаря подпевалам и жене прошел от республики к империи»¹⁷) снова призвал Горбачева прекратить «ходить по проволоке от пункта А в пункт Б». И снова отшутился Горбачев: еще не время. Отшутился так, что все поняли — дело не в «совмещении», дело во власти.

Поддержав Горбачева и отдав ему свои голоса, депутаты вынуждены были теперь раз за разом поддерживать его предложения, даже те, которые им не нравились, чтобы не ставить под сомнение свой главный выбор — Горбачева — и не вызывать общегосударственного кризиса, который мог воспоследовать незамедлительно. Поддерживая не бесспорные креатуры Горбачева, его неблестящих сателлитов с бледной программой и невразумительными предложениями, голосуя за них, по сути, они снова и снова всякий раз голосовали за него.

Устойчивое большинство съезда (и еще более осязаемое большинство в Верховном Совете) определилось сразу. Его назвали агрессивно-послушным. Это вряд ли так. Большинство съезда, думаю я, объединялось вовсе не агрессивностью и даже не привыч-

¹⁶ «Первый Съезд народных депутатов СССР. Стенографический отчет». М. 1989, т. 1, стр. 9.

¹⁷ Там же, стр. 70.

кой (ощущаемой как долг, как моральный императив) поддерживать лидера страны. Большинство сложилось скорее благодаря тяге к единству, боязни раскола, развала, конфронтации, и боязнь эта не беспочвенна, все видели, как накалялись порой страсти.

Обозреватель одной нашей газеты, объясняя поведение Горбачева на съезде, неопределенность и неуловимость его позиции, его осторожность, вспомнил «закон эскадры», в соответствии с которым она движется со скоростью самого тихого корабля. Думаю, что образ этот если и позаимствован из морских уставов, то из очень уж устарелых, — подобная эскадра, или конвой, неминуемо будет растерзана противником. Сегодняшние политические доктрины требуют куда более сложных и затейливых взаимодействий, чем регламент похоронной процессии.

За год до 1-го съезда страна обсуждала XIX партийную конференцию. Теперь диспозиция, пожалуй, повторялась, но уже совсем на другом, более высоком градусе. Схожесть была в том, что и на этот раз большинство делегатов были правее, а точнее — консервативнее лидера, но он добился у них поддержки и одобрения всех своих предложений, ради чего их и собирали.

Политически Горбачев провел блистательную операцию. Насколько, однако, она приблизила страну к демократии, насколько сгладила кризисную ситуацию, если предположить вопреки фактам, что ухудшение экономических обстоятельств может улучшить политические? Но такой подход, однако, приемлем лишь для тех сил, которые придерживаются принципа «чем хуже, тем лучше», надеясь в обстановке экономического хаоса и всеобщего недовольства заявить о своих козырях.

По широко распространенной оценке, Верховный Совет страны по своему составу получился отнюдь не самым сильным и квалифицированным. Возникал вопрос: а почему бы Президиуму, который надежно контролировал ситуацию, было не поспособствовать тому, чтобы стартовый состав Верховного Совета был самым перестроечным. И в чем состоит задача? Не в том ли, как объяснял в октябре 1989 года Дж. Бейкер, чтобы появился «Верховный Совет, способный принимать законы и указы»?

После 1-го съезда мы подошли наконец к главным крепостным стенам и стали вокруг них осадой. Депутаты прямо и без обиняков заговорили о неограниченной, самодержавной власти партии над нашим обществом. Схватка при утверждении Горбачева вокруг вопроса о совмещении постов была началом главной битвы, битвы за власть и даже — за тип общественного устройства.

Уже с трибуны 1-го съезда прозвучали, а значит, и легализовались как тема для общественного обсуждения, предложения об упразднении 6-й статьи Конституции СССР. Отмены этой статьи требовали летом 1989 года стачечные комитеты по всей стране. Статья эта, в которой дано, пожалуй, исчерпывающее определение существа тоталитарной системы, гласила:

«Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром ее политической системы, государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС существует для народа и служит народу.

Вооруженная марксистско-ленинским учением, Коммунистическая партия определяет генеральную перспективу развития общества, линию внутренней и внешней политики СССР, руководит великой созидательной деятельностью советского народа, придает планомерный, научно обоснованный характер его борьбе за победу коммунизма».

Помню драматическое голосование на 2-й сессии Верховного Совета СССР 13 ноября 1989 года. Тогда Верховный Совет голосовал вопрос о включении в повестку дня 2-го съезда народных депутатов вопроса о 6-й статье. За проголосовали 198 человек, против — 173 из 401 зарегистрировавшегося депутата. Трех голосов не хватило для победы. Но политически вопрос был решен уже тогда, когда большинство Верховного Совета выразило свою волю.

Только после февральского пленума 1990 года, после декабрьского съезда, жарких споров, многолюдных митингов, после миллионной манифестации москвичей отступила КПСС, приняв историческое решение о переходе к многопартийности.

Но вернемся в июнь 1989 года.

Теперь, когда 1-й съезд народных депутатов стал фактом истории, стало понятно, что, при всех натяжках, подтасовках, неловкостях, дело-то сделано, что грандиозный план создания новой авторитарной государственности (государствостроения, по Лукьянову) почти реализован, и реализован не путем насильственного переворота, а самым демократическим за последние семьдесят семь лет путем — с помощью беспрецедентно широких выборов (даже при том, что нам навязали 750 депутатов от общественных

организаций да плюс столько же безальтернативных, это были первые в нашей жизни выборы). Выборы и 1-й съезд как их первый итог показали, что в политической борьбе Горбачев и его команда начисто переиграли всех своих соперников, причем с подавляющим преимуществом.

Правда, уже жаркое лето 1989 года показало драматическое расхождение этого уверенного большинства и народа — показало «меньшинство большинства».

Историческая забастовка шахтеров Кузбасса, а за ними и всей страны, вполне благожелательно встреченная Горбачевым, дала урок этому большинству, представляющему на самом деле не народ, а власть. В шахтерских городах летом 1989 года стачечные комитеты взяли на себя функции власти, юридически, впрочем, ничем не подкрепленные, но от этого не менее грозные. Снова над зашедшей в тупик страной замаячило, как в трагическом семнадцатом, слово **двоевластие**.

* * *

В начале августа были опубликованы первые проекты новых избирательных законов республик. Украинский закон, судя по всему, был призван увековечить большинство меньшинства, игнорируя и шахтеров Донбасса, и избирателей Житомирщины, и киевские митинги, и чаяния «западенцев».

Большевики в сегодняшних политических условиях — это люди, имеющие власть и всеми средствами стремящиеся удержать свое большинство в представительных органах. Большевики сегодня — это те, которых на заводах, на фермах, на полях меньшинство, но которые из ленинского наследия извлекли одно — технику борьбы за власть. Большевики сегодня — это те, которые всегда умели создать большинство в решающем месте и в решающее время. Чтобы укоротить их, нужно, чтобы общество проснулось. Похоже, что оно проснулось.

1-й съезд народных депутатов СССР отмежевался от права депутатов образовывать политические (проблемные) группы, блоки, фракции. Тем самым положение оказалось весьма драматическим: коммунистическая фракция имела подавляющее большинство и не скрывала своей организованности; партии интересов тоже не дремали, а выступили единым фронтом и очень активно (вспомним 300 депутатов-аграрников с их письмом-ультиматумом с требованием все новых и новых финансов в бесславную и бездонную сельскую экономику); прения в Верховном Совете вокруг комплектования Совета Министров выявили очень активные и хорошо организованные фракции интересов энергетического комплекса, военного, нефтяного и прочих. Вольготно чувствовали себя и национально-региональные фракции. Только общество, только граждане страны оказались не представленными никакой внушительной силой.

Призыв к отсутствию фракций означает на практике требование не допустить никаких фракций (кроме существующих), способных оспорить статус-кво, ослабить власть партий интересов.

При отсутствии легализованной политической жизни с небывалой остротой разгорелись национальные проблемы. Провозгласив партийный принцип делегаций-депутаций, с самого начала узаконили национальные фракции. А ведь в каждой национальной фракции были и правые и левые, были либералы, сторонники марксистского фундаментализма, последовательные демократы и империалисты, экологи, христиане, мусульмане, сторонники многочисленных ведомственных партий — все они за отсутствием институционализированных политических платформ сгрудились на национальной. И сталинский Союз Республик зашатался, затрещал... При всем противоборстве и конфликте интересов, национальные фракции явно сходились как в оценке дальнейших перспектив нынешнего союзного государства, так и в необходимости поиска новых путей национальной государственности.

В силу политической остроты этих проблем практически ни один депутат не раскрыл по-настоящему карты, не объяснил внятно, что именно предстоит построить, какую именно новую государственность вместо нынешней постсталинской империи, какая совокупность национальных суверенных государств появится на политической карте мира, как это новое созвездие войдет в мировое сообщество, как изменит глобальную ситуацию, какая новая мировая конфигурация возникнет в результате этих метаморфоз. Какие плюсы и минусы сулят эти преобразования погруженным в них и окрестным народам, какие формы сотрудничества, взаимной безопасности, согласования интересов, взаимных гарантий... Какой механизм умиротворения страстей на шестой части земной

тверди должно создать. Прямо все это не обсуждалось, как не обсуждались в открытую реальные пути эволюции Союза Советских Социалистических Республик. Правда, запомнилась реплика академика М. Л. Бронштейна из Эстонии на самом первом заседании палаты национальностей, где он предложил создать комиссии по экономическому сотрудничеству республик, «общему рынку», как он выразился, так как главное, что скоро будет нас объединять, это общий рынок. Ему немедленно возразил председатель палаты Р. Н. Нишанов, сказав, что именно эти вопросы будет изучать комиссия по международным отношениям. Вопрос отпал.

А постановка проблемы осталась — что же нас будет объединять?

После 1-го съезда проскользнула в общественное сознание горькая мысль: может, не страна мы никакая, а конгломерат народов и стран, «империя зла», как некогда ругался президент Рейган, сообщество поработенных? Кем? Россией? А может быть, взять и выйти России из Союза, коли никто не хочет более такого союза? — вслух подумал Валентин Распутин. Сказал вроде бы вскользь, а запомнилось им сказанное всеми крепко, и аукнулось через год на российском съезде Декларацией о российском суверенитете, противостоянием Кремля и Пресни, Москвы и окрестных земель.

* * *

Уже 2-й съезд показал полный кризис перводекабрьской системы — ему нечего было делать. Перед 2-м съездом, как помнит читатель, с экономической программой выступил Н. И. Рыжков. И программа эта была принята, о чем правительство лениво напоминало оппонентам, требующим его отставки весь 1990 год.

Перводекабрьскую избирательную систему и состав депутатов не раз критиковали, особенно уничтожающе — из демократического лагеря; теперь, по прошествии времени, стало еще яснее, что куриальная система съездов была хитроумно сконструирована во вполне временных операциональных целях. Большинство съезда оказалось надежным (вот его главное качество!) для проведения любых реформ и законов, предложенных Горбачевым. Верховный Совет действительно стал машиной, способной принять весь пакет важнейших законов, радикальность которых еще год назад сочли бы невероятной. Съезд выполнил свое историческое предназначение, собравшись в третий раз, принципиально изменив Конституцию, введя президентство и избрав президента.

Я не отношусь к числу тех, кто непременно требует всенародного голосования, — всенародное голосование может окончательно расколоть общество и вызвать колоссальное противостояние.

Никаких других функций съезд оказался неспособным выполнить, да они, похоже, ему больше и не предназначались всерьез. На 3-м съезде всего 49 голосами сверх двух третей победила идея президентской власти. Съезды на этом исчерпали свою историческую роль, показав, что могут быть (при демократическом их избрании) коллегами выборщиков. И не более.

Уже и Юрий Хамзатович Калмыков соглашается: «Справедливо ставится вопрос о нецелесообразности сохранения в будущем Съезда народных депутатов. Огромный по составу, он практически непригоден для решения крупных задач и принятия законов. Достаточно постоянно действующего, профессионально подготовленного парламента» («Известия», 11.11.90).

Демократия и империя

Похоже, кризис, в который погрузилась наша постимперия, является всеобщим, а значит, таким, из которого нельзя выйти как ни в чем не бывало, не преобразовавшись, не изменившись, не превратившись (вот слово!), как личинка превращается в стрекозу и вылетает из воды. Не выползти, не выйти, а вылететь только можно, претерпев структурные, глубочайшие фазовые преобразования, фундаментальные превращения.

Мы выжили вместе в этом сталинском нерушимом союзе. Были созданы пусть вначале ручные, пусть игрушечные, но н а ц и о н а л ь н ы е республики и ЦК, академии и театры, университеты и писательские союзы, художественные школы и проч. и проч. Все эти преобразования, поддерживаемые в состоянии ровного газона регулярным, почти бытовым террором и кадровыми манипуляциями, все-таки, как петровские потешные полки, они подготовили, взрастили нынешний взлет национального самосознания, этот

приближающийся исторический фазовый переход империи в новое, труднодостижимое, но ощущаемое как желанность новое качество.

Лет восемь уже назад, помню, некий региональный босс сказал мне с удивлением:

— Неужели вы настолько радикал, что можете всерьез говорить о Союзе Советских Социалистических Республик? Бросьте! Не мы создали эту страну и не нам ее ломать!

— Оставим эту работу детям?

— Или внукам. А то и правнукам.

Это у нас (только ли московских?) в крови и в воспитании — мы все еще мыслим масштабами всей страны в отличие от литовца или таджика... Лично мне, признаюсь, и сейчас трудно расстаться с мыслью, что страна моя, от Балтики до острова Беринга, от Таймыра до Памира мною изъезженная, оказывается, не вполне моя... Сталинская империя была наследницей империи Романовых; похоже, что волею истории постсталинская империя должна через ряд фазовых преобразований превратиться в мирное содружество государств, иначе она, залитая кровью, погрузится во тьму озверения и весь мир, пожалуй, еще за собой утащит, чего этот благополучно устроенный европейский дом, наблюдая происходящее у своего порога, боится пуще дьявола.

* * *

Накануне первой мировой войны в глубинах Азии, и в Китае, и в Индии, и на Балканах, и на бескрайних просторах Российской империи уже началось это темное, тяжелое, глубинное, неостановимое, как движение континентальных плит, национальное брожение. Оно-то и погубило, я думаю, Российскую империю. Оно, а не война и революция. Оно скорее, чем война и революция. Революция и то, что было потом, усилиями революционеров, оказавшихся на поверку глобальными империалистами (мы, на горе всем буржуям, мировой пожар раздуем; весь мир насилья мы разрушим), заморозили, сохранили, сжали в кулак, не дали распасться огромному глиняному колоссу, огнедышащему дракону, динозавру — как только не поносили еще нашу несчастную, нелепую, великую и прекрасную родину.

«Счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые...» Не будучи призван на пир, чувствую: наступили эти минуты.

Убыстрили движение этнические плиты, началась буйная неотектоника наций; как она пойдет, как тряхнет, куда забросит, скольких погребет, какую создаст при этом новую реальность — бог весть.

В 1992 году объединенная Европа откроет свои внутренние границы, сломает перегородки, начнет отсчет новой истории.

А на нашем старорусском календаре будет 7500 год от сотворения света, и снова, как пятьсот лет назад, нет недостатка в пророчествах грядущего Апокалипсиса.

* * *

Выбросив, как кукушонок из гнезда, всех, кто был правее их, запретив политические партии, закрыв газеты с чуждым направлением, высылая, уничтожая политических противников, а позднее и всяких инакомыслящих, а затем и просто мыслящих и просто всяких, большевики поставили себя в особенное положение в мировой истории; они оказались — и научились жить — в политическом вакууме. Им даже понравилось так жить.

Опыт России показал, что общество, страна, вступившая на путь конструируемой изоляции, строительства особой реальности «в одной, отдельно взятой стране», трагически выпадает из новой истории человечества, которая начинается Нагорной проповедью, а не Марксовым «Манифестом...». Люди, вступившие на этот путь, отправили самих себя и подвластные им народы к светлому будущему подземным тоннелем страха, из которого на белый свет не проложено рельсов.

Особое умонастроение, бродившее в крови неприкаянного люда, — мировой пожар в крови, Господи, благослови... Эта припевка преобразовалась в застойные годы в скудную, но тоже начинающуюся с горделивого «мы»:

Мы не сеем и не пашем,
а валяем дурака.
С колокольни дрыном машем,
разгоняем облака.

Равнодушно-блудливая, ерническая, полностью аморальная, эта позиция к нашим дням модифицировалась в истерический выкрик рок-группы «ДДТ»:

1240 дырок
просверлил за смену я!
Захлебнется «Общий рынок»
в дырке нашего нуля!

Уничтожение враждебного мира завершилось полным самоуничтожением и самоотрицанием. Круг замкнулся.

* * *

Национальный вопрос встал с такой остротой не потому, что не получили возможности легального выражения другие важнейшие вопросы, а потому, что он по-настоящему для всех нас главный, определяющий, решающий, от него зависят и будущий путь и судьбы народов.

Владимир Сергеевич Соловьев писал в предисловии ко второму изданию своей книги «Национальный вопрос в России»: «И по своему историческому положению, и по национальному характеру и мирозерцанию Россия должна была бы сделать почин в этой новой положительной реформации. Исполнит ли она свою нравственную обязанность — мы предсказать не можем. Мы не признаем предопределения ни в личной, ни в народной жизни. Судьба людей и наций, пока они живы, в их доброй воле. Одно только мы знаем наверняка: если Россия не выполнит своего нравственного долга, если она не отречется от национального эгоизма, если она не откажется от права силы и не поверит в силу права, если она не возжелает искренно и крепко духовной свободы и истины — она никогда не может иметь прочного успеха ни в каких делах своих, ни внешних, ни внутренних»¹⁸.

Накануне революции 1917 года нарастали разваливающие империю тенденции. Бурлил Кавказ, второй год был охвачен огнем мусульманского джихада Туркестан (войну с басмачами мы получили в наследство). Требовали независимости Финляндия, Польша. Все сильнее были национальные движения в Прибалтийском крае, и, что хуже всего, на Украине. Об этом говорилось и с думской кафедры.

Пожалуй, в октябре 1917 года под крайними левыми лозунгами к власти пришла единственная сила, которая могла предложить разваливающейся империи некую наднациональную идею, сверхнациональную общность. И не религиозную (в стране, население которой исповедовало различные религии, это привело бы только к усилению розни). Напротив, большевики провозгласили отделение церкви от государства, чем, может быть, спасли государство, и провозгласили идею строительства социалистического общества.

Как только была сформулирована идея, появилось моральное оправдание власти и силы. Так была сохранена в основном целостность, удалось вступить в наследство империей, не деля ее ни с кем (выскользнувшие Польша, прибалтийские государства были прибраны к рукам позднее, но это уже другая история).

Большевики победили, потому что железной рукой использовали все силы имперского притяжения, по железным дорогам империи бросили железные дивизии, бронепоезда, снова стянули к предельным напряжениям сил распадающийся каркас. И дали всему новое, наднациональное оправдание.

И зажили.

* * *

Добываясь экономического возрождения, прежнюю империю в неприкосновенности сохранить нельзя. Сохраняя ее, нужно забыть слова «демократия» и «свобода», нужно точить саперные лопаты, посылать детей в жерло внутреннего «афгана», наполнять баллоны «черемухой», ублажать генералов, раздувать внутренне слабеющую армию. Здесь выбор, который нам неминуемо придется сделать, — демократия или империя. Это две «вещи несовместные», говорят демократы. Или совместные, если под демократией понимать не власть, а свободу, не цель, но процесс, процедуру?

¹⁸ Соловьев В. С. Собрание сочинений. СПб, т. V, стр IV.

В значительной мере это вопрос языка.

«В латинском языке послеантичного периода понятие «республика» вначале совпадает по значению с понятием «империя», а с 15—16 веков с понятием „государство“; «Как реальное, или, точнее, фиктивное продолжение римской традиции в византийском государстве и в державе Карла Великого и его наследников (уже до 800 года имевшей название *Cristianum Imperium* — христианская империя) в средние века и в новое время понятие «империя» стало применяться для обозначения мировой державы (ср. англ. и фр. *Empire*)»¹⁹.

Выбор, может быть, лежит в другой плоскости: мировая держава или множество мелких, сотрясаемых длительными волнами кризисов, смут и междоусобиц, переустройств государств (республик, монархий, ханств, федераций, союзов). Демократия не всегда была конечным пунктом маршрута; на нем есть и другие остановки, такие, как тирания, диктатура, олигархия, военная хунта... Вольны выбирать.

Но любой сегодняшней выбор — вряд ли долговременный выбор; мне кажется, мы только в начале длинной вереницы превращений. За два года прошли от партийной диктатуры к диктатуре президента, опирающейся на таких же президентов в республиках. И новых ждем вестей...

Вероятно, сама физика развивающегося процесса такова, что он неизбежно и неразрывно идет с ростом национального возрождения, самоопределения, самоидентификации. Это необходимая стадия в наших условиях после многих десятилетий свинцовых объятий. Дружбу народов нельзя навязать, нельзя заставить дружить, «еще теснее сплотиться». Слишком много патоки и крови, чтобы эта проблема могла восприниматься спокойно.

Трудна и порой кажется неразрешимой задача — выйти из этих бурь, не потеряв культуру и хозяйство, не разорвав те позитивные связи, что выросли и воспитаны в наших поколениях (чувство единой все-таки страны, общей судьбы), не потерять русский язык как универсум общения.

Если предположить, что процесс самоидентификации народов — больших и малых — будет проведен энергично, эффективно и справедливо, без торопливости, но и без проволочек, к началу третьего тысячелетия христианской эры мы придем к совсем иной геополитической структуре нашего нынешнего общества, к другой политической географии, к иной всемирной ситуации.

Убаюканные пропагандой, мы на какое-то время и в самом деле поверили, что этнический процесс, рост национального самосознания идет где угодно — в Намибии, Гренландии и на Аляске, — но только не у нас. Мы соперничаем народам Намибии, сыздавна наши симпатии отданы американским индейцам, но при этом нам и в голову не приходило, что какие-то большие и малые терпящие национальное бедствие народы, входящие в нашу галактику наций, возможно, захотели бы жить иначе, во всяком случае без бестрепетного и долгого владычества союзных, то есть ничьих по нации, учреждений на их земле. Иными словами, приходится признать, что прежняя «империя зла», беззастенчиво грабящая все без исключения народы, в нее входящие, продолжает быть. Да ведь и не о моноэтнической империи речь — это было бы проще, — а об империи ведомственно-идеологической, по существу, антиэтнической, потому что всякий этнос самим фактом своего существования противоречит теории развития общества и классовой борьбы.

Сегодняшний тоталитарный централизм, думаю я, силен не только политическими структурами, но и сложившимися структурами технологии жизни. Ведомства всемогущи не по хотению своему, а по реальному факту силы; администрирование, управление — весьма эффективный и пока что главный инструмент в сложнейшей технократической структуре.

Москва — центр не только потому, что в Кремле президент. У нас все — информация, люди, деньги, нефть и мука — перемещается через центр. Крепче, чем идеология, символика и армия, держат нас вместе железные дороги, все пути которых ведут через Москву, в которой и прирельсовые склады, и контейнерные базы, и диспетчерские службы, и множество контор с печатями... Гигантские электростанции связаны в энергосистемы, и энергия Нурека освещает свердловские цехи. Это удобно и экономично с точки зрения ведомства, самой системы, но очень уязвимо и лишает людей свободы, что уже показала энергетическая блокада.

¹⁹ «Словарь античности». М. «Прогресс». 1989, стр. 483, 224.

Лишившись собственности, мы лишились свободы. Наконец-то общество поняло это. Поселившись в городах, отапливаемых по трубам горячей водой, покупая хлеб в ближайшей булочной, а деньги на булку получая на государственной службе, мы полностью передоверили свое жизнеобеспечение так ненавидимым обществом бюрократам и технократам. Наши судьбы зависят теперь не от нашего ума, поведения, смелости и честности, а от качества сварного шва на трубе.

Когда мы говорим о демократии, мы должны не забывать о нашей полной жизненной несостоятельности. Не владеющие ничем, кроме собственной рабочей силы, не имеющие даже минимального запаса пищи и топлива, мы не обладаем свободой, которая есть у любого крестьянина, подтопить дом. Горожанин полностью зависит от техники жизнеобеспечения города и от людей, управляющих ею. Система нас кормит и поит, система обогревает, выдает продовольственные карточки и этими карточками прикрепляет к месту надежнее, чем кандалами.

Мечтая о свободе, мы не должны забывать наши нынешние обстоятельства и, уповая на демократию, помнить, что она средство, а не цель.

Введение частной собственности увеличивает зону свободы не только для тех, у кого она так или иначе уже есть, но и для тех, кто о ней только мечтает. Собственность на землю увеличивает зону свободы потому, что появляется фермер, способный существовать автономно, а значит — ответственно.

Альтернативная энергетика (ветровая, солнечная — не централизованная), малая сельхозпереработка, малые пекарни, коптильни, консервные заводы, вообще малые предприятия в любых отраслях увеличивают свободу больше, чем партии, потому что увеличивают зону независимости общества от государства.

Японцы утверждают, что современные империи будут «информационными империями». Они готовятся к тому, чтобы стать первыми среди других.

Постсталинская империя была обречена, она не имела шансов выжить, как и прочие пришедшие к упадку гигантские структуры (министерства, госкорпорации), она обессилела из-за информационного паралича и нечеловеческого напряжения, необходимого ей для подтверждения статуса сверхдержавы. Невероятно большой груз управленческого персонала, чиновников на гигантском корабле...

Чтобы выжить как страна, как единство территории, законов и народов, нужна смелая новая стратегия, основанная на децентрализации, демократизме, множественности вариантов бытия.

* * *

А может ли «империя зла» не просто рухнуть, похоронив всех под обломками, или распасться на множество мелких деспотий, но превратиться в «империю добра»? Майкл Хауард, директор лондонского Международного института стратегических исследований, заявлял со страниц «Известий»: «Думаю, что процесс дезинтеграции был бы трагедией не только для СССР, но и для стабильности мира в целом. Случись нечто подобное, можно представить себе самые ужасные последствия... Всем нам действительно нужен единый, сильный, процветающий Советский Союз как элемент мирной общемировой структуры».

Им-то, может, и нужен. А нам?

* * *

Гражданской войной, я думаю, нас пугают неспроста. Страх — это вполне эффективный элемент политики, способ управления человеческой массой. Хлебной карточкой и страхом большевики вполне эффективно управляли в борьбе за власть. Опыт есть.

Войной, переворотом можно пугать, и нас будут пугать и сзади, и спереди, и справа, и слева, и из президентского окружения, и со стороны альтернативных ему сил. Угрожают армией, но армия опасна до тех пор, пока президент не отправит в отставку тысячу генералов (их у нас с адмиралами в 1991 году по списочному составу ровно 1991) и не посадит на освободившиеся места пятьсот полковников, объяснив, что не может наш мужик кормить больше генералов, чем весь остальной мир кормит.

Клеймят, разоблачают имперскую идею, обвиняют друг друга в рецидивах имперского мышления. А ведь понимают под одними и теми же словами разное. Надо о словах сговориться.

Сегодня идея Союза — это идея единства, основанная на универсальном наднациональном законе. На власти, подчиненной не императору, а закону. Это всеединство

людей, личностей, права каждой из которых гарантированно равны. Этнократия — в наших реальных условиях, при нашем срезанном культурном слое, навыках ожесточения и сущем варварстве политической жизни, — этнократия приводит в тупик, из которого не выйти никому.

Союз, если это добровольный союз (хочу высказаться вполне определенно), — ценность всемирная и универсальная еще и потому, что он шире, открытее, демократичнее, терпимее, интереснее, богаче любой отдельной национальной государственности. Здесь никто не ущемлен, а в монархии любой «чужой» будет ущемлен.

Да, говорят сторонники распада, разброда, — если это добровольный союз свободных государств. Но наши республики таковыми не являются. Давайте разойдемся с соблюдением приличествующих случаю процедур, признаем свершившийся факт юридически, разделим добро, разберемся с границами, решим внутренние проблемы, восстановим экономику (может быть, для этого потребуются десятилетия), а потом, может статься, кто-то и пожелает объединиться в какой-нибудь союз или какие-нибудь союзы (советский ли, европейско-азиатский, балто-черноморский, туркестанский, сибирский, закавказский и проч.), — почему бы нет? Жизнь поставит вопросы, народы найдут на них ответы.

Весь сюжет последних лет (а может быть, последних девяноста лет) и состоит в борьбе единства и отдельности (в единстве и борьбе противоположностей, кивнет чистокровный марксист, но на уровне исторической практики диалектическая эквилибристика мало помогает).

Итак, вопрос не в том, возможен ли развал, распад, а в том, чего это будет стоить.

Второй вопрос, вытекающий, правда, из первого: возможно ли сохранить страну без катастрофы передела и чего это потребует от власти и общества? каких жертв и какой крови?

Боюсь, что технико-экономическое обоснование вариантов нашего будущего принципиально невозможно, потому что мы тут имеем дело не с реализацией рационального плана, а с иррациональным национальным чувством, когда слова «родина или смерть», «свобода или смерть» воспринимаются народом в качестве неизбежной альтернативы. В такой психической атмосфере возможные потери не считают, напротив, попытки анализа считают предательством.

В сущности, думаю я, самый большой миф нашей политической истории — это миф о тотальной власти. Ее никогда не было, кроме, может быть, нескольких лет особо жестокого террора, да и тогда это была всего лишь власть террора, а не закона, устрашение, а не управление.

В нашей стране никогда не было всепроникающей власти центра, и сейчас такая власть может возникнуть с меньшей вероятностью, чем когда-либо в прошлом. Тотальная власть подразумевает и тотальный контроль, тотальную информированность и мгновенную и автоматическую расплату за непослушание. Такая власть у Бога, а не у кесаря, такое королевство только на небесах. Никогда на огромных, не связанных пространствах России власть не была в достаточной степени информирована и оперативна, да просто достаточно сильна, чтобы одновременно и эффективно реагировать по всем направлениям. И сейчас, насколько я понимаю сюжет, развивающийся на наших глазах, речь идет не о строительстве такой власти, где уж там, — ни надежной связи, ни дорог, ни денег, ни верных сексотов, ни надежных войск, да и не войска ведь рстят бычков и доят коров, не они сапоги тачают, машины собирают...

* * *

Сепаратизм, может быть, даже возвышает народ малый. Так, трогательна маленькая, ухоженная страна, а все у них настоящее: и президент, и парламент, и традиции, железная дорога и железнодорожники при ней.

Вообще игра в государство увлекательна и небесперспективна для чиновных людей. Политиков, интеллигентов, научных работников, неспособных к конкуренции на широком пространстве страны и мира.

Для устойчивых плодоносящих культур, выстоявших в вековых столкновениях с иными культурами и структурами, сепаратизм опасен и неорганичен. У этих культур нет той эндемичности, закрытости этноса, при которой он только и чувствует себя в безопасности и живет. Есть структуры закрытые, есть открытые. Одни не хуже других — они разные. У открытых культур нет той цепкой настороженности к чужому, без которого не заквасится брага сепаратизма. Поэтому так нужен сепаратистским

идеологам, деятелям этнократии, образ врага, ч у ж о г о, перед лицом которого происходят ритуалы самоопределения и куется единство нации. Именно им совершенно необходима любая фобия как закваска, чтобы в борьбе забродило сусло.

Вот незадача — слишком переплелись культуры и кровь; среди самых пылких русских националистов то и дело встречаются фамилии, оканчивающиеся на «о». И на Украине не редкость самостийники с русскими фамилиями. А как быть тем, кто никого не хочет предавать, соединяя в себе и детях своих кровь двух, а то и трех, как я, славянских народов?

Детей, рожденных в межнациональных браках (бастардов в глазах ревнителей национальной чистоты), десятки миллионов; пока есть бастарды, электорат наднациональной партии будет существовать. Партия «Союз» — наследники кровавой и великой истории, связавшей людей, крепче не бывает, через детей.

Идея российской отделенности ущербна по определению, потому что разрушает нечто весьма существенное в национальном характере — открытость; она опасна еще и потому, что, как показал минувший год, запустив атомизацию страны Декларацией суверенитета, реакцию уже нельзя остановить. Полного, то есть государственного, суверенитета и не требуют — провозглашают — все автономии, все округа, племена... Собралися, провозгласили — и отдельная свеженькая страна лежит у ног.

Но государства никогда не строились так — они строились на поте, крови, упорстве поколений, на самоотверженности и любви, терпении, но никогда на бумажных амбициях местных сатрапов.

Единый, всем миром признанный суверенитет великой державы, защищавшей всех своих чад, на глазах изумленного сообщества народов скукожился, съежился, усох, оставив всех нас наедине с притязаниями и недоверием друг к другу. Притязания эти не на волейбольной площадке проверяются. Общество наше читает исторические сочинения, стремясь прочесть в них знамение будущей судьбы. Но будущее — в других книгах, менее популярных. Оно в статистических сборниках, пусть и неполных и лживых, но тенденции видны и из них. Будущее в статистических таблицах, в структуре бюджета, национального дохода и расхода, в таблицах энерговооруженности и энергопотребления, в графиках демографических прогнозов, в картах радиационной обстановки и загрязнений, в изолиниях концентраций изотопов, в динамике смертности и продолжительности жизни, в индексе образовательного и интеллектуального потенциала общества.

Впереди век жестоких экологических реальностей: нехватки ресурсов, топлива, продовольствия; вспышек национального безумия (эти вспышки, как эпидемии, будут поражать целые этносы), новых пандемий; вырождения климата (метеорологи говорят, климат — это длинный ряд погод), загрязнений, технологических катастроф, нехватки воды и энергии; захламленности, обветшалости, нашествия крыс и перманентной нехватки здоровой пищи.

Индекс рождаемости определяет сегодня место и шансы стран среди цивилизаций. Индекс продолжительности жизни выносит приговор ее устройству.

Мы, страна безмерной растяженности, были обречены, демографы и географы знали это всегда. Планета на планете, семья стран, в которых идут веками прямо противоположные процессы, — как же не разорваться, не разбежаться?

В Балтии индекс рождаемости ниже единицы, здесь стоит вопрос о выживании наций, здесь сокращается коренное население; в Приаралье другое вырождение, там высочайшая детская смертность, там женщины умирают от дистрофии, там этнос, защищаясь, плодит и плодит потомство, как в Бангладеш, по экспоненте; все усилия улучшить жизнь людей разбиваются об из года в год стремительно растущую семейную нагрузку на работающих. В Таджикистане, к примеру, численность населения почти удваивается каждые три пятилетки. В 1970 году было 2,9 миллиона человек, в 1986-м уже 4,6 миллиона, к 2000 году ждут 8 миллионов, к 2015-му, если сохранится тенденция, — 16 миллионов. И это в узких долинах, зажатых горными хребтами, при полном отсутствии свободных земель, воды.

К чему приводит демографическое напряжение, показал взрыв в Фергане. Плотность населения, плотность нагрузки на землю, на гектар драгоценной, поливной, кетменями вспушенной земли, растет. И растет межнациональная напряженность.

В Средней Азии не любят слово «демография». Прежде не любили потому, что подозревали Москву в попытках регулировать рождаемость, вмешиваться в самое святое — воспроизводство народа; теперь потому, что подозревают в попытках уйти от проблемы «выравнивания условий» на душу населения, разделить национальное богатство страны не по душам, а по работающим.

В российском парламенте требуют именно такого раздела, что, конечно, справедливо, но этот принцип, будь он реализован, поставит среднеазиатские народы и живущих с ними рядом европейцев в условия трагической безнадежности, и это надо понимать трезво.

Восстания (думаю — подогретенные и организованные), резня в Оше, Фергане, Душанбе, солдаты, заживо сожженные в Намангане,— все эти страшные события стали возможными на фоне отчаяния, злой, тупиковой бесперспективности целых человеческих популяций.

* * *

Похоже, что страны Туркестана (вполне допускаю, что при установлении полной независимости в некоторых из них установится фундаменталистский мусульманский режим, возможно, с социалистической фразеологией иракского типа) вряд ли будут с благодарностью вспоминать наше общее прошлое.

Прощай, Самарканд, прощай, Бухара! Верещагин в пороховом дыму писал историю их завоеваний. Россия вслед за Англией приняла участие в разделе мира, и Афганистан, как и в прошлом веке, стал рубежом двух эпох и двух миров. Пешая прогулка генерала Громова через амударьинский мост в Термезе 15 февраля 1989 года, которой окончилась афганская война, сдается мне, не конец, а начало нашего большого и многотрудного, может быть, даже десятилетнего, но неизбежного похода — домой. С оружием сюда пришли русские. Проливали кровь чужую и свою, болели, лечили, строили, копали каналы, приближая аральскую катастрофу, строили города, поколения людей отдали этой древней земле свою жизнь, ненависть и любовь.

Революция принесла в нашу совместную историю новую ожесточенность. Мы не сделали счастливыми ни себя, ни их.

Прощай, Кавказ. Навек мы пришли сюда (еще Пушкин, Лермонтов и Толстой), но век прошел и еще один на исходе. Впереди одиссея, долгий путь домой.

* * *

Похоже, у нас началась атомизация — цепная реакция распада этнической системы на мельчайшие атомы, реакция, которая ведет к неуправляемому, уничтожительному взрыву.

Все бы ничего, и умозрением можно постигнуть, как из постимперии образуется новая жизнь, на обломках зеленеют новые рощи. Но труднейший вопрос встает, как все это будет с нами, с меньшинствами, с большинствами, со всеми, кто оказался не однокоренными, чужими, даже если их деды и прадеды лежат в этой земле и детей своих они зачинали тут. Какой будет демократия, построенная на этническом императиве? И будет ли она вполне стационарна? Как сложится судьба европейского населения в бывшем Туркестане, нынешней Средней Азии, где живут люди в пятом, шестом поколении, которых в Азии зовут европейцами, не очень-то различая по национальностям, в Прибалтике — мигрантами, в Москве — лимитой, тоже не очень-то различая. Сдвинулся Кавказ, пришли в движение горы и долины, лишились покоя Поволжье и Крым. «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет».

Всех этих людей не очень-то слышит российское общество, занятое своими проблемами. Но если вопрос этот как-то может игнорировать союзное правительство, то Россия никак не может. Не получится.

Трагическая музыка распада возникла сначала щемящим звуком беды в Карабахе и ширится, не затихает.

Может случиться, что, разделившись на национальные страны (хорошо, если удастся обособиться без крови), мы ведь и в этих странах не успокоимся, как показывают события, будем и дальше делиться, затворяясь, ожесточаясь, на племена и роды, большие и малые джусы, землячества, районы, города и улицы, провинцию и столицу, на центровых и окраинных, молодых и старых, образованных и не очень, богатых и бедных. Реальность переплюнула самых злых памфлетистов. Ленинград визитками отделился от новгородцев, псковичей да и всей России. Новгородцы думают, как ловчее отомстить северной Пальмире. Все лето Москва воевала с окрестностями, а соседние области как могли ущемляли москвичей. Райцентры мерились силами из-за водки и табака. Везде из очередей прогоняли чужих. Лето девяностого года прошло под знаком жесточайшего

разделения. Осенью Москва перешла на «визитные карточки покупателя»; теперь мы наносим визиты в пустые магазины своего района.

Весь мир сейчас мучительно, но не без успеха ищет новые формы солидарного сотрудничества, не отключает и нас от поиска единства в многообразии, но перед нами пока на годы маячит перспектива превратить нашу просторную родину в проклятый Богом и людьми Бейрут.

То, что в 1989-м называлось региональным хозрасчетом, в 1990-м — местным экономическим суверенитетом, уже весной 1991-го покажет свою внеэкономическую природу и политическую провокационность. Обособление регионов может вызвать лишь еще более острый кризис.

Кроме честолюбивых новых политиков, не будем забывать, работают вполне зрелые и опытные партии интересов. Они, реалисты и прагматики, знают, что пришел их час. Доселе ущемленные местные структуры, республиканские и областные начальники реальных контор теперь имеют самостоятельность, власть. Но полный суверенитет глуповского градоначальника обещает полную катастрофу.

Изуверившись в возможностях нашей пирамиды власти, жители городов и весей (дошло уже и до столицы страны Москвы, вот уж никак не имеющей на это морального права) объявляют себя не открытыми, как во всем мире, а закрытыми городами. В годы демократии идеалом стал для нас не вольный Гамбург, а какой-нибудь закрытый Челябинск-40. Аплодисментами встречают избиратели решительные действия местных властей по изготовлению заборов, кордонов, шлагбаумов. Нас прижали, придавили — и мы уже за талоны, за карточки, за хитрую и цепкую систему полной нашей неволи. Какой там рынок труда и капитала, когда талонами и пропиской мы накрепко привязаны к назначенному нам месту! И что нам до тех, у кого этого места нет, — туристов, командированных, беженцев, студентов, бомжей, наконец!

Полтысячи лет создавался единый всероссийский рынок, главное достижение империи, и вот теперь он под всеобщие аплодисменты скукожился до раздаточного окошка в месткомовском коридоре, до талона, дарованного твоим депутатом. Зато подняли головы важные профсоюзные активисты — их время, их власть. Какую борьбу они возглавили? Против невыносимых условий труда? Смертей и увечий на производстве? Профессиональных болезней? Вредных и опасных технологий? Кого защитили, поддержали, спасли?

Профсоюзные боссы были в первых рядах борьбы против рынка, против кооперативов, против приватизации, их рука и теперь на нормопайке, у них власть, которой и у парткомов отродясь не бывало, — они делят крупу и шпроты, квартиры и машины, видеомагнитофоны и путевки, мебельные гарнитуры и целевые облигации.

Власть закона, права — это совсем необязательно то же, что и власть большинства. Мы все еще страна большевиков — пусть проигравший плачет! Об интересах меньшинства (даже если оно 49,99 процента) и речи нет. Выборы — как война на уничтожение. Какой там консенсус! Они будут казнить и миловать (независимость судей), они будут решать, дать ли вам землю в и х краях, а если дали — не отобрать ли за дерзость взгляда, за нерасторопность угодить. Они определяют программу школы, где учатся ваши дети, и чему их учить. Их будет большинство, и они твердо знают, что должны читать и какие фильмы смотреть следует вашим детям. Совершенно необязательно, чтобы их взгляды совпадали с вашими; они заставят вас подчиниться, ведь их — большинство. Они установят, что следует печатать местным издательствам и о чем писать газетам. Очень боюсь, что вместо освобождающей демократии мы получим опять-таки самовластие, только на этот раз вместо самовластия ставленников центра мы попадем под суверенную власть местных обскурантов. И забастовку, недавно возродившееся грозное оружие народа, очень могут у него отобрать с помощью профсоюзного, «фронтового» или какого-либо еще механизма; профсоюзы уже имеют забастовочные фонды, закрытые даже от Минфина, и пустят их в ход в нужный момент.

«Свобода к нам теперь пришла, споем хвалу вождям народа!» — пели в восемнадцатом году. Да, свобода приходит не одна, а под руку с вождями.

Нам-то чего ждать? Оставаться собой, а не раствориться в толпе, думать да соображать, сравнивать, ничего не принимать на веру, проявлять свойственное взрослым людям здравомыслие, которого-то нас и хотят лишить, потчужа экстрасенсами, астрологами, колдунами, НЛЮ, гипнотизерами. Не прельщаться, прельстимся — погибнем. Кто быстрых побед и благ обещает — тот лжец. Кто зовет к миру через кровь, кто взывает к мести — лжец. Быстрого благополучия не будет.

Ситуация, впрочем, привычная. Откроем «Мертвые души»:

« — Позвольте мне, досточтимый мною, обратить вас вновь к предмету прекращенного разговора,— сказал Чичиков, вышивая еще рюмку малиновки, которая действительно была отличная.— Если бы, положим, я приобрел то самое имение, о котором вы изволили упомянуть, то во сколько времени и как скоро можно разбогатеть в такой степени...

— Если вы хотите,— подхватил сурово и отрывисто Костанжогло, полный нерасположенья духа,— разбогатеть скоро, так вы никогда не разбогатеете; если же хотите разбогатеть, не спрашиваясь о времени, то разбогатеете скоро.

— Вот оно как,— сказал Чичиков».

Вот оно как. Будет усталость, будет ропот, которые лидеры некоторых партий интересов попытаются превратить в революцию. Но безудержная атомизация приведет нас в еще более мрачный тупик. Крестьяне будут ходить в города и менять картошку на керосин и уголь. Металлурги поедут в села с гвоздями и печными заслонками. Сложная техника исчезнет, станут машины. Волна забастовок, развязанная синдикалистскими профсоюзами, ломает транспорт и энергетiku. Про автомобили, телевизоры и прочее придется надолго забыть.

Деградация в отличие от процветания наступает внезапно и лавинообразно. Ухудшение ситуации вызовет еще большее чувство вражды и недоверия, эскалацию насилия.

Достигнув тончайшего рационарирования, введут поголовные талоны. Талоны будут, но уже совсем не станет товаров.

Прогнозировать кризис легко, но страшно — не приближаешь ли зло, говоря о нем?

История наша учит (если чему-нибудь она учит нас), что, если власти и народное представительство оказываются неспособными к сотрудничеству и не могут разрешить коренные вопросы страны, решать их принимается улица, но уже без парламентариев, а к власти приходят не правые или левые депутаты (думцы), а совсем другие силы, одинаково презирающие и тех и других, силы, которые и в расчет-то не принимали демократические интеллигенты, силы, готовые на все. Они приходят, убежденные в том, что все лажа и разрушить существующее — это сделать больше половины дела.

Конечно, построенный на насилии, крови и скорби, мир наш нехорош, но ведь сказано: «По сравнению с невыносимым выносимое кажется желанным», — вот в чем мое сомнение.

Мир все-таки лучше, чем война. Неужели нас прельстит новый Ленин, зовущий к гражданской войне?

Хрупка нить согласия в нашем обществе, а может, и нет ее; беда, если демагогам снова удастся обмануть рабочих, снова противопоставить их всем остальным.

Мартовская система.

15.3 — 24.9.90

Демократическая Россия — это прекрасно и возвышенно как тогда, в прекрасные думские времена, так и теперь. Но мне трудно абстрагироваться от того, что было, что я уже знаю, трудно поверить, что «свобода к нам теперь пришла» и мы все, ликуя, пойдём за ней на райские пастбища свободных демократий. Неблагодарное дело — пугать и предекать зло, но что делать, если я боюсь...

Я боюсь того, что, пока за кремлевскими аккуратными стенами пререкаются, воюют Горбачев и Ельцин, пока, как чертик из табакерки, выскочивший невзвесть откуда (не из горбачевского ли рукава?) человек с отвратительной фамилией пугает народ, на пространных Союзов под переменчивыми ветрами группируются, формируются в надежде выжить и отплатить совсем другие силы... Я имею в виду не те традиционные, которые в одночасье могут порушить все — шахтеры, или железнодорожники, или всеильные хозяева мяса и хлеба, — не эти, совсем другие, моложе, чем эти. Не мафия, нет, угрожает обществу, она плоть от плоти и кровь от крови его, пожалуй, еще и защитит от полного развала, — нет, сила другая, огромная, неодолимая и, увы, неразумная, против которой нет у нас ни оружия, ни средства, потому что она — наши дети. Тусовка, как прозорливо заметил Кабаков.

Она, тусовка, уже совсем не та м о л о д е ж ь, о которой пекутся с высокой трибуны румяные комсомольские парламентарии, закон о которой пестуют. Она совсем иная. Это новое поколение, выросшее в пору борьбы с алкоголизмом, поколение пластиковых пакетов, дихлофоса, соцарта, совпорно, тяжелого металла. Четвертая—восьмая производ-

ная, дети и правнуки «совка», неприкаянные от неприкаянных, сырые от сырых, темные от темных, усталые еще в материнском лоне. Последнее поколение печальной старости усталых городов и умершей, но не похороненной, смердящей повсюду и все отравляющей идеологии. Дети климакса системы. Дети, дети... Выросшие уже без всяких формирующих центров, с молоком матери впитавшие диоксин и цинизм как естественнобиологическую реакцию на тотальную ложь и дешевку предлагаемых им эрзацев. На смену идет, завоевывая страну, как враждебную землю, показывая всем козу, глумясь и плача, сокрушая на пути машины, вагоны, мраморы Летнего сада и надгробия на Ваганьковке, идет Тусовка, неукротимая, не верящая ни одному нашему слову, лютая оттого, что знает:

Наши отцы никогда не солгут нам,
Они не умеют лгать,
Как волк не умеет есть мясо,
Как птица не умеет летать,—

которая вслед за Гребенщиковым, Шевчуком, «Наутилусом» идет, скованная одной цепью, связанная одной целью — раскатать все (тра-та-та-а!!! та-та!), устраивающая то тут, то там пока между собой, еще между собой, но уже и между городами и между республиками даже

«ночи белых ножей»!

Эстетика гибели, насилия, распада, крови, смерти, наркоты, секса, одиночества и отчаяния несется к нам мегаваттной стеной и перевоплощается уже в этику и философию сирой, но яростной и непокорной жизни.

«Ты не можешь здесь спать, ты не можешь здесь жить!»

Общество, возникшее благодаря натравливанию класса на класс, поколения на поколение, юных на зрелых, воспитанных на подвиге Павлика Морозова, должно отдать родительские долги.

Наши проблематичные, наши призрачные, шаткие, несбыточные, но такие милые медитации о благоденствующей демократической стране, о культуре, наши желания обуржуазиться, зажить, засыпав кровь песочком, «как люди», в культуре, среди голландских тюльпанов и немецких роз, в милом европейском доме, выкрашенном, вылизанном по-фински, мечта сорока- и пятидесятилетних, все еще не имеющих ни кола ни двора, только что получивших или чающих получить кусочек вырубki или шесть соток болота,— но тут они, орущие: хрена вам! Тинэйджеры перестройки отвечают на наши предложения и лицемерные обещания глумливым ревом...

Они-то, юные маленькiе Веры, детским, звериным еще чутьем чувствуют время, надвигание чего-то огромного, непоправимого, что вынесет их, слабых и ненужных, на верх судьбы... Чувствуют остро и непреложно, даже если ошибаются, веря, что завтра не будет как не было вчера, что все лажа, что не будет красивого дома, не будет американской мечты, а будет безнадега, рыгалька, балдеж и озверение. Тусовка.

Они не смотрят ТВ-парламент, и правильно делают,— что им до толковища избранников, что избранникам до них! Кто вспомнил о них, кто не устыдил, кто дал чего-то, если не считать принятый под нажимом аккуратных комсомольских депутатов невразумительный Закон о молодежи, который каждому из них — не в кость?

Они чувствуют и знают, что вся разворачивающаяся суতোлка не для них, что тут играют другие, опоздавшие поколения... Неопределенность будущего повергает всех в панику, их — в биологическую, потому что у них, самых малых и слабых, ни подкожного жира, ни заначки, ни знаний, ни опыта, ничего, кроме козы.

Они ждут вожака, и тот, кто возьмет их, возьмет страну. Реальность. несмотря на миллиарды слов, уже показывает всем, а им первым, что новые времена — жестокие времена, что первыми упадут слабые, не привыкшие и не умеющие ловчить, крутиться, быстро устающие, не умеющие вкалывать.

Мир не вдруг, но ощутимо расслоился на богатых и бедных, удачливых и остальных, без ничего, и они уже поняли, несмотря на море слов: денежная работа, приватизация, кооперативы, совместные фирмы, валюта, шмотки — все это не для них. Они знают, что общество отцов не позволит да и не сумеет дать им возможность жить по тем незамысловатым стандартам, которые они для себя поставили (видак, мафон, мотоцикл, кожа, джины, кросы). Они требуют не даром, они готовы заработать, но это общество не может дать им заработать. Но и откупиться от них общество взрослых не может — они потребуют еще.

Не говорим тут о квартире, с этим уж совсем глухо: обещание к 2000 году дать жилье тем, кто стоит сегодня, светит не им. Похоже, что и образование как ценность все больше локализуется среди потомков культурных классов. И знания, и языки, и заграница...

Пятнадцатилетние знают точно — это время не их. Они знают, что их обманывают все, включая их собственных кумиров.

Общество, готовящее спецназ на собственных детей. Отцеубийцы и детоубийцы. На каждый рок-концерт — спецназ. Дубинки — по мягким детским затылкам. Истеричные, задерганные, загнанные мальчики и девочки. Дрожащие, вслушивающиеся в шаги на лестнице родители — идет ли, жив ли? Все это призвана канализовать, направить в русло национальная идея, поднятая взрослыми.

Всюду, и там, где лилась кровь, и там, где она не лилась еще — в Ленинграде и Москве, Чебоксарах и Грозном, — бродит Тусовка.

Бывают времена, когда естественная конкуренция, плавная смена поколений превращается в биологическую войну поколений, называемую революцией. Такую войну юных, брошенных на старших, уже пережила наша история, наша страна. Эта война становится возможной, когда закупориваются дряблые старческие вены, когда ничего не происходит, кроме прироста населения. Когда люди оказываются как бы лишними.

«Перемен! Мы ждем перемен!» — раскачиваясь в такт, кричат миллионы, против которых мы беззащитны, потому что они — наши дети. Надо дать им шанс, потому что их шанс — это шанс всего общества. Даже в нынешних затруднительных обстоятельствах, даже еще более затруднительных, которые наступят в 1992-м. И утопая, спасают детей.

Великолепен новый пенсионный закон, заслуживают восхищения депутаты, принявшие его, не позабывшие ни ветеранов, ни репрессированных, ни шахтеров... Но до пенсии детям — полвека. Надо дать им шанс, иначе они отберут его у нашего союза стран.

Демократия и горбомания

Влиятельный мидовский чиновник Г. Герасимов, ведущий внешнеполитическую рубрику в «Советской культуре», выражается в такой дипломатической манере: «Писать о поездках М. С. Горбачева за рубеж газеты должны посылать не только обозревателей с холодным умом, но и публицистов с горячим сердцем» (20.6.89).

«Горбомания — это проявление подлинной надежды, а не преходящего экстаза. Феномен Горбачева представляет собой могущественный сплав личности и политики, способность олицетворять глубочайшие чаяния разных людей и быть с ними в контакте...» («Вашингтон пост»).

Г. Герасимов цитирует некоего Т. Эшенбурга из Тюбингенского университета, который, отвечая на вопрос, почему немцы «совершенно очарованы» Горбачевым, сказал: «В конечном счете дело сводится к нашему особому страху перед военным столкновением — страху понятному. Мы не хотим новой войны, и Михаил Горбачев — тот человек, который освобождает нас от этого страха». «Горбомания, — делает в конце статьи вывод Г. Герасимов, — мощный общественно-политический прорыв к миру, и не только народа ФРГ».

Нобелевская премия нашему президенту — дань благодарного Запада.

А у нас в стране, пожалуй, такой мании не наблюдается. Скорее наоборот, популярность Горбачева как народного лидера снижается.

Странное дело: мы ведь, пожалуй, впервые за долгие годы тоже перестали бояться войны, нас избавили от страха перед китайцами, немцами, американцами, НАТО, но вместо этого страха проснулся не новый, а старый, далеко запрятанный страх перед внутренней смутой, перед разрухой, перед войной всех против всех. Этот страх, стелся, завладевает людьми с каждой новой непрогнозируемой, но кем-то организованной! — вспышкой насилия. Мы по-новому узнаем географию страны — Сумгаит, Талас, Фергана, Тбилиси, Маргелан, Новый Узень, Ашхабад, Баку, Душанбе, Кишинев... Где в следующий раз взъярится толпа, где заблестят ножи, забарабанят выстрелы, разлетятся стекла, загорятся дома, где выйдет из-под контроля закона, разума и совести слепая жажда убивать? Не раз и не два были произнесены в последнее время страшные слова «гражданская война».

Нет, думаю я, второй гражданской войны не будет. Для того чтобы была гражданская война, нужно как минимум гражданское общество, расколовшееся пополам. У нас сейчас иное: ожесточение, презрение к закону и в результате перспектива — война всех против всех, или, точнее, люмпенов против всех. Опасный и требующий осмысления

поворот: чем дальше мы идем по пути гласности и демократии, тем неувереннее смотрят вперед люди.

На международном уровне — улыбки, аплодисменты, все новые и новые впечатляющие договоренности о ликвидации давних и застарелых конфликтов, а у нас растет внутренняя неуверенность, растет стресс. Горбомании у нас нет, потому что нет лекарства от стресса.

...Иногда мне кажется, что он умнее и хитрее всех нас, вместе взятых, и он единственный впереди видит дорогу и цель. А иногда, слушая его пространственные речи, думаю, что нет, что переоцениваем мы и его, и всех его советчиков, людей вполне дюжинных, что он уже потерял контроль и над событиями, и над логикой процесса.

Два варианта. Первый: Горбачев не догоняет, он устал и плетется в хвосте событий, уговаривает всех жить дружно, лозунг, который все меньше и меньше устраивает всех — и правых и левых, и верхних и нижних, и передних и задних. Второй: он по-прежнему в курсе событий, более того, он их инициатор. Сначала он способствовал возникновению российского центра; когда в России демократы во главе с Ельциным победили, немедленно создал динамический партийный противовес (Ельцин — Полозков), который вряд ли будет реальным противовесом. Он способствовал тому, чтобы партийные боссы саморазоблачились перед народом на экранах телевизоров. Он автор сценария и режиссер. Нельзя больше дискредитировать компартию, сделать ее нереспектабельной, отвлечь от нее, чем их речами, по сравнению с которыми Н. Андреева — дитя перестройки. А он молчит, нахлывшись, или машет руками, уговаривает, и только иногда на мгновение спадет маска и за ней мелькнет серый от усталости человек, делающий мировую историю, — ему не до Полозкова, он живет в других временах.

Так отчего-де, подступают иные, он не разгонит всех их? Почему не отправить в отставку Макашова тут же, на съезде? Почему прямо не обратится к народу? Не оставляет партию? Не разгонит политработников в армии?

Пять лет назад он говорил: «Все мы по одну сторону баррикад». Теперь, похоже, демократы перебрались на другую сторону. Но теперь их позиции не столько против него, сколько против компартии, против ее власти, против коммунистов как таковых. Выключить, вытеснить, выбросить КПСС из центра политики на обочину процесса — их вполне понятная и, может быть, даже достижимая цель. Но что значит выбросить из политики? Это уже было — нынешние коммунисты сами наследники тех, кто справился со своими политическими противниками, выросли в гнезде новые кукушата... И чем больше программные цели коммунистов будут совпадать с их собственными, тем ожесточеннее будет борьба за власть.

Какой выход из этой дурной бесконечности, круговорота насилия? Один из выходов подсказывает Александр Исаевич Солженицын. Его «посильные соображения», кажется, все еще непосильны для нас, расхристанных в междоусобицах. Чтобы услышать его и понять, требуется сосредоточенность духа, которой нет в нас.

Побывав недавно на Учредительном съезде «Демократической России», послушав пылкие предложения «долой Горбачева!», «немедленно выйти из Союза!» после резолюций, принятых двумя тысячами делегатов, я снова перечитал «Как нам обустроить Россию» и не мог не согласиться с Солженицыным:

«Никакое коренное решение государственных судеб не лежит на партийных путях и не может быть отдано партиям. При буйстве партий кончена будет наша провинция и вконец заморочена наша деревня. Не дать возможности «профессиональным политикам» подменять собою голоса страны... Во всяких государственных выборах партии, наряду с любыми независимыми группами, имеют право выдвигать кандидатов, агитировать за них, но — без составления партийных списков баллотируются не партии, а отдельные лица... Власть — это заповеданное служение и не может быть предметом конкуренции партий.

Как следствие: во всех ступенях государственного представительства, снизу доверху, воспрещается образование партийных групп. И само собой, перестает существовать понятие правящей партии».

Растущее политическое противостояние, разгорающаяся война партий грозит погубить наше общество окончательно.

Люди, болеющие за страну, — вот кто нам нужен сегодня безотносительно их партийности. А потому, думаю, нам больше подходила бы не однопартийность, а, наоборот, полная непартийность.

* * *

Сидели мы на балконе для журналистов на 3-м съезде депутатов. Обсуждалось введение президентства. Рядом со мной сидели двое из ЦК КПСС. Я предположил, что, став президентом, Горбачев оставит партию.

— Кто ж ему это позволит, — жестко сказал мой сосед. — Нет уж, сам заварил — пусть и расхлебывает, вытаскивает. Что ж, нас всех на свалку, как в ГДР? Не выйдет.

И правда не вышло. Пока что они планомерно осуществляют свою конверсию: сокращают штаты, уходят на заранее подготовленные (и ключевые) позиции.

Массы, массы — сегодня решающий аргумент. Пока КПСС самая влиятельная, самая организованная, самая многочисленная, самая богатая политическая сила общества. Может, поэтому и нет массового исхода? Вдвое уменьшится ее численность — вдвое ослабнет ее сила; вчетверо — ослабнет в восемь раз, в восемь раз сократится — и исчезнет, потому что останутся в ней одни партайгеноссе. Увы, история не забудет, что демократы наши давно отказали Горбачеву в поддержке. Они с первого дня съезда в оппозиции, и на 2-м и особенно на 3-м съезде.

15 марта я записал в блокнот результаты тайного голосования по выборам Президента СССР: из 2254 депутатов съезда бюллетени для голосования получили 2 тысячи человек. (Не будем вспоминать процедуру с выдвижением альтернативных кандидатов в президенты — Бакатина, Рыжкова. Всем было неловко.) Так вот, из 2 тысяч депутатов, получивших бюллетени, сдали их обратно 1878. Недействительными были признаны 54. За избрание М. С. Горбачева Президентом СССР проголосовали 1329 депутатов, против — 495, прибавим к ним 245 не получивших бюллетени, 122 — оставивших себе на память, 54 — испортивших. Получается, что против — 916.

Горбачев стал президентом страны, получив 59,2 процента от списочного состава съезда, 66,45 — от числа получивших бюллетени, 70,7 — от принявших участие в голосовании. Словом, результаты выборов не обещали спокойного будущего ни обществу, ни президенту.

А с кем были демократы? Протоколы поименного голосования показывают, как голосовали они в решающий момент. И 24 сентября, когда Верховный Совет СССР давал президенту новые полномочия издавать указы и нормативные акты, то есть полноту исполнительной власти, демократы были не с президентом. Они обвиняли его в цезаризме, в диктаторстве. Можно понять их, взволнованных, боящихся возрастания невиданной власти, против которой выставить нечего — аргументов нет ни у кого, только, может быть, у Ельцина. Получается так: хочешь не хочешь, веришь не веришь, а российский Верховный Совет со своим председателем — единственный противовес президентской власти. Цезарь и Помпей? В пушкинские времена журналисты не отказались бы от такого сравнения.

Но: отказывая Горбачеву в доверии, подозревая в бонапартизме и строительстве собственного трона (и так уже пишут — вот газетный заголовок: «Михаил Горбачев: простой Президент или просвещенный монарх?»), хорошо бы не забывать фактов, а факты таковы: глобальной империи зла больше не существует. не существует братских режимов в странах «народной демократии». не существует СЭВа, Варшавского Договора, Берлинской стены

Но это все там. за пределами. а у нас что?

— Не существует партийной монополии на власть, — скажет горбачист.

— Да? — скептически переспросит его противник. — А сколько членов других партий среди сановников Президентского совета? Какие партии представлены в кабинете министров? Какие в высших иерархиях промышленности, армии, транспорта, энергетики, среди агромагнатов?

— К власти пришли различные политические силы, демократы взяли власть в Москве, Ленинграде, Киеве, Тбилиси, Таллинне, Риге...

— А что они сделали? — спросит скептик. — Провозгласили самостоятельность районов? Перессорились между собой? Ввели карточки и визитки? Распродали все помещения кооперативам? Что реально, кроме митингов, устроили?

— Многоукладная экономика становится фактом...

— Да бросьте! — возразит тут же. — Какая там многоукладная? Все та же монополистическая, но кризисная, дефицитная, ушедшая в коррупцию и подполье... Выверты все это.

— А свобода? Гласность? Это ли не достижение, не ценность?

— Свобода — ценность, конечно. Но ведь это тоже политический ход, а результирующая гласности привела к напряжению, вражде, крови, стычкам.

М. Павлова-Сильванская в «Известиях» (24.9.90) сравнивает Горбачева с моряком, «который благодаря своей исключительной энергии и организаторским способностям дослужился до капитана допотопного, разваливающегося на ходу дредноута». Подкрасил, почистил, часть офицеров сменил... И еще был у него дальний прицел: перебрать забарахливший двигатель, но «все безнадежно сгнило и проржавело, сквозь дыры в трюмы хлынула вода. И вот на этот-то крайний, непредвиденный случай у капитана, хоть и прослужившего жизнь на дредноуте, но не ведавшего истинных масштабов катастрофы, плана спасения уже не было».

Ох, как мы любим планы, от ленинского ГОЭЛРО до нынешних, перестройки и ускорения!

Однако позволю себе усомниться в том, чтобы матрос из трюма, дослужившийся до капитана, и ст и н н ы х м а с ш т а б о в катастрофы не знал. Дело все же не в планах, а в реальных возможностях, в политических средствах, которые в данный момент времени есть в распоряжении реального политика,— об этом нам Горбачев говорит вполне откровенно, только его все меньше охотников услышать.

* * *

Горбачев не раз говорил, что перестройка, революция — его судьба. На съезде профсоюзов он высказался еще определеннее: хоть режьте меня, хоть распинайте — от своего не отступлюсь. И у него и у страны, у России одна судьба, хотя страны и люди живут в разных временах. Не Горбачев — судьба страны; страна — судьба Горбачева.

Придут другие и подвергнут анафеме, сделают иначе; но то, что сделал он, не сделать уже никому. Это его.

На 4-м съезде народных депутатов СССР, начавшемся попыткой Сажы Умалатовой, депутата от КПСС, свалить Горбачева, выразив ему недоверие, за включение в повестку дня вопроса о недоверии президенту проголосовали 426 человек. Голосование было поименным.

Удивительное дело! В одном списке, в одном лагере оказались Т. Г. Авалиани (помните, это он на 3-м съезде давал отвод Горбачеву: «Я призываю ни в коем случае не голосовать за Михаила Сергеевича Горбачева, хотя как человека я его уважаю»), В. И. Алкснис (выдвинувший кандидатуру Горбачева в президенты на том же съезде от депутатской группы «Союз»), С. В. Белозерцев, полковник Н. С. Петрушенко, генералы А. М. Макашов и И. Н. Родионов, Л. И. Сухов, С. В. Червонопиский и А. Н. Мурашев, И. И. Заславский, О. Д. Калугин, академик В. Л. Гинзбург, 18 азербайджанских депутатов и два секретаря компартии Казахстана... На общей антигорбачевской платформе сошлись «Союз» и «Московская трибуна», часть Межрегиональной группы. О чем это говорит? Я думаю, прежде всего — о зыбкости границ новых политических формирований.

Демократия и конверсия

15 октября 1990 года норвежский посол сообщил Горбачеву о присуждении ему Нобелевской премии мира. Эта информация не вызвала в стране большого энтузиазма, а на съезде «Демократической России» вызвала резкую критику.

Между тем в сентябре стремительный ход разоруженческого да и вообще внешнеполитического процесса затормозился. Как писали в газетах, под угрозой оказалось даже Общеευропейское совещание в Париже. Буш пригрозил, что не приедет в Париж, если не будут согласованы остаточные уровни вооружений. В наших газетах тут же стали осуждать неуступчивость советских представителей на переговорах — слишком много оружия они хотят сохранить. Все поняли, что «неуступчивые» скоро уступят все, что от них требуется,— слишком высоки ставки в игре. И правда, через несколько дней наши сдались, о чем и сообщили миру в день объединения Германии Бейкер и Шеварднадзе. Встреча была действительно знаменательной, не случайно Бейкер сказал, что «холодная война в Европе окончилась 1 ноября в Нью-Йорке, когда министр иностранных дел Шеварднадзе и я совместно с нашими английскими и французскими коллегами отказались от прав победителей во второй мировой войне, признав новую, единую Германию». «Советский Союз,— заявил Дж. Бейкер,— будет связан значительно большими обяза-

тельствами по уничтожению техники, чем НАТО или какие-либо из ее членов, включая Соединенные Штаты. Мы должны будем уничтожить в НАТО 4 тысячи танков. Советы же, или Варшавский Договор, должны будут уничтожить 19 тысяч танков. Подобные цифры схожи и в других категориях, причем по иным показателям они даже больше в нашу сторону».

Запад встретил с восторгом решение Москвы. Но даже корреспондент «Правды» признал, что «этот компромисс вызывает у советских людей самые противоречивые чувства».

И у меня они тоже были противоречивы.

Мы безвозмездно, во всяком случае без какой-либо официальной сатисфакции, пошли на уничтожение гигантской советской военной мощи. Правильный ли этот шаг, который с таким ликованием встретила Европа? Возможно. Во всяком случае, ясно, что, как сказал при мне однажды в Бонне западногерманский депутат, «быть одновременно проржавевшим военным динозавром и современной демократической страной невозможно».

Но ни стране, ни Верховному Совету не объяснили, что получим мы за потерю, и, видимо, навсегда, своей роли устрашающей военной империи. Доверие? Кредиты? Помощь? Послабление КОКОМ?

Сорок месяцев мы будем уничтожать (взрывами) тысячи танков, самолетов, БТРов, пушек, вертолетов. У страны, замордованной вконец производством всех этих арсеналов, не может не возникнуть вопроса, что мы за это получим? Ведь танки и самолеты имеют вполне определенную рыночную стоимость в свободно конвертируемой валюте. Речь идет о десятках миллиардов, которые мы отдаем за безопасность и психологический комфорт Запада, за их надежду на новую Европу, новую эру мира без войны. Я не за то, чтобы держать эту зловещую армаду, не за то, чтобы ее продать куда-нибудь в южные страны, но реальность состоит в том, что, кроме танков, ракет и атомных подводных лодок, у нас ничего нет; национальное богатство страны заморожено в этой уничтожаемой ныне технике.

Сначала нам вроде бы готовы были разрешить переоборудование их в тягачи, пристроить в народном хозяйстве. Наслушавшись речей в нашем парламенте, где республики уже примеряются к арсеналу, за океаном наотрез потребовали — уничтожить. Взрывом.

Накануне отъезда в Париж президента бурлил Верховный Совет страны. Республики одна за другой говорили о нежелании и неготовности подписывать Союзный договор. Президент слушал. На следующий день он улетел на европейскую встречу. «Париж стоит обедни» — дала накануне своему репортажу двусмысленный заголовок «Правда».

Вероятно, Париж стоит и большего, но сегодня не он на аукционе.

— Пусть бы Запад выкупил у нас это добро, а потом уничтожал,— услышал я в автобусе.

Разговор в такой плоскости поняли бы наши люди и, вероятно, военные и военно-промышленный комплекс. Может быть даже, нас бы понял мир. И, скинувшись, купил бы у нас нашу военную силу, так обессилившую нас.

(Я-то думаю, так они и делают, понимая наши обстоятельства,— втихомолку, неофициально, чтобы не унижать: это мы в самоуничтожении презрели все границы, но верно сказано: унижение паче гордости,— и гордыней великой отдают сегодняшние ежедневные стенания по телевизору.)

Но, кажется мне, как-то уж совсем открыто, официально выставить на торги свою армаду было бы беспардонно и даже безнравственно и не в русском стиле. И есть еще у меня мысль, что Горбачев тем с большей сговорчивостью идет на эти взрывные работы, чем чаще в республиках, включая Российскую, начинают прикидывать, сколько им достанется при разделе Советской Армии. И то сказать, если ликвидируемые 19 тысяч танков поделить, и автономным округам досталось бы по паре танковых корпусов; Россия имела бы, как вся Западная Европа, Украина — как ФРГ и Франция, Белоруссия получила бы больше Польши и Чехословакии, Карелия — уж не меньше, чем у Финляндии, Молдавия — больше, чем Румыния... Восторг Европы, думаю, еще и с этими перспективами связан.

В октябре, выступая в Верховном Совете СССР, Горбачев призвал к строительству нового Союза Суверенных Государств, сказал об опасности возникновения 15 ядерных государств на карте Европы и о том, как к этому относятся в мире. Он почти шутил.

«Авианесущие корабли, быть может, сменив свои имена «Баку» и «Тбилиси» на «Георгия Победоносца» и «Андрея Первозванного», останутся в составе флотов», — уверенно пишет А. Проханов. Останутся ли? Чьих? Русского? Отчего бы не предположить, что на николаевских верфях достроят ударные авианосцы «Тарас Шевченко» и «Леся Украинка», если не «Степан Бандера»? Да и миротворческие процессы, тенденции переговоров не сулят блестящих перспектив.

Вряд ли реалистичны притязания на ядерное наследство всех взыскующих наследства, но Украина при драматическом развитии событий вполне способна, думаю, изготовить из собственного желтоводского сырья собственные ядерные снаряды. Страшная перспектива, если в целях политической игры, нажима, в стремлении заручиться максимальным количеством козырей в торгах обломки вчерашнего братского союза будут правдами и неправдами вооружаться, торговать оружием между собой (и сегодня не по дням растет нелегальный рынок оружия, и не только тульскими двустолками, судя по публикациям газет). Страшно, если в этой стране возникнет официальный или полуофициальный рынок вооружений.

А если дойдет до химического и до бактериологического? Не без тревоги думаю о судьбе ядерных станций, хранилищ радиоактивных отходов, и о полигонах. Об этом мало говорится, но кажется, что сколько-нибудь целостную систему экологической безопасности может создать только Союз. Иначе трудно гарантировать, что жители какого-нибудь новоиспеченного бантустана не будут заложниками собственного правительства, с которым могут сторговаться наши или зарубежные химические, энергетические и военные магнаты.

* * *

20 ноября 1990 года Б. Н. Ельцин докладывал Верховному Совету РСФСР о подписании Договора между Украиной и Россией. Тон его был торжественным, что соответствовало предмету — небывалый Договор между двумя Высокими Договаривающимися Сторонами, где ни разу не упоминается ни Союз, ни союзное правительство, Договор, в котором оговорены вопросы взаимной безопасности, экономического сотрудничества, финансов и обороны... Дружественный Договор между культурными соседями. Но (мы видели это по ТВ) вот один депутат спросил, как быть с проблемой Крыма, и получил уклончивый ответ, что пусть ситуация развивается; вот другой спросил, как быть с русскоязычными территориями, и тоже получил дипломатический и уклончивый ответ. Поговорили и о будущих армиях двух великих стран — России и Украины, пофилософствовали о возможных конфликтах...

Политическая альтернатива российско-союзного противостояния, если отбросить риторiku, выглядит на декабрь 1990 года так:

горбачевский вариант — единое наднациональное государство, держава, состоящая из гораздо более самостоятельных, чем прежде (но и не сразу), республик и территорий; российский вариант — собрание суверенных (отдельных) государств вокруг российских нефти, леса и газа с возможным дележом союзного наследства.

Россия при этом дележе, вероятно, рассчитывает получить львиную долю союзного оборонного потенциала, создав мощную и эффективную российскую армию, которая явно будет неспособна по своим возможностям со всеми прочими отпочковавшимися армиями бывших союзных республик. Вот, например, что говорил на внеочередном съезде народных депутатов РСФСР генерал-полковник депутат Д. Волкогонов: «Империю гибнут, но значит ли это, что нам не нужен Союз? Нет, не значит... Нам нужен Союзный договор. Но, подчеркиваю, добровольный и новый».

На каких же принципах?

«Первый принцип. Нам нужно восстановить российскую государственность и все ее атрибуты: от главы государства, полнокровного государства, от Государственного Совета, который еще в 1810 году был установлен Александром... Первый принцип подразумевает необходимость формирования Федеративного договора.

Второй принцип. Это — единство национального и экономического.

Нам нужно недвусмысленно заявить всем нашим друзьям, соседним республикам, что сегодня (разрядка моя. — В. Я.) мы не имеем ни к кому никаких территориальных претензий! Ни к кому, ни в коем случае! Но это будет оставаться только до тех пор, пока мы будем вместе. В случае, если бы кто-либо захотел уйти из нашего Союза, этот пункт автоматически прекращает свое действие» («АиФ», 1990, № 50).

Итак, мы предлагаем восстановить все атрибуты Российского государства (какого образца — Ивана IV, Петра I, Екатерины II, Александра I или Николая II? С Госсоветом, правительствующим Сенатом, Синодом, может быть, даже с Государственной думой? А может быть, и с императором?). И это восстановленное государство «без спешки, спокойно» будет заключать договоры, ни к кому не имея «до тех пор, пока мы будем вместе», никаких территориальных претензий.

Вот такое «примиряющее», по оценке газеты «Аргументы и факты», выступление.

Антиимпериалистическая риторика может завтра обернуться национал-империализмом, что куда опаснее для народа, чем связанная тысячами нитей с Европой и миром просвещенная империя Горбачева. Российский (демократический, как принято считать) парламент парадоксально сочетает в себе национальные мотивы, близкие душам крайних правых националистов, и антиимперскую браваду малых демократий.

Популярская и авантюрная манера, определившаяся уже как характер, будет очень мешать принятию взвешенных и ответственных решений, особенно в такой деликатной сфере, как межнациональные и республиканские (в смысле межгосударственных) отношения. В этой ситуации соперничество двух центров (оба вынуждены будут играть на понижение, привлекая к себе партнеров выгодностью условий) не сулит нам осмысленной экономики в ближайшей перспективе. Впрочем, позиция президентской власти кажется мне предпочтительней, хотя я не представляю, как президентский кабинет заставит страну работать и вести торг.

Новые партии интересов

Приведу поразившую меня точностью и соответствием моему уму настроению дневниковую запись М. Пришвина, сделанную 19 декабря 1920 года:

«Социализм имеет своим предметом человечество, т. е. утробу, из которой рождаются сверх- и подчеловеки, его цель взять в свои руки контроль над действием тех и других, и даже над самой утробой, и поставить на место инстинкта закон. (Закон есть привычка материи, а дух беззаконен.)

Их основное верование состоит в том, что, действуя на среду, они действуют на личность.

Наоборот, христианское учение действует на среду через личность, христианство имеет дело только с избранными, которые жертву (грех) снимают с человечества и берут на себя.

Итак, одни жертву берут на себя, сами не делаясь только жертвой (отдаю все мое, кроме меня самого), другие, наоборот, требуют жертвы для себя.

По такому учению, нет разницы между Наполеоном и Раскольниковым, потому что тот и другой требуют для своего дела жертв»²⁰.

Не социализм, наверное, хочет поставить на место инстинкта закон, но всякая идея, всякая цивилизация. В этом смысле все века идет одна и та же непрекращающаяся война человека с самим собой, со злом, то есть с природой, с инстинктом, волей, хотением, капризным отказом от пут закона и цивилизации. Ставка, как всегда, одна — человек, душа его. И мир в придачу.

Одни народы лучше чувствуют себя в автаркии, изоляции, другие, напротив, — в открытости и конкуренции, в постоянном соперничестве и содружестве. Рим и Афины принципиально отличались по этому качеству. Сознание полиса обращено внутрь полиса; сознание империи развернуто вовне империи. Тем, кто захочет выделиться, уйти, не следует мешать, напротив, надо помочь сейчас толково и с участием и помогать впредь всем чем нужно. И этого требует не прекраснородный альтруизм, а политический прагматизм, поскольку цивилизованный развод выгоднее и предпочтительнее, чем раздор и война на многие десятилетия, исход миллионов людей по всему свету. Хорошо бы нам понять, что переселяться могут люди, а не страны, что, модифицируясь, отталкиваясь от соседей, они не отсоединяются от них географически и экономически.

Но с развитием этого процесса и политическое расслоение пойдет вглубь, оно драматически углубится; Федеративному Совету будет все труднее и труднее сопрягать интересы.

Можно предположить, что некоторые из нынешних регионов и республик останутся на какое-то время цитаделями коммунистической риторики и сплоченной общей судьбой

²⁰ «Наше наследие», 1990, № 1, стр. 71.

правлящего клана; режимы в них будут жестко тоталитарными, но в общую динамику они внесут даже стабилизирующий элемент. Там не будет открытой политической борьбы демократов и консерваторов, свободной печати, митингов и забастовок. Закон и власть местные президенты будут вершить сами.

* * *

Вообще идея демократической республики, демократии как ответственности и власти народа, не скоро и не одновременно овладеет обществом Союза.

Любой непредубежденный анализ показывает большую неоднородность политического сознания нашего общества, его, скажем так, неравномерный демократический потенциал. Прибалтийские страны, Ленинград, Москва, Новосибирск, Свердловск, еще несколько крупных городов России, Украины и Белоруссии — это электорат демократического, как сегодня говорят, устройства общества.

Существенно другой — Закавказье; сегодня у власти демократы, а завтра никто не удивится, если призовут царя.

Совсем иная ситуация в Средней Азии, основанная на традиционных структурах родов, кланов, каст, на железном авторитете власти.

Словом, на громадных пространствах вчерашнего Союза, будучи предоставлены естественному ходу событий, восходят региональные лидеры широкого спектра — от Гру Харлем Брундтланд до Саддама Хусейна.

И всех их, всю эту конфигурацию, предстоит оформить и объединить крепкой связкой строителям новой Системы.

Год назад я писал в «Новом мире» о партиях интересов. За год выявились, и даже структурировались, новые и уже вполне влиятельные партии интересов, частично рекрутировавшие свои кадры из старых, частично набравшие их из широкого народного моря.

* * *

В разговорах о будущем нет-нет да и встает несколько неприятных вопросов, например, такие: нужна ли нашему человеку свобода? способен ли он к ней? может ли приноровиться?

Нет у нас навыка к свободе, доказывали мне как-то в дальнем бесхозяйстве, да и откуда взяться? Замороженный в детском саду, заспанный, задерганный, замученный в школе истеричными учителями, наш горожанин никогда, ни одного дня не был свободен, он никогда не отвечал за себя и за своих близких, поступая чаще всего по воле обстоятельств... Проблемы нашего политического будущего уходят корнями в устройство семьи, детсада и школы... Посмотримся в зеркало — глядит оттуда неуверенная, зыбкая какая-то личность. Ну какая ты опора демократии!

Новые партии интересов возникли и с каждым днем крепнут, такие, например, как партии национальных суверенитетов,— мы, следует признать, недооценивали их. Думаю, что депутаты республиканских Верховных Советов вполне сознательно включились в эти партии в ожидании своего часа. Забавно, что многие из них вошли в депутатский корпус на демократической волне, с критикой класса бюрократов, с требованиями укоротить своеволие аппарата, упразднить привилегии. Теперь они самозабвенно обсуждают свой статус и свои привилегии. не забывают о зарплате, о машинах и заграничных поездках (союзные депутаты заблокировали предложение записать в депутатский кодекс чести запрет на поездки в зарубежные страны «на дармовщинку», по приглашениям той стороны, фирм и других заинтересованных в лоббистах сил,— не прошло; и в республиках не пройдет).

Народ поддерживает республиканские парламенты, противопоставляя их проискам центра. Но нужно реально представлять себе, что полный госсуверенитет подразумевает необходимость полной государственной структуры. То-то раздолье для чиновников — ведь понадобится полная государственная структура в каждой республике (ханстве, царстве). В республиках она уже есть, но, увы, неполная, а это вызывает напряжение и жесткую конкуренцию «лучших семейств» (таких знают в каждой республике, в каждом городе, именно им принадлежит реальная власть над жизненно важными сферами — милицией, прокуратурой, мясокомбинатом и бензобазой, мебелью и жильем, вузом и больницей...).

Теперь все республики, вероятно, обменяются посольствами, сначала между собой, как минимум 15×14 — всего 210 посольств: России — на Украине, в Молдове, Грузии и т. д., Молдовы — в России, Туркмении и т. д. Вероятно, Татария, Башкирия, Дагестан и другие сегодняшние автономии тоже пожелают послать своих лучших сыновей на почетные посты чрезвычайных и полномочных послов, так что вполне возможно, что посольств будет около 800.

Не забудем про торгпредства, про консульства — ну как России не иметь консула, скажем, в Харькове или Донецке? Так что внутрисоюзная дипломатическая сфера расширится примерно на тысячу дипломатических учреждений (все с диппаспортами, спецправами, автомобильными номерами, особняками и резиденциями...).

Но это лишь первый этап.

Прибалтийские страны уже посылали своих представителей на Общевропейское совещание в Париж (в статусе гостей). Это, разумеется, только начало.

Каждая республика пожелает, естественно, установить отношения со всем миром. Сначала нынешние 15 хотя бы с полусотней важнейших и приятнейших стран; так будет еще 750 посольств; если с оставшейся сотней — еще 1500. И у себя соответственно столько же разместить.

Париж, Лондон, Рим, Хельсинки, Стокгольм, Мадрид, Токио должны будут подготовить для начала 15 респектабельных особнячков под новые посольства.

Не забудем про ООН, ЮНЕСКО, ФАО, ЮНЕП, Олимпийский комитет, Интерпол, СБСЕ и множество других полезнейших международных организаций, где кормится интернациональное и высокооплачиваемое племя международных чиновников. А внешние связи? Кредиты? Инвестиции? Совместные предприятия? Игра стоит свеч.

Еще недавно у нас шутили: в СССР однопартийная система, потому что две партии народ не прокормит. А сто партий? Двадцать государств?

Речь идет об интересах, может быть, и не слишком широких масс, но зато влиятельных, организованных, знающих, за что идет борьба десятков тысяч людей. Если они почувствуют, что референдум будет не в их пользу, они не допустят референдума, если поможет добиться цели — проведут.

* * *

Эволюция назрела и необходима; национальные чувства должны получить удовлетворение. Хорошо бы при этом не потерять окончательно связи с печальной реальностью нашей и снова не утащить поверивших в сказки людей к голоду и крови.

Деривация КПСС

Каких только лозунгов не было на московских митингах в июле 1990 года, и среди самых невинных: «Да здравствует последний съезд КПСС!»

Куда идет страна? В какой позиции к ней компартия? Похоже, она попросту оста- а сь в стороне, как деривационная ГЭС, получающая воду на турбины по специально отведенному каналу (18 миллионов человек — вполне пространный канал, немалая часть общества), и качает себе из этой части энергию, силу, власть, средства, крутит свои партийные генераторы, вырабатывает энергию влияния, богатства. То, что сегодня происходит в КПСС, вполне объясняется этим гидротехническим термином — деривация.

Было чувство, что партия после отмены 6-й статьи, после февральского пленума — сдалась. И резолюции ее XXVIII съезда бессильны и тревожны:

«Съезд подтверждает, что КПСС, реализуя в соответствии с законом принадлежащие ей права владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, созданным многими поколениями коммунистов... рассматривает общепартийную собственность как необходимую предпосылку для ведения практической работы по достижению программных и уставных целей партии...» И даже так: «Продажа, передача и другие виды отчуждения собственности КПСС возможны только с учетом мнения коммунистов и в порядке, установленном уставом КПСС и законом».

Ну, законом все-таки во-первых, а уставом во-вторых, а в-третьих, ну не ирония ли исторической судьбы, что партия, ведущая свое родоначалие от «Коммунистического манифеста», от отрицания частной собственности, от экспроприации собственности чужой, заговорила о незыблемости собственности! Но ведь и Смольный, и Мраморный дворец, и Музей революции (бывший Английский клуб), и Музей Ленина, и Музей Маркса — Энгельса с редакцией журнала «Коммунист», да и корпуса на Миусской

площади, где разместились Высшая партийная школа (бывший Народный университет А. Л. Шанявского), никак не созданы «многочисленными поколениями коммунистов», во всяком случае я на них не претендую.

XXVIII съезд чувствовал шаткость этих аргументов, неосновательность своих притязаний, предчувствовал он и будущие потери и ущемления — оттого и прорвались неожиданно трагические нотки в железобетонный стиль съездовских документов:

«Демократия несовместима с унижением человеческого достоинства, созданием атмосферы ненависти и мести, попытками под разными предлогами поставить вне закона компартии и общественные движения социалистической ориентации как таковые, всех их членов и сторонников.

Нельзя переносить на них ответственность за действия отвергнутых временем (народами?! — В. Я.) режимов. В ряде стран Восточной Европы (полноте, о них ли речь? — В. Я.) в процессе происходящих там перемен под ударами оказались многие тысячи честных, искренне преданных идеям прогресса людей.

Их преследуют за убеждения, дискриминируют, лишают работы. Невыносимая обстановка, нередко приводящая к человеческим трагедиям, создается вокруг их семей...

Антикоммунизм в прошлом породил массу бед и несчастий. В условиях провозглашенного гражданского общества гонения по политическим мотивам и психологическая травля нетерпимы и вызывают чувство горечи и протеста, где бы такого рода явления ни давали о себе знать — за рубежом или в нашей собственной стране»²¹.

Бояться есть чего, это так.

Съезд закончился 13 июля, в пятницу, а 15-го, в воскресенье, все Садовое кольцо было запрещено людьми, вся Манежная площадь — пришли сотни тысяч человек, как написали «Московские новости» — на «антисъездовский, антисоветский и антигорбачевский митинг». «Долой КПСС!» — общий настрой этой демонстрации, этой заряженной человеческой массы.

Игнорировать это разрастающееся настроение невозможно, бороться с ним трудно, если вспомнить, что партия сама пошла на изменение своей роли, а значит, и политической судьбы. Советы в Москве, Ленинграде, России и ряде городов возглавляют пока еще не антикоммунисты, но уже и не коммунисты

Напряжение растет, эскалация страстей продолжается.

Многочисленные исторические примеры показывают, что политические изобретения, как и научные, нельзя забыть: нельзя забыть ленинское изобретение — «партию нового типа» с разветвленной иерархической структурой, пронизывающей все общество. Сейчас множество партий будет такими клонами (генетическими близнецами, черенками) от ленинской.

Г. Старовойтова писала в октябре 1990 года в «Московских новостях»: «По сути, за пять с лишним лет перестройки партия так и не покаялась, а ведь с «покаяния» и началась перестройка! Если нет покаяния, это вызывает чувство мести. Страшно, если антикоммунизм сольется со стремлением мстить».

Не знаю, покаяние такой сверхпартии — зрелище, должно быть, незабываемое, но политически неприличное, да и бесперспективное. Во-первых, покаяние — дар личностей, обращенных к Богу, а не партий, построенных на войне с Богом. Люди могут раскаяться, партии — нет. Они, раскаявшись, просто исчезают, перестают быть. Во-вторых, политическое покаяние тут не поможет, потому что воз летит с горы и тяжесть его лишь ускоряет ход. Похоже, музыка примирения и консенсуса не для сегодняшних ушей.

Деривация закручивает налево партийную интеллигенцию — к эсдекам, демократам, митинг — к реву, публику — к ужасу, политиков — к антикоммунистическому лексикону, и все это, увы, в том же бравурном, навязчивом, тоталитарном марше.

Проклиная и разоблачая ослабевших, олиберализовавшихся коммунистов, новые лидеры — полные большевики по своему генезису, внутреннему лицемерно-демагогическому строю — направляют толпу, пока только показывая ей врага, по-большевистски придерживая, но и повязывая — криком, ревом, организацией, а иногда уже кровью. У нас нет борьбы демократов с тоталитаристами. У нас воюют две команды тоталитаристов, только новые и в демократических футболках.

Я пишу это с полным и трезвым пониманием того, что никакие статьи и ничьи слова не изменяют и не останавливают процесса такой глубины и шири.

²¹ «XXVIII съезд Коммунистической партии Советского Союза. Бюллетень № 10 для делегатов съезда», стр. 54.

Имущество КПСС

Вопрос об этом имуществе непрост; это вопрос, может быть, выживания если не партии — ее, похоже, в нынешнем виде ничто не спасет от автаркии, — от многих и многих сегодняшних членов партии.

Когда нам напоминают, что собственность партии создана «многими поколениями», проблему собственности переводят в проблему наследования, а значит, ответственности. Это вполне соответствует общепринятой мировой практике, гражданской и государственной: вступаешь в наследство — будь готов платить и долги. А долги за КПСС немалые, и они, судя по всему, будут только расти. Думаю, что очень скоро найдутся эксперты не только внутри партии, но и вполне снаружи, какие-нибудь депутаты Верховных Советов Украины, Белоруссии, Литвы, Грузии и прочих республик, которые потребуют (и уже потребовали, как депутат Н. С. Сазонов на Верховном Совете СССР — создать комиссию по оценке деятельности КПСС) оценить нравственный, культурный, генетический и материальный ущерб, причиненный КПСС как организацией, ведущей, по Ленину, свою историю от II съезда РСДРП, сталинских эксов, разбойничьих налетов, германских субсидий.

Найдутся эксперты, которые постараются проследить источники нынешних накоплений, путь богатств, картин, драгоценностей церковных и светских, исчезнувших в смутное время 20-х, 30-х и позднее. Отдельным сюжетом, судя по всему, будет судьба так называемых трофеев, взятых в Германии и других странах и до сих пор сохраняемых там и о от общества, от власти парламента.

Выяснится скоро, что проблема партийного имущества, партийного наследства не решается просто; за десятилетия партия выросла в государство, срослась с комсомолом, а может быть, и профсоюзами (борьба профсоюзов за бесконтрольность своих фондов и бюджета в Верховном Совете — скандальная, но красноречивая деталь). Партия с ленинских времен своим финансам уделяла особенно трепетное внимание и никакие секреты не хранила так крепко, как секреты партийной кассы; в сущности, «партия нового типа» н и к о г д а полностью не выходила из подполья, засекретив в се процессы своего реального бытия. Она всегда была полуподпольной, оттого в годы войны создавались с такой легкостью подпольные обкомы, райкомы, ячейки не только у нас — по всему миру. Ближайшая история откроет нам много тайн из жизни «братских партий», учившихся у нас...

Труднее будет оценить потери нематериальные, в деньгах не выразимые — судьбы миллионов людей, целых народов, классов, слоев общества, претензии зарубежных стран, той же Польши за своих убиенных офицеров. И от претензий этих, если мы хотим быть цивилизованным обществом, отмахнуться нельзя.

Прошлым летом мы всем «Новым миром» ездили в Смоленск, на родину Твардовского, были в Катыни. Молча стояли перед огромным деревянным крестом, обоженным свечами и исписанным именами. По дороге встретили скорбно и торжественно идущую с венками делегацию из Польши — дети, внуки убитых. Просить прощения можно, признав вину, — но кто виновен? Берия? Меркулов? Сталин? Генералы ГУЛАГа? Партия? Вся система? Признав вину, надо и ответственность нести, а она даже в материальном смысле весьма немалая — кто заплатит компенсацию, кто примет на себя грех?

Что, если наступит время, когда (хорошо, если цивилизованным судом, хуже, если взяравшимся обществом) на основании изучения всех документов и материалов будет признан влעד за Горьким преступным октябрьский переворот 1917 года, если на правовом языке приговор истории повторит: «Слепые фанатики и бессовестные авантюристы сломя голову мчатся якобы по пути к «социальной революции» — на самом деле это путь к анархии, к гибели пролетариата и революции», — что тогда?

Если вступать в наследство, надо платить и долги, — но хватит ли накопленных миллиардов на всех явных и тайных счетах, собранных поколениями убивавших, убитых и погибших в военные годы и старательно строивших страну?..

Вопрос о наследстве — вопрос об ответственности, об осуждении прошлого, о проклинании его, а значит, об отказе от наследства. Думаю, что в конце концов никакого варианта нет, кроме полного и безоговорочного роспуска Коммунистической партии Советского Союза, национализации всей ее собственности. Вместо свержпартии возникнет целый спектр политических организаций социалистической ориентации. Уверен, что рано или поздно это будет. Этого не сделал (но и не мог сделать) съезд КПСС. Это может сделать только президент своим указом — в интересах стабилизации запре-

тить деятельность всех партий, скажем, на два года. Через два года все партии должны будут начать все сначала. 17 ноября 1990 года с трибуны Верховного Совета СССР об этом сказал А. А. Собчак. Как всегда в таких случаях, высказанное предложение осталось без последствий, но запомнилось.

Отсрочка дана не партии, а партийным функционерам для устройства своих игр с собственностью. Примеров тому газеты приводят много (банки, совместные предприятия, ассоциации, консорциумы и прочие фантомы с учредительным паем из партийной кассы).

* * *

Вот характерная заметка из «Правды»: «Ассоциация: быть или не быть?» (7.12.90). Гамлетовский вопрос задан невпопад, из текста следует, что ассоциации Лесбумиздат очень даже быть. «В нее на добровольных началах вошли большинство лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий Карелии, издательства «Правда», «Известия», «Молодая гвардия», «Труд» и другие. Всего 46 членов. Могут вступить в нее и новые организации и предприятия», — пишет «Правда». Могут вступить, а могут и не вступить... Как явствует из публикации, задача такая: через влиятельные связи надавить на правительство, снизить госзаказ, иначе «только что налаженные связи с «Бурда моден», «Нью-Йорк таймс», ассоциацией Шпрингеров из ФРГ, крупнейшим акционерным обществом «Финнап» и другими именитыми фирмами разорвутся».

Разумеется, бумага для членов ассоциации, издательств ЦК КПСС, профсоюзов, Верховного Совета (то есть государства), комсомола и других будет поставляться; освободившаяся бумага будет продана за границей, поскольку «капиталисты готовы закупить у нас ее всю, предлагая высокие цены, по 800—1000 долларов за тонну, и любую продукцию и технику». Что поделаешь, такова цена выхода на рынок, скажут нам, надо потерпеть. Так-то оно так, только отчего же в рынок комфортно въезжают старые магнаты прессы, накопившие гигантские капиталы и основные фонды, идеологические концерны, а отнюдь не самые популярные, не лучшие издания?

Руководители новой «ассоциации» прямо пишут: «Потерпеть год-два без изобилия книг, газет и журналов можно, пока не укрепим производственную и сырьевую базу». «Новый мир» терпит, терпит... доколе ж?

Не надо лукавства — переориентирование производства бумаги (и типографских мощностей) на внешний рынок делается не на год-два, а надолго, может быть, навсегда. Происходит увековечивание партийно-государственного плюс комсомольско-профсоюзного диктата на уровне собственности. В такой ситуации не выжить ни «Новому миру», ни другим независимым изданиям. У них ведь нет жирового слоя прежних накоплений, у них и ч е г о нет, поскольку все огромные прибыли забирались до копейки издательскими концернами.

Дальновидные люди понимают — жизнь продолжается...

* * *

Партия, дай порулить! — кричат снизу, из-под мавзолея Ульянова (Ленина).

Не дает. Но подруливает, похоже, к обочине. Они не дадут руля, пока не закончат маневра: не переведут собственность, не приватизируют, не разгосударствят, не сделают своим или пусть хотя бы акционерным. Пока не почувствуют себя и детей своих гарантированно обеспеченными и свободными собственниками. Тогда махнут рукой — рулите! А иначе — «за что боролись?».

Они требуют от демократического лагеря молчаливого общественного договора: вы нам позвольте спокойно и сыто отойти, а мы вам позволим создавать демократию, не будем вас сажать и стрелять. Учитывая их реальные способности и возможности, условия договора вполне божеские...

Партия котов

«В судовой роли всех экипажей Приморского морского пароходства (порт Находка) сокращены должности первых помощников капитанов, или помполитов. Имея большие оклады и права, замполиты не отвечают ни за рентабельность, ни за техническое состояние судов. Долгие годы первые помощники капитанов не несли вахт ни во время рейсов, ни во время стоянок в портах. За такую беззаботную жизнь моряки за глаза неуважительно зовут помполитов „котами“» (А. Ильяхин, «Комиссары сходят на берег». — «Сибирская газета», 1990, № 37).

КПСС, массовая партия, авангард — это, конечно, миф. Нет такой партии! А вот «внутренняя партия» не миф, она реальность и власть: аппаратчики, идеологи, лекторы, политработники — словом, все, которые подпадают под флотское нелестное определение.

Так вот, «партия котов» никуда не исчезла, напротив, она консолидируется, готовится к тяжелым временам, избавляется от балласта, сбрасывает вес. Коты — это ведь не только в аппарате КПСС. А профсоюзы наши всемогущие жирные, а замечательно ловкий комсомол?

Исчез в одночасье ВЦСПС, и из пепла возродилось величественное здание Конфедерации профсоюзов — из тех же начальников, жиртрестов, как говорили мы в детстве, тех же «позвоночников», тех же чиновников. А сокращаются они ох как бережно — не на улицу, с парашютом в хорошее место, в перспективное предприятие, с дальним прицелом. Кто как не партия, комсомол, профсоюзы оказались хозяевами гигантской империи газет, журналов, издательств, гостиниц, дворцов культуры, библиотек, клубов, кинотеатров и театров, стадионов и спортзалов, спортбаз и туристских маршрутов, санаториев и больниц, поликлиник и домов отдыха, лучшей части жилищного фонда страны? Вот что охраняет такой прогрессивный новый закон «Об общественных организациях».

Пристраиваются ребята... Крупные начальники главков и трестов, профсоюзные бывалые лидеры, комсомольцы — железные малыши, гбисты, секретари районного и выше масштаба, исполкомовцы — словом, власть со всеми ее ремнями и шестеренками эволюционирует в сторону «экономических» методов. Они поняли и сердцем приняли перестройку, они полным ходом готовятся к приватизации, они уже живут в ней. Это будет их приватизация, их собственность, которой до сих пор они управляли — теперь будут владеть. Это будет их страна теперь уже на совершенно законном основании, священном фундаменте частной собственности. Уходят с должностей в тень, в невзрачные новые конторки, совместные предприятия, хилые типографии, рестораны, магазины и гостиницы, автосервис и РЖУ, уходят с тем, чтобы стать — оттуда уже — хозяевами. Они первые поняли, что всю монолитность ничейной страны одним куском не проглотить никому; и принялись грызть. Из министерства — в концерн, а там в акционерное общество трестов и бывших главков, в НПО и ассоциацию. И не уйдете вы на аренду никаким иным способом кроме как посадив их на свою шею.

Я не знаю, как можно этому противостоять. И можно ли. И надо ли.

Душа вопиет, видя начинающуюся историческую несправедливость, дележ национального богатства между нами, а рассудок охлаждает: «что делать, милая, что делать», из подручного материала лепил Бог человека и наших новоявленных бизнесменов лепит из нашего же... сора, грязи. Но ведь и не кухарке управлять государством...

Но общество, если оно сумеет выкристаллизоваться прежде, чем они снова, перегруппировавшись, уже в соцкапитализме, окажутся наверху, — общество должно крепко потрудиться, чтобы выстоять на этот раз. Иначе при благоприятном прогнозе перестройки, если все удастся как чается, хозяевами жизни будут по-прежнему они, коты.

Фонды партии котов огромны, финансы несчетанны (думаю, что есть у них и немало валюты, и счетов в заграничных банках, и необязательно на счетах этих так и написано — «счет партии котов»; вполне могут счета и за мышами числиться). Масштабы всяких сделок еще не раз поразят воображение — мы можем предвидеть эти масштабы по периодически возникающим скандалам в бывших соцстранах: то в Румынии вокруг миллиардов Чаушеску (скандал, быстро погашенный), то так же быстро потушенный скандал с миллионными бывшей СДПГ — в счет долгов КПСС (как было опрометчиво сообщено в растерянности).

Думаю, что у нас фонды и ресурсы общественных организаций обладают завидной сверхтекучестью, в деструктивных свойствах которой общество еще не раз сумеет убедиться.

* * *

От партии котов следует дистанцировать партию директоров. Года три назад я пробыл несколько дней в Запорожье, где собирался очередной «Клуб директоров».

«Клуб директоров» — это организация, куда принимают индивидуально крупных хозяйственников, созданная по инициативе и при больших личных хлопотах академика Аганбегяна в бытность его директором Сибирского института экономики и организации производства и главным редактором журнала «ЭКО». В закрытый этот клуб и в годы застоя попасть было лестно, почетно и нелегко. Тогда директора как огня боялись даже

в шутку названия «промпартия», хотя на заседаниях и в общении своем решали множество важных как для себя, так и для своего сословия дел, заводили контакты, обсуждали перспективы, слушали лекции нынешних министров, спорили с ними, делились бедами, которые у всех были общими.

То, что партия директоров — реальная сила, показало Всесоюзное собрание руководителей государственных предприятий, проходившее 6—7 декабря 1990 года в Кремлевском Дворце съездов. Директорат объединялся в Ассоциацию государственных предприятий и объединений промышленности, строительства, транспорта и связи СССР (больше 90 процентов основных фондов страны).

Партия директоров потребовала сильной власти, высказалась против того, что «мы с вами ведем страну к экономическому краху с партийным билетом в кармане, под красными знаменами и во главе с Генеральным секретарем нашей партии...». Она сама готова стать властью. Проект обращения, который подготовил оргкомитет, звучал грозно: «Предупреждаем, что в случае дальнейшего ухудшения положения в стране, бессилия власти и ее беспомощности мы начнем брать проблемы экономического регулирования в свои руки. Возможно, нам станут мешать... И вот тогда мы обратимся к рабочим коллективам страны, которые еще не сказали своего слова, ко всем гражданам с призывом «Отечество в опасности!»» («Известия», 7.12.90).

Это-то можно... Сейчас только ленивый не обращается к согражданам с призывами. Да только вот к чему предупреждения «начнем брать проблемы экономического регулирования в свои руки»? Отчего же до сих пор не взяли? Или не ваша власть, не вами, не из ваших же друзей-директоров укомплектовано правительство? Может быть, оно состоит из активистов «Общества потребителей»?

Сентябрьская система.

24.9 — 18.11.90

На российском избирательном пространстве последние выборы выявили три политических силы: КПСС (или РКП), демократические силы (шедшие на выборы как единый блок «Демократическая Россия») и так называемая русская партия (тоже движение довольно широкое и противоречивое, окрашенное в национальные цвета и объединенное чувством исторической ущемленности, гордыни и униженности). Но если КПСС имеет давно отлаженную, хотя и проржавевшую политическую структуру, то «демократические силы» и «русская партия» — это пока еще скорее общие названия двух достаточно широких диапазонов общественных настроений, чем политические структуры, хотя и бурно кристаллизующиеся.

История XX века показала, что сила в единстве, а не в численности. Большевистская партия числом около 300 тысяч человек завоевала Россию. Сегодня у КПСС с ее миллионами силы нет, потому что нет и не может быть единства, когда нет цели.

Призывы нынешних партийных руководителей провести перерегистрацию — это не призывы «к очищению». Это попытка создания сколько-нибудь реальной политической силы.

Растущий с информированностью общества антикоммунизм, проявляющийся агрессией против нынешних и даже бывших членов партии, не мог не послужить новой идентификации партийцев, уже не как «первых и лучших», но «обиженных и гонимых», тем более что часть из них, демократически настроенная, действительно приближала наступление новых времен и эпоху демократического сознания. Они оказались вне игры, хуже того, их как бы посадили в одну клетку с откровенными ортодоксами, нефашистами и консерваторами. Думаю, что, отмежевываясь от демократов внутри КПСС, изолируя их как неприемлемую для сотрудничества антиобщественную структуру, демократы помогли дальнейшему нарастанию напряженности и ожесточения в обществе.

* * *

Весной 1990 года предвыборный блок «Демократическая Россия», удачно скоординировав свои силы (особенно в Москве и Ленинграде, где эффективно действовали подучившиеся еще в прошлую избирательную кампанию общественные группы, объединенные в Московское общество избирателей — МОИ — и Ленинградский народный фронт), одержал победу на общероссийском уровне, проведя в народные депутаты множество пылких, перспективных политиков, на ходу обучающихся правилам парламентской игры. Российский Верховный Совет, избранный в конце мая почти сплошь из коммунистов (к

тому времени никакие другие легальные партии еще не существовали), сразу разделился на «коммунистов России» — аппаратчиков, начальников, номенклатурщиков, как правило, консерваторов — и демократов. «Демроссы» после двухнедельного перетягивания каната победили. Ельцин несколькими голосами выиграл пост российского председателя, что открыло оперативный простор для широких боевых действий, которые начались с «войны законов».

К осени 1990 года лидеры демократического движения почувствовали необходимость сгруппировать ряды, создать по возможности большую организованную сплоченность, чем романтическое служение прекрасному, но не сформулированному и не обязательному. К тому же накапливался, как я полагаю, и организационный опыт депутатских групп, комиссий, целых Советов; набирались опыта и люди, не попавшие на первые роли, но зато способные вывести на улицы по полмиллиона человек.

Насколько я могу судить, демократическое движение объединяло, пожалуй, главное — ненависть к тоталитаризму, презрение к нынешней власти, недовольство правительством Рыжкова, усталость от ухудшающейся жизни, растущее недоверие к Горбачеву, отрицание какого-либо политического будущего КПСС. Лидеры этого движения пришли отовсюду — из диссидентов, из ссылок, из лагерей, из правозащитного движения (именно у этого стойкого меньшинства все назвавшие себя демократами позаимствовали моральный мандат общества); часть из «Мемориала»; большая часть демократических лидеров пришла из различного образца 1986—1987 годов политических клубов, из отступников-коммунистов; а некоторые — из андерграунда, из подпольной культуры, где вынашивались и поддерживались ценности немарксистского развития России. Из дворницких, из тесных кухонь пришли и группы, стремящиеся построить русскую политическую жизнь по чертежам дореволюционной поры, реконструировать партию народной свободы, социал-демократическую, либерально-демократическую, демохристианскую и другие.

Но вытащенные из-под глыб, из-под льда российской общественной жизни, размораживаясь, идеи и фантомы вдруг принесли в наше сердце раздор и смуту предреволюционной поры, ожесточенность и полное неприятие других политических сил, коих по полной неприемлемости оставалось только уничтожить. Такое чувство, что и в наши дни действует заключенное в августе 1915 года соглашение о «прогрессивном блоке», вне которого оказались правые и левые, порознь и вместе подготовившие катастрофу.

Коммунисты — в изоляции: всякий, кто сотрудничает с КПСС, подвергается анафеме; самые громкие имена политической жизни 1987—1989 годов, кроме разве что Ельцина, как бы пожухли.

А правый фланг, «русская партия», традиционно, с дореволюционных времен ненавидящая демократию, профессорское красноречие, западнический склад мыслей и ценностей, упрямо и зло клеймит либералов, вина их во всех бедах прошлого и будущего.

Либералы каются, бьют себя в грудь, плачут над Россией, ругают большевизм и собственное либеральство, приведшее к большевизму, договорились до того, что обвинили во всех бедах знание, науку, просвещение, интеллигенцию как таковую.

Снова заговорили о евреях, но, чего прежде не было, антисемитизм проник и в культурную среду, претендует даже на некоторую академичность. Совершенно пугающая концентрация ненависти и непримиримости скопилась на правом фланге, увы, под национальными знаменами.

«Демократическая Россия» приняла как официальную свою символику российский трехцветный флаг; под этим флагом ходит и «Память», стуча сапогами.

Обескураживающе много общего в программах враждующих наших сил. Почему-то коммунистов называют центристской силой; она, может, и центристская, потому что олицетворяет центр, центральное правительство, но в парламентском смысле коммунисты, конечно же, как были крайне левыми, так ими и остались. Может быть, левее их только Сухов и ОФТ, но это левые коммунисты.

«То, что до начала политической карьеры они были неудачниками, наивно выставлялось против них более почтенными вождями традиционных партий, а на самом деле было важнейшей причиной массовой любви к ним... В неудачливости видели доказательство личного воплощения массовых судеб эпохи и их желания пожертвовать всем ради движения» (разрядка моя.— В. Я.),— читаем мы в работе Ханны Арендт «Происхождение тоталитаризма».

КПСС не центр и РКП не центр... Для центристских политических сил должно бы иметь соответствующий электорат, достаточно широкий средний класс людей более или

менее материально независимых. Я уж не говорю о классе землевладельцев; сегодняшние многочисленные партии, союзы, ассоциации, называющие себя крестьянскими, имеют один недостаток — они не состоят из крестьян.

* * *

Думаю, что для демократического, конституционного, правозащитного движения все же широкая база есть, это она выходит на миллионные митинги, она обеспечивает победу своим кандидатам на выборах. Эта база — образованные горожане, городская интеллигенция, квалифицированные рабочие, люди, ожидающие хоть каких-то улучшений от происходящих (или прокламируемых) изменений в экономике.

Но немалое число наших сограждан ничего хорошего от перемен не ждут и не вправе на них надеяться, резонно полагая, что лучше не будет. Они вполне трезво оценивают свои возможности, знания, здоровье, психическую лабильность, способность к переквалификации, смене места жизни. Они с тревогой, доходящей до неврозов, смотрят в будущее.

Третья часть общества, самая ущемленная (пенсионеры, многие военнослужащие, низкооплачиваемые и неквалифицированные работники, не имеющие возможности подворовывать, и, что особенно опасно, молодежь) оказывается за бортом общества и пылко и истово, как способна ненавидеть только обездоленная чернь, ненавидит и реформы, и их инициаторов, и их пропагандистов, и всех сколько-нибудь благополучных.

Все это накладывается на многонациональную, пеструю карту; и русские, украинцы, белорусы, которые везде чувствовали себя как дома, вдруг со страхом и изумлением начали понимать, что и они оказались в роли изгоев, беженцев, инородцев и что в великой и могучей России они никому не нужны. Бессилие и страх, которые испытывают эти люди, то действительно невыносимое положение, в которое их загнали политиканствующие лидеры окраин, — взрыхленная почва для любых самых крайних политических проявлений, самых уродливых форм национальной и интернациональной идентификации и компенсации.

* * *

Сегодняшний русский монархизм не тот монархизм, разумеется, которым гордились представители лучших семей России. В массовом своем проявлении это религия отчаявшихся, политических непримиримых, национально взвинченных. Нынешний русский национализм и монархизм, увы, не тот респектабельно-барственный, сохраненный первой эмиграцией, за тогдашним русским национализмом была удаль и гордость, а в нынешнем — ущемленность, обида, страх и отчаяние. Опасная смесь.

Питер Ф. Дракер, отец теории менеджмента, пишет: «Массовые движения состоят из незначительных меньшинств — обычно от пяти до максимум десяти процентов избирателей. Они приобретают влияние благодаря своей организованности, активности, направленности и абсолютной приверженности одной-единственной цели. В противовес им государство, хотя и велико, неорганизовано, инертно, раздроблено и ни к чему не привержено»²².

Может случиться, что, после того как коммунизм сойдет с русской политической авансцены, на ней в непримиримом антагонизме сшибутся демократы и националисты (может быть, и национал-коммунисты, этот последний массовый электорат партии популяров). В предвидении их неминуемого столкновения (не вижу, каким образом они могли бы примириться) не выражу большого оптимизма. Но вот что тревожит: чем более непримиримыми антикоммунистами выступают демократы, тем больше шанс смыкания загоняемых в политическую резервацию красных с черными. Альянс их будет непрочен (но мало ли непрочных альянсов в нашей истории одерживали победы). Если победят красно-черные, то в конце концов победят, вероятно, черные, национал-социалисты (а может быть, и национал-клерикалы, люди, проповедующие ненависть вместо любви). Не важно, как они будут называться, важно, что их приведет к власти отчаяние народа, разочарование в протодемократии, неспособности ее обеспечить не сносную, но какую-нибудь жизнь, выживание.

²² П. Дракер, «Новые формы плюрализма» («Диалог — США», 1990 г., № 45, стр. 7).

Подобные явления не могут, разумеется, происходить по всей гигантской территории страны равномерно; события, вероятно, будут существенно разные, больше того, каждый регион постарается возобновить собственное историческое бытие — национальное, региональное, не важно. Будут, вероятно, и вполне процветающие (по нашим меркам) образования, которые смогут установить у себя терпимый и квалифицированный режим профессионалов; они-то и будут извлекать выгоду из своего положения рядом с изнемогающими в политической войне соседями.

Для КПСС я не вижу яркого политического будущего в масштабах Союза (в отдельных регионах, республиках, областях, краях вполне возможно длительное существование отдельно взятых социалистических республик). По сравнению с охлократическими монархиями или чересполосицей властей эти могут вполне благоденствовать.

Немало утечет времени, прежде чем выйдет на стабильный ритм и как-то начнет возрождаться — мучительно, со скандалами, разоблачениями, кризисами — новая структура народного хозяйства.

* * *

Во всяком случае, как бы к этому ни относиться, сегодняшнее демократическое движение — сила влиятельная, динамическая, творческая, еще не определяющая, но активно формирующая будущее.

20—21 октября 1990 года в московском кинотеатре «Россия» была сделана очередная (третья уже) попытка организационно объединить российское демократическое движение под лозунгами и общим уставом движения «Демократическая Россия». Я был на этом съезде.

В справке, розданной в пресс-центре, среди партий и движений, участвующих в Учредительном съезде «Демократическая Россия», значились партии, представленные делегатами: «Демократическая партия России» (ДПР), «Демократическая платформа», «Конституционно-демократическая партия», «Крестьянская партия России», «Партия свободного труда», «Партия конституционных демократов», «Свободная демократическая партия», «Социал-демократическая партия России», «Российское христианско-демократическое движение». Среди участников были также: «Антифашистский центр», «Апрель», «Группа защиты политзаключенных», «Всесоюзный совет родителей военнослужащих», «Конфедерация труда», «Мемориал», «Объединение арендаторов», «Союз объединенных кооперативов СССР», рабочие (забастовочные) комитеты, «Российский фонд инвалидов афганской войны», «Социально-экологический союз», союз «Молодая Россия», фонд «Вечная память солдатам», общественный фонд «Содружество», «Щит», «Объединение репрессированных», комитет конвента «За ядерное разоружение», «Союз трудовых коллективов», «Клуб избирателей» при АН СССР. Наблюдателями были представлены: «Партия зеленых», «Демократический союз» (фракция реалистов), «Социалистическая партия», Комитет за создание партии молодежной солидарности, «Конфедерация анархо-синдикалистов», Хельсинкская группа, Социалистические профсоюзы (Соцпроф), «Зеленое движение», Ассоциация крестьянских хозяйств и сельхозкооперативов.

Задачу съезда оргкомитет видел, как мы поняли из первых уже выступлений, в консолидации демократических партий и организаций, демократически настроенных людей в борьбе с КПСС, главным и единственным названным на съезде противником. Правда, в розданных на съезде проектах резолюции «О правой опасности», подготовленной оргкомитетом, говорилось: «Налицо сращивание имперского, великодержавного национализма со сторонниками сталинского социализма и образование новой, советской разновидности национал-социализма. В этих условиях борьба с фашистской опасностью в настоящее время является одним из основных направлений в нашей политической деятельности».

Резолюция была, разговора на эту тему на съезде не было, зато были разговоры вокруг предложенной политической резолюции. Ее проект вполне отражал настроения делегатов:

«Главная особенность нынешней ситуации — паралич власти и лишенная элементарного здравого смысла позиция центра.

СИТУАЦИЯ СТАНОВИТСЯ НЕУПРАВЛЯЕМОЙ.

На пороге — крах, голод и нищета.

Действия парламента и правительства России, направленные на ликвидацию безвластия, на осуществление программы радикальных экономических реформ, встречают

яростное сопротивление центра и всех тех, кого мучает ностальгия по тоталитарному режиму. О наличии такого саботажа прямо сказал в российском парламенте Б. Ельцин.

Заявляя о решительной оппозиции центральной власти, следующей курсом КПСС, МЫ ПРИЗЫВАЕМ НАРОДЫ РОССИИ:

добиваться всеми доступными конституционными средствами отставки правительства СССР и роспуска его опекунов — Верховного Совета СССР и съезда народных депутатов СССР; поддержать парламент России и его демократический блок в деле защиты суверенитета, в решимости наконец приступить к реализации программы «500 дней»; отбросить большевистские стереотипы и не скатиться к насилию, не дать спровоцировать на непродуманные действия. **БУДУЩЕЕ ЗА НАМИ!»**

С самого начала было обозначено, что речь идет о консенсусе организаций и партий, который предстояло выработать.

* * *

Увы, в нашей монопартийной стране, где все пропитано большевизмом, он вырастает на любой грядке, как ни старайся сохранить чистоту, — не как идеология, а как экстремизм, нетерпимость, как организационный опыт создания «партии нового типа».

И демократы наши, похоже, вполне усвоили творческий опыт КПСС, тем более что у них есть и эксперты по оргработе, и следователи, и бывшие генералы от КГБ.

Ландшафт российский и впредь не обещает разнообразия; идет создание параллельной системы, зеркальной КПСС со своей номенклатурой, жесткой структурой, изолированным и эффективным кадровым отделом, «резервом». Случайные или независимые люди вряд ли имеют шанс выскочить теперь на демократическом небосклоне, как это случилось на последних выборах. Теперь действия демократов будут представлять совещания руководителей, длинные переговоры, партийные квоты, списки... Вероятно, это неизбежно, может быть, необходимо. Организация опять сулит победу, забирая у граждан только одно — свободу.

Залом владело нетерпение, сформулированное одним из выступавших: главное, прогнать большевиков, а там посмотрим.

Рядом со мной сидел делегат съезда, рабочий из Перми, народный депутат СССР. Он был обескуражен готовностью к быстрым и шумным резолюциям.

Когда съезд принял резолюцию, требующую немедленной отставки правительства Горбачева — Рыжкова, казалось, что в смущении пришли и организаторы, не предполагавшие такой быстрой и бескомпромиссной конфронтации с президентом.

Но напрасно убеждали зал лидеры, напрасно увещевали не закрывать президенту «дверь налево». Антигорбачевская резолюция, ставящая демократов на общую политическую позицию с крайними правыми, прошла и была принята. Так же как и резолюция, требующая немедленного выхода России из СССР, — за такую голосовали бы, пожалуй, и крайние в «русской партии».

Съезд «Демократическая Россия» претендовал на то, что он представляет реальную демократическую альтернативу, завтрашнюю власть страны.

— Не на шумных съездах делаются открытия, не для того они собираются, чтобы искать истину, а для того, чтобы решать оргвопросы, — сказал мне знакомый эксперт в пресс-центре XXVIII съезда КПСС.

Здесь было то же самое. Во всяком случае, попытка организационно оформить широкий демократический электорат, объединенный реально сегодня, пожалуй, только доверием к Б. Н. Ельцину, состоялась. На следующие выборы демократы пойдут организованными рядами.

В редакционной комиссии кто-то предложил было задуматься, что демократы и антидемократы (ОФТ, профсоюзы, РКП) используют одно и то же оружие — забастовку, подумать о том, что будут делать демократы, когда ОФТ и профсоюзы выведут на улицу миллионы безработных. Но его не услышали...

* * *

После съезда «Демократической России» я перечитал взволновавшую все общество полемику между «Правдой» и «Известиями» (в конце сентября — начале октября), начатую в «Правде» нашумевшей статьей обозревателя ТАСС В. Петруни «Кому нужна гнилая картошка». И эта дискуссия совсем не о картошке, а о власти, и то, что стояло за ней, и события последних недель в президентском окружении, в Верховных Советах СССР и РСФСР, и здесь, на съезде демократических сил, в двух километрах от Кремля, —

все это вдруг соединилось заново, и увиделась за событиями, казалось бы мелкими и случайными, логика Большой Игры.

Вернемся в сентябрь 1990 года. Второй месяц идет дождь, на полях гибнет урожай; Верховный Совет СССР забуксовал, не в силах выбрать одну из двух предлагаемых экономических программ; Верховный Совет РСФСР, напротив, без колебаний в первые же дни сессии отдал предпочтение проекту «500 дней». Такая вот диспозиция.

И вот 26 сентября (запомним эту дату) «Правда» публикует ставшую заметной статью про картошку.

Начал было читать: ну что ж, дела сельские, грустные... Но тут ухо профессионала четко среагировало на лексикон, на тон: что-то затевалось серьезное, какая-то большая игра.

Почитаем «Правду»:

«Не успел Верховный Совет страны принять постановление о наделении Президента особыми полномочиями в реализации программы перевода экономики на рыночные рельсы, как в Верховном Совете России определенные силы (хороша эта фигура — «определенные силы!» угрожающе и абсолютно неопределенно.—В. Я.) развели такую протестантскую активность, что диву даешься. На чем она основана? Да ни на чем. (Это я подчеркнул, не мог удержаться.—В. Я.) На слухах, предположениях. На телевидении, дескать, что-то было сказано, в газете вроде напечатано, а посему — даешь протесты, марши, предостережения!

И хотя член Президентского совета (кто? Ярин? Шаталин? Примаков? —В. Я.) публично объяснил, что полномочия Президента всего лишь механизм практических действий по претворению в жизнь столь необходимых спасительных мер, горячие головы это уже не остудило. Ибо не для того они разгорячились. Главное — погромче раскручивать пружину столь желанной тревоги: караул! угроза демократии! остановить диктатуру!

(Тон, помню, меня и при первом прочтении резанул: дело-то серьезное, к чему ерничать? —В. Я.)

И вот уже горстка народных депутатов РСФСР, 36 человек (ну не такая уж и горстка, но и не слишком много, чтобы напугать власти.—В. Я.) вечером 24 сентября создает петиции, обращения: «Отечество в опасности! Организуем гражданское неповиновение! Армия, не поворачивай оружие против народа!»

Так для чего понадобилась эта буря в стакане воды? И какая здесь связь с гниющей в поле картошкой да пустыми московскими закромами?»

Да, подумал я, какая же? «Правда» ответила: «Ответ на эти вопросы содержится в «программе действий-90». Это грамотно, продуманно сработанный манифест непримиримой оппозиции. Программа захвата власти».

О чем, собственно, речь? Что имеется в виду под словами «на телевидении, дескать, что-то сказано, в газете вроде напечатано...»? О каких пустяках речь, о чем беспокоились народные депутаты? Какая такая непримиримая оппозиция готовится, как моджахеды под Кабулом, взять власть? Все сколько-нибудь известные демократические организации, лидеры Москвы и России отказались от «программы действий-90», назвав ее провокацией.

Что же произошло 24 сентября?

Да ничего особенного, если не считать не замеченного практически никем, кроме «горстки депутатов», утверждения нового политического режима в стране.

Перводекабрьская система (со съездом народных депутатов, с Председателем Верховного Совета во главе) прожила от 1 декабря 1988 года до 15 марта 1990 года.

Мартовская система (со съездом, Верховным Советом и президентом) прожила недолго: с 15 марта до 24 сентября 1990 года.

В этот день родилась в Советском Союзе новая-система власти, подразумевающая новый политический режим,— система президентской власти с особыми полномочиями, родилась диктатура, если употреблять это слово в римском смысле, без оценочных наслоений позднейшего времени²³.

Под занавес у нашей многострадальной страны у ее кормила появился человек, все свои гигантские полномочия последовательно получивший от законодательных учрежде-

²³ Диктатор в ранней Римской республике — должностное лицо с чрезвычайными полномочиями на срок, не превышающий шести месяцев. Назначался одним из консулов по предложению Сената (в последний раз это произошло в 202 году до н. э.). Напомним, что Октавиан, принимая свои полномочия, стал именоваться император Цезарь Август, а отнюдь не диктатор и не царь. Формально продолжалась республика, по существу устанавливалась империя. (См. «Словарь античности», стр. 182.)

ний — съезда народных депутатов и Верховного Совета, последний передал ему 24 сентября и важнейшую часть собственных полномочий до конца апреля 1992 года.

В этих исторических событиях — источник дальнейшего сюжета.

* * *

Обратимся к стенограммам Верховного Совета СССР.

Началось все еще в пятницу, 21 сентября. Я был на балконе прессы и все видел своими глазами.

Пятница, вторая половина дня, 16 часов. Остается два часа работы. Обычно в такие дни парламент не очень «упирается» и кворума, как правило, нет, депутаты разбегаются, разъезжаются по домам. Тут-то и был брошен пробный шар. (Кворума нет, решения никакого принять нельзя, а пар выступят, выговорятся — такая, вероятно, была логика.)

В 16 часов А. И. Лукьянов открыл вечернее заседание. Он сказал, что на руках у депутатов три проекта: два — по постановлению о программах стабилизации и переходе к регулируемой рыночной экономике, и еще один — о полномочиях Президента СССР.

Депутаты вяло-послеобеденно препирались, какой из проектов, относящихся до экономики — шаталинский или абалкинский, — взять за основу. Было ясно, что шаталинский. Но и абалкинский никак нельзя было отринуть, поскольку Верховный Совет раз за разом со впечатляющим большинством выражал поддержку правительству. Шла работа.

— У меня есть предложение к фразе...

— Предложение к пункту...

Так и тянулось, пока депутат В. А. Левакин не обратился к президенту, который терпеливо сидел на своем месте:

— В связи с тем, что у нас сегодня нет кворума для принятия решений, я обращаюсь, Михаил Сергеевич, к вам... с просьбой издать соответствующий указ. Знаете, что значит каждый день промедления для хозяйственников?.. Все хозяйственники будут только за то, чтобы дело решалось на самом конструктивном уровне...

Президент охотно откликнулся:

— Для того чтобы я мог издать указ такого содержания, нужно решить вопрос о полномочиях, о том, чтобы на определенный период в определенных рамках делегировать президенту часть полномочий Верховного Совета СССР, иначе я войду в противоречие с тем законом Верховного Совета, в котором утвержден бюджет и план, с другими законами. И повсюду в стране скажут, что это незаконный указ... чтобы я мог действовать, надо дать мне такую возможность...

Зал еще не расслышал, не понял истинного смысла сказанного. Предложения, дополнения... Время шло.

Тут вскочил неистовый Робеспьер парламентской курилки В. И. Самарин:

— Мы начинаем обсуждать, дополнять... Капуста какая-то!.. Сидит президент,— он рванул рукой воздух, показывая на президента,— ждет, когда парламент наделит его теми полномочиями, которые необходимы, а у нас нет кворума!

Опять пункт, дополнение, пункт, исправление. Время шло к уик-энду.

На трибуну пригласили Ю. В. Голика, председателя Комитета по вопросам правопорядка и борьбе с преступностью, который доложил о предлагаемом законопроекте.

— Существуют разные формы передачи, или делегирования, права на издание законов, вот мы и избрали ту, которая, на наш взгляд, более всего подходит к нашим условиям... Президенту дается право издавать указы нормативного характера. Нужно ли получать согласие парламента на действие тех или иных указов, которые будет издавать президент? — Он сделал паузу.— Да, разумеется, нужно. Но здесь важна форма получения этого одобрения. Мы избрали самую простую и самую эффективную форму одобрения...— Голик обвел глазами поредевший зал — молчание.— Если Верховный Совет не поднимает вопроса об изменении этого указа, значит, он считается автоматически действующим...

Первым удивился депутат Е. Рахмадиев. В Верховном Совете, в отлаженном механизме взаимодействия комитетов и комиссий, где работают сообразительные, осведомленные и принципиальные люди, всегда находится кто-то, кто либо не знает правил игры, либо не понял их, либо не желает понимать.

— Пожалуйста, ответьте на такой вопрос,— сказал Рахмадиев.— Мы предполагаем по программе Станислава Сергеевича Шаталина переходный период в пятьсот дней, а уважаемый академик пять раз выступал, просил у нас извинения и называл разные сроки — полтора года, может быть, два, а может быть, пять лет. Стало быть, если разработчики программы сами не знают, какое время потребуется на переходный период,

значит, подписывая сегодняшнее постановление, мы, члены Верховного Совета, на неизвестный срок передаем свои полномочия президенту. Это может продлиться пять, десять, пятнадцать лет...

Рахмадиев предложил передать полномочия президенту на пятьсот дней. Задал он, безжалостный, и второй неделикатный вопрос:

— Зачем же играть в Верховном Совете в кошки-мышки? Надо сказать открыто: нужно ли нам правительство, утвержденное Съездом, или нет? Зачем мы постепенно передаем полномочия избранного съездом правительства президенту?

Депутат Голик охотно согласился — пусть на пятьсот дней...

Начались прения — может быть, не «предоставить право», а «поручить».

Верховный Совет — своего рода машина времени; если внимательно следить за ней, можно услышать что-нибудь прямо из будущего, из вполне возможных завтрашних политических комбинаций, о которых пока не говорится, еще не время...

Встал депутат А. А. Денисов. Поблескивая очками, кивая кадетской бородкой, сказал доброжелательно:

— В порядке совета президенту, что ли. Может быть, целесообразно, чтобы у нас все-таки была на этот случай исполнительная власть по тем вопросам, которые мы оставили президенту: вывести из подчинения Советам исполкомы (пусть говорят, пусть советуют.—В. Я.), подчинить их друг другу, как положено по иерархии, и всю эту систему возглавить президенту.

Президент метнул недовольный взгляд, вероятно означавший: обойдемся без непрощенных советов!

Я оглядел зал, балкон: несколько корреспондентов читали газеты, иностранная делегация, поерзав в третьем ряду балкона, ушла — поделиться впечатлениями было не с кем, — умные известицы сидели далеко. Ничего себе! — речь идет о том, чтобы изменить все государственное устройство страны, похерить не только брежневскую конституцию, но и новомодные декларации о суверенитете одним махом, создать внутренне замкнутый режим единолично-неограниченной власти реформатора — и все это в пятницу вечером, с позевыванием, с потягиванием, без кворума...

Но Голик был «наготове»:

— Это очень непростой вопрос, и я бы не рекомендовал так вот, походя в постановления его определять.

Еще бы! — подумал я.

Председатель комитета парламентской этики уселся на место, но пауза затянулась — не все же спали, есть тут и продувные крючоктворцы, им палец в рот не клади, — и Анатолий Иванович добавил:

— Хочу напомнить, что по Конституции СССР (мы эту статью не отменили) и по конституциям союзных и автономных республик исполкомы соподчинены. Решение исполкома может быть отменено вышестоящим исполкомом. А вот Советы по Конституции не соподчинены. В Конституции РСФСР они соподчинены, а в некоторых республиках нет. Нам придется вернуться к этому вопросу, потому что вот тут-то и есть суверенизация Советов.

(И правда, через три недели вернулись и подчинили, вызвав союзный кризис и кризис новой системы суверенных республик.) Тут уж зал проснулся, понял — ключевой день. Депутат С. А. Цыпляев домогался:

— Будет ли президент вправе изменять действующее законодательство? Мне нужен ответ — да или нет?

— Да, — буркнул Голик.

Тогда, в негодовании распушив усы, к микрофону устремился Сергей Белозерцев. А от настырного Белозерцева нелегко отделаться. Сначала он спросил, каков будет механизм пересмотра президентских указов, если они не понравятся Верховному Совету.

— Механизма на сегодняшний день нет, — вынужден был сказать Голик.

— Если нет механизма, значит, это не будет исполняться, — сказал Белозерцев. — Это принимать нельзя.

— Вы задали вопрос и не хотите выслушать ответ, — обиделся Голик. — Что-нибудь одно — либо вы продолжаете, либо я отвечаю...

Тут вмешался Лукьянов и объяснил, что механизм обычный — через запросы комитетов и комиссий.

Очередь у микрофонов была уже как за сахаром. Лубенченко, Фильшин, Сазонов...

— Хочу задать вопрос не товарищу Голику, — сказал врач из Ростова-на-Дону

В. Н. Зубков.— Я вас уважаю, но здесь есть юристы посильнее. Вот Юрию Хамзатовичу я хочу задать вопрос или товарищу Лубенченко.

— Депутат Голик тоже юрист,— сказал Лукьянов бесстрастно.

Зубкова было не так-то легко сбить.

— Как бы преломляя свое обращение через товарища Голика к товарищам Лубенченко и Калмыкову, хочу спросить: давал ли съезд народных депутатов СССР, избирая вас членами Верховного Совета СССР, полномочия и разрешение, чтобы вы в будущем отщипнули по кусочку власти, возложенной на вас съездом народных депутатов СССР, президенту страны?

Ни у Голика, ни у Анатолия Ивановича не нашлось ответа. И, как часто бывает в таких неловких случаях, встала дама, пылкая и искренняя, говорящая правду-матку непосредственно от имени народа (я не всех депутатов знаю в лицо, а в стенограмме имя ее не названо, хотя заслуживает быть упомянутым в истории). Дама сказала со страстью и убеждением довольно деликатные вещи:

— Я не хотела выступать, но после выступления депутата Зубкова не могла сдержаться. Мы говорим, что сегодня в стране развал, хаос и что во всем, что происходит, виноват Михаил Сергеевич Горбачев. Мы прямо этого не говорим, но в кулуарах между собой — да. Не отрицаю, что и я это говорю.

Дальше, конечно, дама все перевернула.

— Я собрала бы все права, которые есть в этом мире, и отдала бы Михаилу Сергеевичу для того, чтобы он мог навести порядок в стране.

Следом выступила еще одна дама, Л. А. Арутюнян, совсем не зараженная страстью предшествующей речи, и сказала:

— Мне кажется, все дело ведет к тому, чтобы Верховный Совет был распущен, ведь то же самое постановление можно было обсуждать и принимать иначе... Политическая игра такого огромного масштаба не должна завязываться на авторитете Верховного Совета.

Юрий Хамзатович Калмыков, председатель Комитета по законодательству, человек осторожный и предусмотрительный, пользующийся уважением разных крыльев Верховного Совета, признал, что вопрос сложный, и начал крутить:

—...мы поставили целью создание правового государства, то есть четкого разграничения законодательной, исполнительной и судебной власти. А президент не только глава государства, но и глава исполнительной власти. Об этом прямо не записано в Конституции, но все его полномочия свидетельствуют о том, что он исполняет законы, принимаемые Верховным Советом СССР. Так записано в статье 127-й Конституции СССР.

(Я подчеркнул эти слова в блокноте сразу: «прямо не записано», «но полномочия свидетельствуют»... Оказывается, исполнительная власть не у Совета Министров, а у президента... Сальто без страховки, какой класс!)

— Сейчас в нашей стране складывается особая ситуация,— своим рассудительным голосом продолжал Юрий Хамзатович,— у меня иногда возникала мысль (как много мыслей, прогнозов в этот день было высказано, и все в сторону цезаризма.—В. Я.) — все так идет вразброд, что, возможно, надо объявить чрезвычайное положение либо в каких-то регионах, либо по всей стране, либо ввести президентское правление. (Разрядка моя.—В. Я.) Вот меня спрашивают, кто нам дал право делегировать президенту наши полномочия?

Сейчас мы услышим ответ... Но на собственный вопрос Калмыков не ответил, ответив на другой: что лучше — вводить в стране чрезвычайное положение (вспомним, эта тема возникала уже и год назад, ее отверг тогда Рыжков) или в каких-то регионах (это представляет собой резкую, нежелательную для нас меру, сбросил тон законодатель) или (тут его интонация снова поползла вверх) делегировать президенту вот такие вопросы на короткое время, на переходный период, под контролем Верховного Совета?.. Для президента это очень большая ответственность, это престиж президента, его честь и совесть перед народом.

Горбачев сидел явно взволнованный, раскрасневшийся, сжав руки перед собой...

Тут Голик сошел с трибуны, на которой его так долго держали, и начались собственно прения.

Лубенченко начал с парадокса:

— Фактически власти у нас нет, поэтому если вы хотите сказать, что у вас она есть, то мы с вами должны ответить за эти полтора года, когда держали власть в руках... У нас

ее нет: мы же не контролировали расходы и бюджет правительства, не осуществляем эти полномочия по контролю за исполнительной властью. Мы с вами просто расстаемся с тем, чего нет. Подписываемся под нулем в квадрате... Какая еще власть нужна? Разве президент не создал свой собственный Президентский совет? Разве он не выступает во что бы то ни стало за то, чтобы правительство сохранило свою позицию?

Не знаю, до каких бы еще откровений договорились в тот вечер депутаты, но слово взял президент. Он тоже был разогрет дискуссией, взволнован и не особенно выбирал выражения, которые вошли в его историческую речь.

Речь президента

— Давайте, глядя друг другу в глаза, будем откровенными и, как говорят, не пудрить друг другу мозги... Мы с вами говорим о власти. О том, что она или не действует, или находится в параличе, или не срабатывает, не даст эффекта. Но как только наметилося.. что надо что-то сделать и действительно решать вопросы, тут товарищи Лубенченко и другие начинают заваривать такую кашу, которую не расхлебать ни нашему парламенту, ни американскому конгрессу. «Плетутся кружева», вместо того чтобы людям сказать ясно: ситуация требует, чтобы действовали президент, правительство во взаимодействии с нижестоящими исполнительными органами.

(Характерна и оговорка — еще только в проекте закон о вертикальной иерархии, подчиненности Советов.)

Сегодня все упирается в то, что не функционирует система исполнительной власти. Посмотрите, в республиках не идут поставки, нарушены связи между предприятиями, областями... что происходит в Моссовете? в Ленсовете? Чрезвычайная ситуация, в областях овощи, сельхозпродукция пропадает. Каждый день идет дождь — надо действовать? Кому это не ясно? Но чем занимаются и где исполкомы?

(Не в этих ли абзацах источник вдохновения моего коллеги Петруни про «гнилую картошку?»)

Я вынужден был три дня назад обратиться к товарищу Прокофьеву, чтобы он собрал руководителей хозяйств Москвы.

(Обратите внимание: не партийных руководителей — руководителей хозяйств, разумеется, коммунистов; вот как все мы привыкли к партийному руководству.—В. Я.)

Я заявил, что надо отбросить все: хозрасчет, переходы к тому, к другому,— надо спасти урожай...

(Где гарантия, думает осторожный хозяйственник, размышляющий о приватизации, аренде, покупке дела, что вот так же не соберут и не скажут: «Надо отбросить все, собственность, твое-мое, надо спасать страну»? И ведь скажут.)

Собрал товарищ Прокофьев 400 человек. Люди прямо сказали: что за разговор? раз партия обращается, сделаем все...

(Сидел, слушал президента, молчал зал. Чего говорить? — ведь «сделаем все».)

Некоторые предлагают ввести в стране чрезвычайное положение. Считаю, что это было бы преждевременной, неадекватной реакцией на ситуацию (разрядка моя.—В. Я.)... Это придало бы силы тем, кто против перестройки, кто желает ее конца... Обращаюсь к вам, товарищи депутаты: не слушайте этих оракулов, соловьев от юриспруденции. Амбиций много, раздаются требования: долой правительство, долой уже и Верховный Совет. А потом и президента, и всех народных депутатов? И не всегда достаточно у нас твердости сказать: хватит!.. Сейчас нужно действовать с большей решительностью... Если надо, то я должен до конца довести дело. Не выполняют в Литве решения Третьего съезда и Указ президента — надо ввести президентское правление и распустить Верховный Совет. (Аплодисменты.)

Так в стенограмме. Эти аплодисменты, которые в истории опозорят Верховный Совет, остановили Горбачева. Уже мягче он добавил, стремясь смирить сказанное, сгладить:

— Значит, есть люди, согласные с этим... Я прежде всего должен исчерпать все, что есть в распоряжении президента, чтобы политически решить вопрос... Но нужно действовать!.. А кое-где, может быть, и ввести президентское правление и прекратить деятельность всех органов, в том числе и выборных. Мы подошли к такой ситуации, что, если потребуется, надо сделать и это. Вот мой принципиальный ответ²⁴.

²⁴ «Верховный Совет СССР. Четвертая сессия. Совместное заседание Совета Союза и Совета Национальностей. Бюллетень № 10, 21 сентября».

* * *

К понедельнику, к 24 сентября, когда возобновилось слушание, Верховный Совет России занял уже оборонительную стойку.

Последние слова президента не прошли даром. Балкон прессы был полон. Интерес к заседанию был огромный; и тревога была огромная. Это косвенно признал депутат Голик, возобновляя обсуждение:

— Сегодня утром мне уже звонили мои избиратели и говорили, что, по «достоверным данным», пока вы там сидите и разбираетесь, наделять или не наделять полномочиями Президента СССР, он уже издал Указ о введении чрезвычайного положения в стране с понедельника и на Красной площади стоят танки. Я специально пошел на Красную площадь...

Это заседание, как мне помнится, подробно показывали по телевидению, и я не буду его излагать. Напомню, что тогда впервые и очень жестко оформилась конфронтация с российским парламентом, которая еще не раз аукнется и станет, возможно, основным сюжетом следующего года...

Еще раз процитируем президента из его выступления 24 сентября:

— Я категорически против того, что нам хочет навязать товарищ Рябченко... давайте дадим президенту права, причем ограниченные на какое-то время и в определенных рамках, и оставим его каждый раз, прежде чем принять решение, направлять проект в Верховный Совет и потом доказывать его целесообразность неделю. Нет, — Горбачев не на шутку рассердился, он редко бывает таким гневным, — нет уж, тогда оставьте себе такие права. Оставьте, используйте, управляйте, реализуйте...

Парламент сдался.

Голосование по этому историческому вопросу было не поименным. Вот его результаты:

кворум для голосования	358
кворум для принятия решения	270
зарегистрировано на 16 часов 05 минут	409
проголосовало за	305
проголосовало против	36
воздержалось	41
всего проголосовало	382
не голосовало	27

Итак, 24 сентября Советский Союз опять изменил свою государственную систему. Отныне у нас появился, во всяком случае до конца апреля 1992 года, Президент с неограниченными правами, с возможностью править, объявлять чрезвычайное положение, распускать Советы и депутатов, вводить свое, президентское, правление, как подсказывали ему, своих верных генерал-губернаторов. Издавать указы и законы...

17 ноября президент после горячего обсуждения положения страны предложил внезапно свои восемь принципов президентского правления, ставшие законом после 4-го съезда.

Хорошо ли это? Верховный Совет считает, что хорошо. Народ, безмолвствуя, похоже, все больше заряжается ненавистью. Демократические силы официально осудили президента, отреклись от него. О. Глеб Якунин сказал о примерке императорской короны.

А ты что думаешь? — спрашиваю я себя. И не нахожу ответа, расценивая как абсолютное добро всякие усилия избежать нарастания напряженности, не допустить кровавых эксцессов, катастрофического развала страны. Я не могу не считать благом и попытки Горбачева усилить власть, удерживающую от катастрофы. Но крепнущая и в правых, и в центральных левых, и даже в либеральных кругах вера в чрезвычайку (разнятся только персоналии на роль твердой руки — одни за Горбачева, другие за Ельцина, третьи за генерала...) — и опять я с ужасом и отчаянием от неспособности ничего изменить, остановить вижу, как сползает общество к единой вере в насилие, чистку, борьбу с саботажем и спекуляцией, к рабочим отрядам и отрядам самообороны, к разнообразным национальным гвардиям, к комиссиям по учету и распределению продовольствия (вот где власть и диктатура!), а посреди всего этого наш президент, увенчанный нобелевским лавром мира, примеривший уже знакомого покроя френч. Иные демократы охотно сошьют по еще более воинственному фасону мундир для Ельцина и сами обрядятся (чем цивилизнее, тем охотнее) в униформы.



7 ноября президент принимал военный парад, как шутили в Москве — «последний парад наступает».

Боюсь, не последний.

Не могу не напомнить слова далекого от политики Иосифа Бродского, который еще в 1980 году так писал о партиях:

«Движителем тирании является политическая партия (или военные круги, чьи структуры схожи с партийными), поскольку, дабы занять некую вершину, требуется нечто вертикальное по сути.

В отличие от, скажем, горы, или, лучше, небоскреба, партия — реальность, по существу, мнимая, изобретенная умственно или как-либо иначе незадействованными людьми. Они пришли в мир и обнаружили, что вся его физическая реальность, все его небоскребы и горы полностью заселены. Выбирать, таким образом, приходится между ожиданием вакансий в старой системе и устройением новой, альтернативной, их собственной. Второе представляется более целесообразным хотя бы потому, что за дело можно приняться тут же. Партийное строительство — занятие самодостаточное, да еще и увлекательное. Тут же, разумеется, не окупится, но работа все же не из самых трудных, к тому же имеет место изрядный комфорт, в коем пребывает ум, реализующий себя в непоследовательных стремлениях.

В порядке избывания своего чисто демографического происхождения партия обычно создает собственные мифы и идеологию. Новая реальность всегда следует образу существующей, обезьяничая в своих структурах. Подобная технология, скрывая недостаток воображения, придает некоторый аромат аутентичности предприятия в целом... Монотонная тупость партийной программы и суконное однообразие ее лидеров притягивают народные массы к ним как к собственным отражениям... Надо быть никаким, чтобы стать тираном.

И они невнятные, и жизнь их невнятна. Их усилия вознаграждаются лишь во время карабанья: увидеть соперника обойденным, подавленным, отброшенным... Даже внутри оппозиции события развиваются медленно; что до правящей партии, то ей спешить некуда, а через полвека господства распределять время она уже способна и сама.

...среднее время жизни добротной тирании — полтора десятилетия, в крайнем случае лет двадцать»²⁵.

И все-таки не слишком раскрываемая формула «новой федерации, новой страны» становится яснее. Скоро, когда рассеется туман, станет совсем ясно, что не солженицынский российский союз имеется в виду, но посвежевшая, обновленная, хотя и не без необратимых потерь, система суверенных сатрапий. Надолго ли? Распад Союза, я думаю, неизбежен, но как исторический процесс, а не как нетерпеливая политическая возня. Сомневаюсь, что в этих скороспелых президентствах был бы расцвет демократии, — да и с чего бы? И время ли ожидать его в стремительно слабеющей, ветшающей, теряющей веру в себя державе?

Скоро мы все увидим последствия принятых 24 сентября решений...

4-й съезд народных депутатов СССР запомнится мало: подтверждением президентских полномочий после неудачной попытки поставить вопрос о недоверии, формированием системы президентской власти (декабрьской системы), расколом среди демократов, наступлением «партии „Союза“», сомнениями в легитимности союзного съезда и союзных депутатов в ситуации тотальной суверенизации республик и территорий, неожиданной отставкой Шеварднадзе, инфарктом Рыжкова, возвышением Янаева.

Горбачев, выдвинув идею проведения двух референдумов — о судьбе Союза и о земле, — поставил на карту все. Такое прямое волеизъявление народа (если республики его допустят) многие вопросы снимет. Но боюсь и надеюсь, что такие проблемы не решаются подбрасыванием монеты (орел или решка?) и даже грандиозным, но не бесспорным мероприятием — референдумом. Общественное мнение, общественное настроение, мы знаем, переменчиво, прихотливо, капризно, подвержено влияниям и манипулированию.

Есть погода — и есть климат; есть настроение — и есть характер. Есть решение, но есть и судьба.

Как бы то ни было, тенденция последних лет явно направлена к увеличению свободы людей, а не к ее сворачиванию до нуля.

²⁵ Иосиф Бродский, «Что до тирании». Перевод с английского Андрея Левкина («Родник» (Рига), 1990, № 3).

Технократы предрекают нам энергетический кризис. Но пока что наши судьбы зависят от другой, гигантской, вырвавшейся на свободу, малопригодной для жизни энергии — распада. Историческая задача, выпавшая нашему поколению, трудна (поколение отцов, победивших фашизм, выполнило свою задачу) — умирить, направить в русло эту энергию, не позволить высвобождающимся гигаваттам ненависти, злобы, зависти, недоверия, пошлости уничтожить накопленное, прежде всего культуру. Если сохранить главное — поднимемся быстро, в несколько лет...

Чем круче замешивается наша жизнь, тем больше политизируются люди, коллективы, семьи, все громче крики, тверже поступь.

И бессмысленно уже при полной-то бескормице призывать к рассудительности и достоинству — ну а к чему же тогда призывать?

Политизация народа, всей жизни — это как горячка, как болезнь. Политика — это ведь не жизнь, это обманная сублимация жизни, подмена дела словом, суда — расправой, исследования — приговором.

(Был у приятеля на садовом участке. Он построил печь, сколько было интересных разговоров — о бруссе и вагонке, конструкции крыши, шамотной глине и огнеупорном кирпиче. О политике вышло коротко, вскользь. Будет у людей независимость, дело — охладеют они к политике.)

Это, надеюсь, пройдет. Общество отвернется от политики, разочаровавшись в ней. Не верю в большие перспективы новых партий, скорее всего партии (и КПСС) лишатся сколько-нибудь массового членства. Политика, эта специфическая область, останется тем, кто очень уж восхотел ею заниматься. А обществу, человеку пора вернуться домой, на землю, откуда он ушел воевать еще в 1914-м. Столько дела...

Декабрь 1988 — декабрь 1990.

PS. Четыре месяца назад написал я последние абзацы прочитанной вами статьи. Увы — ритм нашего журнала не совпадает с ритмом страны. Четыре месяца назад. В прошлом году. В прошлом десятилетии.

За это время — тихое отстранение Рыжкова, возвышение нового премьера, как будто специально фокусирующего на себе народное недовольство. Кровавая попытка путча в Вильнюсе. Кровь и смерть в Риге. Война в Грузии. Кажущееся уже предельным и все растущее напряжение в обществе. Замена купюр, как замена зубов, — страшная и болезненная операция. Обострение пресненско-кремлевской полемики.

Наконец, референдум, подаваемый как решающий, судьбоносный день тысячелетнего государства, окончившийся, как ожидали, облегчающим «да» на все заданные вопросы и ничего, конечно, не решивший. И новое обострение отношений между российскими и союзными структурами власти, и российский съезд депутатов, и страх — не свергнут ли Ельцин, и драматический день 28 марта в Москве, когда жизнь и свобода висели на тоненькой нитке благоразумия, и повышение цен, отделившее одну эпоху от другой не меньше, чем война отделяет, и опять — напряжение, ожесточение, готовность всех идти до конца. Но ведь нет конца!

В том-то и дело, что мы обманываем себя, говоря: в конце концов победят одни (или другие). Конца нет, нет для такой огромной и древней страны. Будут одни. Потом другие. Потом третьи. А народ пребудет вовеки. Все продолжается, длится. Все вытекает одно из другого. Из прошлого в грядущее, вольтовой дугой — через нас. Все как-то связано со всем, повторим за Барри Коммонером. И шахтерское отчаянное стояние «до утра», и окаменевшие лица солдат под касками, и все более скудная наша жизнь, и грядущая массовая безработица...

И все-таки, я верю, выздоровление впереди. Мы капризны и не уверены в себе. Но ведь сегодня мы переживаем лишь одно из мгновений нашей истории, которое в сочинениях будущего Карамзина удостоится, быть может, нескольких строк: «В девяностые годы страна перенесла мучительный духовный и экономический кризис в противоречивых попытках найти адекватный ответ на вызов времени». Не надо апокалиптического тона, уговариваю я себя. Чем меньше ожесточения, тем больше надежды.

Утомившись от газетной войны, открываю Тита Ливия — «Историю Рима от основания города» — и сразу в книге, написанной две тысячи лет назад, натываюсь на близкое: «Мне бы хотелось, чтобы каждый житель в меру своих сил задумался над тем... как в нравах появился сперва разлад, а потом они зашатались и наконец стали падать неудержимо, пока не дошло до нынешних времен, когда мы ни пороков наших, ни лекарств от них переносить не в силах». Бог даст, образуется...

РЕЛИГИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ МИР

СЕРГЕЙ ФУДЕЛЬ



ВОСПОМИНАНИЯ

...В Церкви с каждым годом все страшнее стоять, но не говорит ли это только о том, что постепенно окончательно снимаются, казалось бы, несокрушимые стены какого-то церковно-византийского благополучия и христианство возвращается к своей первоначальной Голгофе, в Гефсиманский сад. Страшно? Да! Но в этом саду Христос сказал ученикам: «Побудьте здесь и бодрствуйте». И это должно обязать наше сердце, оно должно прислушаться к этому голосу.

С. И. Фудель (из частного письма 1971 года).

Сергей Иосифович Фудель родился в Москве 13 января 1900 года (31 декабря 1899 года по старому стилю). Отец его священник Иосиф Фудель через всю жизнь пронес горение истинно христианской души и сумел передать его своим детям. С детства и до самой смерти Сергей Иосифович был в Церкви, и его жизнь принадлежит ей.

Неизвестно, будет ли написана история Русской Православной Церкви XX века. Слишком уж не соответствует масштабу событий количество материалов, документов, свидетельств, по большей части исчезнувших. Кроме этих утрат, написанию истории препятствует то характерное для России явление, которое можно назвать разрывом преемственности. Полная или почти полная потеря связи с прежней Россией во всех сферах жизни — это роковая черта сегодняшней русской действительности. И самым трагичным, конечно, является разрыв преемственности духовной. Сейчас и в Русской Церкви почти уже исчезло ощущение непосредственной связи с ее недавним еще прошлым. Грустно видеть попытки современных церковных диссидентов перекинуть мостик к мученикам 20—30-х годов и выдать себя за продолжателей их дела. Ни мучеников, ни их подвига, ни их устремлений они не понимают, так как не знают их духа, не ощущают и не способны по-настоящему оценить его. Еще прискорбнее то, что этого никто почти не замечает ни в России, ни на Западе.

Сергей Иосифович Фудель не писал церковную историю XX века, но был участником ее событий. Судьбы Церкви стали его жизнью. Революция, страшные и радостные годы церковного правления патриарха Тихона, трагическая церковная смута, катакомбная церковная жизнь — все эти пути были пройдены им. Он трижды сидел в тюрьмах, отбывал ссылки вместе со многими крупнейшими церковными деятелями, со многими мучениками. Он впитывал дух тихой, гонимой русской святости, на протяжении всей своей жизни подобно пчеле собирая ее крупинцы на быстро оскудевающих церковных полях. И этим подлинным духом наполнены его сочинения, что делает их столь драгоценными сегодня. Все, что писал Сергей Иосифович, проходило горнило его собственного духовного опыта, несет в себе свидетельство о духе времени и о Церкви. Его сочинения не открывают, вероятно, столь много страниц в богословской науке, как у богословов на Западе (в частности, русских), они, наверно, не блещут той ученой эрудицией. Но, читая, например, «Записки о литургии», написанные Сергеем Иосифовичем, легко почувствовать, как служили литургию в тюрьмах новые русские священномученики, можно приобщиться и научиться их трепету и умилению, их страданию и торжеству их святости. Кажется, что святоотеческие толкования литургии, положенные в основу работы Сергея Иосифовича, написаны не сотни, не тысячу лет назад, а теперь, нашими современниками, каждое это слово скрепившими своей кровью. Время не разделило нас со святыми древности, не разорвало единый церковный опыт. Может быть, это и есть наиболее необходимое в наши дни объяснение литургии.

Последнюю часть своей жизни Фудель прожил в городе Покрове Владимирской области. Стокилометровый рубеж сохранял свою силу для него до конца, и он так и не смог вернуться в Москву или хотя бы приблизиться к ней. Сергей Иосифович долго и тяжело болел и скончался в Покрове в своем намоленном доме 7 марта 1977 года. В Покрове он и похоронен.

Эта последняя часть его жизни была, как и вся жизнь, суровой и трудной. Постоянная нужда и болезни, постепенно наступавшая слепота от глаукомы, оторванность от детей и близких сочетались с отсутствием продуктов, с топкой печки и ношением воды из колонки — словом, с обычным провинциальным русским бытом. «Трудно без дружеского общения. Мы здесь как в пустыне», «Я все один и читать даже не могу, так как в глазах часто туман», «Время ведь ужасно одинокое», — пишет он в письмах.

Недалеко от дома Сергея Иосифовича стоит старинная церковь, единственная действующая на всю округу. Сергей Иосифович постоянно читал в ней в качестве псаломщика и постоянно

писал. Именно в этот период, начавшийся с 1956 года, он написал все свои работы. По ходу дела он должен был совершать очень утомительные поездки в Москву. Иногда (чаще летом) ему удавалось некоторое время пожить в Москве, поработать в библиотеке, навестить кого-нибудь из оставшихся от прежнего великого множества знакомых и друзей.

Незадолго до смерти Сергей Иосифович составил список своих работ *. Он часто возвращался к написанному, вносил исправления и дополнения. Даты в большинстве случаев не ставил, поэтому восстановить точное время написания работ вряд ли удастся; тем не менее, вероятно, кое-что можно уточнить. Очень важно собрать письма Сергея Иосифовича, которые безусловно составляют замечательную часть его духовного наследия. Особенно необходимо воссоздать его биографию. Будем надеяться, что все это довершит время, если будет на то воля Божия.

Протоиерей ВЛАДИМИР ВОРОБЬЕВ.

Вспоминая поездку — пятьдесят лет тому назад — в Оптину, приношу это тебе не только как некий итог «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет», но и как знак сердечной моей благодарности за всю прожитую вместе с тобою жизнь.

Вербная суббота 72 года.

С.

Кто-то сказал, что «все забывается, кроме счастья». Как ни тяжелы для человека постигшие его страдания, но по какому-то благому закону они постепенно рассеиваются в душе, и в ней неожиданно остаются — точно острова нетленной радости — только счастливые часы или минуты прошлого. И тогда это прошлое существует вместе с настоящим. Это то, о чем когда-то сказал Батюшков:

О память сердца! ты сильней
Рассудка памяти печальной.¹

Но бывает так, что человек разрушает даже и этот благой закон: он может так приглушить свою душевную чуткость, что голос пережитого счастья будет все больше и больше замирать в пустынях памяти. Когда наступит полная тишина, — очевидно, приближается духовная смерть.

Как ни тяжел последний час,—
Та непонятная для нас
Истома смертного страдания,—
Но для души еще страшней
Следить, как вымирают в ней
Все лучшие воспоминанья.²

I

Почему-то мне хочется начать свои воспоминания с монастыря.

Одни из наиболее верных слов о монастыре я прочел у малоизвестного русского философа XVIII века — Гр. Сковороды. В одном письме он пишет: «Монах есть ученик Христа, во всем уподобляющийся своему Учителю. Ты скажешь: апостол выше монаха. Согласен, но ведь апостол может получиться лишь из монаха. Тот, кто властвует над собой одним, есть монах. Кто же коряет других, становится апостолом. Христос, пока был в уединении, был монахом»³.

Истинное монашество есть вечно живое и никогда не прекращающееся первохристианство.

Мои первые воспоминания о монастыре переплетены с первыми детскими радостями и с первым чувством родины. Когда мне было лет пять, отец взял меня с собой в Оптину пустынь⁴. В памяти остались безоблачные летние дни и крестный ход вокруг монастыря, кажется, на Казанскую, когда я почувствовал торжество праздника под голубым небом и среди полей. Есть особое чувство детского благополучия, когда «все хорошо» и «папа с мамой рядом». Вот это чувство живет у меня от этого крестного хода среди полей под широкий монастырский благовест.

* Перечислим наиболее крупные из них: «К. Леонтьев в его письмах к о. Иосифу Фуделю», «Наследство Достоевского», «Начало познания Церкви (об о. Павле Флоренском)», «Записки о литургии и церкви», «Славянофильство и церковь», «Путь отцов», «Письма из ссылки». Другими и почитателями С. И. Фуделя подготовлено к печати собрание его сочинений в шести томах. Некоторая часть этих текстов, ходивших в самиздате, появилась в западных изданиях. В собрание включены окончательные, наиболее полные авторские редакции. Наследники С. И. Фуделя предоставили право издания его работ «Новому миру».

Кроме этого помню только улыбку глаз старца Иосифа ⁵, когда он, стоя среди толпы в своей келье, увидел входящего отца.

Особый мир скита, дорожки среди цветов и деревянная церковь — все это было пережито мной уже во второй приезд в Оптину, а от первого помню еще дорогу в Шамордино ⁶, под вечер, в удобной пролетке, — я сижу в ногах у отца, а кругом все те же широкие калужские поля. Какие-то богомолки при встрече с нами кланяются, и отец им отвечает, а я опять охвачен этим чувством детского благополучия.

Потом, до семнадцати—восемнадцати лет, все было у меня связано с другим монастырем, с Зосимовой пустыней ⁷. Туда мы ездили часто и чуть ли не всей семьей по несколько раз в год.

Вот уходит поезд, из которого мы вылезаем в Арсаках по Ярославской ж. д. И так уж тихая станция совсем затихает, и тишина охватывает нас. Знакомая пролетка, и знакомый кучер монах, одетый в какую-то смесь мирского с монашеским, и знакомая лесная дорога, по которой мы устремляемся в еще большую тишину мимо елей и берез и болотистых канав с незабудками.

Природа здесь не та, что в Оптиной, — здесь север, и кругом монастыря густой еловый лес. Удивительно, как раскрывается человеку природа, когда она у церковных стен. Один ряд номеров гостиницы выходил окнами прямо в лес. И вот я помню, как зимой откроешь широкую форточку и чувствуешь запах снегов среди елей и среди такой тишины, которая уму непостижима. Все живое и нетленное и благоухающее чистотой.

Там, где монахи — истинные ученики Христовы, там около них расцветают самые драгоценные цветы земли, самая теплая радость земли около их стен. В связи с этим я вспоминаю еще один монастырь, Толгский на Волге. Там манатейные монахи ⁸ были как студенты в общежитии. Некоторые во время обедни не стеснялись выходить покурить. Я лично знал одного такого. — хороший был человек и меня угощал папиросами, но зачем он был в монастыре — неизвестно. И вот я помню, что кедровая и березовая роща и красивая Волга этого монастыря никогда не открывали мне того, что зосимовские снега и ели.

Природа, очевидно, не сомневается в необходимости подвига очищения человека.

Кстати, кедровая роща Толгского монастыря была очень древняя, на одном из кедров висел железный лист с описанием каких-то событий Смутного времени, но ни грозное веяние истории, ни указание на бывшие здесь чудеса не действовали на сердце ⁹. Тут же на других кедрах и на скамейках были памятные надписи посетителей из Ярославля, из которых запомнилась самая длинная и самая безобидная: «Бедность не порок, но большое неудобство».

Толгский монастырь, очевидно, представлял обычную картину духовного оскудения тех лет. Была там и гостиница, но она существовала главным образом для дачников: все номера на летний сезон сдавались под дачи. Низший монастырский персонал готовил обеды, на Волге можно было достать лодку — чего же больше? Была и пристань с монастырской часовней. Каждый пассажирский пароход (общества «Самолет») отходил не иначе как после краткого молебна.

Помню совсем пустую часовню с иеромонахом, спешащим поскорее закончить, потом гудки, стук отбрасываемых сходен и фигуру наконец окончившего молебен иеромонаха в золотой ризе на фоне нарядных и равнодушных пассажиров верхней палубы, крестом благословляющего отходящий пароход. Что-то до сих пор щемит в сердце от этого воспоминания, точно и я был тогда в чем-то виноват. Такая одинокая была эта фигура, так страшно было, что никому до нее нет никакого дела. Там ехали стареющие Вронские и еще жирные Климы Самгины, и какое им, в общем, было дело до этого благословляющего креста.

«Се оставляется вам дом ваш пуст» ¹⁰. Впрочем, еще не совсем «пуст», если быть точным. Помню, там был один старик монах, для которого такой монастырь был, конечно, «миром», и он жил за Волгой, при какой-то монастырской часовенке.

Потом вспоминается собор. Широкая каменная лестница вела на открытую галерею вокруг храма, расписанную видениями Апокалипсиса. Иконостас был высокий, по полному чину, и фигуры апостолов и пророков, устремленные к центру, молча говорили о многом. История России, история веры России ощущалась именно здесь, а не у кедров с мемориальной доской. В конце каждой службы монахи (и покурившие и не покурившие) сходились на середине храма и пели «О всепетая Мати» ¹¹, особым тишайшим напевом. Пели они действительно хорошо, никогда и нигде после я не слышал такого пения этой молитвы, которая как будто старалась покрыть и наполнить духовную пустоту древнего монастыря.

Такое же духовное оскудение я в те же годы (1915—1916) почувствовал и еще в одном монастыре — в Николо-Бабаевском, тоже на Волге. Не рассеяло это впечатление и то, что к отцу привели очень старенького монаха, который еще застал в юности здесь кончившего свою жизнь известного многим (хотя бы по рассказу Лескова) еп. Игнатия Брянчанинова¹². И могилка его была совсем заброшенная: очевидно, и в монастыре им уже не интересовались.

Но я забыл о Зосимовой.

Зосимова пустынь была в чем-то сходна с Оптиной. В ней было что-то более суровое, что-то от «северной русской Фиваиды», чего не было в теплых просторах Калужского монастыря. Оптина была, так сказать, убедительнее для боязливого интеллигентского сознания. Но, с другой стороны, мы знаем, что и она не могла до конца убедить Толстого¹³. Что же удивительного, что Зосимова не смогла убедить Бердяева, как-то сюда приезжавшего. Благодать познания мира и самого себя дается только смиренным сердцам, а из автобиографии Бердяева мы с сожалением узнаем, что он гордился не только своим умом, но даже и родством с титулованными фамилиями. Бердяева оттолкнула от зосимовского старца Алексея его непочтительность в отношении Толстого¹⁴. В те годы мне показывали книгу Лодыженского «Свет Незримый», в которой рукою старца был вычеркнут эпитет, приставленный к Толстому: «великий писатель земли русской»¹⁵. Для о. Алексея он был прежде всего разрушитель веры в Церковь.

Старец был духовным центром монастыря¹⁶. Поражала красота всего его облика, когда в длинной мантии он выходил из своего полузатвора на исповедь богомольцев: и седые пряди волос на плечах, и какая-то мощность головы, и рост, и черты лица, и удивительно приятный низкий баритон, а главное — глаза, полные внимания и любви к человеку. Эта любовь покоряла и побеждала. Человек, подходящий к нему, погружался в нее, как в какое-то древнее лоно, как в стихию, непреодолимую для него, до сих пор еще ему неведомую и вожденную. Он уже не мог больше не верить, так как в нем уже родилась ответная любовь: огонь зарождается от огня. Моя жизнь была наполнена любовью моих родителей, но в любви старца, когда, стоя на коленях перед ним на исповеди (он обычно исповедовал сидя), я открывал ему свои тяжелые грехи, я ощущал нечто еще более полное, еще более надежное и теплое, чем земная родительская любовь. Это была уже любовь Небесного Отца, о которой мы только говорим, изливаемая ощутительно на меня в эти минуты через старца.

Монастырские службы в таком монастыре, как Зосимова, особенные. Если отдать себя им вполне и доверчиво, то такое чувство, будто сел в крепкую ладью и она вздымает тебя по волнам выше и выше. Тебе и страшно немного, и в то же время так хорошо. Что-то, если можно так сказать, есть безжалостное в такой службе ко всем нашим мирским полу-словам, полу-чувствам, полу-молитвам, с оборачиванием все время на себя, на свое настроение или на свою слабость. Тут что-нибудь одно: или уходи, потому что стоять надо долго и трудно, или же бросай свою лень и трусость, сомнение и грех и в священном безумии иди за этими голосами, стройно, и сладостно, и страшно поющими все про одно: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумием твоим и всею крепостью твоею!», «И Ему Одному служи!».

Стихиры поются сначала отдельно по клиросам, но вот монахи сходятся вместе, и тогда под своды возносится так легко и непобедимо торжествующая песнь: «Ему Одному служи!»

На кафизмах гасятся свечи¹⁷, только кое-где остаются лампы. Словно опять Ветхий завет — еще только ожидание Мессии. Сидишь и дремлешь. Нагнется папа, спросит: «Не устал ли?» Выходим и сидим рядом с храмом на лавочке. Небо звездное. По дорожке в гостиницу кто-то идет: хрустит песок. Там, в номере, я знаю, есть сдобные баранки, и это, конечно, тоже хорошо, но все-таки уходить не хочется. Еще раз подняться на этой ладье к сводам Храма, к звездам. Скоро канон.

«Христос моя сила, Бог и Господь, честная церковь благолепно поет зываючи».

В номере по-монастырски пахнет. Засыпаешь, конечно, тут же, но среди ночи где-то в холоде неба опять благовест, и опять идешь по хрустящей дорожке. Я помню, что ночные службы я наполовину спал, но помню и то, как в эти сны вдруг врывались голоса поющих, я открывал глаза, видел огни, рядом стоящего отца и радостно убеждался, что я в той же крепкой ладье, что моего сна никто не заметил, что меня и спящего они, эти голоса поющих, унесут с собой.

Музыка настоящего, т. е. монастырского церковного пения так благодатна, как и его слова. Тут «течатъ чаба Духа Святого».

Когда мне было лет пятнадцать—семнадцать, я два раза приезжал в Зосимову пустынь и один. Одному, да еще совсем юному, страшнее в таком настоящем монастыре. Такое чувство, точно попал маменькин сынок на передовую. Какая там «тихая пристань»! Тут уж никакого «Дворянского гнезда» или «Былого и дум». Вместо «гнезда» — море, в которое нужно броситься, вместо «дум» или «былого» — живое и трепетное делание настоящего. Здесь может быть только человек-творец, возжелавший внутри себя найти свою нетленную первооснову, здесь «невидимая брань» и воинское дело духовного подвига.

Помню, однажды я вопреки всем традициям остался там один на пасхальную ночь. Служил заутреню отец Дионисий, которого мы в семье особенно любили за его исключительное смирение.

С ним у моего отца был такой случай. Отец стоял на всенощной среди богомольцев. Проходящие монахи подходили к нему для получения благословения. Вот подошел в толпе еще какой-то небольшой монашек. Отец благословил и только когда тот, поцеловав руку как простой монах, отошел, отец с ужасом заметил, что он в рассеянности дал поцеловать свою руку иеромонаху о. Дионисию, т. е. такому же священнику, как он.

Крестный ход обошел храм и остановился перед закрытыми наружными дверями. Пасха была поздняя, ночь светозарная была легка. О. Дионисий поднял голову к этому единственному в году небу и начал пение: «Христос Воскресе...»

И вдруг — страшное замешательство у стоящего рядом иеродиакона: о. Дионисий забыл, что надо сделать еще один краткий вступительный возглас. Все было тотчас, конечно, сделано смертельно смущенным иеромонахом, иеродиакон был успокоен, и что-то самое главное было этим исправлением нарушено. Мне стало горько за моего иеромонаха, за себя, за звезды, к которым он поднял лицо, мне захотелось тут же бежать домой на Арбат.

«Не имамы дерзновения за премоные грехи наши».

А был еще случай, когда я действительно убежал из монастыря «в мир». Мне было лет пятнадцать, и я также приехал в Зосимову один на Страстной, чтобы остаться на заутреню. Все было для меня, как обычно, хорошо, но все-таки не совсем все. Так же поскрипывала деревянная лестница гостиницы, когда сходишь к службе, так же четко стучали по камню шаги под красной надвратной колокольней, так же выходили из келий монахи, спеша в церковь, с концом мантии, перекинутой на левую руку. И все-таки мне вдруг стало чего-то остро не хватать.

Конечно, я охотно делаю скидку на самое естественное для пятнадцатилетнего мальчика чувство — тоску по семье в эти блаженные предпасхальные часы. Но в то же время я ясно помню, что я затосковал, помимо этого, еще и по тишине такого «мира», который замолкает перед заутреней, по необычайной и невероятной тишине большого и грешного города в эти часы. Монастырская тишина стала мне недостаточна. И вот в Великую субботу я не выдержал и убежал.

Было уже, наверно, часов семь или восемь вечера, когда я шел от Ярославского вокзала пешком на Арбат. Трамваи уже не ходили: не полагалось, — а автомобилей что-то совсем не помню, и все улицы, по которым я шел, были одной длинной тихой дорогой. Помню Мясницкую с опущенными железными жалюзи на окнах контор и магазинов. Вот «Брабец», где я, начитавшись Ната Пинкертона, еще совсем недавно купил себе финский нож. Вот часовня Пантелеймона, совсем пустая Никольская, по которой я несусь мимо синодальной типографии с какими-то зверями на стене, мимо опять таких же закрытых громадных контор. Может быть, хозяин одной из них, как диккенсовский мистер Скрудж¹⁸, сейчас спит и видит во сне своего умершего компаньона? На Воздвиженке я запыхался, пошел тише и услышал сзади переборы Спасской башни: «еще не поздно». Вот и родной Арбат и шатер Николы Явленного¹⁹.

Я не знаю, что я больше любил: саму пасхальную заутреню или тот час, который в церкви предшествует ей, час пасхальной полунощницы.

На полу ковры, народу много, но не так еще много. Везде видны белые платья, но они еще точно прячутся, не выпячивают себя. Все ставят последние, прощальные свечи перед плащаницей.

И вот как-то совсем неожиданно хор начинает этот, по-моему, самый великий канон церковной службы: «Волною морскою» — «творение, — как сказано в богослужебных книгах, — жены некия, Кассии именуемой»²⁰. Все совсем замолкает, и делается ясно слышным слабый папин голос, читающий слова канона:

«Господи Боже мой, исходное пение и надгробное Тебе песнь воспою, погребением Твоим жизни моя входы отверзшему».

Я был вознагражден за свою верность грешному народу в эти часы.

Так бесконечно хорошо, когда запели девятую, последнюю песнь. Дальше — я знаю — будет тоже хорошо, но затем все-таки опять пойдут, громыхая, трамваи, будут приезжать визитеры в мундирах и с орденами — все уже будет не то.

Но во время крестного хода вокруг церкви все еще было «то».

«...Нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славить». Идут огоньки свечей, церковь на углу Арбата, и попутно видишь, что многие окна высокого дома напротив открыты и видны крестящиеся фигуры. Весь город хочет «чистым сердцем Тебе славить».

В египетских и палестинских монастырях V—VI веков был хороший обычай. Когда начинался Великий пост, монахи уходили на все время четырехдесятницы в пустыню, в разные места, поодиночке или по двое, для полнейшего безмолвия и подвига. А накануне Пасхи все опять собирались. Для них монастырь был уже как бы «мир», и для совершеннейшего подвига им нужно было идти на время в уже совершеннейшую пустыню, чтобы тем радостнее встретить Воскресение в «миру» своего монастыря.

Мне иногда жалко — хотя, конечно, это нелепая мысль, — что монахи наших русских монастырей, живя весь год в «пустыне» своего монастыря, не приходили на одну эту единственную ночь в город, чтобы вместе со всеми людьми вострепетать «радостью неизреченною и неизглаголанною».

Мир был слишком оставлен.

II

Мой отец умер 15/2 октября 1918 года, но уже с 1915, кажется, года у него завелись кипарисовые четки. Такие они были легонькие и уютные, я и сейчас помню их на ладони. Для «мирского» священника это было, конечно, весьма необычайно: кругом было так называемое филаретовское духовенство. Этот термин, собственно, не имеет отношения к личности самого митрополита, а характеризует только определенную категорию людей. Может быть, при Филарете²¹ они были другие, но в этот период — перед и во время первой мировой войны — это были люди, в своем большинстве пребывающие с поразительным спокойствием в каком-то особом сытом благополучии. Есть одно трудное слово у апостола: «Страдающий плотию перестает грешить»²². Плоть большинства батюшек не страдала. Помню, однажды за обеденным столом моя сестра стала что-то с похвалой говорить именно о «филаретовском» духовенстве. Отец, такой обычно терпимый и сдержанный, вдруг как-то весь сморщился и воскликнул: «Ох уж это мне филаретовское духовенство».

В последние годы жизни появилось у него и чтение Псалтиря совместно с мамой. Помню раскрытую книгу на столе, красную закладку и рядом лежащие кипарисовые четки. Отец прошел весь свой путь в большой дружбе со своей женой, от студенчества 80-х годов, когда он робко входил со своей статьей в приемную И. Аксакова, до испанки 1918 года.

Странное это было время, когда среди общего бездумного благодушия высших классов отдельные люди страдали страданием умирающей эры. Отец несомненно принадлежал к ним.

Эра давно умирала. В воспоминаниях Я. М. Неверова²³ (ближайшего друга Станкевича) есть такое место, относящееся, очевидно, к 1830 или 1831 году. «Читаю ли я Евангелие? — спросил преп. Серафим. — Я, конечно, отвечал — нет, потому что в то время кто же читал его из мирян: это дело дьякона».

Чьим же делом стало это чтение пятьдесят лет после этого разговора? Конечно дьяконá продолжали читать его, читали его и батюшки на всенощных, но кто читал из интеллигенции?

Отец родился в 1864 году в семье делопроизводителя по хозяйственной части Владимирского драгунского полка и матери-польки. В «Хронике моей жизни» Тверского архиепископа Саввы²⁴ есть такие строки: «Священник Фудель — интереснейший человек, внук немца заграничного, женившегося на русской, и сын отца православного по матери, но плохо говорившего по-русски. Окончил он курс в Московском университете по юридическому факультету, прослужил 3—4 года в Московском окружном суде, женился, съездил в Оптину пустынь два лета кряду и, с благословения почившего старца Амвросия, бросил службу, полгода учился церковным наукам в Вильне под руководством почившего архиепископа Алексия и рукоположен им священником в Белосток... Это мастер служения и замечательный проповедник»²⁵.

Когда после окончания юридического факультета Московского университета он в 1889 году принял священство, это вызвало бурю со стороны родителей. Маловерие его отца тут вошло в союз с католическим изуверством матери. Успокоить отца оказалось даже легче, чем мать. Передо мною сейчас лежат два письма моего отца к родителям. Письмо к бабушке спокойно и полно различных обоснований правильности выбранного им пути. Характерно такое место: «Вас смущает то, что я хочу быть исключением из общего правила и, будучи юристом, идти в священники; правда, современное общество наше настолько холодно относится к религии, что многим покажется странным, как это человек с высшим образованием оказался и с высшим религиозным чувством. Но это оттого, что наше время такое мерзкое. Лет через 30 все это будет очень обыкновенно, а пока ужасно».

Письмо к матери было полно страдания, очевидно, если она его не прокляла, то, во всяком случае, низвергла на него все католические громы.

«Исполняю Вашу просьбу, дорогая мамаша, отсылаю Вам Ваши образочки и крестик; не говорите, что я его обманом взял. Божие благословение можно приобрести только покаянием и молитвой, а не обманом. Ради Христа прошу Вас, мама, не вините папашу ни в чем: он ни в чем не виноват, разве только в том, что имеет доброе христианское сердце... Быть может, когда-нибудь в будущем Вы пожелаете меня простить, простить мое единственное непослушание; тогда Вы найдете во мне того же преданного и искренно любящего сына Иосифа».

Вот, оказывается, как трудно было стать служителем Христовым в 80-х годах прошлого столетия.

Приняв посвящение в Вильне, отец назначен на служение в Белосток, и здесь он сразу же столкнулся с другой стороной медали: духовенство, в которое он попал, приняло его как чужого.

Об этом он пишет в одном письме к К. Леонтьеву от 1890 года. С Леонтьевым он познакомился в 1887 году, а первый раз увидел его в 1886 году в редакции «Русского дела» Шарапова ²⁶, где он сотрудничал, и с тех пор был всегда с ним близок, хотя до конца жизни оставался больше «ранним славянофилом», чем леонтьевцем. Вот что он пишет: «Здесь (в Белостоке) мы (он с женой) подняли целую бурю, произвели целый переворот в здешнем обществе и вызвали яростные крики против нашего поста. Каковы здесь обычаи, можете судить по тому, что большинство священников в этом храме не знают, что такое пост, и даже Великим постом едят мясо. В оправдание такого порядка вещей указывают на недостаток и дороговизну рыбы и т. п. Вообразите, сколько нам здесь приходится выслушивать со всех сторон сожалений по поводу того, что мы разрушаем постом свое здоровье и т. д.».

Монастырский оптинский дух, с которым он начал служение, был, конечно, чужим и непонятным. Дальше в этом же письме он пишет: «Бываю я почти во всех интеллигентных семьях, и между тем буквально не с кем душу отвести в разговоре. Все или «безмыслие», или «недомыслие», или узкая специальность, съевшая человека, или просто хамство».

Но для того чтобы не ошибиться в понимании этого «оптинского духа» и того, как он сам его понимал, я приведу отрывок из некролога, написанного моим отцом на смерть оптинского старца о. Иосифа.

«Старец Иосиф, — пишет он, — не был так известен, как его духовный воспитатель о. Амвросий... Народ не толпился у его хибарки густой толпой в несколько сот человек, как это бывало при о. Амвросии... Но кто хоть раз побывал в его келии, посмотрел в его дивные по особенному выражению глаза, услышал его тихий, тихий голос, видел его радостную улыбку, не сходящую с изможденного лица, — тот уносил с собой то непередаваемое ощущение особенной благодарности, которое переживать можно было только в Оптиной... Достаточно было посмотреть на него, чтобы увидеть как в зеркале с в о й лик, искаженный буйным мирским нетерпением и гордостью, и устыдиться себя. Но что особенно поражало в о. Иосифе, — это его безграничная любовь, покрывающая собою всякую человеческую немощь. Казалось, он никогда не мог не простить кого-либо или наказать провинившегося хотя бы отеческим наказанием. Страшно ослабевший, изможденный и постом и болезнью, приковавшей его на много лет к постели, о. Иосиф встречал каждого входившего в его келью такую светлую, радостную улыбку, как будто он только что был в Раю и хочет нам, беспокойным и мятущимся, передать оттуда нечто непередаваемое»...

Старец Иосиф умер в 1911 году. От 1907 года сохранилась такая запись свящ. П. Левашова: «Я увидел необыкновенный свет вокруг его головы, а также широкий луч света, падающий на него сверху, как бы потолок кельи раздвинулся»²⁷.

Отец Амвросий как-то сказал об о. Иосифе: «Вот я поил вас вином с водой, а о. Иосиф будет поить вас чистым вином».

Все это вместе, включая, конечно, и пост и подвиг, и есть тот оптинский дух, который привез мой отец в Белосток.

Что в этот период (ему было двадцать шесть лет) он был готов и способен говорить не только о посте, но и о Тургеневе, свидетельствует это же самое письмо, при котором он послал свои «стихотворения в прозе». В оправдание этой посылки он пишет: «Переход от великопостных мотивов к лирическим немножко странен и неловок. Но что же делать? Ведь под рысой у меня тоже бьется сердце, и сердце, кажется, довольно чувствительное. Соединение эстетики с религией, казавшееся для меня невозможным, осуществляется теперь в том, что я — священник — во вторую неделю Великого поста посылаю Вам свои «Лирические мотивы». Почему-то уж очень мне хочется их напечатать».

После дружеской критики Леонтьева «Лирические мотивы» печати не увидели. Да кроме того, окунувшись с головой в пастырскую работу, ему в дальнейшем было уже не до них. Кроме пастырской, шла большая работа в газетах и журналах. За тридцать лет литературной деятельности он участвовал в восемнадцати повременных изданиях и опубликовал около 250 статей и брошюр. Для них характерно полное отсутствие тем политических. Основное и единственное, что всегда держало в напряжении его внимание, это религиозно-культурное развитие личности и общества. Печатать он начал в 1886 году, т. е. уже после знакомства с И. Аксаковым. В 1887 году издал отдельной книжкой «Письма о современной молодежи» и послал ее с письмом к К. Леонтьеву в Оптину пустынь. С этого и началась их дружба. Первый раз в Оптину он попал в 1888 году, но до 1891 года, т. е. до смерти о. Амвросия он был там уже четыре раза. В 1892 году он был переведен в Москву, где еще больше погрузился в литературную работу, хотя эта работа сама по себе никогда не была его целью. В письме от 1891 года к Леонтьеву он говорит: «Я не забываю, что публицистика для меня не цель, а только средство для проповеди, и если в этой области я найду неблагодарность или «благоглупость», то это пустяки, потому что в других областях своей же деятельности я нахожу громадное нравственное удовлетворение и духовное наслаждение. Тем-то и велико и хорошо священство, что оно не замыкает дух в одну узкую область, а дает ему свободу воплощаться в самых разнообразных видах: богослужение, требоисправление, проповедь церковная, школьная деятельность, публицистика, духовное воспитание и т. д. и т. д.».

В краткой формуле можно было бы так охарактеризовать всю совокупность его пастырской, проповеднической, литературной и школьной деятельности: апология чистого христианства. Особенно интересно для тогдашнего времени, что и школьную работу он вел именно так: почти весь урок его ученики или ученицы читали Евангелие, или он сам его читал, пояснял, дополнял параллельными местами. На вопросы по катехизису оставались последние минуты перед звонком. Ему, очевидно, хотелось преодолеть Я. М. Неверова и лишить дьякона монополии чтения этой книги.

Когда началась революция 1905 года и большинство пастырей были в смутении, так как слишком долго в их сознании срашивалось тело церкви с больным телом умирающего строя, он сразу нашел правильное слово христианина, отвечающее на вопрос «что делать?». Вернуться к Христу — вот смысл ответа, который он вложил в одну из своих статей этого времени. Он пишет: «Ужас положения растет с каждым днем. Я говорю не о политическом положении страны, не о торжестве той или другой партии и даже не о голоде и нищете, неминуемо грозящих населению. Как пастырь церкви, я вижу ужас положения в том душевном настроении, которое постепенно овладевает всеми без исключения. Это настроение есть — ненависть. Вся атмосфера насыщена ею. Все дышит ею. Она растет с каждым часом: у одних к существующему порядку, у других — к забастовщикам; одна часть населения проникается ненавистью к другой... Чувствуется, что любовь иссякла... И в этом бесконечный ужас положения... К нам, пастырям церкви, обращаются наши прихожане с неотступной просьбой указать — где же выход, умоляют принять какие-либо меры умиротворения и спасения... У нас есть собственное оружие, которое всегда при нас и единственно только действенно к господствующему чувству. Это средство — общественная молитва к Господу Любви «о умножении в нас любви и искоренении ненависти и всякой злобы»... Что же? Неужели мы не воспользуемся нашим оружием? Или в нас оскудела вера в силу молитвы? Или же мы привыкли молиться только по указу консистории и будем ждать его?..»

Я не знаю, последовал ли «указ консистории» о молитве к Господу Любви, но даже в самом этом словосочетании есть уже точно какое-то кощунство. Очевидно, дело в этой области было очень плохо, и недаром еще «нотатки» старика Туберозова в «Соборьянах»²⁸ были политы горькими слезами одиночества и ужаса перед церковной действительностью. Этими же слезами полны письма еп. Игнатия Брянчанинова. «Все возрастающая бюрократизация церкви,— пишет Л. Тихомиров в своих воспоминаниях об отце²⁹,— пугала и предвещала недоброе». Он в этих воспоминаниях, между прочим, приводит один интересный факт. На Орловском миссионерском съезде 1901 года, где участником был и мой отец, была произнесена (М. Стаховичем) речь с цитированием стихов Хомякова:

Оттого что церковь Божию
Святотатственной рукой
Приковала ты к подножью
Власти суетной. земной.³⁰

У Хомякова это обращено к Англии, но в речи в Орле это было применено к царскому правительству в России.

Сохранилось еще одно письмо отца от 1898 года к свящ. Евгению Ландышеву, которое является, мне кажется, документом большого церковно-исторического значения. Оно вскрывает то положение, в котором находились истинные служители Слова в конце викторианского века.

«Дорогой во Христе собрат, о. Евгений. Получил Ваше письмо, читал, перечитывал со вниманием и с сердечным сочувствием к Вашей великой скорби. Но отвечать Вам берусь с нерешительностью. Чем могу помочь Вам? Что сказать?.. Несмотря на то, что добрых пастырей (и архипастырей из молодых) очень много... все-таки современное состояние нашего народа так плохо, что нужны неимоверные усилия. неимоверная работа со стороны той части духовенства, которая не изменила своему долгу и призванию, чтобы положить хоть некоторый предел народному разложению... Недостойные пастыри всегда были. И при Златоусте и раньше его на епископских кафедрах сидели серебролюбцы, развратники и т. д. И всегда это будет. И несмотря на это, Церковь всегда была и будет чиста и непорочна и пастырское звание всегда будет величайшим званием на земле... Что и говорить, отче, дело наше очень плохо. В народе наш авторитет подрывается, общество не любит, власть не поддерживает. Архиереи выдают нашего брата гражданской власти с головой, страха ради иудейска. Это совершенно естественный результат того несвободного состояния, в каком находится русская церковь со времени Петра Великого. Когда все это кончится, одному Богу известно».

«Что же делать?» — спрашивает он себя дальше. И в ответе на это письмо, по-моему, еще более ценно, чем в первой части, поскольку определение положения Церкви было уже достаточно сделано Достоевским, Соловьевым, славянофилами и Лесковым. Он пишет, соединяя иногда свои слова со словами своего архипастыря Алексея Литовского:

«По моему глубокому убеждению, надо закрыть глаза на все происходящее вне нас и чего изменить мы не можем, углубиться в себя и всецело отдаться своему непосредственному делу. Необходимо прежде всего бодрствовать над самим собой, умерщвлять с вои страсти и помыслы греховные, дабы не явиться кому-либо соблазном. и в то же время нелегко исполнять свои обязанности: учить, служить, наставлять. Затем, исполняя свой долг, надо непрестанно помнить, что священство есть величайший крест, возлагасмый на наши рамена Божественной Любовью, крест, тяжесть которого чувствуется сильнее теми иереями, кои по духу таковы, а не по одному названию... Каждый час. каждую минуту приходишься им идти согнувшись, приходится терпеть жестокость и непослушание своих духовных чад, насмешки и дерзость отщепенцев Церкви, равнодушие представителей власти, приходится страдать молча, всех прощая и покрывая чужие немощи своей любовью. Таков закон. такова чаша наша. И «насколько вымирает в ежечасных страданиях естественная жизнь проповедника или пастыря, настолько лишь и только таким путем насаждается жизнь духовная в слушателях, в пастве...». Больно Вам, обидно, что правды нигде не видите, что все окружающее погрязло в формализме, угасивши свои светочи,— Вы не гасите свой огонь, сильнее его разожгите, бережней храните...

Раскольники песни поют около Вас, когда Вы служите, Вам больно, обидно,— не зовите следователя и земского начальника... прощайте и молитесь о заблудших, заставьте плакать с собой тех, кто с Вами молится, и только этим путем, только великим страданием сердца, соединенным с великой любовью, Вы растопите ту ледяную кору около себя, которую напрасно стараетесь пробить ударами кулака...

...Таков закон. Этот закон освятил своими страданиями Сам Искупитель».

Когда читаешь это письмо, с великим волнением вспоминаешь «Соборян» и думаешь: неужели после факта такого письма одного благонамереннейшего священника к другому такому же кто-нибудь усомнится в обоснованности скорби отца Савелия? И неужели действительно церковное руководство 60-х годов прошлого века приняло этот роман Лескова только как литературную блажь?

Окончание письма такое:

«Но Вы знаете, конечно, что священство есть не только великий крест, но и великое счастье, величайший дар Божий на земле. Оно есть источник неизъяснимых духовных радостей, которые мирянам недоступны, и вот в этой радости иерей Божий почерпает ту силу, которая так необходима ему, чтобы не упасть под тяжестью креста. В молитвенном подвиге духа, в благодатной близости к престолу Божию почерпает он средство против уныния и обновления духом для продолжения трудов. Нет на земле никакого другого более высшего духовного наслаждения и радости как предстоять престолу Господню и совершать таинство Евхаристии... да не лишит же Господь Бог всемилостивый нас с Вами, честный отче, этого высшего наслаждения духовного до последней минуты нашей жизни! Будем молиться, терпеть, страдать и любить, а дальше — да будет воля Божия».

Письмо помечено 14 мая 1898 года, т. е. оно писано через девять лет после посвящения. Вот еще один документ того времени — письмо отца к свящ. М. Хитрову о школьной работе:

«Настала пора отрешиться от мысли о непогрешимости программы церковноприходской школы. Мальчик, окончивший церковноприходскую школу, из всех дивных притчей Спасителя, в которых так осязательно выражено все учение христианское, обязан знать только три! Мальчик, вышедший из школы до окончания ее, ничего не знает о Лице Христа и учении Его, так как **з а п р е щ а е т с я** (подчеркнуто в письме) говорить об этом, пока не прошли Ветхого завета. А между тем **т а к и х** (подчеркнуто в письме) детей большинство, так как в селах не кончают курса до 60% учащихся! С чем же они выходят из школы? Ну не грустно ли все это?»

Если «без указания консистории» пастырям было невдомек молиться о любви, то, конечно, логично и то, что «запрещалось» говорить о христианстве, «пока не прошли Ветхого завета».

В 1892 году отца перевели из Белостока священником «Мертвого дома» — московской Бутырской тюрьмы. — и он со всей горячностью своей природы погрузился в громадную работу проповеди христианства среди заключенных. Это была целая эпоха жизни, продолжавшаяся пятнадцать лет и надорвавшая его силы. Для начала ее характерно письмо его к С. А. Рачинскому ³¹ от 15 января 1893 года:

«Причина моего молчания очень проста. Я просто-напросто, попав в Москву, завертелся в круговороте дел и забот... Тюремное дело такое сложное дело, что тут не только один священник, но и десять могли бы быть полезными. Это целый мир особых людей, более всего ищущих духовной жизни, помощи... Просто теряешься от той громадной области духовных нужд, какую представляет из себя тюрьма. Ведь здесь постоянно средним числом 2500 человек заключенных! Это целый городок людей духовно больных, людей, наиболее восприимчивых к духовному свету. И вот приходится теряться в громаде дел и впечатлений. Пойдешь по камерам, зайдешь в одну, другую — полдня прошло; как вспомнишь, что еще 45 камер, так и руки опускаются. А тут еще литературное дело; какое ни на есть, а все время отнимает часа три в день.

К тому же характер у меня самый противный: за все берусь, не рассчитывая своих сил и возможностей, всюду разбрасываюсь, затягиваюсь, поэтому никогда не вижу осязательных результатов своей большой, но бестолковой деятельности; от этого часто впадаю в уныние».

От этого же 1893 года, т. е. от первого года служения отца в тюремной церкви, сохранился еще один документ — письмо каторжника Никифорова к его знакомому в Гомель:

«К нам в камеры каторжных стал очень часто ходить наш прелестнейший батюшка о. Иосиф, г-н Фудель, и при всяком посещении давал нам читать различные книги духовно-нравственного содержания... Он по приходе во всякую камеру положительно подвергался, так сказать, нападению со всех сторон наших каторжных арестантов, и каждый желал получить хоть какую-нибудь книгу для чтения... Нелишним считано заметить, что появление в наших камерах священника был случай не просто обыкновенный, а выходящий из ряда обыкновенных... Это подтверждают и бродяги, проходящие через Москву

в продолжение 10 лет раза по два, по три, которых я нарочно спрашивал: видели ли они когда-нибудь в камерах священника? Они всегда отвечали — нет, не видели никогда, это первый батюшка, который обратил на нас внимание».

Дальше в письме говорится об организации моим отцом, чрез этого же Никифорова, внутрикамерной школы грамотности. И в сохранившемся отчете отца за 1893 год есть такое место: «Один из заключенных (ссылнокаторжный Козьма Никифоров) стал обучать грамоте своих товарищей посредством звуковой системы. Успехи были настолько неожиданно велики, что через три месяца 40 человек могли совершенно свободно читать и очень сносно писать, так что письма домой писали уже сами».

Уже этого факта достаточно, чтобы понять причину любви к отцу со стороны заключенных.

При жизни отца все правые ящики его стола были заполнены арестантскими письмами, живыми знаками благодарности. Писали из тюрьмы, и с пересылочных этапов, и с поселения в Сибири, и с Сахалина. Один заключенный, шедший по этапу на каторгу, кажется, в течение полутора лет, причем последние 1500 верст он шел в кандалах пешком, прислал ему после прибытия целую рукопись своего, если так можно сказать, дорожного дневника, своеобразные «Записки из Мертвого дома», которые могли бы служить хорошим материалом для изучения тюремного быта того времени. Большинство писем было наполнено благодарностью за материальную помощь.

«Получаю от Вас 2 письма и 2 рубля, которые для меня были все равно как бы Господом Богом сброшены с неба, потому что Маня была положительно без юбки и за эти деньги справила себе юбку». Маня — жена, которая шла по этапу с мужем и дочкой. В конце приписка: «Добрейший о. Иосиф, если возможно, то пришлите по возможности для поддержания наших сил».

Вот другое письмо со Сахалина: «Уведомляем. Батюшка мы получили Вашего письма, которое Вы послали из 3 рублями».

«Просьба моя состоит в том, чтобы поддержать мои падающие силы в настоящее время при небольшом недостатке жизни» — это пишут из бутырской камеры.

Вот из Иркутского централа: «...остаюсь молящий Бога за Ваше здоровье за тот гостинец, который Вы дали нам в Москве (5 р.) и многих от большой нужды избавили». Из того же централа: «Во-первых чувствительно благодарю Вас за присланный мне гостинец к празднику Рождества Христова».

Может быть, еще большим делом, которое отец делал для заключенных, было соединение мужей с женами. Ряд писем полон их криками о помощи или благодарностью за помощь в этом. Вот одно из таких писем: «Я к вам с глубокой скорбью, у меня очень большое горе, в котором я прошу вашей помощи. На днях этой недели отправили мужа моего в партию, пошел в Сибирь, а я с маленьким ребенком осталась здесь (в тюрьме). Зачем он меня покинул не знаю, мы так любили друг друга. Я скорее ожидала смерть чем этой разлуки. Не знаю кого винить. Винават вссму начальник, такой строгий режим лишил нас всего... Покорно прошу вас батюшка попросите начальника за меня, напишите от себя в Главное Тюремное Правление чтоб меня выслали вслед за мужем».

А вот письмо от другого лица: «Здравствуй пресветлейший батюшка... Очень благодарю вам, што меня соединили с женой, за ето мы молимся Богу за вашего здоровья...» Подпись: Константин Антонов, Сахалин. От этого Антонова сохранилось и первое письмо: «...всепокорнейше прошу вас дать мне страждующему защиту, чтобы представить разом в мою отправку вышеупомянутую законную жену и умоляя глубокими слезами повторяю покорнейше прося не оставить моей просьбы».

Просьба, очевидно, «не оставлялась», писались заявления и письма, велись переговоры, шла большая работа по пробиванию стены бюрократизма или бездушия.

Вот письмо из самарской тюрьмы: «Как дела идут о моих малютках?.. умоляю Вас ради Господа, не поставьте себе в труд уведомить меня о деле касательно моих детей, есть ли какая надежда?.. Кроме Бога и Вас нет к кому обратиться».

Всем этим горем, слезами человеческими и человеческой радостью полны письма, чередуясь с призывами о помощи духовной.

«Я, многогрешный преступник Петр,— читаю в одном письме из бутырской камеры,— прибежал к помощи властителей наших, начальству, но оно не желает не только излечить мою душу, но не хочет даже и вести об этом речь. Со слезами и больной душой прошу, батюшка, Вашего духовного лекарства... Батюшка! помоги мне, дай мне место, где бы я мог излить свои горькие слезы...»

А вот просьба о Псалтири: «Покорнейше прошу вас батюшка пожертвуйте мне Псалтирь вашу память. Мне так хочется читать Псалтирь, все бы я читал и даже во сне снится, что я Псалтирь читаю». Это письмо тоже из Бутырской тюрьмы, а на некоторых конвертах арестантских писем из Сибири имеются пометки рукой отца: «Купить книг на (столько-то) рублей и отослать».

Его любили не только каторжане. Дом, где мы жили, стоял против Пугачевской башни. Помню, я семилетний играю где-то около нее, а какой-то служащий тюрьмы идет мимо и приветливо мне говорит: «А ты знаешь, что твой отец теперь стал протоиереем?» Я не понимаю, что такое протоиерей, но чувствую, что этот человек радуется за моего папу. Когда он умирал в 1918 году, отходную читал очень ему преданный второй священник тюремной церкви о. Дмитрий.

Но любимый каторжниками батюшка, наверное, уже давно вызывал недовольство начальства. Пятнадцать лет такой широкой христианской деятельности, не дожидавшейся «консисторских указов», закончились в 1907 году. Поводом к этому, очевидно, послужил отказ отца ввести политику в свою христианскую проповедь.

Сохранились копии отношений московского губернского тюремного инспектора и ответов на них отца. Первым отношением предлагалось организовать в коридорах тюрьмы беседы на духовно-нравственные темы с обязательным посещением их арестантами. Отец отвечал так: «Духовно-нравственные чтения и беседы велись всегда в тюремной церкви и школе. Вызывались для этого из числа арестантов только желающие, так как я не нахожу возможным принуждать (зачеркнуто более резкое: «насиловать совесть») кого-либо участвовать в духовно-нравственной беседе, ибо принуждение в этом случае не уменьшает, а укрепляет противорелигиозное настроение, в ком оно есть. В настоящее время такое настроение преобладающее среди каторжников, ибо из них более половины осуждены за политические преступления. Беседа на религиозные темы с такими людьми тотчас же переходит на почву социально-политическую и возбуждает страсти, а не умиротворяет».

В своем ответе на это тюремный инспектор указал, что «в последнем случае вина всецело лежит на священнике, не умеющем руководить беседами и умиротворять страсти... Обязанности тюремного священника не исчерпываются церковными службами и проповедями на узк о й п о ч в е укрепления в заключенных начал православия...» «Вся нравственная жизнь заключенного... все помыслы и влечения сердца должны быть под моральным контролем тюремного пастыря». В заключение этого второго отношения говорится: «Конечно, здесь важен почин, энергия... и не казенное исправление должности священника, обязанного служить определенные дни за определенное вознаграждение при готовой квартире».

Эта переписка велась с февраля по апрель 1907 года, а в конце сентября этого же года «пресветлейший батюшка», как его называли каторжане, не считавший, что проповедь христианства есть «узк а я п о ч в а», не пожелавший быть «моральным контролером» арестантских помышлений, не умевший «насиловать их совесть», да притом еще служивший «за определенное вознаграждение и при готовой квартире», переехал в маленький и бедный приход на Арбат.

III

Когда мы здесь в 1907 году поселились, Арбат был еще совсем тихий. Даже трамвая на нем еще не было и асфальта на мостовой, между булыжниками кое-где пробивалась летом травка, а фонари были газовые, низкие, которые по вечерам зажигали специальные рабочие-зажигальщики, перебежавшие быстро с длинными легкими лесенками от одного фонаря к другому. Улицы Москвы тогда вообще были тихими дорогами большой деревни. В воздухе был покой. На углу Никольского переулка (теперь Плотникова) был большой склад дров, а за ним, по переулку, стояли два деревянных дома, в которых жил причт Николо-Плотниковской церкви. В них первые годы нашей здесь жизни не было еще и электричества, а воду привозили ежедневно на лошади в громадной бочке. Не было тогда еще и кино и автомобилей, а на углу почти каждого переулка стояли извозчики разных категорий: от совсем простеньких ванек до шикарных лихачей на дутых резиновых шинах. На одном из первых появившихся в Москве автомобилей я катался вместе с детьми одного служащего военно-окружного суда, помещавшегося там же, где он и сейчас, на углу Кривоарбатского переулка. Это было, наверное, уже в 1910 или 1911 году. На самом Арбате, не считая Арбатской площади и прилегающих переулков, стояло

три церкви. У Николы Явленного посередине Арбата был такой красивый, низкий по звуку большой колокол, что, когда этот звук плыл к небесам, прохожие невольно замедляли свои шаги, точно желая идти в такт с этим движением к вечности.

К арбатскому, и последнему, периоду жизни отца относится его дружба с о. Павлом Чоренским.

У нас была семейная традиция: мы, дети, на Рождество дарили папе подарки. День его рождения был как раз 25 декабря, а 26-го именины. Я помню себя еще пятилетнего, но уже взятого сестрами в писчебумажный магазин и выбирающего там на собственный двугривенный какую-то замысловатую ручку. В 1913, кажется, году подарком от дочерей была только что вышедшая тогда книга «Столп и Утверждение Истины»³².

Об этой книге трудно спорить. Помню, один архимандрит в миссионерском журнале назвал ее печатно букетом ересей. Один духовный старец на мой боязливый вопрос, как он относится к Флоренскому, ответил: «Как же отношусь — конечно, хорошо. Он был только еще юный, еще что-то недоговаривал». Нас тогда эта книга подвела к живому касанию церковных стен.

Многих людей прежде всего шокировала ее форма. Я помню одного генерала, который все возмущался, что это «какие-то письма». Нас убеждала прежде всего ее форма, то, что это именно «письма к другу», писанные совсем новыми, или, наоборот, очень древними, словами ума, живущего в сердце. Где-то в ней было сказано: «Иногда в зияющих трещинах рассудка видна бывает лазурь вечности». Хотя вся она была, собственно, построена на этих «трещинах», хотя в ней был великий груз доказательств лазури, однако вся ее притягательность заключалась в том, что груз совершенно не ощущался, что основное ощущение, которое она давала, было то, что «уже все доказано». Входя в нее, мы сразу понимали, что вышли из леса цитат (хотя они были тут же в целом томе примечаний), из шумного зала религиозно-философских собраний, столь распространенных в те времена, и даже из мансарды Достоевского, где его юноши проводят ночи в спорах о Боге. Здесь уже никаких споров быть не могло, здесь мы читали запись об осуществленной уже жизни в Боге, доказанной великой тишиной навсегда обрадованного ума. Ум наконец нашел свою потерянную родину, то теплейшее место, где должно быть его стояние перед Богом. Мысль оказалась живущей в какой-то клетке сердца, где в углу, перед иконой Спаса, горит лампада Утешителя. Вспомнилось, что некоторые теплейшие письма Апостолов были тоже письмами к другу. В этой клетке сердца не было ничего «от мира», но здесь мысль, восходя на крест подвига воцерковления, охватывала все благое, что было в мире, как с в о е, как принадлежащее Премудрости Божией, Богу — Творцу и твари и мысли. Стало понятно, что борьба за крест есть борьба не только за личное спасение, т. е. тем самым спасение своего разума, но и борьба за любимую землю человечества, спасаемую и освещаемую благодатью. Конечно, все это было древнее: озарение святых древних веков. Но громадность и несравнимость попытки Флоренского изложить это на современном религиозно-философском диалекте были совершенно очевидны. После него легко и радостно читались послания Апостолов, рассказы патериков о святых, пронизанных светом Утешителя, описание древних икон и храмов, тайноводственные слова отцов Церкви о преображенной твари, но никак не диссертации на тему «К вопросу о развитии тринитарных споров» или мертвые «Курсы догматического богословия».

Всю свою глубину и сложность Флоренский нес в тишине совершенной цельности. И это было в нем, пожалуй, самое удивительное. Тут было дело не только в цельности энциклопедического ума, хотя диапазон этой энциклопедичности был исключительным. Помимо его поразившей всех книги, я помню его работы и авторитетные замечания, какие-то властные вторжения — по филологии, по китайской перспективе, по философии культа, по электричеству, по символизму, по философии, истории женских мод, по русской поэзии, по новым способам запайки консервных банок, по древнегреческой философии, по генеалогии дворянских родов. Его знания высшей математики были для всех очевидны, но последний раз, когда я его видел, я застал его за изучением вопроса о способах затаривания лука в Америке. Но все-таки дело не только в этом. Флоренский был какой-то исторически непостижимый человек во всем своем жизненном облике. «Вы ноумен», — помню, как-то сказал ему Розанов. И при этом добавил: — Но у вас есть один недостаток — вы слишком обаятельны: русский поп не может быть обаятельным».

Его ряса казалась не рясой, а какой-то древневосточной одеждой. Его голос в личной беседе звучал из давно забытых веков религиозной достоверности и силы. То, что он писал, и то, как он писал, давало не такие слова, по которым мысль прокатится, как по

арбузным семечкам, и забудет, а какие-то озаренные предметы. Пусть кое-что из того, что он написал, было незрелым. Главная его заслуга заключалась в том, что, овладев всем вооружением современной ему научной и религиозно-философской мысли, он вдруг как-то так повернул эту великую махину, что оказалось, она стоит покорно и радостно перед давно открытой дверью богопознания. Этот «поворот» есть воцерковление мысли, возвращение запуганной, сбитой с толку и обедневшей в пустынях семинарий религиозной мысли к сокровищам благодатного Знания. Это не «научное доказательство бытия Божия» и не рационалистическая попытка «примирить религию с наукой», а какое-то отведение всей науки на ее высочайшее место — под звездное небо религиозного познания. «Доказать» научно, в смысле рационалистическом, бытие Божие нельзя, и «примирять» тоже ничего не надо. Надо как раз обратное: надо, чтобы наука «доказала» самое себя, надо заставить науку сделать еще один и дерзновенный шаг вперед и дать ей самой увидеть открывшиеся для нее вечные горизонты.

Казалось, что еще немного — и ботаника, и математика, и физика заговорят человеку ангельскими языками, словами, свойственными именно этим точным наукам, но проросшими в Вечность и омытыми там от Нетленного Источника.

Я не знаю, так ли это будет, т. е. пойдет ли религиозная мысль когда-нибудь по его пути, или эта Новая Наука будет только в Царстве Божием, но свое дело он сделал. Если он нам ее еще не открыл, то он открыл нам глаза и уши на древнюю и вечную Церковь, источник величайшей радости человеческого ума. Мы, я помню, когда читали его книгу, говорили себе: «Начинается Весна. Церковь и есть Вечная Весна. Теперь на всю жизнь все ясно». Пусть мы часто не понимали его божественные логарифмы, хоть и догадывались, о чем он хочет сказать, — к нам шло основное: раскрытие небесной лазури человеческого ума под темными и такими любимыми сводами родной Церкви. И нам тогда делалось вполне очевидным, что, конечно, именно Церковь, открывающая эту лазурь, и есть «Столп и Утверждение Истины».

Встречи отца с Флоренским были редки, но я хорошо помню какую-то особенно радостную улыбку отца, когда он говорил о нем или когда при нем произносилось его имя.

Помню, я иду с отцом по Никольскому переулку и говорю ему, что, как я сам слышал, Флоренский так объясняет слова панихиды «надгробное рыдание творяще песнь»: надгробное рыдание мы претворяем в песнь торжествующей победы.

Что я, семнадцатилетний, этого не знал, это не мудрено, но я помню, как радостно просветлело лицо отца: «Да, да, как это он правильно сказал». Этот разговор был, кажется, уже осенью 1918 года, месяца за два до смерти отца. Флоренский один из первых священников пришел на панихиду, и я помню его читающего «Боже духов и всякия плоти».

Первый раз я увидел Флоренского еще до выхода его книги. Отец, бравший меня с собой в Оптину к монахам, повез меня к нему в Лавру. Смутно помню разговор о какой-то евгенике или о чем-то еще мне совершенно непонятном. Я оживился, кажется, только за ужином, за которым, помню, было виноградное вино в стаканчиках, и в том, как оно подавалось (я сравнивал с другими домами) чувствовался какой-то ежесдневный строгий обиход, что-то тоже не от нашей истории.

Керосиновая лампа освещала стол. После ужина отец Павел пошел провожать отца в лаврскую гостиницу. Была зима, но ночь была не морозная. Мы шли по пустой улице, мимо маленьких домиков, на темных контуры Лавры. Кругом были снега и тишина той, далекой теперь России. У моста, я помню, до меня дошли отрывки их разговора: о символыке цветов на древних иконах Богоматери.

Потом уже, в 1918 или 1919 году, когда в Лавре сняли ризу и реставрировали рублевскую «Троицу» и тихие краски божественного творения засияли огнями Невечернего Света, — я вспомнил этот разговор как ночное предобручение, как напутствие на всю свою жизнь.

«В непогоде тих» — была подпись под одной из виньеток-эпиграфов книги Флоренского. Эпиграф и остался он в моей памяти, и в этом именно его облик как-то слился для меня с обликом отца.

Я вспоминаю, как отец говорит с какой-то насмешливой улыбкой: «Отец Павел велел прислать мне ему все мои *omnia opera*». Улыбка мне понятна: отец весьма скромно думал о своих действительно скромных литературных трудах. Уж какие, мол, там *omnia opera*, да еще для Флоренского.

В 1887 году отец издал «Письма о современной молодежи», в 1893-м «Наше дело в Северо-Западном крае», в 1894-м — «Основы Церковноприходской жизни», в 1897-м —

«Народное образование и школа», в 1900-м — «О значении церковной дисциплины». Вот почти все, что вышло отдельным изданием, — 5—6 небольших брошюр. Правда, кроме этого была очень большая журнальная работа, но все-таки все это была только «публицистика», только «попутная проповедь», а не капитальная работа мышления.

Тут мне опять вспомнился В. Розанов. Отец не любил его как писателя. Помню, как-то он сказал мне, увидя у меня в руках «Опавшие листья»: «Не стоит читать — это только и есть что опавшие листья». Так вот, когда Розанов летом 1917 года приезжал в Москву и был у нас, он за чайным столом сказал со свойственной ему непосредственностью: «А вы, отец Иосиф, литературный пустоцвет». Отец мне рассказал это и с добродушной улыбкой добавил: «Он, конечно, совершенно прав». Дело отца было в другом: в живом общении с людьми для христианского на них воздействия и человеческой им помощи. Первые годы после своего перехода из тюремной церкви на арбатский приход он горячо взялся за приходскую работу. В первую очередь привлекла его внимание вся беднота, живущая в приходе. Если в тюрьме людей, во всяком случае, кормили и давали койку, то здесь часто не было и этого, и кто-нибудь мог мечтать о тюрьме, как Сопи в известном рассказе О'Генри³³.

Через полгода после своего переезда в приход, т. е. в мае 1908 года, отец начал, как он сам писал, «с сомнением и боязнью совершенно новое дело для приходской жизни в России» — издание своими силами и средствами «Приходского вестника», печатного органа общения пастыря с приходом. Листки этого «Вестника» за 1908—1914 годы могут быть не без пользы и для современного священника.

В № 1 от 20 мая 1908 года он пишет об усилении работы приходского попечительства о бедных: «Много, очень много дела в приходе всем, кто не умом только, а сердцем откликается на вопиющую нужду. Я говорю о детях тех тружеников, которые перебиваются изо дня в день, не имея часто определенного заработка, которые ютятся в крошечных квартирках, иногда в углах, не имея подчас самого необходимого для своего пропитания».

В № 3 от 4 сентября 1908 года вместо поучения прямой крик: «Зима приближается быстрыми шагами. Вспомните бедняков! Одеться надо, без башмаков нельзя выйти на улицу. Стужа много страданий приносит с собой. Нетопленные углы, замерзающая в комнатах вода, прикрытые всяким тряпьем дети. А помочь им уж не так трудно. В каждой сравнительно обеспеченной семье всегда бывают остатки одежды и обуви. Куда они деваются? Много из этого бросается зря. Пришлите ко мне на квартиру то, что желаете пожертвовать бедным. Особенно нужны валенки, большие и маленькие».

Так началось его попечительство об арбатских нищих.

В четвертом номере этого же 1908 года уже было помещено следующее объявление: «На мое приглашение в № 3 пожертвовать ненужную одежду откликнулись очень многие. До сего времени пожертвовано 84 вещи. Много роздано бедным, многое еще осталось. Наше приходское попечительство постановило открыть склад одежды для бедных». Просто и понятно. «Особенно нужны валенки». Как, действительно, идти зимой бедному человеку в Царство Божие без валенок?

За 1909 год на склад поступило уже 134 предмета одежды и обуви.

На рождественской елке этого года собралось 72 человека, дети бедняков.

Но вопль о валенках не прекращается. «Одна старушка с большими ногами очень нуждается в валенках. Нужны также валенки для мальчика девяти лет. В нашем складе таковых нет».

А о трудной представимости для нас тех времен рассказывает такое обращение «Вестника»: «Прошу убедительно каждую хозяйку разрешить своей прислуге заблаговременно поговорить. Невыразимо тяжело выслушивать на исповеди от рабочего люда признания, что не говел года два и больше, потому что невозможно было — „хозяева не пускали“».

В этом же номере «биржа труда»: «Меня очень просят пристроить на место мальчика 14 лет. Отец его обременен громадной семьей — 8 человек детей».

В 1911—1912 годах был страшный голод в Поволжье, и «Приходский вестник» отражает работу отца по помощи голодающим людям. Сборы средств были начаты в декабре 1911 года, а уже 5 февраля 1912 года отца уведомили, что на собранные им деньги была в Поволжье открыта столовая для питания 36 школьников одного голодающего района. Как сообщалось с места: «Самарским епархиальным комитетом поставлено именовать столовую „имени протоиерея Фудель И.“». Столовая просуществовала сто семьдесят восемь дней. Таким образом, живое дело отец нашел и на Арбате, но все-таки

сердце свое, всю основную силу своей горячей воли он оставил в тюрьме. На арбатский приход он пришел уже надорванным от борьбы с косностью, от все усиливающегося чувства духовного одиночества и безнадежности. Это можно заметить даже и по этому «Приходскому вестнику». Он начался бурно в мае 1908 года, дав до конца этого года пять номеров. За весь 1909 год было уже четыре номера. В 1912 году вышел только один номер, а в 1913-м ни одного. Страшное время действовало неумолимо. В первом номере отец писал: «Люди, живущие жизнью церковной, скорбят о том, что наши приходы и обезличены, и не проявляют даже признаков жизни». Признаки духовной жизни уже давно замирали везде.

На днях один старый священник сказал мне: «Мы, выходившие из прежних семинарий, были в большинстве атеистически настроены». Я думаю, что в этом определении есть некоторое преувеличение: не «атеистически настроенные», а равнодушные люди выходили оттуда. Но, конечно, от этого не легче, имея в виду, что именно эти равнодушные люди должны были блюсти угасающий огонь христианства в России и учить этому огненному учению народ.

Как пишет в своих воспоминаниях об отце Л. Тихомиров: «В конце концов от всех надежд остался только чад потухших плашек да убеждение, что правительство ничего доброго не умеет ни понять, ни совершить».

Если в 1891 году отец еще мог писать Леонтьеву: «Я верю в чисто религиозное призвание России и желаю только одного его», то теперь пошатнулась окончательно вера и в это «только». «Святая Русь» умирала изнутри, идея сохранения христианства в массах терпела страшное крушение. И вот началось у него в этот последний период его жизни точно какое-то иссыхание души, как растения, лишённого подземных родников.

Я бы не посмел об этом говорить, если бы не было одного его посмертного письма. Период перед первой мировой войной был наиболее душным и страшным периодом русского общества. Это было время еще живой «Анатэмы»³⁴, еще продолжающихся «огарков» и массовых самоубийств молодежи, время разлива сексуальной литературы, когда Соллогубы, Вербицкие, Арцыбашевы буквально калечили людей, время, когда жандармские офицеры читали о «розовых кобылках», а гимназисты мечтали стать «ворами-джентльменами», время, когда на престол ложилась тень Распутина, сменяющего архиереев и министров.

Главная опасность этого времени заключалась в том, что даже лучших людей оно точно опаляло своим иссушающим ветром. Страшное состояние духовного засыпания хоть на время касалось и их и заставляло забывать о «невидимой брани».

Отец все меньше ведет литературную работу. Правда, много времени отдает изданию собраний сочинений Леонтьева³⁵, но это больше долг благодарного ученика, чем творческое дело сердца. Сердце, как я уже сказал, он отдает теперь приходским бедным. Помогает им сам, собирает пожертвования, говорит об этом проповеди. Даже в передней нашей, я помню, висела медная кружка с надписью «Приходским бедным». Авось кто-нибудь из богатых гостей, уходя после долгого и томительного преферанса, опустит часть своего выигрыша. Да! и преферанс появился в его доме. Ведь кончилась эта переписка со всей Сибирью, со всеми центрами и этапами. Никто уже не пишет ему из камеры: «Батюшка! помоги мне, дай мне место, где бы я мог излить свои горькие слезы». Нет жен, которых надо соединять с мужьями или совать им пятерки при отправке на этап. Бедные есть и здесь, но их так сравнительно мало. Весь приход всего 30 домов, населенных главным образом купцами и интеллигенцией. И вот началось механическое заполнение образовавшейся пустоты. Он начал строить (на банковские деньги) большой доходный дом для церкви. Стройка поглощала все время, сметы, чертежи, контроль, все дела строительные легли на его плечи. Он лазил на леса вместе с архитектором, ездил в банк, писал отчеты. Деятельность новая и небывалая для него была ключом, а душа сохла в строительной пыли. Стройка закончилась в 1913 или 1914 году, а в 1915-м на даче на Сходне он написал свои письма с пометкой: «Открыть после моей смерти».

Вот об одном из этих писем я и хочу говорить... Это было, собственно, не письмо, а какая-то исповедь, в которой он говорил только об одном: как постепенно высыхала у него за последние годы душа и какие страдания он вынес от этой болезни. Он говорил о долгих годах своей жизни, в которой все видели его таким невозмутимым, ласковым, добродушным и не сухим. Больше того: прямыми и честными словами — его путь был всегда прямой и честный — он говорил о том, что тот молитвенный восторг, та духовная радость, которая так часто посещала его в первые годы служения в церкви, только тогда изредка и в малой степени к нему потом возвращалась, когда он как бы силой воспомина-

ния вызывал к себе ее, эту радость «первой любви». Душа у меня постепенно высыхала, умирала духовная жизнь, веяние Святого Духа переставало веять в сердце — вот смысл того, о чем он говорил в этой исповеди, которую мы со слезами страха и любви читали после его смерти.

В конце ее он писал, что с началом войны 1914 года его духовное состояние улучшилось, что душа его опять как-то просветлела. Предгрозовая атмосфера России кончилась, и началась гроза.

Теперь, вспомнив слова из его письма к о. Евгению Ландышеву от 1898 года: «Да не лишит же Господь Бог всемилостивый нас с Вами, честный отче, этого высшего наслаждения духовного до последней минуты нашей жизни», нам будет ясней видна вся линия его жизни — его вера, его жажда правды и истинного богообщения, болезнь оскудения и его предсмертное выздоровление.

Наиболее светлым он мне вспоминается именно в последние годы — в 1917 и 1918 годах. В это время он освободился почти от всех литературных работ. Им были написаны тогда, кажется, только «Воспоминания о Леонтьеве» и работа о приходе. Воспоминания он читал мне и маме, и помню, как он весело смеялся, когда я напомнил ему после чтения фразу какого-то приятеля Леонтьева, когда Леонтьев читал ему свои воспоминания о Тургеневе: «Это воспоминания о самом себе и отчасти о Тургеневе».

В чем тайна благого влияния священника на людей? Очевидно, в том, о чем кому-то сказал преп. Серафим³⁶: «Стяжи мир в душе, и тысячи вокруг тебя спасутся». В отце был ясный луч этого мира, даже в эпоху «высыхания», и он все ярче светил в последние годы, когда появились кипарисовые четки и началось чтение Псалтири.

В одной статье еще до 1914 года он писал: «Русская религиозная личность корни свои имеет в монашестве». В последние его годы подземные родники опять омыли эти корни, и он начал готовиться к смерти.

К последнему периоду его жизни относится укрепление его дружбы с Флоренским. Во многом это были совершенно различные люди. Отец многим был обязан Леонтьеву, любил его как человека большого ума и сердца, был близок к его идеям исторического пессимизма, но он никогда не был леонтьевцем. Знаменитый византизм Леонтьева, его теория «замораживания форм» для удержания неумолимо исчезающей из них жизни есть «дорога в никуда», и она была по природе чужда моему отцу. Ему было ясно, что спастись от умирания истории сохранением ее внешних живописных форм, этим «формализмом от отчаяния», конечно, невозможно. Леонтьев силен только в своей негативности, и никакого здания на нем не построишь. В отце же, при всей его, казалось бы, ограниченности по сравнению с блестящим Леонтьевым, был тот духовный онтологизм, та изнутри созидающая сила, которая и в истории и в личной жизни нужнее всего. Он не был ни «обличителем», ни «пророком», он был только строителем — себя, других, дома Божия. И вот мне кажется, что именно этот дар созидания и притягивал к нему Флоренского и роднил их. Отец Павел не любил то, что он называл религиозной публицистикой (Бердяев и некоторые другие писатели), за ее чисто журнальную легкость трактовки и построения трудных и антиномичных религиозных тем. В нем была глубина какого-то молчания, скорее в молчании была его сила. Когда в 1914 году вышла его большая книга, она, конечно, помогла отцу освободиться от гнета разочарования в судьбе русского народа. Стены Успенского собора в Лавре имеют больше метра толщины. Внутри круга мышления Флоренского люди ощутили себя в такой же безопасности, как за такими стенами. Он, как первохристианский пастырь Ерм, призвал к построению «Башни Церкви», «Столпа и Утверждения Истины». За его учеными словами всегда ощущалась простая и понятная сила, созидающая жизнь, сила, ведущая в Жизнь вечную. Эта сила, конечно, влекла к себе моего отца и многому учила, чему не мог его научить византизм Леонтьева, бесплодный по своей природе. Строительство Дома Божия никогда не прекратится, и в этом деле нет места ни отчаянию, ни тоске.

Леонтьев ведет к апокалиптике страха и неприязни. Но есть еще апокалиптика радости и любви, и только она есть апокалиптика истинно христианская. Прав был кто-то, назвавший Апокалипсис посланием радости и утешения. Флоренский в своей книге писал: «По мере приближения конца истории являются на маковках Святой Церкви новые, доселе почти невиданные розовые лучи грядущего дня Немеркнувшего».

Только на такое восприятие Конца как Начала могла всем сердцем откликнуться созидающая вера моего отца.

И умирал он в полном сознании своей смерти именно как момента перехода в «иногое бытия вечного начало». За три дня до смерти, лежал в жару, он попросил одну из дочерей

почитать ему Псалтирь. «Какую кафизму читать?» — спросила она. «Открой наугад». Она открыла, и, когда прочла до конца, он сказал: «А знаешь, Ниночка, это ведь ты на погребение мне прочла». Это была 17-я кафизма — «блажени непорочные в пути», читаемая на заупокойных службах. Он умер под утро 15/2 октября 1918 года, а накануне вечером причастился и сам громко и внятно произнес всю молитву «Ныне отпускаеши раба Твоего, Владыко», глядя неотступно на икону Казанской Божией Матери, писанную в Шамордине, рядом с Оптиной, там, где была его юность у ног старца Амвросия. После этого каждого из своих детей благословил, с каждым простился, каждому улыбнулся. Я помню, был в соседней комнате, и туда вошла мама и сказала: «Идите, он хочет проститься».

Так надо умирать. И не потому ли его похороны были для нас не то горем, не то праздником?

О нем я мог бы написать еще много, — вот лежат сейчас передо мной пожелтевшие листы его «стихотворений в прозе», его негодующие письма о Вл. Соловьеве, планы его бесед и проповедей, планы и черновики книг: «Записки тюремного священника», «Земля и государство», «Женщина», — выписки, письма к родителям, но все это нужно ли? В отношении внешних фактов главное я, кажется, сказал. Что касается внутреннего, то — «как сердцу высказать себя?». Как передать его служение пасхальной заутрени, когда он читал слово Златоуста: «Где твое, смерти, жало! где твоя, аде, победа!»

Лет через пять после его смерти, когда у меня в душе уже оскудевало христианство, я, помню, увидел сон, все опять ожививший, как дождь засыхающую землю. Я стою в толпе на паперти нашей Николо-Плотниковской церкви в пасхальную ночь. Отец, освещенный свечами народа, стоит в центре толпы и запевает ирмос пасхального канона: «Утреннеем утреннюю глубину...»

Проснувшись, я вспомнил слова: «И на сердце человеку не взыдоша, что приготовил Бог любящим Его».

На этом надо было бы мне и кончать свои воспоминания о нем, но как-то не хочется оторваться. Пока пишу, он живой и близкий где-то рядом, и все хочется, как в детстве, поцеловать его сухую родную руку. Мы все, дети, всегда говорили ему «вы», но любили его ужасно.

Когда-то, лет двадцать пять назад, я попытался написать его портрет в стихах.

Чело высокое Черты
С какой-то строгостью особой.
Славянофильские мечты,
Очищенные перед гробом.
 Покой и честь не дороги,
 Чтоб не кривить ни тем, ни этим.
Я берегу в ушах шаги
В холодноватом кабинете.
Сухая, твердая рука.
Шуршит страница осторожно.
В себе самом сгорят тревожно
И утомленье и тоска
 И вот глаза глядят в глаза
 С такой отрадой и печалью
 И знаешь в них — за серой далью —
 Уже давно прошла гроза.
И начиная на краю
«Волной морской» исход из муки,
Я вспомню там любовь твою
И к небу поднятые руки.

1956. Троицкая суббота.

IV

Таинство всего бытия Церкви, обнимающее все ее таинства, есть осуществление мира Божественного в мире земном, Царства Божия среди тления. Поэтому священник есть священнодействователь святилища, в котором для него вся полнота Жизни, вся его мудрость, вся правда и вся красота. Он знает всем своим умом и сердцем, что здесь, в Церкви, он нашел все, что кончились его богоискания, что он уже не искатель Жизни, а ее теург.

Так мне думается о священстве, о котором я мечтал всю свою жизнь и которого никогда не достигну. «И рад бы в рай, да грехи не пускают».

Вечность искания есть тоже болезнь души, ее рудинское бессилие достичь великого и смиренного творчества жизни. Богоискательство может быть очень убедительным, но только до известного срока.

Я хочу записать все, что я помню о С. Н. Дурылине³⁷. Вся религиозная сила его была тогда, когда он был только богоискателем, а поэтому когда он, все продолжая быть им, вдруг принял священство, он постепенно стал отходить и от того и от другого. Если золотоискатель, стоя над открытой золотой россыпью, все еще где-то ее ищет, то это признак слепоты или безумия. Как сказал мне когда-то один старец: «Я стою перед вами с чашей холодной воды, а вы передо мной машете руками и кричите, что умираете от жажды».

В 1920 году, вскоре после своего посвящения, С. Н. писал мне: «У меня кончилась жизнь и началось житие».

У нас, маловерных, есть одна тайная мысль: в Церкви, конечно, хорошо, но как же все-таки быть с Диккенсом и Рафаэлем, Пушкиным и Шопеном? Ведь, кажется, их нельзя взять с собой? И не только их, но и Эдгара По и Гогена, Полонского и Клода Фарера, Иннокентия Анненского и Эврипида. От многих людей остался в их книгах или музыкальных созвучиях точно какой-то огонь под пеплом, обжигающий душу. «Душа стесняется лирическим волнением».

Можно ли сохранить все эти книги, живя целиком в Церкви? Или же здесь «кончилась жизнь и началось житие»?

Незадолго до своего священства (наверное, в 1919 году) С. Н. как-то мне сказал: «Нельзя на одной полке держать Пушкина и Макария Великого». У С. Н. был большой талант художественной прозы, я помню его чисто лесковские рассказы, но я помню и то, как в те же годы он говорил: «Мне нельзя писать. У писателя, как сказал Лесков, должны быть все страсти в сборе». И в обоих этих высказываниях звучала мне тогда его сокровенная грусть: Макарий Великий велик, но как же я буду без Пушкина? И вот он, очевидно, решил снять с полки Пушкина, не сняв его с полки души, он решил, что теперь ему будет хорошо, что начнется его «житие», что-то такое, что переживается, а не только пишется по-церковнославянски,— некая тишина отказавшейся от самого дорогого и любимого и все этим отказом приобретшей и умиротворенной души.

Для целиком живущего в вере, наверное, нет разрыва между Церковью и светом мира: и Шопен и Пушкин для него «только отзвук искаженный торжествующих созвучий»³⁸. Тем, что он целиком отказывается от зла мира, от всего греха мира, он отказывается не от «отзвуков», хотя бы искаженных, а от всего того, что, обычно сопутствуя отзвукам, мешает слушать всю полноту торжествующих созвучий. Ни истина, ни красота не разрываются в вере, но всякая искра света на темных тропинках мира воспринимается ею как ответ все того же великого Света, у престола которого она непрестанно стоит. Человек, полный веры, наверное, ничем не жертвует, отходя от мира с тайным вздохом о своей жертве, так как, наоборот, он все приобретает: он становится теперь у самых истоков музыки, слова и красок.

Если священство есть не обретение «сокровища, скрытого в поле», а некая «жертва», то, конечно, тоска о пожертвованном будет неисцелима и воля в конце концов не выдержит завязанного ею узла. Так я воспринимаю вступление С. Н. в священство и его уход из него.

Помню, что в то далекое время, когда он вступал на этот путь, он не один раз говорил мне эту строку стихов, кажется, З. Гиппиус:

Покой и тишь во мне.
Я волей круг свой сузил...
Но плачу я во сне,
Когда слабеет узел!

Все вступление в священство сопровождалось для С. Н. его «плачем во сне» о пожертвованных им отзвуках и ответах мира.

Я узнал близко С. Н. ранней весной 1917 года, когда он жил один в маленькой комнате, во дворе серых кирпичных корпусов в Обыденском переулке. На небольшой полке среди других книг уже стояли его вышедшие работы: «Вагнер и Россия», «Церковь Невидимого Града», «Цветочки Франциска Ассизского» (его предисловие), «Начальник Тишины», «О церковном соборе», статья о Лермонтове и что-то еще. Икона была не в углу, а над столом: старинное, шитое бисером «Благовещение». Над кроватью висела одна-единственная картина, акварель, кажется, Машкова: Шатов провожает ночью

Ставрогина. Это была бедная лестница двухэтажного провинциального дома, наверху на площадке стоит со свечой Шатов, а Ставрогин спускается в ночь. В этой небольшой акварели был весь «золотой век» русского богоискательства и его великая правда.

Тут, на кровати. С. Н. и проводил большую часть времени, читал, а иногда и писал, сидя на ней, беря книги из большой стопки на стуле, стоящем рядом. Писал он, со свойственной ему стремительностью и легкостью, сразу множество работ. Отчетливо помню, что одновременно писались, или дописывались, или исправлялись рассказы, стихи, работа о древней иконе, о Лермонтове, о церковном соборе, путевые записки о поездке в Олонецкий край, какие-то заметки о Розанове и Леонтьеве и что-то еще. Не знаю, писал ли он тогда о Гаршине и Лескове, но разговор об этом был.

На верхнем этаже книжной башни у кровати лежал «Свет Невечерний» Булгакова, а из других этажей можно было вытащить «Размышление о Гёте» Э. Метнера, «По звездам» В. Иванова, «Из книги невидимой» А. Добролюбова, «Русский Архив» Бартенева, два тома Ив. Киреевского, «Богословский вестник», романы Клода Фарера, «Кипарисовый ларец» Иннокентия Анненского, какие-то книги о Гоголе, журнал «Весы» и «Аполлон» и даже издание мистических темных рисунков Рувейра.

Я, придя вечером, часто оставался ночевать, спать ложился на полу на каком-то старом пальто, и тогда начинались «русские ночи» Одоевского: долгие разговоры о путях к Богу и от Бога, все те же старые разговоры шатовской мансарды, хотя и без Ставрогина.

От долгого ночного бодрствования часто хотелось есть, но еды в гостях у С. Н. тогда не полагалось: он забывал о ней, да к тому какая могла быть еда в те голодные годы почти сорок лет назад? Я не знаю, чем питался С. Н. днем, но вечером он обычно ничего не ел, а выпивал только стакан или два вечно остывающего в забвении чая. Впрочем, когда мой голод бывал слишком очевидным (мне было тогда семнадцать-восемнадцать лет), он, весело улыбаясь и в то же время как-то почтительно, вытаскивал из-под кровати деревянный ящик с какой-то сушеной рыбкой, привезенной им из странствований по Олонецкому краю, где он искал народные говоры и колдунские ритуалы, старые леса, «края непуганых птиц», старые деревянные церкви допетровской эпохи. Он жил как монах, и то, что раза два было так, что перед нами на столе стояла бутылка красного кислого вина и он мне говорил стихи Брюсова, не ослабляло, а еще подчеркивало это восприятие его жизни. Это было вольное монашество в миру, с оставлением в келье всего великого, хотя бы и темного волнения мира.

У него была одна любимая тоскующая мазурка Шопена, он часто напевал мне ее начало, и до сих пор — через сорок лет, — когда я ее слышу, я точно вновь у него в Обыденском переулке.

Помню, как после долгого и восторженного рассказа об Оптиной, где он только что был, он стал говорить об опере «Русалка». «Это истинное чудо!» — сказал он. Или вдруг после молчания, когда он, лежа на кровати, полузакрыв глаза, казалось, был весь в ином духовном мире, он начинал читать мне отрывки из его любимой вещи Клода Фарера «В чаду опиума». Это не было дешевое любопытство зла, так как для него и здесь был «иной мир». Это было, или так ему (и мне) казалось, какое-то соучастие в тоске этого зла по добру. Его рассказ «Жалостник», где им дана вольная интерпретация слов св. Исаака Сирина о молитве за демонов, был уже напечатан в «Русской мысли». Образ тоскующего лермонтовского Демона был тогда его любимый поэтический образ. Но, впрочем, может быть, тут было и какое-то особое русское и тоже тоскующее любопытство.

О, бурь заснувших не буди,
Под ними хаос шевелится³⁹

А может быть, все-таки слегка разбудить? Это, кажется, Достоевский сказал: «Слишком широк русский человек, — я бы сузил». Когда ткань чрезмерно расширяется, она утончается, а «где тонко, там и рвется».

«Заснувшие бури» просыпались вечером, когда подбор материалов для работы по гносеологии русской иконы — окончен, мысленная и безнадежная полемика о том, прав ли был Гоголь, сжигая «Мертвые души», — утомила, а впереди — еще долгая русская ночь!

Часов однообразный бой.
Томительная ночи повесть⁴⁰

С. Н. очень любил ночные стихи и Тютчева и Пушкина: «Когда для смертного умолкнет шумный день», «Бессонницу».

Парки бабье лепетанье.
Жизни мышья беготня,
Что тревожишь ты меня?⁴¹

Кажется, в 1918 году он написал рассказ, который так и назывался «Мышь беготня». Он посвятил его мне, потому что именно с этой, мышьиной, стороны я был ему тогда больше близок.

Но вот ударили к ранней обедне у Илии Обыденного⁴². Уверенно, непобедимо, всегда спокойно зазвучали колокола, и темный хаос образов, тоски и наваждений исчез в лучах света, как

Миф, порожденный грехами.
Призрак, летающий ночью над нами.
Тающий в блеске зари. (Гл. Сазонов)⁴³

Опять — «победа, победившая мир, вера наша!». Все ночное теперь воспринимается уже не в остроте притягивающего «познания добра и зла», а как этап борьбы. Я помню, что С. Н. любил эту строфу стихотворения Эллиса⁴⁴, его соучастника в «Мусагете»:

Белую розу из пасти дракона
Вырвем средь звона мечей.
Рыцарю дар — золотая корона
Вся из лучей!

Борьба духа есть постоянный уход от постоянно подступающего зла, в какой бы врубелевский маскарад это демонское зло ни наряжалось. Уход и есть уход, движение по пути, странничество, и в этом своем смысле духовное странничество, т. е. богоискательство, присуще всем этапам веры. Оно есть побег от зла.

В один из тех годов С. Н. написал мне большое автобиографическое стихотворение, которое начиналось так:

Что помню я из детства? — Сад цветущий
Да белых яблонь первый снег
И тихий звон к вечерне, зов, зовущий
Младенческую душу на побег.

А еще как-то вечером он взял с полки свою книжку «Вагнер и Россия» и на обороте обложки вместо обычного «от автора» написал мне экспромтом другие стихи, в которых были такие строки:

Тебе — что скажу, что помыслю?
Я дням своим воли не числю,
Я путник в бездолье равнин.

Русские путники всегда искали потонувший в озере Китеж, Церковь Невидимого Града, где уже нет ночи, а всегда благовест и служение Богу. Благо тем, кто несет в себе до конца эту невидимую Церковь! Разве не про них Мельников-Печерский нашел где-то такие слова: «Хранит (их) Господь и покрывает своею невидимою дланью, и живут они невидимо в Невидимом Граде. Возлюбили они Бога всем сердцем своим и всею душой и всем помышлением, потому и Бог возлюбил их, яко мати любимое чадо».

Но Мельников-Печерский говорил это о простых мужиках, которые молча шли к своему Китежу, оттолкнувшись без особой тонкости от всей темноты мира. Мы на это плохо способны, слишком «тонкие», или попросту слабые в духовной борьбе. Одно дело писать о Китеже, а другое дело идти к нему.

У С. Н. была одна черта: казалось, что он находится в каком-то плену своего собственного большого и стремительного литературного таланта. Острота восприятия не уравновешивалась в нем молчанием внутреннего созревания, и он спешил говорить и писать, убеждать и доказывать.

Кроме того, наряду со всей остротой его познания у него была какая-то точно мечтательность, нереалистичность. То, что надо было с великим, терпеливым трудом созидать в своем сердце — святыню Невидимой Церкви, — он часто пытался поспешно найти или в себе самом, еще не созревшем, или в окружающей его религиозной действительности. Его рассказы о поездках в Оптину были полны такого дифирамба, что иногда невольно им не вполне верилось: не так-то легко Китежу воплотиться даже в Оптиной. Помню, однажды меня спросил К. Н. Игумнов⁴⁵: «Скажите мне откровенно — можно ли вполне верить тому, что пишет и говорит об Оптиной С. Н.?» Очевидно, в нем был какой-то мистический гиперболизм, который давал неверный тон исполнения даже и совершенно верной музыкальной вещи. Если вместо слова «жизнь»

говорить «житие», то от этого жизнь еще житием не станет. Этот неверный тон присущ многим, и некоторые замечают его в религиозной живописи Нестерова, с которым, кстати сказать, С. Н. был очень близок. Вот почему когда он молчал, не аполлогетировал, не убеждал, а только изредка, «в тихий час», в минуту сердечного письма, в одинокой молитве говорил переболевшие слова или только смотрел из-под очков своим внимательным, теплым взглядом, — тогда была в нем особенная власть, и именно тогда я любил его больше всего. В своей тишине он был из тех редких людей, которые обладают даром открывать людям глаза на солнечные блики на обоях. Ведь бывают минуты, когда в серую мглу комнаты войдет луч солнца и как странника Божия может принять его просветлевшая вдруг душа. Десятки лет одиночества и труда, бесчувствия и греха могут тогда забыться, и в слезах поймешь, что «любовь Божия все покрывает, почему верит, всего надеется» и что «времени уже не будет». Увидеть это — значит вновь почувствовать путь Божий! С. Н. был странник, и поэтою именно он мог иногда гораздо лучше других открывать нам глаза на этот вечно теряемый и вновь находимый путь.

Вспоминается, с какой любовью и знанием дела он открывал нам смысл древней иконы. Икона не есть портрет, это видение святости, видение святого тела тех, кто озарен до конца благодатью. Лицо, озаренное Невечерним Светом, дается не в анатомической записи тленной плоти, а в молитвенном прозрении его еще непостижимой славы.

Вот почему в истинной, т. е. древней иконе свои слова, свои краски и линии, свои законы, нам, тленным, непонятны. Но древняя икона открывает не только глубину, но и широту христианства.

Однажды летом 1917 года С. Н. повел своих друзей в Кремль, показывать иконопись Благовещенского собора. Там есть большая фреска «О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь». В центре ее Богоматерь, а кругом вся вселенная и мыслящая и произрастающая, и люди, и горы, и цветы, и звери, и святые люди, и простые, и христиане, и древнегреческие философы — вся радующаяся тварь.

Кажется, в 1918 году произошло открытие рублевской «Троицы» в Лавре. Я был тогда там с С. Н. Перед нею горели золотые годуновские лампы, и в их ответах, когда совершалась церковная служба, икона светилась немерцающим светом. Я, помню, спросил С. Н., что он чувствует, глядя на нее, и он ответил: «Почти страх».

Любовь С. Н. к моему отцу была большая, я помню его горькие слезы после смерти отца, и эта любовь была взаимной.

Мне кажется, что они познакомились не раньше 1914 года ⁴⁶, но уже в 1915 году отец в завещательном письме оставляет ему всю свою работу над изданием К. Леонтьева: это был знак полного сердечного доверия. Я не думаю, чтобы в С. Н. было когда-нибудь, даже в те годы — семнадцатый, восемнадцатый и девятнадцатый, — о которых я пишу, что-нибудь от византизма Леонтьева, хотя занимался он им тогда усердно и в те времена, наверное, считал себя леонтьевцем. Любовь его к моему отцу имела другие причины: он видел в нем духовного отца, который сочетал большую религиозную жизнь с любимой С. Н. русской культурой XIX века. Через него он прикасался Оптиной еще 80-х годов прошлого века, Оптиной отца Амвросия, у которого были и Достоевский и Толстой.

Отец начал писать еще при последнем славянофиле — И. Аксакове, — хотя, несмотря на это, так и не сделался «писателем», а всегда был просто священником. Он никогда не выступал в Религиозно-философском обществе, где С. Н. был секретарем, кроме одного юбилейного вечера памяти Леонтьева в 1916 году, но его религиозная философия была для С. Н. очевидной и близкой. Это была философия религиозной России, любовь к которой С. Н. сливал с любовью к Богу.

Весной 1917 года он окончил свою речь о России в богословской аудитории Московского университета своими стихами. Я помню последние строки:

. Истрадать себя тютчевской мукой,
Мертвых душ затаить в себе смех.
По Владимирке версты измерить,
Все познать, все простить —
Это значит: в Бога поверить!
Это значит: Русь полюбить!

Не кончивший даже гимназии, он сделался глубоким ученым в области русской литературы и театра, но, конечно, еще за несколько десятков лет до получения им почетного докторского звания ⁴⁷ он уже «все познал» и именно тогда — до священства — «все простил».

Я помню его маленькую стремительную фигуру на Арбате в 20-х годах: он идет в черном подряснике с монашеским поясом и скуфейке. Тень какой-то рассеянности и в то же время тяжелой заботы была на его лице, точно «все простить» ему уже было трудно.

Летом 1945 года я видел его в последний раз. Это было на его даче в Болшеве, «которую мне построила Анна Каренина», шутливо сказал он А. А. Сабурову, намекая на свою работу по литературной постановке в Малом театре.

Наше свидание (как и предыдущее — лет за десять перед этим) было свиданием только старых знакомых: нельзя было касаться дружбы в Обыденском переулке. Наконец он повел меня обедать. И вот когда мы проходили на террасу через какую-то комнату вроде гостиной, он вдруг меня остановил и, показав на большой портрет, закрытый белым чехлом, сказал: «Ты сейчас увидишь то, что тебе будет интересно». На портрете был С. Н. еще молодой, в черном подряснике, с тяжелым взглядом потухших глаз. «Это писал Нестеров. Я тогда уже не носил рясы, но Михаил Васильевич заставил меня еще раз ее надеть и позировать в ней. Он назвал эту работу „Тяжелые думы“». После этих слов С. Н. опять натянул, точно саван, белый чехол, и мы пошли на террасу.

Эпоха жизни С. Н. после ухода из священства мне почти совсем неизвестна, и я ничего не могу о ней писать. Да и в годы священства я его мало знал. Я все еще живу с ним до 1920 года. Когда изредка я встречал его священником после 1920 года, он был для меня гораздо меньше духовным отцом, чем в эпоху «Кипарисового ларца» и сушеной рыбки из Олонецкого края.

Там же висело бисерное «Благовещение», и, глядя на него, он учил меня тогда говорить: «Радуйся, Ею же радость воссияет».

Очевидно, сохранить веру, уже живую и трепетную, еще труднее, чем ее приобрести. Мне кажется, что С. Н. принял на себя в священстве не свое бремя и под ним изнемог. Как сказал Апостол: «До чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить» (Фил., 3,16). Нельзя жить выше своей меры, выше того, чего достигла душа. Он мог бы быть до конца «очарованным странником», которых так любила русская земля. Каждому свое, и для него, я думаю, даже больше «свое» было бы быть не священником, а «болотным попиком» Блока.

И тихонько он молится,
Приподняв свою шляпу.
За стебель, что клонится,
За большую звериную лапу
И за Римского папу

Некоторые «отсветы мира» светят сильнее некоторых богословских диссертаций.

Недавно я узнал, что одна девушка молится Богу за упокой Диккенса — так благодарно ему ее сердце.

Тут мне хочется кстати упомянуть о Николае Николаевиче Прейсе, человеке, который молился за многих писателей. Андрей Белый где-то пишет, что в его чемодане, когда он путешествовал по Европе, всегда были три книги: «Критика чистого разума», томик Ницше и Евангелие. Но чемоданы А. Белого как человека состоятельного, наверное, носили носильщики или швейцары европейских отелей, а нищий чужак Прейс свою книжную котомку всегда таскал на себе. Это был весьма интересный человек, и я не представляю себе Москвы 1917—1918 годов без его небольшой сутуловатой фигуры в черном пальто или длинном черном сюртуке, в золотых очках и какой-то маленькой старой фетровой шапочке. Легкое бремя Христово он носил с собой всегда и везде, в черной клеенке, опоясанной двумя ремнями с деревянной ручкой, — совершенно так же, как мы, гимназисты, носили тогда свои учебники. В этой сумке был Новый завет, несколько книг св. отцов и поэты. Какие поэты, я не смогу сказать точно, но подлинно знаю, что среди них был и Фет. Знаю также, что с годами удельный вес поэтов в сумке уменьшался. Но важно не это, важно было само явление Прейса, живой факт того, как человек веры любит мир, эту теплую землю человечества, настолько любит, чтобы собрать ее в свою котомку как драгоценное бремя страдания и любви. В этом был символ; но этим символом был живой человек, появляющийся среди нас (я часто видел его с С. Н.) и нас иногда не замечавший, всегда погруженный в свою тревожную думу, всегда куда-то спешащий — то в церковь читать шестопсалмие, то на философский диспут в Мертвый переулок⁴⁸ (слушать, конечно, а не выступать), то в Данилов монастырь на могилу Гоголя.

И столетья прошли,
И продумал я думу столетий.

Я у самого края земли.
Одинокий и мудрый, как дети.

(Блок)

В своей любви он старался сохранить перед Богом все Его «ответы», все сокровища мира, ибо «так возлюбил Бог мир».

С. Н. не обладал этой детскостью веры, хотя больше всего к ней стремился.

В 1934 или 1935 году, т. е. уже много лет спустя после ухода С. Н. из священства, я написал ему письмо в стихах. Даже в слабых стихах иногда как-то легче преодолеть трудности темы.

Я вспоминаю двор угрюмый
И камень грязный у перил,
Там, где над домом и над шумом
Московский вечер проходил.
Усталость сердца, как вериги,
От непосильных дум и снов.
И глядя в сумрак, меркли книги,
Храня палящий пепел слов.
И в той же комнате, за шторой,
Где уходил Ставрогин в ночь,
Мы про калужские просторы
Мечты не смели превозмочь.
Иль сердце верило наверно?
Но ведь тогда ж, как вещей сон,
Явились Светом Невечерним
Нам краски тихие икон

Прости меня, что я словами
Тревожу в сердце след огня...
Томит меня опять ночами
Все та же мышья беготня.

«Калужские просторы» — это, конечно, Оптина. Там было что-то еще, пишу сейчас по памяти, но смысл был один: призыв к до-священническому светлому и свободному другу. Посылая письмо, я мало на что рассчитывал: уже лежали между нами годы одиночества на разных путях. Кстати, сейчас вспомнил, как однажды С. Н., уже будучи священником, сказал мне как-то: «Сейчас время одинокое». И вот пришел ответ. Он писал примерно так: «Спасибо тебе. Я получил письмо, когда лежал едва живой в сердечном припадке, и я читал его в слезах». Тут же были выписаны строки Батюшкова:

О память сердца, ты сильней
Рассудка памяти печальной!

Но переписка и общение дружбы между нами так и не восстановились.

Говорят, что перед смертью он много плакал, что он чувствовал ее приближение и сказал своей жене: «Можешь хоронить меня или как священника, или как мирянина, мне все равно», как бы заявляя этим, что он не отрекался от священства, а только отошел от него.

Передавали мне, что и епископ Стефан (Никитин)⁴⁹, знавший его лично, говорил, что он никогда и нигде не отрекался от Церкви и не снимал сана.

Писать о нем мне трудно, потому что его болезни — мои еще больше, или как он мне сам написал в этом же письме: «На Страшном суде мы с тобой будем расплачиваться по одному векселю».

Когда-то, кажется, в 20-х годах, он читал в Московском богословском институте «курс аскетики», а жил он тогда в келии башни Боголюбской часовни у Варварских ворот. Мне говорил один человек, опытно и до конца жизни прошедший аскетическим путем, что когда он в этот период пришел к нему, то увидел действительно монаха-мыслителя, несущего силу и тишину.

Но «курс аскетики», т. е. учение о практике христианского пути, имеет одну особенность: если за него браться, то по этому курсу надо и идти, хоть спотыкаясь, всю долгую жизнь. Это не «Размышление о Фаусте», закончив которое можно испортить существование своим ближним или окунуться в иной вид слепоты и самодовольства.

Вот почему чем ближе ко мне срок расплаты по векселю, тем мне все страшнее жить.

V

Милому Андрею Дмитриевичу с благодарностью за тепло дружеской поддержки — самое нужное в мире.

В одном своем автобиографическом рассказе С. Н. пишет: «Я хотел бы умирать, слушая, как через открытую форточку доносится благовест».

Если человек, так возлюбивший Церковь, так понявший всю ее историческую красоту и правду, все же от нее отходит, то не налагает ли это на нас, любящих его и «дающих ему последнее целование», обязательство хоть сколько-нибудь понять, в чем же все-таки то бремя, которого не выдержали его плечи? Что его смертельно испугало в Церкви?

Объяснение не уменьшает его ответственности, но оно может помочь другим людям преодолеть ту же скорбь на тех же путях.

Он увидел в Церкви неверующих под видом верующих и решил, что дело Христово не удалось. Это лучше пояснить не рассуждениями, а тоже воспоминаниями.

Лет двадцать пять тому назад я жил в провинции в доме одного бывшего обер-кондуктора. Уйдя в отставку, он мирно жил со своей старухой, сам тоже будучи стар, хотя типичные обер-кондукторские усы дореволюционного происхождения еще молодецки топорщились. Человек он был весьма благочестивый, еженедельно ходил в церковь и ежегодно говел. Однажды мы сидели с ним за чаем и беседовали. Сначала, помню, разговор шел о различных видах сбора «дани» старозаветными ревизорами с кондукторской бригады в виде, так сказать, сливок с заячьего молока. Дедка, как я его тогда называл, с особым восхищением рассказывал об одном ревизоре, пользовавшемся таким способом: после обхода вагонов ревизор шел в купе к оберу и ложился спать, отвернувшись к стенке и поставив фуражку на противоположную лавку нутром кверху. Через некоторое время входил на цыпочках обер и клал в фуражку собранную с бригады дань. Еще через некоторое время он слегка отодвигал дверь и смотрел: если фуражка на месте — значит, мало.

Пили мы чай долго, и постепенно разговор перешел на серьезное — об умерших близких. И вот когда я сказал, что придет день, когда мы их снова встретим, я увидел, как в искреннем изумлении поднялись мохнатые дедкины брови: «Это вы как? Или всерьез? Ну, это все поповские сказки. Умрем — и шабаш, и все кончено! Ничего там не будет».

Очевидно, для неверия можно и не быть Базаровым, а достаточно быть обер-кондуктором и при этом ежегодно говеть. Не наука нужна для неверия, а только холод сердца. Я много раз в жизни встречался с подобными фактами «неверия верующих», но каждый раз эти факты потрясают.

В конце XIX века было такое дело. Деревенская девочка возвращалась после пасхальных каникул из дома в школу и несла с собой немного денег, корзиночку с домашними пирогами и несколько штук крашенных яиц. На дороге ее убили с целью ограбления. Убийца был тут же пойман, денег у него уже не нашли, пироги были уже съедены, но яйца остались. На случайный вопрос следователя, почему он не съел яйца, убийца ответил: «Как я мог? Ведь день был постный».

За спиной этого человека ясно видны звенья длинной цепи (почему-то мне хочется сказать «византийской»), уходящей в века. Оказывается, что можно числиться в Церкви, не веря в нее, можно считать себя православным, не зная Христа, можно верить в посты и в панихиду и не верить в загробную жизнь и в любовь.

Очень это, конечно, страшное дело, но мне представляется не менее страшным тот факт, что высоко над этими людьми, пропившими свою веру в ночных кабаках и на железнодорожных вокзалах дореволюционной России, стояли люди часто вполне порядочные, обладающие знанием и властью, саном и кругозором, которые все это величайшее духовное неблагополучие Церкви тщательно замазывали каким-то особым елеем словесной веры: «На Шипке древнего православия все спокойно». Ведь и дедка, наверное, мог прочесть «символ веры», а этот постящийся человек на дороге твердо отличал среду от четверга.

Что может означать этот факт для верящего в Церковь, но «немощего в вере», по Апостолу, каким был С. Н.? Уж не померещится ли ему, что на Тайной вечери Церкви сидит не один Иуда среди одиннадцати святых и любящих учеников, а двенадцать не верующих и не любящих иуд? Уж не покажется ли ему, что не удалось то единственное и величайшее дело, для которого приходил Христос, — соиздание на земле из любящих

Его святой Церкви, Непорочной Невесты Божией? Что вместо нее в истории, за стеной византийского устава, существует некая область неверия и нелюбви, область внешности без содержания, лицемерия и тщеславной пустоты, оцепенения комаров и поглощения верблюдов, холода и равнодушия души? Это всего только «призрак Церкви», но этот «призрак», или ее «двойник», совершает в истории страшное дело провокации: создает у людей впечатление, что иной Церкви, кроме него, не существует, что нет на земле больше Христовой правды, что нет на земле больше тела Христова, «плащаницей обвитого». Нестеров как-то сказал о С. Н.: «Что всё осуждаете его отход от Церкви! Если хрупкую вазу бить молотком, она обязательно разобьется». Таким молотком был для «хрупкого» С. Н. призрак Церкви. Обман действовал всегда, но более крепкие люди, противодействуя ему, всегда искали и всегда находили истинную Церковь: шли в глухие монастыри и леса, к старцам и юродивым, к Амвросию Оптинскому или Иоанну Кронштадтскому, к людям не только правильной веры, но и праведной жизни. Они-то и есть истинная Церковь, живущая и в городах и в пустынях, а всякое зло людей, только причисляющих себя к ней, есть, как говорил о. Валентин Свенцицкий⁵⁰, зло или грех не Церкви, а против Церкви.

Но здесь есть один «секрет». Для того чтобы видеть в истории и хранить в себе как непорочную святыню истинную Церковь, неодолимую и от тех врагов ее, которые внутри ее исторических стен, нужна не только любовь к ней, но и всецелое покаяние в себе самом, в том числе и в этом самом грехе древнего фарисейства — неверия и нелюбви. «Я-то — лучше ли дедки? Не убивал ли я любовь Христову?» Только тогда яд «двойника» Церкви перестает действовать, так как Церковь есть неодолимость любви при постоянстве покаяния.

Был весенний вечер в Москве. Тогда шла первая мировая война. В газетах печатались сообщения о «новых победах русского оружия» и там же, тем же шрифтом, о новой постановке оперы «Чио-Чио-Сан». В самом начале Страстной недели отец служил всенощную и после «Се Жених грядет в полночи» читал Евангелие. «Горе вам, книжники и фарисеи. лицемеры, что уподобляетесь гробам окрашенным, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты...» И еще раз и еще раз «горе». Это горчайшее горе Евангелия все нарастает, все ширится и, мне кажется, звучит уже на весь мир. Я хорошо знаю своего отца и слышу в его голосе слезы, и страх, и великую тревогу, и страшную правду о том, что все это он читает про себя, про нас, про людей Церкви. «Дополняйте же меру отцов наших...» «Горе» стихает, потому что уже все сказано, но не прекращаются слезы о Церкви: «Иерусалиме, Иерусалиме, избивый пророки... колькраты восхотех собрати чада твоя... и не восхотесте... Се, оставляется вам дом ваш пуст...»

Страшно было и так хорошо было это слушать! За окном была весна в арбатских переулках, а здесь — черный бархат риз и тишина Церкви, неодолимой во веки веков.

В память весенних служб отца у меня были такие стихи:

Когда весны капель покажет,
 Что начался Великий пост,
 Ты на божественную стражу
 Шел сердцем тих, душою прот.
 И не сказать теперь словами,
 Как жизнь была с тобой тепла,
 Когда в Четверг Страстной над нами
 Свой счет вели колокола...

Дальше не помню, уж так давно все это было, если считать по календарю. Но хорошо помню: храм, полный народу, огонь и запах свечей и удары колокола по счету прочитанных Евангелий.

Один ли С. Н. не выдержал испытание? Один ли он оказался в «немощи веры»?

В 1921 году я был во второй раз в Оптиной пустыни, на ее закате. Недавно я прочел стихи неизвестного мне автора, начинающиеся так:

Ты, Оптина! Из сумрака лесного,
 Из сумрака сознания моего,
 Благословенная, ты выступаешь снова
 Вся белизна, и свет, и торжество...

С каким непостижимым для нас терпением слушал меня старец отец Анатолий⁵¹, — мне до сих пор стыдно вспомнить тот душевный хлам, которым я загромоздил его

маленькую келью. Он почти не прерывал меня, только изредка вставлял два-три слова, перебирая четки, или вдруг порывисто шел в угол за какой-нибудь книжкой, листочком или просфорой. Это был человек, который все знал про меня еще до того, как я открыл рот, человек, который знал, что он должен взять на себя и мое бремя грехов. Очевидно, это совсем не аллегорическое бремя. Когда я лет через двадцать после этого (и после смерти отца Анатолия) показал его фотографию другому такому же, как он, старцу, никогда его в жизни не видавшему, тот вдруг начал со слезами и волнением целовать лицо на фотографии, воскликнув несколько раз: «Какое страдание! Какое страдание!»... Лицо отца Анатолия и в жизни и на фотографии светилось любовью и тем особым оптимизмом и веселием, которое известно всем посещавшим старцев этого удивительного русского монастыря, но другому старцу было, кроме того, видно, что это — свет воскресения после Голгофы, не замечаемой никем. Я помню, что когда мое посещение отца Анатолия кончилось, он — маленький, в короткой полумантии — вдруг стремительно пошел к двери впереди меня, открыл ее в приемное зальце и пошел туда, подняв лицо к образу Божией Матери со словами: «Пресвятая Богородица, спаси нас!» И такое облегчение и такая отрада были в его восклицании: ведь из духоты непросветленной души он выходил снова на просторы Божии!

Потом я пошел в скит. Дорога туда идет могучей сосновой рощей, сквозь которую (как сказал тот же неизвестный мне поэт)

Розовеют скитские ворота
И белеет хибарка твоя.
Там у входа простой работы —
Стерлись краски и позолота —
С черным враном пророк Илия.

Была середина мая, и в скиту уже распустились цветы. Я ходил по дорожкам, никого не встречая, и это безлюдье меня поразило своей точно предсмертной тишиной. Потом я услышал сердитое бормотанье и увидел Гаврюшу — юродивого, почитаемого старцами, с длинной палкой, в рубашке без пояса, с какими-то котомками на плечах. «Гаврюша,— сказал я,— что мне? Идти в монастырь или жениться?» И тут только, впервые в жизни, я увидел близко грозный взгляд блаженного. «А мне что! Хоть женись, хоть не женись», — в голосе была явная досада. Он пошел дальше по дорожке между цветов, потом вдруг обернулся и прибавил: «А в одном мешке Евангелие с другими книгами нельзя носить».

Мой вопрос был праздный: я тогда был одинаково не готов ни к монашеству, ни к браку. А замечание блаженного шло прямо в цель. Раздвоенность души — это все та же немощь веры, боящейся идти до конца за Христом. «Положивший руку свою на плуг и озирающийся назад неблагонадежен для Царства Божия». Озирающийся назад уже и возвращается назад, уже изменяет любви. И С. Н., и я, и многие из моих современников оказались не готовыми к тому страшному часу истории, в который она тогда нас застала и в который Бог ждал от нас, чтобы мы возлюбили Его больше своего искусства, своего страха, своей лени и своих страстей. Тогда решались какие-то судьбы, определялись какие-то сроки, и можно ли было особенно тогда путать Евангелие с другими книгами?

Вот почему, хотя это было время еще живых оптинских святых и время юности, мне тяжело его вспоминать: слишком велика была вина и хочется скорее миновать эти блоковские годы раздвоения и измен.

Впрочем, а после них — разве не все те же измены? Выходит, что лучше ни на кого свою вину не сваливать, в том числе и на Блока, тем более что как раз им сказаны те слова, которые я хотел бы вспомнить и в смертный час:

Те, кто достойней,— Боже, Боже! —
Да узрят Царствие Твое.⁵²

*(Окончание следует)**

⁵² Комментарии к воспоминаниям С. И. Фуделя будут даны по завершении публикации в № 4.



ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

ПЕРЕПИСКА В. В. РОЗАНОВА И М. О. ГЕРШЕНЗОНА. 1909—1918

Переписка Василия Васильевича Розанова (1856—1919) с Михаилом Осиповичем Гершензоном (1869—1925) никогда прежде не публиковалась. Между тем ее литературное, социальное, культурно-философское значение трудно переоценить. В этой переписке скрестились пути двух выдающихся писателей-мыслителей — на редкость несхожих в своем мировоззрении, идеологических ориентирах, складе личности. Но очевидное несходство не исключало взаимного притяжения и напряженного взаимного интереса, что в конечном итоге и позволило состояться удивительному эпистолярному диалогу. Оба его участника любили и умели писать письма, оба знали, что письмо нередко позволяет сказать больше, чем то возможно в формах «канонической» литературы. И действительно, переписка позволила им ясно выговорить многое из того, что не до конца «выговаривалось» в их книгах, что было скрыто в подтексте их творчества или даже таилось в глубинах подсознания.

Эпистолярный роман Розанова и Гершензона затрагивает много вопросов — от бытовых до эстетических. Но практически сразу же определяется и его главная тема — судьба России и судьба еврейства в России, их соотношение и противопоставление. Обсуждение этой темы порою достигает драматического накала — когда кажется, что вот-вот оборвутся все нити взаимных симпатий, что любые отношения сделаются далее невозможными... И все же оба удерживаются у роковой черты: этот разговор нужен обоим корреспондентам, нужен прежде всего для того, чтобы в диалоге прояснить свою собственную позицию, чтобы, попытавшись понять другого, лучше понять себя. В этом коренное отличие спора Розанова и Гершензона от большинства современных «дискуссий по национальному вопросу».

Судьба свела Розанова и Гершензона в конце апреля 1909 года, когда В. В. Розанов в качестве корреспондента газеты «Новое время» приехал в Москву на торжества по случаю чествования Н. В. Гоголя. М. О. Гершензон подробно описал эту встречу в письме брату, А. О. Гершензону, 1 мая того же года: «В гоголевские дни пришел ко мне В. В. Розанов знакомиться. «Вех» он еще не читал, но полюбил меня, говорит, за Киреевского и, главное, за мой язык, «помещичий». «Когда я уезжал, мне все жена наказывала: пойди познакомься с Г-м». Просидел часа три; тонкость ума и художественность рассказов изумительные. Чудесно рассказывал про Победоносцева, которого хорошо знал. А уходя, расцеловался со мною»¹. Что же привело маститого писателя, имевшего уже большую, хотя и скандальную славу, в дом историка, архивиста, собирателя документов по истории русской интеллигенции?

М. О. Гершензон как раз к этому времени получает серьезную известность. Уже вышли две его монографии: «П. Я. Чаадаев. Жизнь и мышление» и «История молодой России» (обе в 1908 году), уже определился новый круг интересов — история славянофильства в России (не случайно Розанову запомнилась статья Гершензона «И. В. Киреевский», напечатанная в № 8 «Вестника Европы» за 1908 год). Не мог Розанов не знать и о сборнике «Вехи», инициатором которого был Гершензон, написавший статью, вызвавшую яростные нападки левой критики. Загадочным в этой связи

Вступительная статья, публикация и комментарии В ПРОСКУРИНОЙ.

¹ ОР ГБЛ, ф 746, к 20, ед хр 11, л 2—2 об. Обстоятельства знакомства запомнились и Розанову. На подаренной Гершензону книге «Опавшие листья» (СПб. 1913) Розанов сделал следующую надпись. «Дорогому Организатору книг Михаилу Осиповичу Гершензону с памятью «гоголевских дней в Москве». В. Розанов. Не сердитесь за кое-что здесь. Р. С. Все мы слабы и все мы ничего не знаем» (частное собрание). За возможность познакомиться с библиотекой М. О. Гершензона приношу искреннюю благодарность М. А. Чегодаевой

выглядит заявление Розанова о том, что он еще «не читал» «Вехи», поскольку уже 27 апреля 1909 года в «Новом времени» появилась его статья «Мережковский против „Вех“», исполненная комплиментов в адрес веховцев, и в том числе Гершензона. А гоголевские дни в Москве — это 26, 27 и 28 апреля! Видимо, как раз веховская статья Гершензона «Творческое самосознание» явилась ближайшим поводом к визиту Розанова, а его уверения о незнакомстве с «Вехами» — обычная розановская игра². Гершензон представлялся Розанову любопытнейшей психологической загадкой, которую ему хотелось поскорее разгадать. В нем для Розанова было много притягательного³. Во-первых, Гершензон — выходец из кишиневской правоверной еврейской семьи, иудей по своему вероисповеданию; между тем он — уже признанный знаток русского умственного движения XIX века, блестящий мастер слова (язык его Розанов называет помещичьим). Во-вторых, удивлял и обрадовала политическая позиция Гершензона, ярко проявившаяся в «Вехах»: не случайно в своей рецензии Розанов с восторгом писал о появлении шатовых между суровыми революционерами. Облик еврея-«антиреволюционера» для Розанова был удивителен и нов. Наконец, в судьбе Розанова и Гершензона присутствовала схожая семейная драма, замешанная на религиозных ограничениях. Хорошо известно, как болезненно переживал Розанов невозможность официального оформления своего второго брака: первая его жена, А. Сулова, не дала согласия на развод. Около десяти лет состоял и Гершензон в гражданском браке с православной по вере М. Б. Гольденвейзер⁴. Для Розанова, напряженно размышлявшего над проблемой «брак и православие», эта биографическая параллель должна была представляться немаловажной.

Инициатором знакомства выступил Розанов — ему принадлежит и инициатива переписки. Для уяснения вопросов, связанных с еврейским присутствием в России, Гершензон был самым подходящим собеседником. Сразу установившаяся взаимная симпатия, откровенность, наконец, сам масштаб личности адресата служили порукой тому, что разговор выйдет серьезным.

Картина мира, какой она предстает в сочинениях Розанова, кажется на первый взгляд хаотическим порождением неудержимого потока сознания. Однако в действительности все сочинения Розанова — от лирического откровения «Уединенного» до газетного фельетона — связаны с тем, что является стержнем его религиозного мифотворчества. Центральный розановский миф — миф о поле. Именно Пол в его физиологической наготе (не эстетизированный Эрос!) и первобытной деторождающей силе является главным богом Розанова. На сексуальную прочность проверяет он различные религии и нации. Культ Пола, освящение Пола заставляет Розанова усомниться в Христе, охладившем пол, и воскурить фимиам дохристианским религиям, обратиться к древнему семито-хамитическому Востоку. Не Христос, а специфически осмысленный Бог Ветхого Завета, ветхозаветное представление о лоне Авраамовом, освящение патриархального семейного быта привлекали Розанова.

Для мировосприятия Розанова чрезвычайно показательно острое чувство рода, нации. Это сразу же уловил Гершензон, заявив: «...тяжело мне видеть в Вас, что Вы чувствуете национальность, что я считаю звериным чувством». О превалировании в воззрениях Розанова идеи рода, почти полного отсутствия идеи личности многократно писал Н. А. Бердяев⁵. Взаимосвязь рода и пола — самая прямая в философии Розанова. Он восхищается «fall'ичностью», культом плоти, ее сакрализацией в религиозных воззрениях евреев. Он испытывает священный трепет, когда пишет об отношении евреев к любви и деторождению. В статье «О поэзии в Библии» (написана

² Позднее, в «Уединенном», Розанов напишет: «Из авторов «Вех» только двое — Гершензон и Булгаков — не разочаровали меня» (Розанов В. В. Сочинения. М. 1990, стр. 69). О веховской статье Гершензона см.: Проскурина В., «Творческое самосознание Михаила Гершензона». — «Литературное обозрение», 1990, № 9, стр. 93—96.

³ Известно, что Розанова тянуло к личному общению с евреями. Об этом не раз вспоминали современники: так, например, А. Ремизов писал в 1905 году: «Проще всего привести к Розанову еврея. Спросишь по телефону, назовешь — никогда не откажет, какое-то особенное пристрастие и любопытство к евреям» (Ремизов А. Кукха. Розановы письма. Нью-Йорк, 1978, стр. 29).

⁴ Лишь в 1914 году, перейдя в лютеранство, М. Б. Гольденвейзер смогла официально оформить брак с М. О. Гершензоном.

⁵ См.: Бердяев Н. А. Новое религиозное сознание и общественность. СПб. 1907, стр. 161.

в 1909 году Розанов замечал: «...не без основания же единственно у них (у иудеев.— В. П.) эта физиология получила до такой степени бесспорно священный свет, священный вкус, как бы храмовый, церковный аромат»⁶.

Однако в гимны еврейскому роду вторгаются и диссонирующие звуки; в той же статье появляются опасливые строки: «„Мы“... А „остальное“ так себе...»⁷ И неожиданно на фоне библейских опаленных солнцем холмов возникает образ маленькой «богомольной сельской церкви» с ее вечерним звоном и горящими восковыми свечами... Образ этот глубоко символичен для Розанова. Здесь своего рода микро-модель всей его картины мира. Столкновение двух наций, двух родов (еврейского и русского) претворится для Розанова в форму эротического соперничества «сильного самочного племени» евреев (см. его письмо Гершензону, отправленное около 10 сентября 1909 года) и слабого и также женственного племени русских.

Обе нации в понимании Розанова — носительницы женского начала в противовес арийскому корню, грубому, мужскому. В «Библейской поэзии» Розанов пишет: «Весь пресловутый „монотеизм“ евреев есть „едино мужие“, „верность одному мужу“»⁸. В «Опавших листьях» Розанов снова подтвердит: «...бабья натура евреев — моя *idée fixe*»⁹. Женское начало в русских — в исторически сложившейся безропотной «отдаче» всякому иноземцу: «Русские имеют свойство отдаваться беззаветно чужим влияниям... Именно, вот как невеста или жена — мужу...»¹⁰. Две женщины-нации находятся в постоянном соперничестве между собою: не случайно в письме Гершензону от 23 января 1912 года Розанов нарисует выразительный образ «русской бабищи» с ее вечным «задеря подол», а рядом с ней — образ смуглянки-семитки с ее «ручками». Этот мотив эротической силы еврейства, противопоставленный асексуальной и жалостливой любви русских — любви, близкой к сыновним чувствам (симптоматично, что свою жену Розанов постоянно называет другом и мамочкой), — уходит корнями в сложный подсознательный мир писателя, лишь временами выплескиваясь из его глубин. Погруженность Розанова в сферу детских и юношеских «комплексов» очевидна. Показательны два его воспоминания, позволяющие отчасти реконструировать психологический подтекст мотива эротического соперничества, его направленность в сторону «еврейской угрозы». В письме Н. Н. Глубоковскому от 23 мая 1907 года Розанов сообщает следующую деталь о своей первой жене, А. Суловой: «Промаялись 4 года, и (по-видимому, влюбившись в юношу-еврея) кинула меня, жестоко и беспощадно, как она все делала»¹¹. «Спасла» писателя его вторая жена, В. Д. Бутягина. Ее появлением на свет Розанов обязан «какому-то врачу еврею», вылечившему от привычных выкидышей ее мать, А. А. Рудневу, Розановым высоко почитаемую¹². В воспоминаниях Розанова можно уловить глубинную связь темы евреев с темой эроса, как и истоки двойственного отношения к еврейству вообще. Сексуально совершенный род евреев таит, по Розанову, опасность для другого рода — русского. «Русские... конечно, погибнут, подшивая подола у Ривок через 100 лет», — сокрушается Розанов в письме Гершензону от начала января 1913 года. Подсознательные психологические импульсы антиеврейских выпадов Розанова были уловлены Гершензоном — в ответных письмах он пронципально замечал, что в основе антиеврейских писаний Розанова лежит некий сложный «психологический узел».

Письма Розанова, видимо, подтолкнули Гершензона к самосознанию и самоопределению в национальном вопросе. В письме А. Г. Горнфельду от 20 января 1910 года Гершензон нарисовал выразительнейший психологический автопортрет: «Мои писания в области истории русской литературы и общественной мысли, «Вехи», славянофиль и пр. — не занятия «чужим делом»... я чувствую себя человеком и евреем и все это делаю

⁶ Розанов В. В. Библейская поэзия. СПб. 1912, стр. 17.

⁷ Там же, стр. 15.

⁸ Там же, стр. 38.

⁹ Розанов В. В. Опавшие листья. СПб. 1913, стр. 52. При этом очень характерно, что соперничающая женская нация евреев, когда ее требуется «задеть», осмысливается Розановым как «слабая соперница» или «старая». Так, в «Обонятельном и осязательном отношении евреев к крови» Розанов напишет: «Жид в сущности баба (старая), которой ничего мужского „не приличествует“» (СПб. 1914, стр. 25).

¹⁰ Розанов В. В. Сочинения, стр. 328.

¹¹ Цит. по: Богданова Т. А., «Новые материалы к биографии В. В. Розанова (из переписки В. В. Розанова и Н. Н. Глубоковского)» («Проблемы источниковедческого изучения истории русской и советской литературы». Л. 1989, стр. 39).

¹² См. там же, стр. 45.

sub specie humanitatis; но это правда, что я что-то люблю в России, очень крепко и нежно люблю. Последнее время мне не раз приходилось слышать иронию: Гершензон — славянофил. Плоская шутка, но мне надоело... Хочу прибавить. Вот мое непосредственное чувство: я чувствую себя евреем и социально, и субъективно-психологически. Насчет первого я как раз последнее время (постарел, должно быть) часто мучаюсь: не вижу для себя никаких путей к активному участию в еврейских делах. Второе же во мне всегда было очень ясно и теперь только сильнее; я чувствую свою психику совершенно еврейской и совершенно разделяю точку зрения Чуковского, Андрея Белого и пр., т. е. я уверен, что и н т и м н о понять русских я не в состоянии. Поэтому я тщательно избегаю таких тем (в противоположность Айхенвальду, напр.). Вся моя работа в области русской литературы имеет предметом вечные темы — общечеловеческие»¹³.

Гершензон, психологически и социально осозная себя евреем, в философском плане был начисто лишен «родового мышления». Напротив, все его творчество — это своеобразная апология личностей, культ индивидуального устройства души. Национальное всегда воспринималось Гершензоном сквозь призму общечеловеческого. Даже собственная «еврейская психика», о которой он пишет в письме Горнфельду, это отнюдь не националистические «комплексы», а индивидуальные особенности его духа, особые очертания его творческой личности. Гершензон полагал, что «национальность в человеке — имманентная, стихийная, Божья сила; поэтому мы можем спокойно забыть о ней: она сама за себя постоит»¹⁴. «В нашей душе, — писал он, — борются две воли — личная и родовая: будь же личностью»¹⁵. В этом смысле иудаизм Гершензона (равнодушного к конфессиональным вопросам) был также актом личного выбора: отказ от религии отцов только во имя карьеры или социального благополучия расценивался им как бесчестный и постыдный. В подобном взгляде отразилась, если угодно, гордость Гершензона — но гордость индивидуальная, а не родовая.

Однако гордый и благородный Гершензон вызывал у Розанова уже знакомое нам амбивалентное чувство. Мотив эротического соперничества своеобразно преломляется в мотив творческого соперничества с евреем-писателем. Заметка, написанная Розановым в качестве преамбулы к письмам Гершензона, свидетельствует как раз об этом: здесь облик Гершензона теряет свои реальные черты. Розанов творит свой «миф о Гершензоне», страшно своей талантливостью («слишком великолепен»), ученостью (к «стыду русских», он «лучший историк русской литературы»), мастерством «делать» книги («У него „все на месте“»). Сублимация комплекса неполноценности выражается в «страхе» вытеснения Гершензоном некоей русской субстанции («он такой русский»), с которой Розанов идентифицировал свое «я». Наиболее яркое воплощение этого мотива — письмо Розанова от середины января 1912 года, где предпринята попытка реконструировать «агрессивное» подсознание Гершензона («Да. Я еврей...»). Образ Гершензона как сильного соперника утверждается и развивается в письмах Розанова параллельно с образом грозной соперницы — еврейской нации, «вытесняющей» «слабых» русских из правительства, общественности, литературы и — даже! — из «союза русского народа» (см. письмо от середины августа 1909 года).

Активные эпистолярные отношения между Розановым и Гершензоном прервались в 1913 году — несомненно прежде всего в связи с процессом Бейлиса. Суд над евреем, обвиненным в ритуальном убийстве мальчика-христианина, потряс Россию и способствовал резкой поляризации сил в русском обществе. С протестом против судилища, преследовавшего слишком откровенные политические цели, выступили многие — от В. Г. Короленко до деятелей православной церкви. Розанову же этот процесс дал обильную пищу для комплексов и психопатических страхов. В 1913 — 1914 годах он пишет серию статей и выпускает одну за другой несколько книг, в которых бывшие опасения-нападки перерастают в устрашающее мифотворчество. В его отношении к еврейству, колеблющемся между юдофильством и юдофобией, в этот момент решительно перевешивает последняя. В ситуации, когда розановская «жидобоязнь» перестала быть фактом личного — хотя и весьма парадоксального — мироощущения, но сделалась компонентом реальной политики, продолжать переписку Гершензон, конечно, не мог.

¹³ ЦГАЛИ, ф. 155, оп. 1, ед. хр. 269, л. 1—1 об.

¹⁴ Гершензон М. О. Судьбы еврейского народа. Пб.— Берлин. 1922, стр. 58.

¹⁵ Там же.

Розанов между тем продолжал внимательно следить за творчеством своего бывшего корреспондента — и размышлять над ним. Плодами этих размышлений стали заметка-преамбула к письмам Гершензона, относящаяся к 1916 году, и тогда же опубликованная статья «Левитан и Гершензон» («Русский библиофил», 1916, № 1), в которой обобщены мысли Розанова о стилизаторской, имитирующей природе еврейства, вторгающегося в русскую культуру.

Апокалипсис большевистской революции, вскрывший химеричность прежних страхов и обнаживший истинные бездны зла, вновь связал Розанова с Гершензоном. Розанов, испытавший несколько страшных ударов судьбы, из Сергиева Посада обращается с письмами-воплями о помощи ко многим, в том числе и к Гершензону. Гершензон оказался одним из немногих, кто реально помог уже умиравшему писателю...

Основной массив переписки В. В. Розанова и М. О. Гершензона хранится в ОР ГБЛ: 13 писем Гершензона (ф. 249, кн. 4197, ед. хр. 1—5) и 21 письмо Розанова (ф. 746, к. 40, ед. хр. 57). Письмо 33 публикуется по: ЦГАЛИ, ф. 130, оп. 2, ед. хр. 13. Записка Розанова (письмо 12) на некрологе А. С. Белкина публикуется по: ЦГАЛИ, ф. 419, оп. 1, ед. хр. 169 (указано В. Г. Сукачем); письмо 34 публикуется по: ЦГАЛИ, ф. 419, оп. 1, ед. хр. 412 (см.: Розанов В. О себе и жизни своей. М. 1991, стр. 793; прим. В. Г. Сукача). Все письма печатаются по автографам. Отсутствующие в письмах Розанова указания дат написания восстанавливаются на основе датировок писем к нему Гершензона или иных косвенных данных, а также — в некоторых случаях — на основе сохранившихся почтовых штемпелей на конвертах. Подчеркнутое в автографе одной чертой передано в публикации разрядкой, двумя — курсивом, тремя — полужирным шрифтом.

1. «Записка В. В. Розанова»

Мих. Осипов. Гершензон к печали русской и стыду русских — лучший историк русской литературы за 1903 — 1916 гг., хотя... он слишком великолепен, чтобы чуть не было чего-то подозрительного. «Что-то не так». «Он такой русский». Но у русского непременно бы вышло что-нибудь глуповато, что-нибудь аляповато, грубо и непристойно.

У него «все на месте». И это подозрительно. Я думаю, он «хорошо застегнутый человек», но нехороший человек.

В конце концов я боюсь его. Боюсь для России. Как и «русских патриотов», Столлнера и Гарта ¹.

Эх... приходи, Скабичевский, и спасай Русь ².

Записка Розанова предваряет пачку писем Гершензона (ф. 249, кн. 4197, ед. хр. 1, л. 1) и служит своеобразной преамбулой к письмам Гершензона (видимо, Розанов планировал их публикацию), написана после получения всех писем Гершензона этой коллекции (то есть после 1913 года)

¹ Столлнер Борис Григорьевич (1871—1937) — философ, социолог, переводчик, сотрудник «Еврейской энциклопедии». Гарт Самуил Соломонович (настоящая фамилия — Зусман, род. 1880) — публицист.

² Об ироническом подтексте записки говорит упоминание презираемого Розановым Александра Михайловича Скабичевского (1838—1910), критика, публициста-народника (ср. с письмом 8, где речь идет о «мякинной голове» Скабичевского), названного им «Навуходоносором нашей новой критики и истории» (см. Розанов В., «Интересные размышления Скабичевского» — «Мир искусства», 1901, № 6, стр. 319)

2. В. В. Розанов — М. О. Гершензону

«Начало мая 1909»

Читаю, мой милый Гершензон, о Чаадаеве, 115—124—130 ¹. Страницы так и бегут. Как хорошо Вы пишете. «Вот кто мог бы воскресить Константина Леонтьева», — подумал я о Вас ².

Анонимы (женские) к Чаадаеву: мне показалось, что это лучше «Философических писем», это — настоящее, живое ³. В Чаадаеве хорошо только остроумие (колокол, пушка, «персиянин») (стр. 118) ⁴.

Прочее я думаю — невыносимый вздор. Хороший отчет Поццо ди Борго⁵. Хорошо, что Вы отметили точность и художественную верность Перфильева (116 стр.)⁶.

Берегите свое время и перо. Может быть Бог наведет Вас на Леонтьева. Жене — привет. Вспоминаю Ваш холодный кофе.

Мне печально, что меня разлюбил Столпнер (такой исключительный человек)⁷. По глупостям, — как всегда у русских.

В. Розанов.

¹ Речь идет о книге М. О. Гершензона «П. Я. Чаадаев. Жизнь и мышление» (СПб. 1908).

² С Константином Николаевичем Леонтьевым (1831—1891) Розанов познакомился в 1891 году; письма Леонтьева Розанов опубликовал в «Русском вестнике» (1903, № 4—6). Неординарная фигура критика, соединяющего «эллинский эстетизм» со «строгим загробным идеалом», оказала огромное влияние на Розанова.

³ На самом деле на указанных страницах Гершензон поместил лишь одно женское анонимное письмо Чаадаеву, остальные принадлежат близким знакомым Чаадаева Е. Г. Левашовой и А. С. Норовой. Подчеркивая преимущества этих писем, Розанов выражает свое неприятие личности «басманного философа» (см. об этом в прим. к письму 30).

⁴ См.: Герцен А. И. Былое и думы, ч. 4, гл. XXX. Слова Чаадаева цитирует в своей книге Гершензон: «В Москве, говаривал Чаадаев, каждого иностранца водят смотреть большую пушку и большой колокол. Пушку, из которой стрелять нельзя, и колокол, который свалился прежде, чем звонил...» Здесь же приведена острота о «национальном» костюме К. Аксакова, которого народ на улицах принимает за «персиянина».

⁵ Поццо ди Борго Карл Осипович (1764—1842) — французский государственный деятель, в 1796 году покинул родину и с 1812 года служил в русском дипломатическом корпусе.

⁶ Цитируя донос московского жандармского генерала С. В. Перфильева об образе жизни Чаадаева, Гершензон называет этот донос художественно верным.

⁷ Столпнер был постоянным посетителем воскресений Розанова, высоко отзывавшегося об этой столь значимой для него личности (см. письмо 26). В письме Н. Н. Глубоковскому 29 декабря 1909 года он писал: «Столпнер — еврей, редкой честности и младенчества жизни, но редкой начитанности и ума...» (ГПБ, ф. 194, оп. 1, ед. хр. 757; цит. по: «Русская литература», 1989, № 3, стр. 217). В 1909 году произошел их разрыв, после которого Столпнер, осуждая Розанова за «двурушничество», перестал бывать у него (см. его письмо Розанову от 14 декабря 1910 года. — ЦГАЛИ, ф. 419, оп. 1, ед. хр. 725, л. 49—51).

3. В. В. Розанов — М. О. Гершензону

«Около 8 мая 1909»

Многоуважаемый Михаил Осипович!

Посылаю Вам новую мою книжку. Совестно просить, а что делать: при всех «достоинствах», из которых не ложно одно:

День каждый, каждую годину
Привык я в думях проводить², —

книги мои никогда не имели успеха, а только «почтительное признание». Шуба красивая, но не теплая. — Словом, мой добрый энтузиаст, соберитесь с силами и дайте о книге отзыв в «Вестнике Европы». Сам я много раз эту вещь делал для других, — и может быть Бог простит, что прошу ее — однако в первые — сделать для себя.

Поклон Вашей жене. С кем-то Вам надо познакомиться — это Флоренский у Троице-Сергия: интересант и Чаадаева и Киреевского³. С. Н. Булгаков его знает⁴. Поклон жене. Ваш В. Розанов.

«НАДПИСЬ НА КНИГЕ»

М. О. Гершензону

«...и при конце печаль Ваша обратится в радость»⁵. Посылаю Вам, дорогой Михаил Осипович, эту книжку и крепко жму руку.

В. Розанов.

¹ Речь идет о книге Розанова «Итальянские впечатления» (СПб. 1909).

² Слегка измененная цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Брожу ли я вдоль улиц шумных».

³ Дружба Розанова с о. Павлом Флоренским (1882—1937) завязалась в 1903—1904 годах и прошла через всю жизнь писателя. К идеям И. Киреевского Флоренский обращался в своем труде «Столп и утверждение истины» (М. 1914, стр. 608). Гершензон посвятил И. Киреевскому статью («Вестник Европы», 1908, № 8), которая понравилась Розанову.

⁴ Оба (Розанов и Гершензон) были к тому времени в близких отношениях с Сергеем Николаевичем Булгаковым (1871—1944). Письма Булгакова Розанову см.: «Вестник Русского христианского движения», 1979, № 130 и 1984, № 141.

⁵ Инверсированная цитата из Книги Притчей Соломоновых: «...и концом радости бывает печаль» (Пр., 14:13).

4. М. О. Гершензон — В. В. Розанову

Москва, 8 мая 1909 г.

Многоуважаемый Василий Васильевич,

Сердечно благодарю Вас за книгу и за надпись на ней. Да будут Ваши слова пророчеством! О книге вероятно напишу, но где именно, вперед не знаю; во всяком случае, тогда пришло ¹. У меня к Вам две просьбы: 1) пришлите мне адрес Столлнера и «библиографию» К. Леонтьева, как обещали, и 2) напишите для «Критического Обозрения» о книге Волынского «О Достоевском», вышедшей сейчас новым изданием, напишите 6—7 тысяч букв и пришлите к половине августа сюда же, по моему адресу ². Книгу, т. е. это новое издание ее, купите и, посылая рецензию, сообщите мне ее стоимость; эти деньги будут Вам присланы вместе с гонораром. Очень прошу Вас не отказаться. Спасибо за статью о «Вехах» и Мережковском; и по существу хорошо, а главное — чудесно было написано ³. В Вашем слогe совсем нет лигатуры. Только и есть такой язык — у Вас в Ваших лучших страницах да в письмах Пушкина: чистый расплавленный сверкающий металл без всякой примеси. Только что у Пушкина он более упруг, у Вас же льется жиже.

Летом с моря заеду в Петербург: если разыщу Вас, то найду к Вам.

Жена кланяется Вам, а я жму Вашу руку, которая умеет так хорошо писать.

Ваш М. Гершензон.

¹ Рецензию Гершензон не написал

² Речь идет о книге А. Л. Волынского «Ф. М. Достоевский. Критические статьи» (2-е изд., СПб., 1909). Заведующим критическим отделом журнала «Критическое обозрение» являлся Гершензон

³ Розанов сочувственно откликнулся на сборник «Вехи» в статье «Мережковский против „Вех“» («Новое время», 27 апреля 1909 года).

5. В. В. Розанов — М. О. Гершензону

«Около 10 мая 1909»

Многоуважаемый Михаил Осипович!

1) Адрес Столлнера: Борис Григорьевич Столлнер, СПб., Петербургская сторона, Рыбачья ул., д. 6, кв. 16.— Спешите писать, ибо он по веснам уезжает — высылается из Петербурга.

2) «Из переписки К. Н. Леонтьева» — «Русский Вестник» за 1903 год, — апрель, май, июнь.

3) О Волынском постараюсь написать.

Хотя: едва мне скажут — «напишите», как у меня является неодолимое отвращение писать именно об этом («на заказ»). Но всеми силами постараюсь.

4) Наш адрес: Финляндская жел. дор., станция Тюрсево (сейчас за Териоками), деревня Лепенене. дача Хайкена, № 4.

Прелесть. Милости просим. С ночевкой и с семьей. Разместимся.

Ваш В. Розанов.

6. В. В. Розанов — М. О. Гершензону

«Около 10 августа 1909»

Ну, Мих.Ос., я «переступил через себя». как сказал бы Волынский: написал рецензию ¹, новые писать для Вас, серьезного оценщика, т. е. серьезно (не для гонорара) — совсем не по моим способностям и решительная для меня мука. Я принадлежу к той породе «излагателя вечно себя», которая в критике — как рыба на земле и даже на сковороде. И только не желая Вас «изгорчить», сделал это усилие. Устал. Изнемог. Кланяйтесь Вашей жене.

Ваш В. Розанов.

У Вас превосходные «Письма Эртеля» ²: вот бы прислали — угодили. С надписью. Простите за «холопчество». В счет гонорара.

Кое с чем Вы будете в статье моей не согласны, и даже — в конце — Вам будет не понятно: но если бы можно без сокращений и вычеркиваний!! Я писал с душой. Да вышлите (назначьте) мне экземпляр журнала: С.Петербург. Звенигородская, д. 18, кв. 23. В. В. Розанову.

Вы говорили мне устно в Москве, что где-то писали обо мне (рецензию): как бы мне хотелось это прочесть! Вашу умную и спокойную критику, взгляд, два слова. Не пришлете ли в вырезках? Я аккуратно же верну, «свято» верну.

¹ Опубликована в «Критическом обозрении» (1909, вып. 5, сентябрь).

² См. «Письма А. И. Эртеля» (М. 1909), подготовленные Гершензоном.

7. М. О. Гершензон — В.В. Розанову

Силламяги, 10 авг. 1909 г.

Многоуважаемый Василий Васильевич,

Очень обрадовали Вы меня присылкой статьи о Волынском; я уже собирался напомнить вам обещание. Я дважды с изумлением перечитал Вашу статью. Вы гениально нарисовали портрет Вол., так и просятся сравнения: Веласкес, Гойа,— бесконечно хорошо; Вы большой художник. И в то же время я чувствую здесь — простите — что-то inferнальное. Подумайте: ведь это живой человек, он прочитает это,— каково ему будет? Весь Ваш удивительный талант был с Вами, когда Вы писали это, но дух любви Вас в те минуты покинул; нет благочестия к лику человеческому, нет кровного родства с бедным человеком, или просто жалости. Но все верно поразительно и сказано так, что не забудешь. Я лично знаю Волынского и могу судить. Моя жена, раз видевшая Волынского издали, в восторге.

Ну, это личное впечатление; а как редактор отдела в «Критическом Обозрении» я должен сказать, что те личные черточки, которые есть в Вашей статье, резко нарушили бы академический тон журнала, и просто мои товарищи по редакции их не допустят в печать. Поэтому прошу у Вас позволения выпустить соответственные строчки (ни детей... одинокая кровать в Пале-Рояле и пр.) — их немного,— и, если хотите, я пришлю Вам заблаговременно корректуру статьи, чтобы Вы могли видеть, что я выпустил (также и о Венгерове и Гуревич¹).

По существу я, разумеется, не выпущу в статье и не изменю ни слова, хотя и нахожу противоречие между началом и концом, ибо чему же можно научиться из такой головной книги, какую Вы изображаете книгу Волынского о Достоевском? Но тут я не вмешиваюсь.

Я не писал о Вас, а только один раз в рецензии «Вестника Европы» упомянул о Вас как о первом, кто у нас во всей глубине раскрыл вопрос пола².

Отвечайте мне, пожалуйста, в Москву (Арбат, Никольский пер., 19). «Критическое Обозрение», конечно, будет Вам посылаться. Из-за холеры жена не пускала меня в Петербург, но надеюсь зимою побывать.

Преданный Вам М. Гершензон.

Да, о Письмах Эртеля: непременно пришлю, как только вернусь в Москву.

¹ Можно отчасти реконструировать выпущенный Гершензоном пассаж о «личных черточках» Акима Львовича Волынского (настоящая фамилия Флексер, 1861—1926) — критика и философа, ведущего сотрудника и идеолога журнала «Северный вестник» — в связи с Любовью Яковлевной Гуревич (1866—1940), издательницей этого журнала. В письме Э. Ф. Голлербаху от 26 октября 1918 года Розанов сообщал, что «все евреи... делают в литературе русской положительно самое лучшее, самое нужное дело: начиная с Флексера и благородной Любови Гуревич («Северный вестник»): Дамаянти Флексера, несчастно и безнадежно его любящая, сама она прелесть и корюша, он — резонер, мыслитель, фанатик и, по-видимому, онанист (т. е. человек избранный, исключительный...)» («Письма В. В. Розанова — к Э. Голлербаху». Берлин. 1922, стр. 111). Отзывы «личного» порядка о Семене Афанасьевиче Венгерове (1855—1920), историке литературы и библиографе, см., например, в письме 26.

² См.: «Вестник Европы», 1908, т. 6, № 12. Здесь Гершензон писал: «У нас В. В. Розанов первый поднял голос в защиту естества, и только очень немногие сумели понять его» (стр. 763).

8. В. В. Розанов — М. О. Гершензону

«Середина августа 1909»

Многоуважаемый Михаил Осипович!

Я так уверен в Вашей литературной бережливости, что конечно согласен на те выпуски из моей статьи, какие Вы признаете нужными. Мне не показалась она обидною для Волынского. «Герой, но с холодной душой» — это касается и его profession de foi. Вот¹.

Жар души, растраченный в пустыне... — дар Божий: и что же, если этого нет? Это не «благосприобретенное наследство», и в нем мы неповинны: да, но правда, ну что если на горячую грудь посажена мякинная голова Скабичевского — много ли толку?

«Горячие» пустозвоны тоже довольно надобны.

Но, при выпусках — по миновании надобности (т. е. набора в типографии) верните мне оригинал за казным письмом. Пожалуйста.

А хорошо, если б Вы об «Ит<альянских> впечатлениях» написали в «Вестник Европы». Со всех сторон важно и между прочим для продажи. Мне же — не теперь, но когда-нибудь — вообще хотелось бы прочесть о себе у Вас, «строгого и лучшего историка литературы» теперь. Говорят, Овсян<нико>-Куликовск<ий> какой-то странный, Н. Котляревский очень патетичен, и, кажется, с сахаром, В. Брюсов — порченный декадент. А Вы «соединяете ученость с талантом»: такая редкость у нас.

Ну, устал.

Адрес: до 20-го августа ст. Териоки, Финляндская, жел<езная> дор<ога>, деревня Лепенене, дача Хайкена, № 4.

С 20-го августа:

С.-Петербург, Звенигородская ул., д. 18, кв. 23.

«На полях»:

Боюсь, что евреи заберут историю русск<ой> литературы и русск<ую> критику еще прочнее, чем банки: и это действительно «что-то такое...» из Апокалипсиса или Исайи («будете народом царей») ². Знаете ли Вы, что в Петербургском университете в крошечной группе «союза русского народа» во главе стоит еврей, говорят — хромой и безобразный, студент: когда репортер «Нового Времени» хотел его увидеть, он принял его развалясь в кресле, с дубинкой в руке, и не встал и не подал руки. «Камо бегу от Господа»... а приходится варьировать: «куда бежать от пейсов». Судьба.

Ужасно: и почерк у Вас, как у Мих. Осипов. Меньшикова: четкий бисер. Какой-то «Поликратов перстень», который и рыба не глотает, и море не поглощает ³. В «Русском Слове» я читал оказывается не Вас, а Когана: и мне чрезвычайно понравилось. Хороший тон, хороший дух, верится и свои мысли ⁴.

¹ А. Л. Волинский некогда писал исключительно на еврейские темы, но в 1889 году перешел в православие. Розанов высоко оценивал пересмотр критического «иконостаса», который предпринял Волинский в своих работах о Белинском, Добролюбове, Чернышевском (книга «Русские критики», 1896), однако подчеркивал чрезмерную рассудочность и «сухой блеск» его работ

² Имеется в виду идея мессианизма евреев (см.: Исайя, гл. 60 и др.)

³ Меньшиков Михаил Осипович (1859—1918) — публицист «Нового времени», давний недруг Розанова. Его фельетон о журнале «Новый путь» («Новое время», 23 марта 1903 года) способствовал закрытию религиозно-философских собраний, деятельным участником которых был Розанов, активно печатавшийся и в органе собраний — «Новом пути». Совпадение имени и отчества антисемита Меньшикова и Гершензона дало Розанову повод для иронических параллелей. Упоминание мифа о «Поликратове перстне» в связи с «морским» прошлым Меньшикова также иронично: Меньшиков, окончивший морское училище, был автором книги «По портам Европы» (1879), вел отдел фельетонов в «Морской газете»

⁴ В «Русском слове» о Розанове упомянуто в статье не П. С. Когана, а А. А. Измайлова «Засушенная лилия», посвященной выходу в свет Песни Песен с предисловием Розанова. Предисловие названо «глубоко вдумчивой, искренней, страстной» статьей («Русское слово», 9 августа 1909 года).

9. В. В. Розанов — М. О. Гершензону

«Около 7 сентября 1909»

«Телепатия» вот уже недели 3 мне шепчет на ухо: «как ты неосторожен: вот в 3-ий раз ты все сближаешь Гершензона с Меньшиковым. Как ты не подумал, что это может быть ему неприятно, — да и с твоей стороны это прямо грубо и навязчиво. Он тебе не дал права, ни повода так фамильярничать с собою».

Вот почему, дорогой Мих. Осипович, я извиняюсь перед Вами и вперед ничего подобного не повторю. Причина «ami-cochon'sтва» — что Вы меня встретили в Москве «как своего», как бы «давно зная», и вообще без «пространства и времени» между нами. Дорогой мой: я слишком знаю, что между «им» и Вами ничего даже приблизительного нет; а внешние сходства меня рассмешили, и я стал вслух смеяться: мое обычное ребячество, в котором не отрицаю «национального свинства». Нередко я подумываю о Вас, и как мне 54 года — могу советовать: со стороны и издали глядя, видишь, что после того как в «Вехах» Вы резко и памятно выразились политически и общественно — Вам

повторять «выступлений» не следует. Все запомнят и запомнили, к т о Вы среди шумящих и борющихся партий: но Вы отойдите в сторону, в свое уединение.

Усовершенствуя плоды (таких-то) дум — это выйдет впечатлительнее даже в политическом отношении, чем если бы Вы шумели и грозились¹.

Я думаю — газета не Ваше дело; я думаю, в газетах Вам никогда ничего не следует писать.

Работы Ваши превосходны: какая мелкосложность (Лесков) зрения и ясный, спокойный ум; какая «мера вещей», к тому же всегда благородная и справедливая. У Вас вообще это есть, «тенденция к лучшему» — увы, не частая в литературе. Она вся исцарапалась, загрохнула и озверела в политике, партиях и «кулуарах» редакций. Бог с ними.

Еще раз, мой добрый, извините. Не часто, но изредка мне и самому бывает «противно на душе» от этой моей эксполентности, болтовни, «со всеми как с приятелями» и вообще до излишества от «человека по м и р у» у себя. Это и противно, но и как-то с этим легче жить. Работаешь-работаешь, устанешь, и когда оторвался от письменного стола — энергично вытягиваешься, пуговицы летят с жилета и часто со штанов, лицо смеется (сейчас после работы). В «общественном смысле» на это не имеешь права — но ум «очень хочет».

Таков, Фелица, я развратен...²

Берите как есть «русскую свинью». Да я знаю, что Вы и не сердитесь, а так — маленькое неудовольствие. Пусть и его не будет. Будем друзьями, простыми русскими друзьями, без мелочей и придирок и мщения друг другу, если бы что встретилось даже и более серьезное и отрицательное. Некоторый % зла, ну даже низкого, неблагородного, лежит и после грехопадения, не может не лежать в каждом человеке: примем это «как судьбу», как свою долю, и друг у друга не будем придирается к этому и «корить человека за невыдержанность идеала».

Бог с ними, с идеалами; все это «прописано». Возьмем живую натурку «как есть» и лучше будем отыскивать в ней, не завалилось ли в уголке чего-нибудь хорошего. Крепко жму руку. Жене — поклон.

В. Розанов.

Все недели была забота спросить Вас имя, отчество, фамилию и а д р е с господина, написавшего книгу о Грановском, которого я у Вас встретил: он мне прислал рубрику вопросов биографического свойства, я наконец написал — но письмо его потерял (засунул куда-то), а послать хочется³. Главное поскорее. СПб. Звенигородская, д. 18, кв. 23.

В. В. Розанову.

¹ Неточной цитатой из стихотворения А. С. Пушкина «Поэту» Розанов как бы предостерегает Гершензона от продолжения публицистической деятельности: в это время выходят одно за другим новые издания «Вех», каждое из которых сопровождается новым шквалом бранных рецензий.

² Цитата из «Фелицы» Г. Р. Державина.

³ См прим. к письму 11.

10. М. О. Гершензон — В. В. Розанову

7 сент. 1909 г.

Милый Василий Васильевич,

Конечно, я Вас не разлагаю, а беру таким, как Вы есть, и таким люблю. Сближения с Меньшиковым», в чем Вы теперь извиняетесь, я даже не заметил, но было другое: Ваше отношение к евреям, страх перед пейсами, как Вы выразились. Дело не в еврействе; тяжело мне видеть в Вас, что Вы чувствуете национальность, что я считаю звериным чувством. Я уверен, что в чистые Ваши минуты Вы не позволите себе этого, и если у Вас так написалось, то именно тогда, когда «отлетели пуговицы», и именно не только у жилетки, но и пониже, — и вышло некрасиво. Позвольте сказать так: Вы — красавица, и я, как вижу Вас, люблю; и вот Вы неосторожно показали мне не в аванжном виде, — конечно, меня передернуло.

Низко кланяюсь Вам за умный и дружеский совет и буду его помнить. Но зачем Вы пишете мне лестные слова? и откуда Вы меня знаете, почти не читав меня? Вот, если случится прочитать что-нибудь мое, напишите мне, что в нем плохо, что дурно выражено, как надо писать: вот за это буду глубоко благодарен.

Статью Вашу о Волынской мы с редактором «Критического» Обозрения» обдумывали и обдумывали (ему тоже крепко понравилось) и все-таки в трех местах вычеркнули «личности». Рукопись Вам верну, и на днях получите первые 4 книжки журнала, а погода и гонорар. Как Вы написали гениально портрет Волынского, так вы должны были бы увековечить для потомства, в таких же литературных портретах, и другие лица, в которых история наших дней. Напишите так же Суворина, Меньшикова, Буренина, наших Булгакова, Мережковского и кого еще хорошо знаете, — и оставьте рукопись, чтобы напечатали после Вашей смерти ¹.

Ваш фельетон об Азефе читал ². Вехи вот так идут: 10 тыс. экз. продано, от 3-го изд. уже ничего не осталось, печатаю 4-ое с матрицей, потому что спрос не падает. Это — с 16 марта ³.

Преданный Вам М. Гершензон.

¹ Гершензон предлагает написать портреты представителей двух литературно-общественных кругов, с которыми Розанов был близок. Это Алексей Сергеевич Суворин (1834—1912), издатель газеты «Новое время», и публицисты, связанные с газетой. — М. О. Меньшиков и Виктор Петрович Буренин (1841—1926). Другой круг — религиозно-философский: С. Н. Булгаков и Дмитрий Сергеевич Мережковский (1865—1941). Об отношениях Розанова с этим кругом писала З. Гиппиус («Задумчивый странник». — В кн. «Живые лица». Вып. 2. Прага. 1925).

² Речь идет о фельетоне Розанова «Между Азефом и „Вехами“» («Новое время», 20 августа 1909 года).

³ За 1909—1910 годы «Вехи» вышли пятью изданиями.

11. В. В. Розанов — М. О. Гершензону

«Около 10 сентября 1909»

Дорогой Михаил Осипович!

Увидав конверт, я подумал: «это от милого Гершензона». Спасибо за тон письма. Итак — будем дружны. Анти-семитизмом я, батюшка, не страдаю: но мне часто становится жаль русских, — как жалеют и детей маленьких, — безвольных, бесхарактерных, мило хвастливых, впечатлительных, великодушных, ленивых и «горбатых по отцу». Что касается евреев, то, не думая ничего о немцах, французах и англичанах, питаю почти гадливость к «полячишкам», я как-то и почему-то «жида в пейзах» и физиологически (почти половым образом) и художественно люблю и, втайне, в обществе всегда за ними подглядываю и люблюсь. Это вытекает из большой моей fall'ичности, т. е. интереса к полу и отчасти восторга к полу: — в отношении сильного самочного племени. Мне все евреи и еврейки инстинктивно милы. Ну и затем в революции русской мне одна сторона до сих пор необыкновенно мила: что в ней умер «Эллин и иудей». Евреи одни тоже легли костями на русских баррикадах. Этого тоже невозможно не запомнить.

А затем, т. к. мы с Вами стали нигилисты — положили «прощать друг другу» (во мне бы всем уметь прощать смешное и мелочное), — то я Вам с некоторой мыслью «о потомстве» пересылаю то, что написал для Вашего знакомого, автора книги о Грановском, которого я у Вас встретил. Номер в печати, и забыл его имя, фамилию и адрес, и вместо его направляю рукопись к «историку русской литературы» ¹. Мне думается, если «рассматривать все фото в микроскоп», то можно знать не только «очерки личности» в отражениях чужого глаза или ума, что конечно объективно важно и, может, единственно верно, — но и само-ощущение личностей (писателей), так как это дает если не «портрет» их, то разъяснение мотивов и характера как деятельности, объясняющей, почему они так, а не иначе писали, ну и проч. Посылая вам эти вопросы-ответы, конечно не скрою, что это — «мелкое самолюбие» и след. очень некрасиво: но известный % «некрасивого» мы вообще должны принять на себя, не «открещиваться» от него, «по нем (носит Адам) носить знак раба, недостойнства» и проч. Вопросы Вашего друга мне ужасно надоели, было ужасное «некогда», и я все откладывал, пока накануне переезда в город, т. е. — среди ужасных хлопот, я ночью решил «покончить с этим», но вдруг воодушевился и написал, как кажется, много ценного, серьезного и для авторов «Вех» много горячительного, и интересного. Ну, словом, «читайте и не кляните», как говорит Летописец ². Ваш искренний и любящий и благодарный.

В. Розанов.

Жене Вашей — поклон.

Евреев еще оттого я люблю, что им религиозно врождено чувство глубокой ничтожности вещей и дел человеческих и личностей человеческих («прах перед Лицом Господа»), что сообщает им глубину и серьезность мысли, души, жизни. В сравнении с ними «подбиты ветерком» все нации,— кроме, может быть, русской (тоже «прах перед Лицом Господа»).

Рукопись пошлите по адресу с надежным заказным.

¹ Речь идет о В. Е. Чешихине-Ветринском, авторе книги «Т. Н. Грановский и его время» (изд. 2-е. 1905) Он оказался свидетелем беседы Гершензона с Розановым во время приезда последнего в Москву на Гоголевские дни. Чешихин-Ветринский предложил Розанову написать автобиографию для подготавливавшегося словаря писателей нижегородцев. Розанов ответил целой исповедью, посвященной его отношению к Богу. Словарь не вышел, рукопись была передана Гершензону. Она помечена 22 июля 1909 года, отрывок из нее опубликован в статье В. Чешихина-Ветринского «„Свой Бог“ Розанова (Страница из его автобиографии)» («Утренники», Пб. 1922, кн. 1, стр. 77—79).

² Слова монаха Лаврентия, переписчика так называемой Лаврентьевской летописи (1377): «...чтите, испра- вливая Бога дея, а не клените, занеже книги ветшаны, а ум молод, не дошел...»

12. В. В. Розанов — М. О. Гершензону

«Конец 1909 — начало 1910»

Дорогой Мих. Осипович!

Прошу личной Вашей заботы о некрологе. Я виноват перед покойным Белкиным и непременно хочу сказать о нем по † несколько слов ¹.

«Новое Время» при всех усилиях — отказалось печатать, говоря: «Никому не интересно», но Вы переступите через «неинтересность» и сделайте мне эту личную дружбу — поместите в «Критическом Обозрении» (конечно бесплатно).

Жму руку. Спасибо за книгу (Киреевский — Гоголь) ². И за все спасибо! Отдельные книги и впрямь присылайте. «Лучшее украшение моей библиотеки». «И что-нибудь на ночь». Устал уязно. Столько забот, еще больше, чем писания.

Ваш В. Розанов.

¹ Белкин Алексей Сергеевич, приват-доцент философии Московского университета, умер 17 июля 1909 года.

² Розанов имеет в виду книгу Гершензона «Исторические записки» (М. 1910), куда вошли главы «Учение о личности (И. В. Киреевский)» и «Учение о жизненном деле (Н. В. Гоголь)».

13. М. О. Гершензон — В. В. Розанову

Москва, 14 февралю 1911 г.

Многоуважаемый Василий Васильевич,

Сердечно благодарю Вас за память и за книгу ¹. Я только начал читать,— все живое и жжется. Но сожалею, что знакомым, рассылая книгу, Вы не послали той первой, уничтоженной книги вместо этой урезанной: как было не сохранить 2—3 десятка. Будьте здоровы и счастливы.

Преданный Вам М. Гершензон.

¹ «Темный лик» (1911) Розанова. Книга «В темных религиозных лучах», напечатанная в 1910 году, была конфискована духовной цензурой и уничтожена. В 1911 году Розанов, сократив некоторые главы, выпустил две части этой книги — «Темный лик» и «Люди лунного света».

14. В. В. Розанов — М. О. Гершензону

«Середина января 1912»

Многоуважаемый Мих. Осипович!

Чудо об Пестеле и Иванове (в Вашей книге) ¹.

Ну, умница Вы, и ей-ей я тоже не дурак, но завидую.

Но:

дорогой мой, поверьте, Ник. I не «покупал» декабристов ².

Ах Вы «жид, жид» (не сердитесь): отчего *не поверить*, что он б^ыл отцом им.

Без этого непонятна русская история.

Я настроен против евреев (убили — все равно Столыпина или нет, — но почувствовали себя вправе убивать «здорово живешь» русских: и у меня (простите) то же чувство, как у Моисея, увидевшего, как египтянин убил еврея ³.

Мне это больно, немножко даже страшно (Иегова), но — факт, и куда я его дену.

Что-то мне говорит, что Вы меня не любите, и не теперь, а всегда. Аномалия чувства, о которой надо «развести руками» и примириться, как вообще с фактами. Ах, факты выше личности. Роковое.

Но как хорошо Вы пишете. Только у меня догадка, которую страшно сказать: — Да. Я еврей. *Sum ut sum* *at non sim* ⁴. И вы, черви русские, антисемиты, Балашовы ⁵ и Розановы, ничего не подделаете с тем фактом, что я буду о вас и вашей истории писать так хорошо, как вы сами не сумеете, и ума не хватит и таланта нет. Хорошее всегда хорошо, и поскольку хорошо — оно непобедимо. Плюясь и ругаясь, ваши Самарины и Аксаковы ⁶ будут в будущем читать Гершензона, учиться у него даже «спокойному русскому повествованию», и этим «хорошо» я, *sum ut sum*, привью к великорусской душе такую закваску обрезания, что вы все не отмоетесь и не сбросите. Я отлучился, но чтобы через 50 лет вы пожидовели.

Неужели нет этой мысли? Она у меня всегда, когда думаю о Вас.

А у меня, дорогой, именно когда беру Ваши книги в руки — душа плачет: куда же русские девались? Все разбежались по Парижам и Берлинам. Я ужасно плачу о русских, ибо думаю, что погибает самое племя, что вообще попирается все русское. Если Вы имеете капелку русского человека не имитированную, Вы поймете, что есть основание плакать, и не проклянете и не плюнете в меня, даже если и будет таков 1-й порыв.

У Вас впервые не мно ж к о полюбил Огарева. Раньше «Герцен и Огарев» были мне противны. Герцен и теперь противен: но Огарев, т а к о й с л а б ы й, мил ⁷.

Если бы Вы прислали книгу о Печерине ⁸.

А догадываетесь ли Вы, что Версиков (Подросток) Достоевского срисован с Печерина. Но Эртеля не читал, как и об Огареве прочел страниц 8 — в конце.

В. Розанов.

Не кляните.

А не чувствуете ли Вы, как чувствую я, читая у Вас (сейчас о Кетчере) ⁹, что переменялся «образ русского человека» и что такие лица, как Михайловский ¹⁰, почти вовсе и не русские...

Опять — плакать.

Однако у Вас попадаетея одна ляпса:

езде в ы с о к о м е р и е к начальству («такая мизерная фигурка, как штаб-жандарм»). Русские уважают начальство, как один извозчик в Ельце о проститутке: «ее повезли на работу. (То же у Толстого Аким-«золотарь»¹¹.) Всякая работа свята: и даже чем унижительнее и след. тяжелее — тем святее — . .

Почему не служили долг Белинскому? Служили же Кетчеру. Отчего благородного и столь полезного человека «проводили в могилу» не жандармы, а друзья. Вы такой знаток истории, не имеете ли какой об этом гипотезы?

¹ Речь идет о двух заметках — «П. И Пестель» и «А. А Иванов» — в книге Гершензона «Образы прошлого» (М. 1912). Розанов откликнулся на книгу положительной рецензией («Новое время», 27 сентября 1912 года).

² В статье о Пестеле Гершензон резко полемизировал с историком-марксистом М. Н. Покровским, писавшим (глава «Декабристы» в «Истории России в XIX веке» — т. 1. СПб., 1907) о том, что Николай I «купил Рылсеева». Розанов нарочито переадресует цитату самому Гершензону.

³ Петр Аркадьевич Столыпин (1862 — 1911) был смертельно ранен 1 сентября 1911 года евреем Дм. Богровым. Розанов откликнулся на смерть Столыпина рядом статей («Киев и киевляне. Перед гробом Столыпина» — «Новое время», 1 октября 1911; «Террор против русского национализма» — «Новое время», 4 сентября 1911 года). Здесь же Розанов ссылается на эпизод из Ветхого Завета, где в ответ на избивание еврея египтянином Моисей «убил Египтянина и скрыл его в песке» (Исход, 2:11, 12).

⁴ Таков, какой есть, и другим не буду (*лат*).

⁵ Речь идет о П. Н. Балашове, возглавлявшем партию «русских националистов», депутате Думы.

⁶ Самарин Юрий Федорович (1819 — 1876) — публицист, историк, философ, один из идеологов славянофильства. Аксаковы — Константин и Иван Сергеевичи.

⁷ Речь идет о статье Гершензона «Любовь Н. П. Огарева», вошедшей в «Образы прошлого».

⁸ Книга Гершензона «Жизнь В. С. Печерина» (М. 1910).

⁹ Заметка Гершензона «Дом Кетчера» в «Образы прошлого».

¹⁰ Михайловский Николай Константинович (1842 — 1904) — публицист, социолог.

¹¹ Герой драмы Л. Н. Толстого «Власть тьмы».

15. М. О. Гершензон — В. В. Розанову

Москва, 18 января 1912 г. ¹.

Многоуважаемый Василий Васильевич,

Ежели бы не Вы, а кто-нибудь другой приписал мне такой образ мыслей, какой Вы приписали мне, я бы просто не ответил. Но Вы особенный человек; в Вас, в Ваших писаниях, так перемешаны чистое золото сердца с шлаком самой наружной, самой материальной периферии человеческого существа, как ни в ком другом. И в этом письме, что Вы мне написали, — то же самое: слышу необманный голос, но тут же все звериные голоса, и вдобавок, простите меня, нелепости, ни дать ни взять как те утверждения Грингмута ², что русскую революцию делали мasons или евреи на японские деньги. Но ради того необманного Вашего голоса хочу ответить на Вашу мысль.

Отвечаю Вам по чистой совести: ничего даже отдаленно похожего на то, что Вы пишете, я не думаю о своем писании. У меня не только нет вражды к русскому духовному началу, но есть очень большое благоговение к нему, преимущественно пред всеми другими национальными элементами (возможно потому, что те я гораздо меньше знаю). Да иначе, как Вы легко поймете, мне было бы просто несносно, не по себе копаться в исторических проявлениях русского духа, чем я занят столько лет; мое писательство было бы мне не отрадой, а мученьем, — зачем же я стал бы себя мучить? Уж конечно не для денег, которых писательство дает мне меньше, нежели сколько дала бы любая иная специальность.

Я не скрываю от себя, что мой еврейский дух вносит чрез мое писательство инородный элемент в русское сознание, напротив, я это ясно сознаю: иначе не может быть. Но я думаю, что жизнь всякого большого и сильного народа, каков и русский народ, совершается так глубоко-самобытно и неотвратимо, что сдвинуть ее с ее рокового пути даже на пядь не способны не только экономическое или литературное вмешательство евреев, засилие немцев и пр., но даже крупные исторические события — 1612, 1812, 1905 гг., исключая разве величайших, вроде древних завоеваний. Это — как доменная печь: что ни бросить в нее, либо сгорит, и значит ускорит выплавку, либо улучшит качество металла. Все это — и участие евреев, и все подобное вообще — ничтожно по количеству сравнительно с самой народной жизнью: посторонняя примесь может стать опасной для народа, только если она количественно подавляет его, как это случилось по завоеванию Англии норманнами; но это уже и есть одно из тех величайших исторических событий, в которых — перст Божий!

С евреями в России этого нет и не может случиться. Поэтому, возвращаясь к писательству, — я думаю, что участие евреев в литературе не представляет ни малейшей опасности для самобытной жизни русского народа (становлюсь на Вашу точку зрения). Об этом смешно и говорить. И всего-то литература не много значит в огромной тысячелетней работе народного духа; много ли же вреда может принести ему еврейское писательство, даже если признать его вредным?

Я думаю дальше, что всякое усилие духа идет на пользу людям, каково бы оно ни было по содержанию или форме: благочестивое или еретическое, национальное или нет, если только оно истинно-духовно; постольку же идет на пользу русскому народу всякое честное писательство еврея, латыша или грузина на русском языке. Больше того: я думаю, что такая инородная примесь именно «улучшает качество металла», потому что еврей или латыш, воспринимая мир по-особенному — по-еврейски или по-латышски, — поворачивает вещи к обществу такой стороной, с какой оно само не привыкло их видеть. — Вот почему, сознавая себя евреем, я тем не менее позволяю себе писать по-русски о русских вещах. Это — сознательно, т. е. так я в мыслях, назад и вперед, оправдываю свою работу. А пишу я каждый раз потому, что мне этого хочется, т. е. вот сейчас по ходу моих мыслей хочется читать о Пестеле, и думать о нем, и потом написать, а вчера потому же хотелось читать славянофилов и писать о Кирсевском ³.

А что Вы «плачете» о России, этого я не понимаю. Можно скорбеть о пошлости, пустоте, своекорыстии всех этих адвокатов, газетчиков, политиков, профессоров — правых и левых, — среди которых мы живем, можно также скорбеть о положении и России (го-лод, безземелье, бесправие и пр.), но о России бывший историк должен бы правильно думать. Да это, я думаю, так, минута у Вас такая. По природе Вы благословляете мир и все видите в радости; да вот расстроились нервы или переутомление. и хочется повор-
чатъ или пожаловаться

О Николае I Вы неверно у меня прочитали: я как раз оспариваю мнение, что он «покупал» декабристов. Может, неловко выразился.

Печерина я скажу на складе, чтобы Вам послали; и прошу у Вас одолжения: я велю послать Вам 2 экземпляра, Вы же будьте так добры, передайте, пожалуйста, при случае второй экз. В. А. Тернавцеву⁴, которого я издавна книжный должник.

Ваш М. Гершензон.

¹ Сохранился черновик этого письма (ОР ГБЛ, ф. 746, к. 26, ед. хр. 37).

² Г р и н г м у т Владимир Андреевич (1851—1907) — публицист, редактор газеты «Московские ведомости», основатель Русской монархической партии.

³ Помимо статей об И. В. Киреевском Гершензон в издательстве «Путь» подготовил двухтомник писателя (К и р е е в с к и й И. В. Полное собрание сочинений в 2-х томах. М. 1911). Ему принадлежит и исследование о П. В. Киреевском — предисловие к книге «Русские народные песни, собранные П. В. Киреевским» (т. 1, М., 1910). В 10-е годы Гершензон готовил специальную статью «Славянофильство» для «Энциклопедического словаря» братьев Гранат; она не была опубликована (см.: ОР ГБЛ, ф. 746, к. 8, ед. хр. 30). Гершензон даже оправдывался в своем увлечении славянофилами; он писал брату 3 ноября 1910 года по поводу статьи о нем Горнфельда: «Ничего, я доволен, именно тем, что Горнфельд подчеркнул мою связь с еврейством. А то мне надоело, что меня называют славянофилом; а теперь еще под моей редакцией выходит Киреевский» (Г е р ш е н з о н М. О. Письма к брату. Л. 1927, стр. 174—175).

⁴ Т е р н а в ц е в Валентин Александрович (1866—1940) — писатель-богослов, учредитель Религиозно-философского общества в Петербурге. Был близким другом Розанова.

16. В. В. Розанов — М. О. Гершензону

23 января 1912

Спасибо, Мих. Ос., за письмо, столь содержательное. Как Вы мне хорошо объяснили меня себе самому. Но откуда при личном страдании, у Вас такая ещѣцрѣвѣнѣ не только книг, но и писем. «Каждая строчка ложится на свое место». Какая противоположность моему хаосу. Какая интересная (заглянул) биография Печерина. Вот — роман, вот — жизнь. Я всегда верил в Вашу любовь к русским, но меня смущало «неодолимое семитическое влияние» (в литературе), «черенок-прививка» к русской душе вот этого «хорошо — рассчитывающего», застегнутого, не «вихрастого» семитизма. Смотрите, как лежат у них красиво чалмы, и

Смуглые ручки порой подымали —

край палатки («Три пальмы»). Разве можно сказать о русской бабище, что ее «ручки подымали» что-нибудь. Она вечно «задеря подол». Но (вот этого-то Вы и не поймете, да и не примиритесь с этим) — жаль культурно и исторически и этой «бабы», и черт ее дери с ее «распутством». Ибо все-таки это был своеобразный цветочек в мире, и жаль его затоптать, что если кто его затопчет. Вот и весь я, мой милый. Хотелось (нужно бы) по получении письма попросить у Вас одного литературного совета, но «дни-часы-рубли» Вам трудится дороже, чем мне, и не решаюсь. Ну, Господь с Вами. Не сердитесь на 2 р.: смею ли я отнимать у Вас их. Позвольте и мне быть немножко благородным.

В. Розанов.

Я живу очень печально: 16 месяцев трудно больна жена². Удар ее — не прошел.

В. Розанов.

¹ Радость (греч.).

² Варвара Дмитриевна Бутягина, урожденная Руднева (1859(60?) — 1923)

17. М. О. Гершензон — В. В. Розанову

28 января 1912. Москва

Дикий Вы человек, Василий Васильевич, получите Ваши два рубля обратно¹. Буду скоро в Петербурге, зайду к Вам побраниться. Вы решительно изображаете меня немчиком, ganz accurat, — а ведь Вы ни меня не знаете, ни читали моего, почему же Вы судите? И семитизм не так прямолинеен и рационален, и Россия не в «бабище дебелой и румяной». А что Вам дорога историческая складка над бровью или бородавка, это потому что Вы художник, и в этом Ваша правда и сила. Ну, всего не напишешь.

Ваш М. Гершензон.

¹ Розанов прислал Гершензону два рубля за подаренную ему книгу «Жизнь В. С. Печерина».

18. В. В. Розанов — М. О. Гершензону

«Конец января 1912»

М. О.!

Как мне г л у б о к о неприятно возвращение 2 р.; Вы как римский воин «*tangita meos circulos*»¹. С давних пор мне **противна** русская неряшливость в деньгах, которая, сочетаясь с «идеализмом», являет нередко возмутительное п л у т о в с т в о. «Милый мой,— да я совсем и забыл про должок: такая мелочь!» Ис давних пор я,

Нарушив все священные обеты² —

я исполнил этот крошечный обет: всегда честно платить, даже в гривенниках. И сколько мне радости дали эти гривенники (за рисовку понять древних, при их покупках, лет за 10 я уплатил до 15.000 р.)³.

Когда я был у Вас, меня поразила (и конечно понравилась) бедность обстановки, холодный кофе и мало прибранная жена. «Это не магнат Венгеров»: хотя какой же у Венгерова дар сравнительно с Вами. И затем месяца 1½ назад коротенький рассказ москвича о Вас⁴, по поводу «Пути»⁵ и какой-то книги: «и представьте, это Гершензон сделал не по какой-нибудь причине, а по глубокой нужде в деньгах», «он — страшно нуждающийся человек». Это молодой ученый (юноша почти) сказал с глубоким сочувствием к Вам и с глубоким уважением (из Московской Духовной Академии). Нужно сказать, как я сам прошел «азы» нужды — от 1893 до 1898 г.⁶, то слишком все тут понимаю, до «социального вопроса», до «Савицкого» (в Витебске, разбойник)⁷.

И когда Вы мне прислали «с пересылкой» естественно на 2 р., я уплатил. С такой радостью. Но Вы у меня этот «святой гривенник», этот новый и важный шаг в русской культуре — похитили, подражая Груберам и Грановским⁸, и вообще «распущенной Москве».

Пишу это не из мелкого тщеславия: но ей-ей это из лучших завоеваний в мою душу (увы, не многих). У всякого есть свои «мелочи», и ей-ей мелочи слаще большего.

В длинном письме меня совершенно убедили (поразив новизной и верностью) слова: «Чтобы трудиться, чтобы писать, и писать томы,— добавлю, с воодушевлением,— нужно иметь так сказать взрыв щепочки пороха под каждой страницей,— моментальное на этот вечер воодушевление. И если я столько пишу о русских и русской литературе, то это значит, что я искренно и глубоко и люблю их, без всяких имитаций»⁹.

Ну, довольно.

Ваш Розанов.

(Не очень хорошо, что Вы мне пишете фальшивые «преданный» и проч.)

Убедился, что не заказные письма — не доходят.

¹ Перефразированные слова Архимеда, сказанные римским воинам, ворвавшимся в его дом: «*Noli tangere circulos meos*» — «Не трогай моих кругов (чертежей)» (лат.).

² Цитата из «Гамлета» (акт III, сцена IV).

³ Речь идет об увлечении Розанова нумизматикой. Ему принадлежит специальная работа «Об античных монетах» (см.: Спасовский М. М. Розанов в последние годы своей жизни. Нью-Йорк. 1968)

⁴ Видимо, имеется в виду Сергей Алексеевич Цветков (1888—1964), историк литературы, библиограф Розанова.

⁵ Книгоиздательство, выпускавшее философскую, религиозную литературу. Издательница — М. К. Морозова.

⁶ В 1893 году Розанов переехал в Петербург и поступил чиновником канцелярии Государственного контроля, где прослужил до 1899 года; «азы нужды» кончились в 1899 году, когда Розанов стал постоянным сотрудником «Нового времени».

⁷ Известный разбойник, стоявший во главе шайки наемных крестьян, занимавшихся грабежами в Витебске и его окрестностях. В 1909 году газеты вспомнили о нем в связи с появлением банды «внуков Савицкого», действовавшей в Минской губернии теми же методами (см. «Русское слово», 15 июля 1909 года).

⁸ Грановский Тимофей Николаевич (1813—1855) — историк, профессор Московского университета.

⁹ Местонахождение «длинного» письма Гершензона неизвестно.

19. М. О. Гершензон — В. В. Розанову

Москва, 8 марта 1912 г.

Удивительный Василий Васильевич, три часа назад я получил Вашу книгу, и вот уже прочел ее¹. Такой другой нет на свете — чтобы так без оболочки трепетало сердце пред глазами, и слог такой же, не облекающий, а как бы не существующий, так что в нем, как в чистой воде, все видно*. Это самая нужная Ваша книга, потому что, насколько Вы

единственный, Вы целиком сказались в ней, и еще потому, что она ключ ко всем Вашим писаниям и жизни. Бездна и беззаконность — вот что в ней; даже непостижимо, как это Вы сумели так совсем не надеть на себя системы, схемы, имели античное мужество остаться голо-душевым, каким мать родила,— и как у Вас хватило смелости в 20-м веке, где в се ходят одетые в систему, в последовательность, в доказательность, рассказать вслух и публично свою наготу. Конечно, в сущности все голы, но частью не знают этого сами и уж во всяком случае наружу прикрывают себя. Да без этого и жить нельзя было бы; если бы все захотели жить, как они есть, житья не стало бы. Но Вы не как все, Вы действительно имеете право быть совсем самим собою; я и до этой книги знал это, и потому никогда не мерял Вас аршином морали или последовательности, и потому «прощая», если можно сказать тут это слово, Вам Ваши дурные для меня писания просто не вменял: стихия, а закон стихий — беззаконие. Чем старше становлюсь, тем легче иду на исключения. В 20—25 лет для меня Пушкинская ясность была канонem поэзии, а теперь вот я признаю за Вяч. Ивановым право писать непонятные стихи, потому что, кажется мне, он — Божьей милостью². Так и Вы — Божьей милостью.

А на другой день, в понедельник, встретился я у Вяч. Ив<анова> со Столпнером; я его тут в первый раз увидел, и долго говорил с ним о Вас, и осуждал его, что он отстранился ради «морали». Мог бы, кажется, стать выше морали.— Напрасно Вы не вставили в книгу заметки, которая была несколько лет назад в «Северных цветах» кажется; еду на извозчике, вынимаю портсигар, чтобы закурить, и пр. Это одна из лучших Ваших страниц. Я Вас с нее и узнал³.

Ну, будьте здоровы, и Вашей жене от души желаю, для нее и для Вас, совсем поправиться. Прошу Вас передать ей мой привет. Она мне была очень симпатична.

Ваш М. Гершензон.

* И вместе трепетный, как самое сердце.

¹ Речь идет о книге Розанова «Уединенное» (СПб. 1912). Глубокая характеристика книги запомнилась Розанову, писавшему осенью 1918 года Э. Голлербаху: «Гершензон тоже писал, что это («Уединенное».— В. П.) совершенно антично по простоте, безыскусственности. Это меня очень обрадовало: он знаток» («Письма В. В. Розанова к Э. Голлербаху». Берлин. 1922, стр. 54).

² С Вячеславом Ивановичем Ивановым (1866—1949) Гершензона связывала давняя дружба, увенчавшаяся совместной книгой «Переписка из двух углов» (1920). Об их взаимоотношениях см.: И в а н о в Вячеслав. Собрание сочинений, т. III. Брюссель. 1979. (Прим. О. Дешарт.)

³ Речь идет о фрагменте из «Мимолетного» Розанова (см.: «Северные цветы на 1903 год». М. 1903, стр. 151).

20. М. О. Гершензон — В. В. Розанову

Москва, 28 октября 1912 г.

Благодарю Вас очень, Василий Васильевич, за память и за подарок¹. Хотелось бы знать, кто это Аноним в конце книги². Умница. Очень важно то, что он говорит на стр. 287—288; и мне тоже кажется, что Вы сделали важную ошибку, не учтя в истории этого факта,— ошибку во всем историческом объяснении полового вопроса.— Но это все-таки частность; главное то, что Вы, несомненно для меня, сделали великое открытие, подобное величайшим открытиям естествоиспытателей, и притом в области более важной,— где-то у самых корней человеческого бытия. Напрасно Вы скромно открещиваетесь вопросительным знаком от эпитета: научный; Вас вела интуиция по тому же пути, куда направляется теперь (и больше ощупью, чем Вы) наука: Вы наверное знаете о теориях проф. Фрейда и его сподвижников³.— Но трудно преодолевать смущение, читая Ваш «Лунный свет»; смущение это вероятно естественное, как говорит Ваш Аноним, отчасти конечно и взлелеянное историей. Вы, подобно врачу, просто говорите об этих скрываемых вещах, а мы, пациенты, краснеем.

Ваш М. Гершензон.

¹ Речь идет о книге Розанова «Люди лунного света» (СПб. 1911).

² Аноним — П. А. Флоренский.

³ В эти годы З. Фрейд был уже достаточно известен в России. Розанов в «Людах лунного света» ссылается на двух психоаналитиков — О. Вейнингера и Р. Крафта-Эбинга. Ссылок на Фрейда у него нет.

21. В. В. Розанов — М. О. Гершензону

«Около 26 декабря 1912»

Ну, милый Гершензон, я обиделся, что не получил от Вас писульки,— таким красивым ровным почерком. Я о Вас часто думаю, и когда пишу дурно об евреях: всегда я больно думаю — «это будет больно Гершензону»¹. Что делать, после † Столыпина у меня как-то все оборвалось к ним (посмел ли бы русский убить Ротшильда и вообще «великого из и х н и х»). Это — простите — нахальство натиска, это «по щеке» всем русским — убило во мне все к ним, всякое сочувствие, жалость. И вот тут как-то болью проходит отношение к Вам (и Столпнеру, с коим я перестал кланяться: он большой еврейский патриот), что делать:

Мы хотим — одного.

А жида хотят — другого.

Жму руку. Вас очень любит (не просто уважает) Цветков из Москвы, как я думаю — огромная надежда России, а по вкусам, по знаниям, по симпатиям — «2-ой Гершензон». Во многом — человек удивительный. Он очень хочет близости к Вам — и я думаю, когда Вы его узнаете,— и Вам он будет очень интересен. Тонкость и изящество вкусов у него — необыкновенны. И — огромные сведения у такого еще молодого.

В. Розанов. Коломенская, д. 33.

¹ Розанов имеет в виду две свои последние статьи — «Есть ли у евреев тайны» («Новое время», 9 декабря 1911 года) и «Иудейская тайнопись» («Новое время», 12 декабря 1911 года), которые затем вошли в его книгу «Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови» (1914).

22. М. О. Гершензон — В. В. Розанову

Москва, 26 декабря 1912 г.

Как же так, Василий Васильевич: получив 2-е издание Людей лунного света, я написал Вам, значит, письмо пропало. Еще я спрашивал там, кто это умница писал Вам письмо, напечатанное в Приложении. Потом узнал, что это Флоренский.

Это правда, что Вы пишете: Ваши писания о евреях делают мне очень больно. И главное — их тон. Вы меня простите: я не верю в Вашу искренность здесь, в этом пункте. Я думаю, что евреи, вся масса нынешних русских евреев, для Вас просто не существует, и Вы к ней так же равнодушны, как ко всякому небытию, как к прошлогоднему снегу. Вы ее не видели, Вы знали только несколько человек, по которым не могли судить — и так дурно — о целой расе. Вы не видели также ее эксплуатации, конечно, Вы можете на этот счет верить другим, или печатному, но тогда Вы бы стали с равным озлоблением нападать и на полицию, которая взятками высасывает народ, и т. д., — а главное на водочную монополию, которая ведь — этого не будет отрицать самый заядлый юдофоб — есть главный эксплуататор русского народа, страшнейшая из всех его язв. Значит и не эксплуатация Вас восстанавливает против евреев. Я думаю, что дело не в осязаемом или зримом чем-либо, что дело в каком-то невесомом элементе еврейского духа, который Вам глубоко претит и заставляет ненавидеть весь этот дух; может быть это четкая рассудочность, членораздельный расчет еврейского ума (так странно сочетающийся с восточным пафосом и риторикой), может быть что-нибудь другое, но это во всяком случае что-то психическое и только психическое. Но тогда — будьте же последовательны: такое чувство дает Вам право говорить только о психическом вреде еврейства, а не о еврейском засилии или эксплуатации; и тут, став на эту, для Вас единственно правильную точку, Вы бы тотчас поняли, что и об этом вреде Вы по совести не вправе говорить. Как может отдельный человек своим рассудочным мышлением судить о полезности или вредности целого душевного организма, как дух расы? Тут все значит — целое, а выделять элемент из такого целого и оценивать этот элемент в отдельности — ведь грубее нет ошибки. Да приложите к Вам: Вас можно любить только как целое, а отдельных черт в Вас множество таких, что за каждую отдельную Вас можно и должно ненавидеть (что и делают по неразумию многие); и то же самое с Вашей, с моей женой, со всяким человеком. Муж и жена только тем и держатся в любви, что ценят друг друга как неразложимое целое, а чем человек мне равнодушнее, тем легче мы сбиваемся на расценку (рассудочную) его отдельных черт. Это с отдельным человеком. А дух целого

народа еще много сложнее. В огромный котел сложнейшего химического состава — в психику русского народа — вливается струя другого, не менее сложного состава — еврейская; какой разумный человек решится сказать, что получится в результате этой безумно сложной химической реакции? Неприятная вам черта еврейства — это один элемент, в отдельности притом и не существующий; даже об этом одном элементе разве Бог один может судить, вредную или полезную реакцию он произведет в русском народе; а о действии всего влияния — кто может судить? И выходит, по-моему, по крайней мере, что о вещах такого большого, исторического калибра, просто невозможно мыслить; это в мириады раз превышает силы нашего ума. Да и то сказать: так ли это важно? котел-то огромный, а еврейская струя по сравнению очень мала, и льется в котел много других еще струй — и бесчисленные западные влияния в виде сношений личных, торгового обмена, литератур, и два десятка русских инородческих национальностей кроме евреев. Если химическая основа крепка — все претворится в нем на благо, будет чудный, чистый расплавленный металл, и нездешние руки в нездешней форме отольют из него колокол с всемирным ясным благовестом; в это я верю. Будет колокол не хуже, а вероятно и лучше тех, которые звучат донныне нам в песнях Гомера, в еврейской Библии, в сказаниях о Катоне, Сципионе и Гракхах. И Вы — не беритесь судить о правильности Божьего дела: в таких, повторяю, великих явлениях, как стихийное влияние миллионов людей на миллионы других людей, мы не судьи. Так что я думаю 1) что Вы только по заблуждению пишете о засилии евреев: оно для Вас безразлично, Вы его не знаете и пр.; а суть — в Вашем отращении к каким-то чертам еврейского духа; 2) об этих чертах Вы можете сказать только, что они Вам противны, но никак не вправе утверждать, что они искажают русский народный дух: этого Вы просто не можете знать. И от этого недоразумения и непоследовательности Вашей происходит то, что тон Ваш в Ваших еврейских статьях — нехороший, фальшивый, мелочно-злой. Не говорю уже о бесчеловечности этой травли; масса еврейская живет в такой страшной нужде, в таких нечеловеческих страданиях, что травить на нее правительство еще и еще — большой грех; но это Вас не может трогать, раз Вы чувством не любите евреев и физически не осязаете их присутствия, а только присутствие их психики.

Я написал Вам азбучные истины, но для меня совершенно подлинные; и мне тоже очень больно думать, что прочитав это письмо, Вы даже не подумаете о нем, а просто без всякой мысли об этих вещах завтра возьмете перо и по привычке напишете дурную (потому что не обдуманную и не прочувствованную) статью о вреде евреев. Вам стоило бы минуту остро подумать, и Вы навсегда отказались бы писать об еврейском вреде; но Вы не таете себе труда подумать. Есть у меня знакомый князь, молча глубоко гордый своим княжеством, он говорит: «я монархист, и не хочу об этом вопросе даже сам с собою думать». Так и Вы, но тот по бессознательному крепкому чувству, а Вы, мне кажется, — только по лени: дескать, не стоит усилия. Вы бы, если бы подумали, поняли бы в этом деле не только мос, но и много больше моего.

Ваш М. Гершензон.

Вам будет приятно узнать, что «Путь» решил, по моему предложению, издать полное собрание сочинений любимого Вами Аполл. Григорьева; я же и буду редактировать¹. Если Вы знаете какие-нибудь неизданные материалы, укажите мне, пожалуйста.

¹ Издание А. Григорьева Гершензон не осуществил

23. В. В. Розанов — М. О. Гершензону

«Конец 1912»

Многоуважаемый Михаил Осипович!

Я узнал молодого поэта по фантазиям, по сл о г у, — по прекрасным воззрениям: — который хочет писать. Он москвич, и первым делом я спросил его, знает ли он Гершензона. Хотя он не высказывал желаний познакомиться с Вами (он вообще застен-

чив), но мне самому захотелось, чтобы Вы познакомились с ним. Простите меня за навязчивость: но пусть к Вам течет все талантливое. Зовут его: Григорий Викторович Рочко ¹.

Не сердитесь на единого и вечного.

В. Розанов.

(Познакомьте его и с Грузинским ².)

¹ Рочко Григорий Викторович — поэт, критик; в скором времени состоялось его знакомство с Гершензоном (см. письма Рочко Гершензону — ОР ГБЛ, ф. 746, к. 40, ед. хр. 69).

² Грузинский Александр Евгеньевич (1858—1930) — литературовед, с 1909 года — председатель Общества любителей российской словесности.

24. В. В. Розанов — М. О. Гершензону

«Конец 1912»

Спасибо, милый Мих. Ос., за письмо (о евреях): и если «за дело будете драть» (т. е. розга) — спасибо же. Вообще я всегда от Вас жду всякой правды, и чем она суровее будет — тем слаще мне, т. е. слаще как килька «с перцем и уксусом».

Любя Вас — не буду говорить. Не хочу мучить Вас. Рочко (он — еврей) мне тоже говорил; говорил мягко, поэтично. И мне от его «позиий» стало невыносимо больно, и в новое «Уединенное» я много об евреях написал почти на полях его письма ¹.

Да, евреи теперь — холодны мне.

Но вот новое, что я наплел (подробности Вам передаст Рочко); страшны конечно не «пороки» их; кому опасны пороки? В пороках сам сгниешь. Страшны их колоссальные исторические и социальные добродетели.

Вот что мне жжет душу. И не могу никуда уйти от этого жжения.

Евреи — выживут, а русский народ погибнет — в пьянстве, распутстве, сводничестве, малолетнем грехе.

Вы скажете: «пьяному и развратному туда и дорога». Вы так скажете — о чужом. А «родному» и пьяный сын дорог, и распутная дочь — драгоценна.

Нет, не легкомыслие у меня, не минута: а жжет душу, гнетет душу.

Знаю, что не по внешности, а внутренне эти статьи бесконечно литературно роняют меня: но человек кричит из писателя.

Ну, невежа В. Розанов (не хотите).

Прервали.

Со двоими советовался о Вашем письме (давал его прочесть: оба знают Вас и очень уважают): и засмеявшись сказали: «То, что Вы пишете о евр^еях — мелочь сравнительно с тем негодованием, какое они вызывают захватом всего». Да разве Вы не помните, что и Куприн тоже сказал: «нельзя двинуться в литературе без еврея», а Куприн бесстрашный и 3-й человек.

Боль. Боль и боль.

Может Вы меня и возненавидите, и это грустно мне, но что делать. Лично я от евреев только прекрасное видел, и напр. отношение ко мне Руманова из «Русск. Слова» (Аркадий Вениаминович) ² — удивительно по тонкости, деликатности: и я не забуду, как этот еврей по телефону говорил мне поддерживающие и укрепляющие слова (в пору полемики с Пешехоновым), когда ех-поп Григорий Петров обрушился, подумав, что «меня окончательно съели», — бранно-презрительным письмом, где между прочим Церковь выругал «проституткой» (и я ему перестал после этого писать, несмотря на его последующее заискивание) ³.

Конечно, евреи умнее (ибо исторически старше) русских и имют великое воспитание деликатных чувств, деликатных методов жизни — от Талмуда, от законов Моисея, да и оттого, что все дурное и слабое там выбито погромами, начатыми в Испании, где не было Суворина, и в Запорожской Сечи, где не читалось Новое Время.

Слава богу, что Вы издаете Апол. Григорьева. Бездна его писем конечно у Страхова ⁴ и у наследника его, преподавателя гимназии в Киеве, издающего его сочинения: но его фамилии я не помню ⁵ (верно есть на обложке посмертных изданий Страхова);

справьтесь в Румянцевском Музее и напишите ему. Здесь живет, кажется, внук его, и встретив его — я скажу ему. Он — «Григорьев» и библиотекарь, кажется, при Академии наук, энтузиаст деда.

¹ Речь идет о новых эссе, вошедших в «Опавшие листья» (1913).

² Р у м а н о в Аркадий Вениаминович (1878—1960) — заведовал петербургским отделением газеты «Русское слово», в которой сотрудничал Розанов.

³ Статья Розанова «Открытое письмо А. Пешехонову и вообще нашим социал-сугенерам» («Новое время», 15 декабря 1910 года) была ответом на статью Алексея Васильевича П е ш е х о н о в а (1867—1933) «Бесстыжее светило, или Изобличенный двурушник» («Русские ведомости», 2 декабря 1910 года; П е т р о в Григорий Спиридонович (1867—1923) — бывший священник, лишенный в 1908 году сана, регулярно выступавший против монашества, церковных институтов.

⁴ С т р а х о в Николай Николаевич (1828—1896), «литературная нянька» Розанова, оказал на него заметное влияние (письма Страхова к Розанову см.: «Литературные изгнанники», т. 1, СПб. 1913).

⁵ Речь идет об издателе Страхова И. П. Матченко.

25. М. О. Гершензон — В. В. Розанову

Москва, 6 января 1913 г.

Милый Василий Васильевич, Ваше письмо я получил, но наш спор ни к чему. Вы не хотите или не можете слушать, Вы наглухо заперлись в своей фантастике от здравого смысла, от человеческого чувства, от всего, что может внести свет в ее тьму. Ваши рассуждения о евреях так нереальны, что для меня ни на минуту не возникает сомнения: пружина Вашего поведствия — не в Вашей логике, а в чем-то психологическом. И если бы Вы дали себе труд углубиться,— Вы бы нашли этот психологический узел, и тогда все Ваше отношение к евреям распуталось бы; я не говорю — улучшилось бы,— этого я не могу знать,— но уяснилось бы. Рочко говорил мне о Вашей теории содомизма,— но это еще большая фантастика, безнадежная ¹.

Рочко был у меня, потом принес свои две статьи. У него, по-моему, сильный писательский темперамент, он мыслит своей головой, и ярко. Беда его в том, что у него, как у мухи, сто глаз; а чтобы быть большим писателем, надо ослепнуть на 98 глаз, и чтобы осталось только два, больших, как у бегущего паровоза ночью. Он еще молод, если жизнь оглушит его здоровенным ударом извне или изнутри, он ослепнет и прозреет на два глаза; а иначе — из него выйдет, как мне кажется, философский Чуковский ².

Кстати: он приносил мне Вашу книжку о Суворине, но я успел прочитать только часть ³. Если у Вас есть свободные экземпляры, пришлите мне. Об Ап. Григорьеве, пожалуйста, не забудьте; расспросите тех, кто может знать его неизданное.

Ваш М. Гершензон.

¹ Имеется в виду книга Розанова «Люди лунного света», где «содомизм» определяется как «±полового вождления» (стр. 99). Гершензон, вероятно, задет национальными экстраполяциями этой «теории», вылившимися впоследствии в книгу Розанова «В соседстве Содомы (Истоки Израиля)» (СПб. 1914).

² Гершензон уже писал о том, что у Чуковского «мысли, а не мысль», что нет единства взглядов и единства «моральной личности» («Вестник Европы», 1908, № 3, стр. 412).

³ Речь идет о книге «Письма А. С. Суворина В. В. Розанову» (СПб. 1913).

26. В. В. Розанов — М. О. Гершензону

«Январь 1913»

Вы чрезвычайно меня обрадовали и сделали большое добро и личное, и, я думаю (в конце концов), литературное, написав письмо с «милый В. В.»: я думал — Вы уже не напишете и вообще «разрыв». Это добро, нужно заметить, я испытывал и от Столлнера (теперь совсем разошлись, не кланяюсь), и вообще я знаю это еврейское, что они культурнее и во многих отношениях исторически-аристократичнее русских и вообще европейцев.

Ах, многое я «знаю» и от этого-то душа и болит:

Ну, итак: СПАСИБО.

Удивительно все, что Вы написали о Рочко (нужно из 98 глаз закрыть 96, чтобы быть крупным писателем) и о Чуковском. Увы, я думаю, последний выдохся и исписался, при всей молодости и «едва-едва начале». Это ужасно мелко. Так в сущности талантлив по

природе, горит, блестит etc. Остер и остроумен. И — меток. Но это (т. е. судьба Чуковск<ого>) показывает, что невозможно протянуть дл и н н у ю нить писательства, не имея явно или подспудно морального пафоса, и вообще пафоса. «Что за стрела, которой некуда лететь». А ему решительно некуда лететь ¹. Вообще в обмен на доброе мне хочется Вам сказать тоже доброе: я много думал о судьбе евреев в русск<ой> литературе и как им трудно и как нелегко вообще им тут бы т ь, «чай пить». Венгеров (он добрый и ч е с т н ы й) слишком туп, толст и, отметя все еврейское, стал просто «русским либералом» и приват-доцентом. Это не глубоко, не интересно и едва ли кому нужно удвоение приват-доцентов. Вы с неизмеримо большим умом и вкусом избрали разработку и историю славянофильства, и не я один, а множество русских и даже вообще, я думаю, русские оглянулись на это с удивлением, и, я думаю, с затаенным восхищением. Очень немногие (все-таки — есть) — с недоверием как к н е в о з м о ж н о с т и (т. е. с недоверием не к личности Вашей, а к трудности и невероятности факта).

Оставляю совершенно Богораза (Тан) и Изгоева, из коих один делает скверное русское дело и другой скверное и фальшивое дело ². Совсем откидываю в сторону «Шиповник», который до известной степени призывает погром на евреев (=Герценштейн; «рукой русских») ³. Дальше Айзманы и Шоломы Аши изобретают теперешнюю «черту» (оседлости), тупое, слепое, голодное, мелкое — безысходное «гетто» ⁴. Переферкович без всякого смысла переводит Талмуд ⁵. Но вообще это, конечно, не «выход».

Оттого я и полюбил Столпнера, что он мне показался «выходом». Бедный, почти нищий, он какой-то Белинский без слов, без милых «Литературных мечтаний». Он *вполне* е в р е й и только еврей. Он не примазывается к русской образованности, он «помнит отца и мать»: иногда я его мысленно сравнивал с «отцами Талмуда», великими Гаонами ⁶. По молитвослову в Вильне он выучился по-русски, зачитывался Некрасовым, Белинским, и общечеловеческим сочувствием и не мурмольным сочувствием полюбил русских крестьян и русскую книгу, русский журнал. Вообще разрыв со Столпнером у меня чрезвычайно болит в душе, я его не только уважал, но полюбил в его гордости и тайной ласке (ко мне,— было). Это был самый дорогой у меня гость в комнате. Удивительное в нем — глубокая аристократичность крови, аристократичность манер (да! да!), аристократичность всего духа. Мы просиживали ночи, и он мне выдал кое-какие крупницы великих и трогательных еврейских тайн: 1) евреи веруют, что на субботу им даруется каждому — вторая добавочная душа, и он имеет 2 души, 2) мать и отец особенно любили меня, и хотели «мальчика», ибо по еврейскому воззрению — с ы н е с т ь м о л и т в е н н и к, к е д е ш о п а м я т и о т ц а п о с л е г о с м е р т и, т. е. «молитвенник за упокой души». В знакомство мое с ним мы никогда о политике не разговаривали (неинтересно было), но теперь я думаю, что он погубил свою возможную роль на Руси, прекрасную и трогательную и поучительную роль Сковороды ⁷,— записавшись в социал-демократию, после чего перестал *быть виден* как именно еврей и как свое «я». Т. к. он моложе меня, то я вижу, естественно, дальше горизонты: «еврейский вопрос в России» разрешился Столпнером, ибо он был нужен и полезен и благ всякому русскому и целой России тем, что нес е й с е б я и знал и научал общим и спасительным тайнам, спасительным для всякого «я», которые конечно содержатся у древнего народа, видевшего построение пирамид. Евреи никогда не должны забывать, что в русском селе и в Лондоне Псалтырь есть любимейшая наравне с Евангелием книга и что Библия — с в я т а и д л я н а с. Вообще в юдаизме, в его гордом и не колеблющемся «я», есть общечеловеческое достоинство, общечеловеческая истина, не истина «2 × 2 = 4», а какого-то невыразимого величия и достоинства духа, кроткого в унижении, вдруг ласкового в победе (есть одно такое удивительное место в Библии) и т. п. Мне кажется, евреи делают великую ошибку, ошибку для своего счастья, ошибку для своего развития, затормозившись в русскую журналистику, которой жизнь — 1 день, и думая, что они «преуспевают» Шиповником. Даже непонятно, как такой умный народ мог опуститься до такой пошлости. «Мы несем Псалтырь, а не Шиповник», «мы понимаем ТРУД царя, а не наполняем его правительство» (один день жизни) — вот ПУТЬ евреев. От мужика до министра все бы оглянулись на эту серьезнейшую нацию, идущую торжественно с Богом и законом, с Царем и повиновением, с великою с в я т о ю с е м ь ю, коей они дали первые тип и образец. «Что же один Розанов говорит о разводе ⁸,— он „нововременец“ и ему быть тоже «1 день»: было бы иное, если бы Слонимский ⁹, Гершензон, Столпнер стали советовать русскому правительству, как устроить семью. Словом, великое еврейство могло бы идти параллельно русскому народу, «неся сосуд с маслом на голове» и отнюдь не переходя в русский кабак и русскую журналистику. И как правительство. так и народ принял бы это еврейство Псалтыри, как

мы приняли «яко своего» Давида и отчасти даже Соломона. А то — адвокаты, банки и часовщики: мы — задыхаемся. Задыхаемся мелкой торговой злобою. Столпнер мне показал (и как люблю его, прямо незабвенно), что есть «царственное» в теперешнем еврее, спокойном, не завидующем, бедном, книжном. Столпнер мне открыл «правду еврейства», которую я увидел и вздохнул о ней ему в спину. Еще печально, что он чуть-чуть и незаметно ненавидит Христа и христианство (я был испуган, но это — очень незаметно): это страшно и печально, и евреям в их ПУТИ надо вовсе это оставить и, не переходя в христианство (хотя я знаю трогательнейшие случаи и перехода) как бы забыть его вовсе и никогда с ним не враждовать.

Устал. И еле ручка мажется. Везде я Вам послал «Письма Суворина», наверно помню, как писал адрес. Сейчас — пошлю.

Любящий и благодарный В. Розанов.

«Приписка на обороте:»

Еще:

Это — великая культура денег. Ведь я, Вам послав 1 р. 80 к. за книгу, исполнял свое самосознание и свое благородство. «Даром» (вечно у русских) — это плутовать под видом простоты, «даром» — этим вся Русь живет и вся Русь становится *через это* сутенером. Я очень хорошо знаю, что русские сутенерничают и у евреев, и у них просят «на чаек». От «пирамид» до сего дня «жид» (в гетто) понимает, что есть Бог в деньгах и что когда Бог в деньгах — деньги будут расти. А Бог в деньгах — честный расчет, исполненный вексель, «каждому за труд его». Русские этого не понимают и со своим «на чаек», конечно, погибнут, подшивая подола у Ривок через 100 лет. И здесь Слонимский, Гершензон, Венгеро могли бы закричать: — Эй, русские, не гибнете. Честно платите и век трудитесь.

Словом, в еврействе есть 2—3—4 вещи у н и в е р с а л ь н о нужных, о коих «скажет мир», и научить универзус этим вещам — их роль, призвание, «положение в мире» и, скажем по-русски, — «на это их Бог благословил».

¹ Пассаж о Чуковском обнаруживает хорошее знакомство Розанова с рецензией Гершензона на книгу «От Чехова до наших дней». Слова о стреле повторяют суждение Гершензона: «...он (Чуковский.— В. П.) просто забавляется, пуская меткую стрелу во всякого проходящего...» («Вестник Европы», 1908, № 3, стр. 412). Чуковский в 1911 году задел Розанова такой «стрелой» — после появления книги Розанова «Когда начальство ушло» написал «Открытое письмо В. В. Розанову», где назвал его духовным трупом (Ч у к о в с к и й К. Критические рассказы. СПб. 1911, кн. 1, стр. 168).

² Б о г о р а з Владимир Германович (1865—1936; псевдоним — Н. А. Тан) — этнограф, поэт, был связан с революционной деятельностью — «скверным», по Розанову, делом. Александр Соломонович И з г о е в (1872—1935; настоящая фамилия Ланде) проделал эволюцию от социал-демократии к кадетству, став членом ЦК кадетской партии

³ Владельцами издательства «Шиповник» были С. Ю. Копельман и З. И. Гржебин. Процветающее издательство печатало лучших русских писателей (отсюда пассаж Розанова о «рукой русских»). Розанов почти в это же время, говоря о возращении политэмигрантов, напишет в статье «Не нужно давать амнистии эмигрантам»: «Евреи сейчас им дадут литературный заработок: в «Копейке» ли, в «Шиповнике» ли, в «Энциклопедии ли Брокгауза и Эфрона» будут платить полным рублем за всякую клевету на родину .. Не нужно звать «погрома» в Белосток, не надо «погрома» звать и в Россию...» («Богословский вестник», 1913, № 3, стр. 646—647). «Шиповник» ставится в параллель с Михаилом Яковлевичем Г е р ц е н ш т е й н о м (1859—1906), экономистом и политическим деятелем, чье убийство было организовано членами «Союза русского народа».

⁴ А й з м а н Давид Яковлевич (1869—1922) и А ш Шолом (1880—1957) — писатели (первый писал на русском языке, второй — на идиш, переведен на русский язык), чья тема — унижения и страдания еврейства в России (М. Гершензон написал сочувственную рецензию на «Рассказы» Ш. Аша.— «Вестник Европы», 1908, № 6).

⁵ Отрицательная оценка Науа Абрамовича Переферковича, переводившего Талмуд на русский язык, повторится и в других книгах Розанова. Розанов назовет его Кавалиным в православии, доказав, что он «в юдаизме определенно и ясно глуп» («Письма А. С. Суворина В. В. Розанову», стр. 49).

⁶ Сан Гаона — сан главы богословских школ в Сурае и Пумбедите (Вавилония), члены которых занимались толкованием Талмуда.

⁷ Столпнер воспринимается Розановым как некий символ «правильного выхода» еврея в России. Его потенциальный путь, по Розанову, — путь еврейского Сковороды, мистического толкователя библейских тайн, научающего им русских. В 1912 году вышла монография В. Ф. Эрна «Г. С. Сковорода. Жизнь и учение», активизировавшая эту фигуру для русской философской мысли. Далее Розанов развивает концепцию параллельного сосуществования и параллельного мессинства русского и еврейского народов под эгидой царя.

⁸ См., например, книгу Розанова «Семейный вопрос в России», т. I—II (ПБ. 1903).

⁹ Речь идет о публицисте Людвиге Зиновьевиче С л о н и м с к о м (1850—1918).

27. М. О. Гершензон — В. В. Розанову

Москва, 10 января 1913 г.

Искренно благодарю Вас, Василий Васильевич, за книгу ¹. Какой чудесный латинский эпиграф Вы написали мне! Ведь что важно: если будешь думать о том, что самое важное для тебя — *bene scribere vitam* ², если будешь искренно стремиться к этому, — то помимо твоей воли лучше будут писаться у тебя и *paginae*, и *libri* ³. Прописная истина, а каждый день чувствую, что без нее — худо. Да верно каждый из нас чувствует, все пишущие.

Еще раз спасибо.

Ваш М. Гершензон.

¹ «Письма А. С. Суворина В. В. Розанову».² Хорошо написать жизнь (*лат.*).³ И страницы и книги (*лат.*).

28. В. В. Розанов — М. О. Гершензону

«Около 14 января 1913»

М. О. ! Что же Вы не откликнетесь на ту радость, какую я сам почувствовал, вернувшись к евреям. Ей-ей: «я думал, Г-н лучше прочих евреев, а оказывается — он хуже их». «Он — о г о и л с я». Евреи — яснее, добрее Вас. Еврей ругается, горячится, но смотрит в глаза всегда полным глазом, очень прямым. Вообще об евреях и их х и т р о с т и — преувеличенная молва; преувеличенная — даже об их у м е. Знаете ли, я люблю «гетто жидовское», их вечный гам, сутолоку, руготню. Во всем этом «добрые нравы», сохраненные от Экбатан в Мидии (Товит и Товия) ¹ до Шекспира, до дома Ротшильда, который я с таким нескончаемым любопытством осматривал во Франкфурте на Майне. и немножко не люблю писателей-евреев, очень не люблю адвокатов-евреев, но уже очень ценю и уважаю врачей-евреев, аптекарей-евреев, и очень не уважаю тех строк Пушкина, которые он наврал в «Скупом рыцаре», бессмертнойшей в общем пьесе ². Два слова о сем: «есть ритуал» или нет — я не знаю (и до сих пор), но несомненно для меня, что ни лично за себя, ни еврейская нация за это не отвечает и не виновата. Это — тайна и неисповедимость ³. Ясное уже для з е м л и и для нас, что «добрее и яснее» жиденка нет никого на свете, что это — самая на свете человеческая нация, с сердцем, открытым всякому добру, с сердцем, «запрещенным» ко всякому злу. И еще верно, что они спасут и Россию, спасут ее, заматавшуюся в революции, пьянстве и денатурате.

Вообще «спор» евреев и русских или «дружба» евреев и русских — вещь неконченная и, я думаю, — бесконечная.

Я думаю, русские евреев, а не евреи русских, развратили политически, развратили революционно. Бакунин и Чернышевский были раньше «прихода евреев в русскую литературу». Флексер и Гершензон, не говоря о милом Левитане, не говоря о ч у д н о м Шейне, диктовали благоразумие русским, и не говоря тоже о ч у д н о м Гинзбурге (скульпторе) ⁴. Стоит сравнить детскую чистую душу Гинзбурга с плутом Григорием Петровым, чтобы понять, «каковы г. г. Русские» и каковы «проклятые жидаы». Евреи действительно чище русских... чего Вы не поймете иных литераторов — чище в силу обрезания. Тут и Христос (о н-то скрыл) и Ап. Павел (чистосердечно) ничего не понимали в обрезании. Но Господь сохранился и сберег евреев для себя — верно, верно! Ну, прощайте. Господь с Вами, если и сердитесь. В а м л и ч н о, «худому еврею», я прощаю ради массы еврейской, которая добра, блага и желает счастья России.

В. Розанов.

¹ Т о в и т и Т о в и я — персонажи ветхозаветного предания, изложенного в «Книге Товита» (начало II в. до н. э.). Действие предания происходит в мидийском городе Экбатане.² Розанов, говоря об аптекарях-евреях, вспоминает образ аптекаря Товия, торгующего ядом («Скупой рыцарь» Пушкина). Имя аптекаря у Пушкина Розанов ассоциировал с благочестивым героем предания.³ В статье «Есть ли у евреев тайны» («Новое время», 9 декабря 1911 года) Розанов утверждал наличие у евреев ритуальной тяги к крови.⁴ См. позднейшую статью Розанова «Левитан и Гершензон» («Русский библиофил», 1916. № 1) Ш е й н Павел Васильевич (1826 — 1900) — собиратель русского фольклора. Г и н ц б у р г Илья Яковлевич (1859 — 1938) — скульптор. Эти двое, как и Гершензон, смогли, по Розанову, влившись в русскую стихию, сохранить свой национальный менталитет, свое неповторимое лицо.

29. М. О. Гершензон — В. В. Розанову

Москва, 14 января 1913 г.

Милый Василий Васильевич, наши письма разминулись: Ваше заказное я получил на другой день после книги. В Вашем письме много верного и глубокого и много такого, против чего я стал бы спорить, — но во всяком случае все разумно, все человечно. Отчего же Вы этого не печатаете, а печатаете прямо противоположное — как я прочитал в этой же Вашей книге, стр. 50, — «о том очевидном для всех вреде, какой они — евреи — наносят России и русским своим жадным стремлением захватить в свои руки все»¹. Это — о мышах и крысах — или о людях?

Но опять спор, а убедить друг друга мы ведь не можем.

Не понял я, что Вы написали мне о рубле с полтиной. Ваше отношение к этому простому делу кажется мне, простите, неуместной принципиальностью. Если бы Вы у меня или я у Вас занял полтинник на извозчика, мы бы верно при следующей встрече вернули долг. А обмен книгами между пишущими, это все равно, как врачи бесплатно лечат друг друга, и тут не только нет худа, а есть маленькое добро — именно житейская любезность, умягчение отношений. Вот пришлю Вам сочинения Чаадаева, и будем квит².— Книгу (Письма Суворина) Вы мне раньше не присылали, а только теперь впервые.

Ваш М. Гершензон.

¹ В предисловии к книге «Письма А. С. Суворина В. В. Розанову» последний, говоря о «нейтралитете» «Нового времени», заметил: «Об евреях на столбцах газеты просто говорят шутки, и говорят о том очевидном для всех вреде, какой они наносят России и русским своим жадным стремлением захватить в свои руки все».

² Речь идет о первом томе «Сочинений и писем П. Я. Чаадаева» под редакцией М. Гершензона (М. 1913).

30. В. В. Розанов — М. О. Гершензону

«Около 10 апреля 1913»

Простите, дорогой Михаил Осипович, — что так долго не благодарил Вас за присылку по обыкновению великолепного издания Вашего: думал это соединить с присылкой своей книги, — но пришлось бы откладывать еще на неделю, на 1 1/2, и потому — спешу. Спасибо. А ведь нужно бы перевести «Письма» на русский, как они уже усвоены в «Телескопе» Надеждиным. Но какой отвратительный рот у Чаадаева. Какое высокомерие, несносное для русского. Это «grand seigneur» Александровских времен¹, и вот на такого стоило выпустить Алексинского (2-ая Г. Дума), горбатого уroda-наборщика, сына уездного врача, с его кислотой убийственной насмешки². Хотя Алексинский в истории культуры — и кончается там, где кончился Чаадаев.

А ведь великолепней кн. Одоевский. Что за благородное русское лицо. Я вообще русских недолюбиваю (за лень и вечное бытовое «сутенерство»), но посмотреть на это лицо — со всем мириться. Что за несносная судьба, что такие люди, как Одоевский, — забыты, никто их 40 лет не читает, и везде суются в руки Цебрикова, Вербицкая и Бокль³. Это все русские приват-доценты наделали, да библиографы вроде Горнфельда и Рубакина⁴. Не понимаю, как правительство допускает открытие новых университетов, в Саратове, в Тифлисе, когда даже в Москве они или «их милости» только порят умный и добрый русский народ. Ну, знаю, что говорю «слишком»: но все хочется подать «реплику» на «письмо Белинского к Гоголю».

Жму руку. Жене Вашей — усердный поклон и привет.

Ваш искренний В. Розанов.

В высшей степени хотелось бы и н а д о бы для истории цивилизации в России знать, как идут книжки «Пути», в пределах 1.200? 900? 700? 600? Какие заказываются заказы Морозовой? М. б. Вы бы дали табличку мне? Мне хочется всеми силами помогать им, и хочется знать, помогают ли мои статьи в «Новом Времени». Вообще — как в лесу, ничего не видишь.

¹ В первом томе «Сочинений и писем П. Я. Чаадаева» были помещены французские оригиналы работ Чаадаева, во втором Гершензон даст их перевод. Не «письма», а первое «Философическое письмо» Чаадаева было опубликовано Н. И. Надеждиным в «Телескопе» (1836. № 15). В рецензии на гершензонское издание Розанов противопоставит «раморное католическое лицо» Чаадаева открытому русскому лицу В. Ф. Одоевского (в связи

с изданием «Русских ночей», подготовленным С. А. Цветковым). Они противостоят друг другу, как противостоят Запад России, католицизм — православию, как холод одиночества и тепло семейственных связей (см.: Розанов В., «Чаадаев и кн. Одоевский». — «Новое время», 10 апреля 1913 года).

² Прихотливая мысль Розанова сопрягла фигуру Чаадаева с фигурой Григория Алексеевича **Алексинского** (1879 — 1967), политического деятеля, депутата от социал-демократов.

³ **Цебрикова** Мария Константиновна (1835 — 1917) — писательница-народница. **Вербицкая** Анастасия Алексеевна (1861 — 1928) — писательница, близкая революционным кругам. **Бокль** Генри Томас (1821 — 1862) — английский историк, социолог-детерминист. Все трое объединены Розановым в одну ветвь массового научно-литературного псевдопрогрессивного чтения.

⁴ **Горнфельд** Аркадий Георгиевич (1867 — 1941) — литературовед, библиограф, присяжный летописец текущей литературы. **Рубакин** Николай Александрович (1862 — 1946) — книговед, библиограф, библиофил, изучавший проблемы социологии и психологии чтения.

31. М. О. Гершензон — В. В. Розанову

Москва, 12 апреля 1913 г.

Сердечно благодарю Вас за книгу, Василий Васильевич. Трудно мне с Вами говорить, но о книге скажу ¹. Вы сами знаете, что книга Ваша — большая книга, что, когда будут перечислять те 8 или 10 русских книг, в которых выразилась самая сущность русского духа, не миновать будет назвать «Опавшие листья» вместе с «Уединенным». Но вот, сверх того, мое частное впечатление. Ценность этих двух Ваших книг — в тех крупницах подлинного, которые в них есть. Но в них есть и не-подлинные частицы; не знаю, что это: игра с собою, соблазн эксцентричности или что — другое, но чувствую твердо. Скажу так: Вы запускаете руку в мешок и оттуда, из тьмы душевной, вынимаете орехи и подаете мне, читателю; я раскалываю — спелый, полный орех, ем — орех, несомненно; но на 5 орехов настоящих — шестой — имитация, не отличишь на вид: из картона!! Откуда он в мешке? И главное, как Вы в мешке, ошупью, не узнали его, взвешивая в руке? ведь он пустой, легкий. Вот мое впечатление. Но подлинного много, и оно горит и жжет.

Удивительно хорошо все, что Вы говорите о Вашей жене, и она сама, и о Ваших девочках, и они сами.

Ваш М. Гершензон.

¹ Речь идет об «Опавших листьях», т. 1.

32. В. В. Розанов — М. О. Гершензону

«Около 12 апреля 1913»

Спасибо, дорогой Михаил Осипович, за слова о картоне, папье-маше: это то, что так нужно знать автору и авторам и чего почти невозможно услышать от «братьев-писателей», и по пощаде самолюбию, в сущности — по равнодушию. Шперк ¹ однажды мне сказал: «Ужасная вещь, когда писатель подражает самому себе», и тогда же я ощутил, как это важно. От него впервые я услышал это выражение, и чуть ли он сказал это не о Вольнском. Ваши слова: «чувствую это твердо», и громада литературы, прошедшая через Ваши руки, душу и зрение — не оставляет сомнения, что в «Опавших Листьях» есть эти черты. Где? Не смею просить (у всякого мало времени), но если б на сон грядущий Вы, перелистав, поставили «л» (= ложно) около страниц, строк etc, и прислали мне экземпляр, — вы бы много мне дали. Я бы это и изучил и глубоко вдумался. В «Монархии» я почувствовал почти сплошной картон: а как было живо тогда (когда писал) ². Жму руку. Я радуюсь, что при всех поводах к раздору (у меня — об евреях) мы продолжаем дружить. Кончаю письмо «со Слава Богу».

Хороших сливок и кулича!

В. Розанов.

¹ Шперк Федор Эдуардович (1872 — 1897) — русский критик, философ, близкий друг Розанова.

² Речь идет о книге Розанова «О подразумеваемом смысле нашей монархии» (СПб. 1912).

33. В. В. Розанов — М. О. Гершензону

«14 апреля 1913»

Знаю, что у писателей — часть их — вечность их, т. е. что отнять от писателя или от отдыха — отнять от того, «зачем он пишет». И потому совестно вообще просить писателей, даже «обращаться к ним». Но преодолев «совесть» — еще раз пишу.

Все мне страшно драгоценно, что Вы пишете порицательно или отрицательно. У Вас такой громадный опыт, «наметался глаз», да и — древняя кровь. Вообще «суждения еврея всегда надо принять во внимание». Это уже закон.

Я начал о корректур, когда было растерялся, возможно ли и прилично ли повторение тона «Уединенного», посылал друзьям Цветкову и Флоренскому, и была мысль — послать Вам. Но обоим не написал того (я страшно рассеян), что дудело в голове: «чем Вы больше вычеркнете — тем спасибо». Это очевидно и есть Ваши «пустые орехи» (пишу, перечтя еще раз Ваше письмо ¹). Т. к. Вы мне сказали в Петербурге, что вообще не скучали бы читать меня в корректуре, то уж на 3-ий год, если вообще позволю себе такое издавать (осталось, за год, 1/2 ненапечатанного, и кое-что — явно ценное), пришлю Вам. Будьте мне «милым человеком» и с серсет.: чем больше вычеркнете — тем лучше (только поправки, по субъективности тона, не допустимы).

Ну, устал: 1-й день Пасхи.

В. Розанов.

¹ Письмо отправлено вдогонку предыдущему — его дата устанавливается в связи с упоминанием о Пасхе. Речь идет о письме Гершензона по поводу «Опавших листьев»

34. М. О. Гершензон — В. В. Розанову

16 ноября 1918 г.

Многоуважаемый Василий Васильевич,

Ваше обращение к читателям дошло мне до сердца ¹. Я сам — один из них, но я сам теперь в нужде; ведь печатать негде.

Здесь образовался Профессиональный Союз писателей ²; чрез него или чрез его влияние надеюсь в ближайшие дни устроить что-нибудь для Вас. Благодарю Вас очень за выпуски Апокалипсиса.

Ваш М. Гершензон.

¹ В конце 1917 — 1918 годах Розанов издал десять номеров своеобразного философско-публицистического журнала-трактата, посвященного жгучим проблемам современности, — «Апокалипсис нашего времени». Первый номер, прервав долгую паузу в переписке, он послал Гершензону с надписью:

«Михаилу Осиповичу Гершензону

В. Розанов.

В мучительной, 2.000-летней борьбе «Отрока возлюбленного, Израиля» — с Христом — в самом деле победил Отрок: и (Лейбниц): «всякое действие имеет свое достаточное основание».

Вот это-то я и буду искать.

Остальные выпуски не буду присылать. Берите в «Новом Времени», угол Неглинной и Кузнецкого моста» (собрание М. А. Чегодаевой).

В № 6 — 7 «Апокалипсиса...» появилось обращение Розанова «К читателю, если он друг» с мольбой о помощи: «Устал. Не могу. 2—3 горсти муки, 2—3 горсти крупы, пять круто испеченных яиц может часто спасти днь мой.. Сохрани, читатель, своего писателя, и что-то завершающее мне брезжится в последних днях моей жизни».

² Союз писателей был организован в Москве в марте 1917 года; его председателем был избран Гершензон.

35. В. В. Розанов — М. О. Гершензону

21 ноября 1918

Родной, близкий Г., помогите, пощадите, соберите помощь, подписку ¹. Нет сил, качка воды копейка 1/2 ведерками. Думал, лучше с коромыслом. Не сообразил: ведра покачиваются, все — неустойчиво, и ведра шатают тело, ноги подкашиваются. Бросил, а коромысло стоило 3 р. Голодно. Холодно. Кто-то добрый человек, разговорясь со мною в бане, сказал: «В. В., по портрету Бакста — у Вас остались только глаза» ². Я заплакал, перекрестил его и, поцеловав, сказал — «Никто не хочет помнить». Он на завтра прислал целую сажень чудных дров, крупных, огромных. Увы, уехал в Вятку, и не знаю, вернется ли. Сын уже погиб, 42-й день, от «заработавшись» и простуды ³. Собираю перед трактирами окурки: ок. 100 — 1 папироса. Затянусь. И точно утешен. Со мной больная жена и 2 дочурки, 23 лет и 19 лет. Не дают папке работать: но я стараюсь. 23 лет — бессильненькая, а 19 — уже года 4 страдает почками, и ей вредно качать воду и носить дрова ⁴.

А мысль кипит. Вчера пришло о Страхове и о Христe»: «...праведный писатель... святой писатель... монастырь-писатель. Как ты прекрасен в своей старомодности. Я не оценил этого гениального выражения Флексера о тебе (раз в устном разговоре). Тень Пушкина пала на тебя,¹ и ты вечно нежишься в ее прохладе. И, знаешь ли: как не зайдет тень Пушкина никогда из истории,— никогда и твое благородство и задумчивость не пропадет из истории русского слова».— О нем: —

Уйди, уйди, уйди.
Уйди, уйди, уйди.
О, если бы ушел ты, как благословилась
бы опять земля...
.....
И эллинская Эос
и опять 'αυορά, βοναβ'²
Троя, что-нибудь такое...
И боги, опять сходящие к
людям для деторождения.

«P.S.» Это даже цензурно при старой цензуре.

В. Розанов.

¹ Письмо является ответом на предыдущее письмо Гершензона с обещанием помочь Розанову.

² Портрет Розанова работы Льва Самойловича Бакста (1866 — 1924) хранится в Государственной Третьяковской галерее.

³ Речь идет о смерти сына Розанова Василия (род. 1899), умершего 9 октября 1918 года.

⁴ Дочери — Татьяна (1895—1975) и Надежда (1900—1956).

⁵ Народное собрание, совет (реч.).

36. В. В. Розанов — М. О. Гершензону

«Конец 1918»

Сим уведомляю с глубокою благодарностью, с неизъяснимою преданностью Максима Горького, он же Алексей Пешков, что я получил от него пересланные мне по почте деньги в сумме двух тысяч рублей через Мих. Осиповича Гершензона¹.
Сергиев Посад, Московская губ.,
Корсюковка, Полевая, д. Беляева.

Василий Вас. Розанов.

¹ Публикуемое письмо — подтверждение той роли, которую сыграл Гершензон в судьбе Розанова. Вокруг финансовой помощи Горького Розанову уже в 20-е годы стали плодиться противоречивые слухи: З. Н. Гиппиус, например, писала о том, что Горький приказал своим «приспешникам» отправить Розанову немного денег (Г и п и у с З. Н. Живые лица. Вып. 2. Прага. 1925, стр. 84). В рецензии на мемуары Гиппиус ее скорректировал В. Ф. Ходасевич: «...не было здесь, конечно, ни «приспешников», ни клеветов, никаких вообще тайн Мадридского двора. Просто — пришел ко мне покойный Гершензон и попросил меня позвонить Горькому по телефону и сообщить о бедственном положении Розанова. Я так и сделал, позвонив по прямому проводу из московского отделения „Всемирной литературы“ («Современные записки», 1925, т. XXV, стр. 538). Розанов был глубоко тронут содействием Гершензона. В так называемом «Письме к друзьям» (17 января 1919 года) он сообщал: «Гершензона благодарю за заботу обо мне, очень благодарю» («Литературная учеба», 1990, кн. 1, стр. 85); в письме Горькому от 20 января 1919 года: «Благородному Гершензону»... глубокую благодарность за его посредничество и хлопоты...» (там же, стр. 87). В свете имеющихся фактов кажется излишней осторожность Евг. Ивановой и Т. Померанской, считающих, что Розанов лишь «приписывал эту заслугу» Гершензону (см. там же, стр. 72, 86). Остается неясным вопрос о полученной сумме. В письме Б. А. Садовскому от 3 апреля 1919 года речь идет о трех тысячах рублей («Вопросы литературы», 1987, № 9, стр. 238), в письме Розанова Горькому от 20 января 1919 года — о четырех тысячах («Вестник литературы», 1919, № 8, стр. 14), в публикуемом письме — о двух тысячах. Видимо, Горький высылал Розанову деньги и после акции, организованной Гершензоном. Гершензон не оставлял своим вниманием семью Розановых и после смерти писателя. Так, в марте 1923 года он через Л. Шестова организовывал посылку благотворительной организации АРА семье Розанова («Минувшее», Париж. 1988, т. 6, стр. 282).



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ВЛ. НОВИКОВ

*

ОСВОБОЖДЕНИЕ КЛАССИКИ

1

Отворились темницы. Рухнули оковы. Они выходят на свободу, меняют одинаково полосатые арестантские одежды на партикулярное платье, рвут и бросают одинаковые у всех казенные документы: «...несмотря на ограниченность мировоззрения, правдиво отразил... избличил... самодержавие и крепостничество... критика дворянства... вера в светлое будущее».

Их не станут теперь гнать по трем этапам освободительного движения, не будут уличать в «кричащих противоречиях». Помилуйте, как же гению и мастеру творить без противоречий, без необходимой ему «энергии заблуждения»? Это ваши собственные, батенька, противоречия, причем не «кричащие, а просто вопиющие. Судите теперь сами, кто смешон как пророк, открывший новые рецепты спасения человечества, кто, в конце концов, «архискверный»...

Идет большая и беспощадная переоценка (во многих случаях уценка) текстов, авторитетов, постулатов и суждений. Мы далеки от эйфорического обольщения, чувствуя, как велик и труден еще путь к царству истины, но мы уже ощутили на собственном опыте, что говорить правду легко и приятно. В заслуженное небытие отправляются тонны книг — и это не только творения Брежнева и Черненко, не только монографии о развитии социализме и социалистическом реализме. Процесс духовного раскрепощения пошел в глубину, затронул отдаленные хронологические слои, наши представления не только о веке нынешнем, но и о веках минувших.

2

Оглядываясь назад, не так уж просто бывает отделить больное от здорового, мертвое от живого. Откроешь, к примеру, вышедшую всего-то восемь лет назад коллективную монографию «История русской литературы XI—XX веков. Краткий очерк» (вполне разумное, к слову сказать, намерение — дать читателю такую компактную историю отечественной словесности, да и главы тут есть довольно пристойные) — и со странным чувством читаешь во введении: «Творческие достижения и открытия русского классицизма, сентиментализма, романтизма и особенно критического реализма принесли отечественной литературе мировое признание, поставив ее уже в середине XIX в. во главе художественного развития человечества, явившись надежным идейно-эстетическим фундаментом, на котором возник и сформировался социалистический реализм — самый передовой и ведущий творческий метод XX в. Родина Великого Октября закономерно и естественно стала родиной великого социалистического искусства. Русская литература помогла формированию нового человека и качественно новой, советской многонациональной литературы...»

Так... Выходит, что Пушкин и Гоголь, Достоевский и Лев Толстой подвели фундамент под социалистический реализм, воспитывали «нового человека», пресловутого «хомо советикус».

Да бросьте вы, раздраженно скажет мне иной искушенный в превратностях научной и литературной жизни специалист, нашли что цитировать. Не знаете разве, как пишутся подобные вещи? Приказало начальство вставить «пару советских фраз», а то и само, не унижаясь до разговора с нижестоящими сотрудниками, вписало эту белиберду. Писать писали, а думать так и в 1983 году никто не думал.

Вот-вот, очень много тогда писалось того, что не думалось. И в вышеназванном томе в главе о Толстом, привычно обставленной цитатами из Ленина и Горького, читаем: «...и тем не менее противоречивость взглядов писателя нашла особенно сильное выражение в его последнем романе. Достаточно напомнить, что «Воскресение» открывается четырьмя эпитафиями из Евангелия и что завершается роман размышлениями его главного героя над евангелическими заповедями». Да, до чего опустил писатель, удостоенный почетного звания «зеркала русской революции»!

Можно, конечно, подыскать примерчики похлестче и покомичнее, развернув широкую экспозицию подобного рода уцененных цитат — из академических трудов и предисловий к массовым изданиям, из вузовских и школьных учебников. Это сделать очень легко, и именно потому этого делать не хочется. Чем саркастически ганцевать на множестве застойно-замшелых суждений о классике, не лучше ли привести их все к общему знаменателю, посмотреть в корень и поставить какой-то диагноз?

3

Так откуда есть пошла та пошлость, что долгие годы отравляла нам колодец классики? На этот вопрос, как и на многие другие,— у нас сегодня универсальный ответ: эпоха тоталитаризма. И тут же — привычные персонажи того кукольного публицистического театра, который каждый из нас постоянно держит под рукой.

Сначала извлекается литературовед в кители и сапогах, дарящий нам чеканную формулу: «...эта штука сильнее, чем «Фауст» Гёте». Очень удобно списать на него все маразматические явления в научной жизни, хотя, прямо скажем, диссертации о жанре «штуки» (а бывали и такие) писались все же не под угрозой расстрела. А ежели мы посмеем, то призовем к ответу и литературоведа в штатском и с бородкой. Учение о партийности литературы с выразительной метафорой «колесика и винтика», концепция противоречий Толстого, трогательное почтение к роману Чернышевского «Что делать?» («...меня всего глубоко перепахал») — все это еще вчера было «высшим этапом развития» литературоведческой науки...

Но сущность тоталитаризма, в том числе и научного и литературного, отчетливее всего проявляется на уровне «массового индивида» Того самого среднестатистического литературоведа, который с такой легкостью принял на вооружение самую передовую идеологию и начал подгонять под нее историю русской литературы, не стесняясь прямо-таки прокрустова членовредительства.

В солженицынском «Марте Семнадцатого» среди газетных откликов на февральскую революцию приведен любопытнейший документ — «Декларация петроградских писателей»: «Проект Венгерова был принят с поправками Иорданского, Ляцкого, Амфитеатрова... Ликует и трепетно волнуется Россия на всем своем великом протяжении... И могут ли не быть переполнены энтузиазмом сердца писателей русских при созерцании чудеснейшего из всех известных всемирной истории переворотов?.. Не литература присоединяется ныне к революции, а революционная Россия осуществила то, что проповедуется русской литературой уже больше 100 лет... Радищев развернул знамя свободы. Первую оду вольности сложил Пушкин... Злая сатира Грибоедова, горький смех Гоголя... Достоевский — певец бедных людей... Тургенев — апостол освобождения крестьян... Некрасов — Тиртей русской революции... Гениальная сатира Салтыкова... Ослепительный успех революционной мысли Белинского, Чернышевского, Писарева, Михайловского... Великие изгнанники Герцен и Лавров... Веруем и исповедуем, что свободный народ, что небывалый расцвет...»

Знакомая песня, не правда ли? Перед нами та самая схема, что столько лет мешала нам видеть классику в ее натуральную величину. Та самая «методологема», при помощи которой высшая и средняя школа надежно отвращала юношество от литературы, подтверждая пророчество Блока: «Вот только замучит, проклятый, ни в чем не повинных ребят годами рожденья и смерти и ворохом скверных цитат». Причем, заметьте, сочинена декларация отнюдь не марксистами. Вряд ли Семен Афанасьевич Венгеров, слагая сии вдохновенные строки, ориентировался на статью Ленина «Памяти Герцена», тогда еще не очень знаменитую. Просто тогдашнее академическое литературоведение, довольно равнодушное к творчески-эстетической проблематике, индифферентное к «звукам сладким и молитвам», концептуально-расслабленное, так и жаждало прислониться к какому-нибудь твердому методологическому столбу. И оно нашло его.

А потом, когда революционная интерпретация классики сделалась обязательной, принудительной, явилось достаточное число ее исполнителей, делопроизводителей от науки, не только подчиняющихся конъюнктуре, но и внутренне нуждающихся в ней. Ведь для того чтобы отстаивать свои собственные научные убеждения, их нужно как минимум — иметь. Идейное приспособленчество и двоемыслие насаждаются сверху, но реализуются только тогда, когда есть встречное движение снизу. Потому-то и утвердились в нашем литературоведении безжизненные схемы. Потому так часто знающие и толковые историки литературы почти автоматически гиперболизировали в классике социально-обличительные мотивы и игнорировали ее общечеловеческое значение, изображали своих любимых писателей идейными недоумками, которые якобы шли в сторону социалистических идей и чуть-чуть не дошли. Потому во всех сложных критических спорах победителями объявлялись Белинский, Чернышевский и Добролюбов, а мнения их оппонентов зачастую даже не анализировались и просто не излагались.

Он и сегодня жив, наш литературоведческий курилка, хотя по заданию начальства вставляет в свои нудные писания цитаты уже не из Ленина, а из иных источников, вплоть до Евангелия.

Но еще раз вернемся в март семнадцатого. Составителям «Декларации петроградских писателей» должен быть возвращен приоритет на идею, не раз являвшуюся нам потом в «импортном» исполнении. Вот патетическая формула Генриха Манна: «Сто лет великой литературы — это русская революция до революции». Она нередко цитировалась в качестве авторитетного «западного» мнения, хотя, как видим, почти дословно повторяет сказанное у нас. Правда, немецкий писатель имел, наверное, в виду революцию не февральскую, а октябрьскую, но это оттенок несущественный.

Суть же, конечно, не в приоритетности. Не важно, кто первый сказал это «э» и на каком языке. Важно, что само сближение носит волевой и метафорический характер. Кто, где и когда научно доказал, что русская классика содержит апологию социальной революции? Попробуем, насколько это возможно, мысленно отделить классику как совокупность художественных текстов от ее отражения в критике, литературоведении, публицистике, в школьной программе, после чего зададимся вопросом: вычитана ли революционность из русской литературы XIX века или же «вчитана» в нее интерпретаторами? Вопрос этот, хотя бы и с огромным опозданием, должен быть задан. Сама постановка вопросительного знака там, где много лет назад стоял знак восклицательный, обладает просящей силой. А то ведь бывает и так, что классикам — уже с совсем других позиций — чуть ли не инкриминируется подстрекательство к революции: дескать, они сами в ней в первую очередь и виноваты. За что, мол, боролись, на то и напоролись российские писатели. Ведь даже Варлам Шаламов высказывал подобного рода инвективы.

А знак вопросительный открывает сегодня перед нами большую познавательную перспективу. Прежде всего потому, что уводит от тотально-нивелирующих характеристик в сторону сложной дифференциации. Сегодня уже можно не «поправлять» Гоголя и Толстого, считавших главной задачей не изменение общества, а усовершенствование личности. Можно без привычных извинений проследить путь Достоевского от фурыеризма к отрицанию коммунистической идеи и пророческое значение «Бесов» подтверждать примерами не из «тридцатого царства» (Пол Пот, «Красные бригады»...), а из нашей социалистической действительности. Не исключено, что при тщательном анализе и «революционно-демократическое» направление предстанет позднейшей абстракцией, поскольку и Некрасов и Щедрин втиснуты в него с большим нажимом.

Помнится, А. Василевский («Новый мир», 1990, № 2) попробовал реконструировать судьбу Чехова, если бы тот дожил до октября 1917 года: «...эмиграция, или высылка в 1922 году, или просто задавили бы». Но уж фантазировать так фантазировать! Поместив всех предшественников Чехова в воображаемую «машину времени» и перенес их в то «светлое будущее», о котором они согласно школьной трактовке мечтали, мы приходим к сходным выводам. Едва ли поладили бы с большевиками даже Герцен и Чернышевский. А «образ Ленина», явленный в саркастически-беспощадных репликах Бунина и Набокова, удивительно вписывается в классическую традицию XIX века — и стилистически и духовно.

Удержимся, впрочем, от соблазна простой перелицовки школьного штампа и изобретения некоего «антиштампа». Споря с теми, кто изображал классиков революционерами, не будем рисовать их контрреволюционерами, меняя, так сказать, красногвардейский миф на миф белогвардейский. Незачем выстраивать классиков в ту или иную шеренгу. Необходимо серьезное, свободное от конъюнктуры и беллетристики исследование на тему «русская литература и русская революция». Пока мы к нему не готовы. Почему? Об этом чуть позже.

«Современное прочтение классики...» Популярное клише последних двух десятилетий, настолько привычное, что мы даже не задаем себе вопроса, хорошо это или плохо, есть ли иной способ прочтения классики помимо «современного». Если все же задуматься над этим феноменом и поискать его исторические корни, то, пожалуй, можно отметить столетний юбилей «современного прочтения» как такового. В 1891 году в «Русском вестнике» впервые был опубликован трактат В. Розанова «Легенда о великом инквизиторе Ф. М. Достоевского», в начале 90-х годов появились первые статьи И. Анненского о классиках — Гоголе, Лермонтове, Гончарове. 90-е годы — это «Судьба Пушкина» Вл. Соловьева, «Вечные спутники» Д. Мережковского... К тому времени уже сложился круг классиков, куда при жизни входил Л. Толстой и где не хватало только пребывавшего пока в «современниках» Чехова.

Классики были приглашены к разговору о насущных проблемах. Проникновение в смысловую глубину классического текста довольно органично и гармонично сплелось с раздумьями о настоя-

шем, с пророчествами и прогнозами на грядущее. Важно, что традиция «современного прочтения» была заложена писателями, художниками слова. И Соловьев, и Розанов, и Мережковский, и Анненский свою филологическую технику и эстетическую интуицию подчиняли задачам творческим. В основе их прочтений лежит художественное сравнение интерпретируемых текстов с современной жизнью, с человеческим бытием вообще.

Субъективность такого прочтения не только не скрывалась, но и честно обнаруживалась, открыто декларировалась. Критика этого типа была основана на бесконечном доверии к читателю, знающему и любящему классические тексты, способному на равных вступить в диалог с интерпретатором и вместе с ним устремиться в новые смысловые глубины.

Но если, к примеру, Мережковский называл себя субъективным критиком, то из этого вовсе не следует, что такое определение надлежит использовать в качестве ярлыка, да еще с добавлением каких-нибудь усугубляющих суффиксов: сегодня уже не могут не вызывать раздражения формулы типа «субъективистские концепции» и т. п. Теперь-то мы видим, что критики «субъективного» склада не уступали в объективности Плеханову, Воровскому, Луначарскому, да скажем еще прямее — оказались гораздо ближе к истине, жизненной и художественной. Довольно убедительно — и притом диалогически-корректно — полемизировали они с Чернышевским, Добролюбовым и Писаревым. Сегодня, когда критики-«идеалисты» реабилитируются и переиздаются, мы все имеем реальную возможность в том убедиться.

Признание в собственной субъективности — необходимый шаг на пути к истине. «Философствовавшие» критики отнюдь не были равнодушны к вопросам общественным, они видели и наглядно показывали, как социальные процессы входят в структуру вечности, как человек определяется не только в социуме, но и в большом мире. И здесь они оказались куда более близки к самой русской литературной классике, к ее модели мироздания, чем социальные утописты, тшвишиеся приладить великие имена и тексты к задачам революционной пропаганды.

Опыт критики рубежа веков обнаружил, что самый прием прочтения, смысловой интерпретации текста, беллетристичен по своей природе, что он принадлежит не к строгому исследованию, а к творчеству. И. Анненский различал в своей критической работе «аналитический путь» и «путь синтетический», иначе говоря — научный и художественный. Любопытно сочетал научный анализ и «синтетические» трактовки в своих писаниях о классике Андрей Белый. В 900-е и особенно в 910-е годы в культурном сознании наметилась плодотворная рефлексия о путях познания классики: вспомни выступление Б. Эйхенбаума против книги Мережковского «Две тайны русской поэзии: Некрасов и Тютчев» в 1915 году. Актуализирующему прочтению противопоставлялась иная задача — строгое научное исследование. Спор продолжился в 20-е годы, но до конца доведен не был — по обстоятельствам, от участников не зависящим.

6

Нужно ли вообще истолковывать классические шедевры? Не лучше ли положиться на непосредственное читательское восприятие, а предметом литературоведческого исследования сделать материю более определенные — поэтический строй произведения, его место в литературной эволюции, в творческом развитии автора? А может быть, стоит как-то сочетать собственно литературоведческий подход к классике с ее свободной критической интерпретацией?

Все эти вопросы так и не нашли ответа, а к концу 20-х годов были окончательно отодвинуты. Честные научные поиски были задушены, «крайности» административно устранены — и «формалистические» и социологические (здесь я имею в виду не конъюнктурщиков от «социальности», а такого рыцаря детерминистской идеи, как Переверзев). Наука о литературе была побеждена критикой, интерпретирующей классику в духе современности. Классики были призваны подкрепить своим авторитетом учение о социальных «формациях» и воспеть лучшую из них. Нелегко им было справиться с такой задачей, и интерпретаторы смело брались «подпевать» классикам и «допевать» за них. В 1927 году Шкловский издевался над построениями Л. Войтоловского, писавшего о Пушкине: «Это дворянская литература, до мельчайших подробностей воспроизводящая быт и нравы дворянского сословия тех врсмен. Онегин, Ленский, Германн, кн. Елецкий, Томский, Гремин...» Шкловский саркастически замечал, что «перечисленные им типы суть баритонные и теноровые партии» и что «нехорошо изучать русскую литературу (социологически) по операм». Но победа на долгое время осталась за квазисоциологическим беллетризмом, и учебники литературы продолжали начинаться «бытом и нравами».

«Современное прочтение» постепенно обернулось подменой классики идеологическим суррогатом. Главная цель такой интерпретации — отчуждение читателя от живого текста, от человеческой и творческой природы каждого из классиков. Сформировался уклад, при котором классика окружена пиеетом и даже культом, но для личного употребления как бы не предназначена. Пушкин,

Гоголь и Толстой оказались почти в таком же положении, как совсем другие классики — «классики» марксизма-ленинизма, которых ни в коем случае нельзя подвергать сомнению, но также нельзя самостоятельно читать и цитировать сверх установленного перечня. «Поэт! не дорожи любовью народной...» — не писал такого Пушкин. Из «Выбранных мест...» Гоголя мы сами выберем то, что можно прочитать. «Исповедь» Толстого? Знать не обязательно. Ну и так далее.

Сложившаяся в ту пору омертвляющая канонизация классики до сих пор отзывается в нашей жизни. Начиная с мелочей — скажем, радио- и теледикторы почтительно именуют классиков по имени-отчеству, прямо как членов Политбюро. Меж тем «классичность» литературного имени — в его свободе от утяжеляющих приложений: Шекспир, Мольер, Пушкин. «Паспортное» именование использовалось разве что в эпиграммах («Вот перешед чрез мост Кокушкин, опершись... о гранит, сам Александр Сергеевич Пушкин...»). И кончая более существенным и тревожным — массовым почитанием без прочтения.

7

В повести Ю. Трифонова «Предварительные итоги» есть такой антипатичный персонаж Гартвиг, знающий четыре языка, рассуждающий о Фоме Аквинском и Бердяеве, но при этом говорящий: «Печорин и Грушницкий? Это, кажется, из Тургенева?» Признаться, двадцать лет назад, когда «Предварительные итоги» только вышли, мне это место в повести показалось страшной натяжкой: не бывает такого в жизни. Теперь, когда жизненного опыта прибавилось, смотрю на это иначе. Недавно на одном международном конгрессе во время обеда, когда на стол было поставлено вино, Е. Г. Эткинд привычно произнес: «Пьяной горечью Фалерна...» — приглашая сидевших напротив наших молодых филологов продолжить цитату, но они не смогли. Дело, впрочем, не в каких-то именах и строках, а в том, что свободное, «домашнее» владение классикой становится все более редким явлением.

Ю. Черниченко в «Пятом колесе» рассказал, как крупный российский партдеятель, посмотрев спектакль «Царь Федор Иоаннович», сообщил актерам, что очень любит Толстого, что лично поклонился его могиле в Ясной Поляне. Это было подано как сенсация, а я так ничего удивительного не вижу: вполне закономерно для воспитанника советской школы. И меня несколько не утешают тиражи классиков, их раскупаемость. С точки зрения экономической, у книг сегодня слишком слабая конкуренция со стороны промышленных и продовольственных товаров. Покупают классику не для чтения, чаще всего для детей. На детей и остается классикам надеяться. Если школа не помешает.

8

Школьное восприятие классики коснулось не только читательских масс. После весьма непродолжительного периода «нигилистических нападков» 20-х годов большинство советских писателей пришло к стабильно-однообразной, ритуально-почтительной и творчески несвободной позиции по отношению к литературе прошлого века. Нет жанра более скучного и бессодержательного, чем писательские речи и «размышлизмы» о классиках, обычно сочиняемые к юбилейным датам. Разговоров о наследии, о традиции всегда было предостаточно, но что совершенно не характерно для истинно советской литературы — это непринужденно-интимный контакт текстов, свободный диалог с классикой. Когда классике не кланяются в пояс, а живут ею, не отделяя от реального бытия. Когда этак между делом, не педалируя, безо всяких интонационных кавычек вдруг, как Ахматова, спросят: «Или вправду там кто-то снова между печкой и шкафом стоит?»

Сейчас в новую поэзию и прозу бурно хлынул «интертекстуальный» поток: реминисценции, цитаты, травестирование классиков прошлого и нынешнего веков. Критика пока не научилась оценивать подобные вещи. Как правило, все оценки поляризуются по «лагерному» признаку: для одних даже внешнеповерхностная причастность к культуре похвальна, другие любую цитатность заведомо осуждают как книжность и отрыв от почвы. Между тем тут вся соль — в степени динамики, в степени интенсивности того диалога, что возникает между двумя текстами — старым и новым. Предстоит долгий путь в. так сказать, третье измерение «интертекста». Насколько глубоко это измерение, есть ли у автора веские основания для обращения к классике — или же это не более чем инкрустация? Чтобы отвечать на эти вопросы, понадобятся новые навыки эстетического анализа и оценки.

9

С середины 60-х годов в нашей культуре начал складываться особый вид писания о классике — скорее критический, чем литературоведческий. Не скованный ведомственными условностями, он сложился на страницах литературной периодики, и создали его те, чье основное занятие было

связано с современной словесностью: Л. Аннинский, И. Виноградов, Г. Гачев, И. Золотусский, В. Камянов, В. Лакшин, Ст. Рассадин, А. Турков... Уход — полный или частичный — ведущих критиков в классику имел свои социально-политические причины. Наступившее после оттепели похолодание изрядно сузило диапазон возможностей свободного разговора о писателях-современниках, многие из которых сделались неупоминаемыми. Крайне затруднен был анализ жизненных реалий, не было сил бороться за оценки по гамбургскому счету, отстаивать «ценностей незыблемую скалу». Классика давала глоток свободы.

Доминантой критико-эссеистических писаний о классике стало раскрытие ее пророческого потенциала. В этом смысле авторы-шестидесятники продолжили духовную традицию философской критики рубежа веков, обратившись к «вечным спутникам» с современными вопросами и получив глубокие ответы. Статьи и книги о классике сделались важнейшей отраслью гуманитарного знания, едва ли не единственной формой развития социально-исторической, философской, нравственно-религиозной мысли.

Можно условно выделить два полюса критики классики: социально-политический и религиозно-философский. Первый наиболее четко представляет книга Ю. Карякина «Достоевский и канун XXI века», второй — книга В. Непомнящего «Поэзия и судьба». Я не пускаюсь в разбор конкретного содержания этих книг: о них писалось достаточно, сейчас важнее сказать о самой их литературной феноменологии. Обе книги писались на протяжении не менее чем двух десятилетий, обе вобрали главное из написанного авторами (у Ю. Карякина — чуть ли не все написанное). Оба критика — исследователи-однолюбы, полностью погруженные в диалог со своим «вечным спутником». Обоим критикам самоотверженная преданность интерпретируемому писателю не только не помешала, но и помогла раскрыть свою собственную литературную личность (Е. Сидоров остроумно назвал В. Непомнящего писателем о Пушкине; «писателем о Достоевском» в pendant этому мог бы быть назван Ю. Карякин). Своеобразно читаются названия книг, в одном из которых так и слышится «Поэзия Пушкина и судьба В. Непомнящего», а второе без ущерба для сути могло бы быть трансформировано в «Карякин и канун XXI века». Постигание мира через диалог интерпретатора с классиком — принцип, давший ощутимые духовные результаты. И вместе с тем такой способ освоения классики к настоящему моменту обнаружил — нет, не исчерпанность, а какую-то усталость.

И у этой усталости тоже свои социально-исторические причины. Теперь, когда появилась возможность строить собственные социально-политические, философские, исторические, теософские и антропософские концепции и прямо, открыто их излагать, отпала нужда в приспособлении этих концепций к тому или иному литературному классику и подаче их как бы от его, классика, имени. Естественно, «вечные спутники» и дальше будут будить и вдохновлять гуманитарную мысль, но эту мысль совершенно теперь уже незачем выдавать за интерпретацию художественного текста. «Современное прочтение» классики на протяжении четверти века было важной формой существования свободной мысли. Новое поколение литературоведов идет другими путями, подчеркнуто избегая субъективно-личностного «своеволия». Впрочем, из культуры ничто живое не уходит навсегда, и не исключено, что традиция творческого прочтения еще возродится и обновится.

10

Пока же у нас время новой рефлексии, разграничения метафорически-импрессионистических и собственно-научных суждений о русской классической литературе. Подчеркну, что эта рефлексия ничего общего не имеет с теми методологическими проработками, которые так часто учинялись интерпретаторам свободного склада. Вспоминается, как Д. Благой с видом круглого отличника поучал «субъективного» В. Непомнящего, как бездарный «академик» Храпченко совсем еще недавно третирует гоголевцев, не следовавших марксистскому идеологическому стандарту. Талант может быть не прав, но бездарность не бывает права никогда. Речь о другом — как бы нам не спуститься с духовной высоты диалога с классикой на уровень необязательно-облегченного светского разговора.

О классике по-прежнему пишется и говорится много, настолько много, что впору начать уже отделять суждения, что называется, необходимые, затрагивающие глубинную суть предмета, от суждений факультативных, а то и избыточных. Этот отбор в конечном счете осуществит время, но, наверное, каждому пишущему о литературе свойственно диалектическое сомнение, естественное для думающего человека опасение «до седых дожить волос, служа пустой забаве».

Что такое научное суждение о литературе? Академическое наукообразие может ничего общего с наукой не иметь, а истинно научное наблюдение или заключение может быть облечено в одежду метафорическую или разговорно-небрежную. Говоря огрубленно, научная мысль — это мысль, характеризующая объект высказывания в большей степени, чем субъект.

Есть много способов соединения научности и беллетристики в познании литературы. Наименее плодотворный из них — это придание явно игровому, игриво-парадоксальному высказыванию научной видимости и филологического аппарата. Игра хороша тогда, когда не пытаются казаться чем-то другим. Вот, скажем, в замечательном романе Л. Добычина «Город Эн» юный герой делится с другом своими мыслями о «Мертвых душах»: «Слышал ли ты, Серж, будто Чичиков и все жители города Эн и Манилов — мерзавцы? Нас этому учат в училище. Я посмеялся над этим». Бездна юмора и тонкости в этом пассаже, как и во всем гоголевском подтексте романа! Мы и сегодня можем от души посмеяться над занудно-нормативной трактовкой гоголевской поэмы, сохранившейся и в современных «училищах».

Но когда такой иронический парадокс, вполне уместный в несколько фраз, становится предметом длинных академических штудий, когда Чичикову выдается «научно аргументированная» характеристика чуть ли не положительного героя... Тут уже нужна ирония самого Гоголя: «...доказательством служат наши ученые рассуждения. Сперва ученый подъезжает в них необыкновенным подлицом, начинает робко, умеренно, начинает самым смиренным запросом... Цитирует немедленно тех и других древних писателей и чуть только видит какой-нибудь намек или просто показалось ему намеком, уж он получает рысь и бодрится, разговаривает с древними писателями запросто... и сам даже отвечает за них...»

Конечно, без игры не обойтись в освоении классики, но, может быть, стоит игровую стихию выпустить на полную свободу, в открыто беллетристические жанры и формы? В статье Р. Гальцевой и И. Роднянской «Журнальный облик классики» («Литературное обозрение», 1986, № 3) замечено: «Всевозможная «мифологизация» вечно перечитываемой классики — вещь неизбежная. Лишь бы не происходило разрыва с этосом русской культуры, с ее „благой вестью“». Согласен, но не могу отделаться от ощущения, что в самые последние годы «мифологизация» классики становится все более умозрительной и все более далекой от «этоса» первоисточника. Наверное, дело тут еще и в том, что сама по себе русская классика уже есть наша мифология, что вторичные по отношению к ней мифы, чтобы стать жизнеспособными, должны изрядно отойти от оригинала. А это возможно только не в логизированных формах, скорее в сфере художественной фантазии.

Кажется, новое литературное и научное поколение тяготеет как раз к жанровой и стилиевой стратификации в писаниях о русской классике. Наступает время исследовательского реализма, фактической достоверности, полноты историко-литературного контекста. Показательно в этом отношении появление множества работ о восприятии классических шедевров (серия «Судьбы книг», и в частности сборник «Столетия не сотрут...»). Это тоже составная часть того процесса освобождения классики, о котором мы ведем речь. Ибо реальные судьбы книг у нас долгое время фальсифицировались, классиков задним числом «охраняли» от негативных отзывов. Смешно теперь вспомнить, но ведь мог когда-то у нас выходить сборник «Тургенев в русской критике» без статьи М. Антоновича об «Отцах и детях». А сколько времени не перепечатывались А. Дружинин, Н. Страхов, К. Леонтьев, «виновные» лишь в том, что ценности религиозные и эстетические ставили превыше социальных! Они, эти критики, нужны и сегодня, их трактовки классики должны быть включены и в вузовское и в школьное преподавание литературы.

«Реалистический» взгляд на классику вовсе не исключает творческого подхода, он просто не смешивает два эти ремесла. Возьмем, к примеру, книгу Андрея Пескова «Боратынский» с весьма необычным подзаголовком «Истинная повесть». Тут и научная биография, и романтическая стилизация, и архивные разыскания, и момент мистификации, — но все эти слои разделены, между ними не происходит диффузии. Это непривычно и интересно.

Классика — наш бездонный кладезь. Сколько мы сможем из него зачерпнуть — зависит от нас. Поэтому нельзя не задумываться о перспективах гармоничного развития различных отраслей постижения русской литературы. И тут наименее разработанной отраслью сегодня, как и прежде, остается историческая поэтика. Наши академические и вузовские истории литературы все еще пишутся исключительно на «идейно-тематической» основе, вопросы языка, жанра и стиля выступают необязательным довеском или просто отсутствуют. Как преодолеть этот дисбаланс?

Путь только один — не легкодоступный беллетристичный синтез (часто маскирующий сегодня красивым словом «культурология»), а глубокая научная дифференциация. Никуда не уйти от добросовестного изучения эстетически-имманентной специфики русской классики, а затем соотношения «литературного ряда» (как проектировали некогда Тьянгов и Эйхенбаум) с соседними «рядами» — социальной историей, историей общественных идей, историей религиозного сознания (причем все эти «ряды» предстоит изучать не только по литературным источникам). Страшно не хочется пользоваться затасканным словом «плюрализм», но сегодня нам действительно необходима множественность подходов к классике, нужна методологическая полифония (поэтика, социология, философско-религиозная герменевтика, творческое «современное прочтение» — все это равноправные «отрасли» постижения классики) с перспективой последующего синтеза. Путь нелегкий и долгий, но что делать: «вернее труд и постоянство».

На этом пути и станет возможным дельный разговор на темы «русская литература и русская революция», «русская литература и религия» (от «чисто внешнего, показного пути» в осмыслении этого важнейшего вопроса резонно предостерегает Ю. Манн в статье «„Есть Бог“ и „Нет Бога“...».— «Известия», 23.11.90). Свообразие наступающего этапа изучения классики — обилие несделанной черной работы, необходимость двигаться в глубину. От исследователя классики потребуется не только любовь к предмету, но и самоотверженность.

Негоже нам, освободив классику от одного набора штампов, заменять его другим в духе сегодняшней идейной конъюнктуры (а такая опасность, заметим, всегда стоит перед автором одной темы, рискующим приписать «своему» классику в качестве индивидуальных особенностей черты общие). Придется рассматривать русскую литературу как систему, складывающуюся из резко несхожих творческих индивидуальностей, находить духовную гармонию как сумму противоречий — то, что раньше называли *concordia discors*.

Кстати, само понятие «русская классика» в последнее время расширилось, оно не сводится теперь к типовому школьному набору. Без утверждения в инстанциях в классики «прошли» Карамзин и Жуковский, Батюшков и Боратынский, Тютчев и Фет. Заметьте, это все художники по преимуществу, не вмещающиеся в былой псевдосоциологический шаблон. Сегодня уже как-то диковато смотрится то, что в школьной «парадигме» классиков есть Чернышевский, но нет Лескова...

Вообще, мне кажется, у нас слишком часто и беззаботно говорят о том, что, дескать, русская классика всегда стремилась быть «не только литературой». Но не будь она литературой в такой высокой степени, она не решила бы и других своих задач. Стоит ли так уж буквально воспринимать максималистские страстные гиперболы вроде некрасовского «поэтом можешь ты не быть...»? Не случайно эта формула так часто подменяется у нас однозначно-плоским афоризмом «поэт в России больше, чем поэт», принадлежащим все-таки отнюдь не классику. Думаю, именно поэтическое, эстетическое начало обеспечивает поразительную, не зависящую ни от каких условий духовную энергетику. И потом, поэтика русской литературы — область просто по-человечески увлекательная...

11

Самое время сегодня читать классику. Думаю, что сказанное останется в силе и на протяжении тех месяцев, пока будет печататься журнал.

Ибо классикой предусмотрены и наши устремления последних шести лет, и наша усталость, и наше разочарование. Помните, какими словами заканчивается «Война и мир»? «Необходимо отказаться от сознаваемой свободы и признать не ощущаемую нами зависимость». Слова, которые теперь можно и нужно понять в их голой сути, без всяких пошлых оговорок по поводу каких-то там противоречий между мировоззрением и творческим методом. «Не ощущаемая нами зависимость» дает себя знать все более явно и властно. Все труднее что-либо придумать и предложить, а когда очередной прожект благоустройства вдруг является, то в нем, как водится, недостает одного пустяка — «механизма осуществления», выражаясь нынешним недолговечно-злободневным слогом. Проще говоря, «гладко было на бумаге...».

Туго с ресурсами, туго с механизмами. И тем не менее кое-что еще осталось. «Нельзя не верить, чтобы такой язык...» Целомудренно прервем цитату и оставим ее продолжение до следующего века. Может быть, тогда у нас будет право на вторую половину фразы. Теперь верить труднее, но хочется все же надеяться на те неподвластные материалистическому учету душевные ресурсы, которые нами еще не исчерпаны.

От редакции. Владимир Новиков с серьезными на то основаниями пишет об определенной девальвации философско-публицистических толкований русской классики, об «усталости» этого жанра на сегодняшний день и нехватке строгих историко-филологических штудий в данной области. Вместе с тем наша почта свидетельствует, что соотечественники по-прежнему склонны обращать к русской классической культуре драматические жизненные вопросы. В рубрике этого номера «Из редакционной почты» читайте письма-эссе А. Фенько «Ау, родина, где ты?..» и С. Н. Носова «Сны культуры». Не разделяя вырвавшихся здесь наружу «чаадаевских» настроений с их отчаянием и историческим пораженчеством, мы полагаем, что в этих письмах всерьез задет больной нерв нынешнего общественного сознания. Авторы их вправе ждать ответа на брошенный вызов не только от великих теней прошлого, но и от своих современников, и мы постараемся, чтобы такие отклики, содержащие исторический позитив, появились на страницах нашего журнала.



ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

АУ, РОДИНА, ГДЕ ТЫ?..

Уважаемый Андрей Георгиевич! *

Довольно нелепо выглядит мое желание написать Вам письмо. Но и вся наша жизнь довольно нелепа. Вот, например, я сейчас, в середине ноября, читаю только что вышедший майский (!) номер «Нового мира» с Вашей статьей, которую Вы, правда, благоразумно датировали XXI веком. Так к чему нам беспокоиться о логике в наших поступках, верно ведь?

В своей статье Вы в связи с Набоковым затрагиваете мысль, которая для меня уже стала навязчивой: о попытке вернуться на родину. Мы сейчас находимся в ситуации, в чем-то аналогичной набоковской: язык у нас есть, литература, как теперь говорят, «возвращается», а вот родины-то нет. Но, в отличие от Набокова, у нас ее и не было никогда.

Что означает пример Набокова? Что можно, вывезя из России «нераспечатанную юность, непочатый элементарный опыт бытия», из одного этого опыта создать творческую биографию, русскую литературу, создать Россию (пусть и в «загробном» ее варианте).

Когда я думаю о себе и своих современниках, я замечаю одну странную вещь. Мы «русские» ровно в той степени, в какой усвоили и несем в своем сознании чужой опыт — опыт русской литературы от Пушкина до Набокова. Этот «опыт родины» — чужой и внешний — никак не соприкасается с другим опытом — окружающей нас действительности, жизни как таковой. В разных пропорциях эти два мира живут в каждом моем современнике.

То, что вокруг нас, трудно и почти немислимо назвать родиной. Твоя «хрущоба» с магической нормой жилой площади 7 ± 2 , универсам, в котором к празднику выбросили соль, очередной плакат, в который раз к чему-то призывающий...

Люди моего поколения делаются на две категории. Первая — это особая порода «человека бездомного», выведенная в СССР. Это человек общежитий, трамваев, временных и постоянных прописок, неотоваренных талонов на сахар. Всем этим он живет и чувствует себя в этой действительности как рыба в воде.

Вторая категория — это люди, пытающиеся вернуться на родину, судорожно озирающиеся вокруг себя в поисках чего-то такого, на что можно было бы опереться в этих попытках. Здесь-то и играет главную роль законсервированный опыт русской литературы. Мы откупаем эти «консервы» и... что там у нас? Онегин в деревне? Наташа Ростова на балу? Конфетки, бараночки, словно лебеди саночки? Аптека, улица, фонарь?

Выбор богат — и для деятельности простор. Переименуем улицу Горького обратно в Тверскую — что за беда, что на ней все здания «сталинской архитектуры». Восстановим храм Христа Спасителя и Сухарево башню. Соберем документы, у кого есть, и запишемся снова в дворяне (а кто из крепостных — тем куда записаться?)... Потом посмотрим на все это и вздохнем с облегчением: слава Богу, мы опять в России!

Да помилуйте, как же все это? После колхозов, лагерных барачков, в непосредственной близости от Лубянки и «святых мощей» основателя нового государства! Забыть эти десятилетия как сон и проснуться где-нибудь в блаженном 1913 году. И заметьте: очень «в русском духе» мечта сия. Помните, еще у Достоевского Петербург грозил рассеяться как туман и оставить после себя финское болото с бронзовым всадником посредине — «пожалуй, для красоты». Пожалуй, для такой же точно красоте собираются нынешние патриоты соорудить на российском пепелище храм Христа Спасителя. Неужели не чувствуется неуместность и фальшь всех этих затей?

Не все, конечно, так прямолинейны. Есть еще один путь обретения родины, путь, особенно популярный среди людей культуры. В годы застоя это называлось «внутренней эмиграцией». Ты живешь не в Медведкове (1,5 часа до центра в переполненном метро) — ты живешь в Культуре. Действительность для тебя — не тухлая котлета в буфете и не очередь за сосисками, а творчество Хлебникова, которым ты занимаешься так же, как другой занимается бизнесом или спортом. Ты создаешь свою призрачную Касталию — каким бы ни был ее колорит: национальным или европейским, языческим или христианским, и играешь в нее самозабвенно и бесплодно вместе с другими «кастальцами» — рядовыми игроками и «магистрами».

Признаться, и я отдала дань подобной игре, в самом деле увлекательной и заполняющей духовный вакуум. Но то ли я недостаточно «культурна», то ли недостаточно «духовна» — мне за разговорами о Хайдеггере и Бердяеве никак не удавалось забыть, что моя мама родилась в московском бараке, где, как селедки в бочке, были напиханы милиционеры и рецидивисты, дворники и кандидаты наук, причем все они были очень похожи друг на друга — какими-то основными, фундаментальными категориями сознания. И не передали ли они нам по наследству это свое «коллективное бессознательное»?

Для большинства из нас культура — не только западная, но и русская, — не результат естественной духовной традиции, опосредованной личным опытом, прямым общением, детскими воспоминаниями, а нечто внешнее, поверхностное и очень непрочное. И поэтому современный советский интеллигент, цитирующий Пастернака и рассуждающий о Гуссерле, вполне может позволить себе толкнуть женщину, пролезть без очереди, наорать на свою мать. Это все привычно, «естественно», закреплено годами и десятилетиями социалистического уклада жизни.

Так что же все-таки наша родина? Заповедная набоковская Россия? «Отеческие гробы» на Сент-Женевьев-дю-Буа? «Священные камни Европы»? Или все-таки эти унылые микрорайоны с пустыми магазинами и озлобленными жителями?

* Печатаем это письмо с согласия автора и адресата. Андрей Георгиевич Битов размышляет над ответом.

Правда, нынешний пейзаж, быть может, и не слишком отличается от той России, образ которой сохранили для нас Гоголь, Салтыков-Щедрин и даже... Блок. Все та же миргородская лужа, все те же градоначальники (вместе с их нынешним «либеральным» вариантом), все тот же «запленный пол». Правда, и Гоголь и Блок прозвали какую-то другую Россию. «Русь, куда ж несешься ты?» «Пускай заманит и обманет...»

Один Чаадаев ничего не прозвал. И оказался прав. «Взгляните вокруг себя. Не кажется ли, что всем нам не сидится на месте... Ни у кого нет определенной сферы существования, ни для чего не выработано хороших привычек, ни для чего нет правил... Ничего прочного, ничего постоянного; все протекает, все уходит, не оставляя следа ни вне, ни внутри нас. В своих домах мы как будто на постое, в семье имеем вид чужестранцев, в городах кажемся кочевниками...» Не про нас ли все это?

Похоже, мы знаем, Русь, куда несешься ты. Ты несешься по кругу. Все повторяется, как в дурном сне, и ничего нового не происходит. Столько суеты, а нет событий. Столько крови, а нет истории. Столько страданий, а нет даже намека на то, чтобы из них извлекался какой-то опыт. Декабристы на следствии доносили друг на друга из тех же идейных соображений, что и коммунисты 30-х годов. И притом одинаково бескорыстно. Все жили идеями, и непременно высокими. Правда, все идеи были заимствованы с Запада и не имели никаких реальных соответствий в русской действительности. Ну и что? Что за беда, что нет еще в России капитализма? Мы-то знаем, что он плох. Поэтому будем его ругать. Один мудрый грузин говорил, что русские писатели (Толстой, Достоевский) пытались родить Россию — из себя. Они ее выдумали, прозрели в каких-то мистических снах. А мы и поверили, будто она была. Мы до сих пор продолжаем жить в этой «России», которой нет только уже нет, но, может быть, и не было никогда. Вот лужа миргородская — была. А Россия...

Наша родина так же умозрительна, как платоновский мир идей. Ей не соответствует никакой реальный опыт, никакая эмпирическая действительность. Поэтому в нее так легко играть: она не выстрадана, не обеспечена никаким личным усилием переживания, мысли или поступка. Мы о ней грезим, тоскуем, вспоминаем (опять же в платоновском смысле). Но мы не отвечаем за нее.

У Борхеса есть рассказ про воина-лангобарда, который во время осады Равенны бросил своих и умер, защищая город, против которого перед этим сражался. Он был ослеплен видением Города и понял, что он стоит больше, чем вся его вера и все до единого болота его Германии. Мы чем-то напоминаем этого воина. Мы тоже как будто ослеплены видением чего-то иного и прекрасного и готовы даже умереть за свое видение, только бы не делать ничего здесь и теперь. То, что есть, для нас не имеет никакого значения. Нам все время хочется иного, чего — мы и сами толком не знаем. Нам хочется то в Париж, то в коммунизм, то назад, к природе. Нам слишком страшно и неуютно в этой стране с ее тоской запустения и распавшимся бытом. Один философ назвал русских «идиотами возвышенного», вперившими взоры в блеск сияющих вершин и не видящими ничего перед собой. Ау, родина, где ты?..

Как Вы понимаете, «с этим долго не живут». Конечно, лучше всего было бы, если бы у Вас нашлось что на это возразить.

Ваша читательница А. Фенько (23 года, домохозяйка).

12 ноября 1990 г.

СНЫ КУЛЬТУРЫ

Ап. Григорьев некогда заметил: «Наши мысли вообще, если они точно мысли, а не баловство одно, — суть плоть и кровь наша, суть наши чувства, вымучившиеся до формул и определений. Немногие в этом сознаются, ибо немногие имеют счастье или несчастье родить из себя собственные, а не чужие мысли». Мысли, идеи, воззрения, подобно лютям с плотью и кровью, бывают женственными и мужественными, наступательными и пассивными; они созданы по человеческому образу и подобию лишь при участии, а не под диктовку бесстрастного разума, взирающего на жизнь с холодных высот «нейтралитета». И если культура — взгляд на мир, взгляд живого человека и живыми глазами, то можно сказать, что и ей знакомы такие физиологические состояния, как эйфория или стресс, бессонница или, наоборот, сонное забытие. Остановимся на последнем.

Сон — состояние сознания, которое можно назвать и анархически свободным, и стихийно художественным: вожжи рассудка отпущены, спящий плывет по волнам своих представлений без руля, расставившись с самовластным *ratio*. Само собой разумеется, «рассудочных снов» не бывает — есть в снах зависимость от дневной действительности, неслучайность происходящего, но нет никакой управляемости, нет рычагов для исполнения приказаний здравого смысла, нет отсечения возможного от невозможного, действительного от мнимого. Во сне, как и в художественном произведении, практические неизбежны вымысел и иносказание. Сны наводнены метафорами, часто пронизаны сложной символикой, даже аллегоричны. Культура, в которой возобладали «сновидческие» элементы, ориентируется на антирационализм, мистический опыт, вольное мышление образами. В такой культуре властвует своенравная художественная фантазия, как, скажем, властвует она в петербургских повестях Гоголя, блестящем образчике «записанных» сновидений, снов, ставших литературой.

Так, чтение гоголевского «Носа» натуральным образом переносит в зыбкую нереальность сна. Повесть вроде и не отрывается от самой прозаической действительности, даже тщательно воспроизводит ее мелкие детали, но в ней забыта грань допустимого наяву. Муки майора Ковалева из-за необъяснимой потери собственного носа, вздумавшего начать самостоятельное, отдельное от жизни былого владельца существование, — это муки забывшегося беспокойным, тяжким сном человека, тревоги которого причудливо трансформировались в навязчивое сновидение. Повесть создана по типу довольно обычного сна из числа порождаемых переутомлением и взвинченностью нервов. Нужно, кстати, провести разграничительную линию между «сновидческой» литературой и литературой просто фантастической. Во сне едва ли увидишь нечто подобное «Воинс миров» Уэллса или «Продавцу воздуха» Беляева. Фантастическая проза требует преднамеренного вымысла, во многом рациональна по своей природе и несколько механистична по литературной конструкции.

Культура, вполне понятно, не состоит из одной художественной словесности или даже одного искусства. Доказать значимость «сновидческих» элементов в литературе еще не значит доказать существование их роли в культуре в целом. Но самовластная, капризная, склонная к алогическому самовывявлению свобода — хозяйка мира сновидений — сопряжена искусству и на «крыльях искусства» проникает в культуру, занимая в ней тем большие пространства, чем значительнее в культуре роль образа-символа, мифа, мистического знания-наития.

Искусство живет своеволием воображения, как живы им сны. Достаточно припомнить любое художественное уподобление, например, эксцентричное сравнение небольших волн, пенящихся где-нибудь на мелководье, с пляшущими белоголовыми человечками, чтобы невооруженным глазом заметить его произвольность, продиктованность причудой авторской фантазии (пусть и вдохновенной), а не действительным сходством волн и пляшущих человечков, очень зыбким и «несерьезным». Поэт, собственно, призван — умело и вольно одновременно — играть реалиями мира, скреплять их метафорами, разрывая противопоставлениями. Ему приходится эксплуатировать отдаленные и случайные сходства: улиц — с протянутыми руками, неба — с мятой простыней, вечерних окон — с горящими глазами и т. д. Создать неожиданное, поражающее, а значит, и немного нереальное — «обязанность» искусства и вместе с тем задача, с которой прескрасно справляются сновидения, сопряженные если не высоким целям искусства, то его рабочему «инструментарно».

Как только начинается в культуре гонение на рационализм, как только рассудок объявляется низшим элементом сознания, нарастает инъекция в культуру мышления образного, внелогического и, рука об руку с ним, «сновидческого» опыта, опыта соприкосновения с ирреальным. А в русской культуре скепсис по отношению к разуму, его правам и полномочиям — тенденция не менее чем полусторечевой давности. одна из доминант.

Антирационализм русской философии — очевиден. Из воинствующего антирационализма — славянофильских идей и идей Чаадаева, люто враждовавших и сближающихся до родственности, — начинается, собственно, ее национальное своеобразие. Славянофильская концепция «сердечного мышления» и достигаемого с его помощью «цельного знания», объединяющего разум, чувство и веру, интересна даже не как теоретическое нововведение — а как отражение вполне реального состояния национального сознания и выражение его стихийной тяги к художественному восприятию жизни. Идеализировать особую художественность русского склада ума и «русской души», вероятно, не стоит (ее теневая сторона — плохое владение навыками логического мышления, воинствующее безрассудство), но эта черта — одна из существенных культурных реалий, проясняющих природу того «сна» русской жизни, который казался сладким гончаровскому Обломову и гнетуще скучным лермонтовскому Печерину.

Внешний признак любого сна — неподвижность спящего. Обвинение в неподвижности — основное обвинение, предъявлявшееся русской жизни в течение всего XIX века. Остудило-неподвижной казалась николаевская Россия покидавшему ее и устремившемуся на вольный Запад Герцену. Огромной сонной Обломовкой увидел и изобразил Россию Гончаров, далекий от экспансивного романтического неприятия прозы жизни. Упорное сопротивление России буржуазной «суете», гордый имперский покой России ценил и охранял Леонтьев. На незабываемость сословных «русских устоев» и самодержавного «единоначалия» делал ставку в государственной политике Победоносцев. Как к спящему богатырю относились к крестьянской России революционеры народнической эпохи, от жажды которых — во что бы то ни стало разбудить, вырвать из векового сна народ — веяло порой и безумием отчаяния. Представление о глубоком сне русской жизни во все времена можно с определенным основанием назвать мифологическим, но стоит сопоставить хотя бы историю России XIX века (действительно знавшую и бури — Отечественную войну 1812 года, восстание декабристов, эпоху «великих реформ» Александра II) с историей Франции того же столетия, чтобы увидеть, что такое настоящий исторический динамизм, взвихренность социального бытия, бурлящего революционными потрясениями, озвученного гулом мощных народных движений, переполненного политическими страстями. История Франции прошлого века — мятущаяся, как будто мучимая бессонницей политических и социальных страстей. Соответствующие черты затянувшейся на многие десятилетия «бессонницы духа» носит и французская культура от Гюго до плейды «проклятых поэтов», от идей Робеспьера до идеологии Парижской коммуны. Только на рубеже XX века заметно стало, во французской жизни и культуре некоторое — кстати, может быть, долгожданное — умиротворение, даже приятная, изысканная «дремота комфорта», прерванная первой мировой войной.

Относительная историческая неподвижность России была с невиданной, катастрофической внезапностью перечеркнута развершейся бездной революции 1917 года, поглотившей российскую империю с головокружительной быстротой. Но пути культуры не всегда совпадают с путями истории — русская культура продолжала видеть сны и среди развалин старого мира, ее взрастившего. Говоря метафорически, культура — земная душа истории, живущая еще какое-то время и тогда, когда живая плоть истории превратилась в прах...

Спящая культура пребывает в зазеркалье сновидений, порой более живых, чем самая деловитопычущая явь. В прошлом веке русской культурой было пережито именно нечто подобное — став «сновидческой», она породила необычайно красочный мир.

Когда Розанов с раздражением называл гоголевских героев грезами, он не ошибался в том, что герои эти — видения, субъективные, как субъективны все персонажи снов. У сновидений есть одна естественная особенность: их «действующие лица», возникающие непроизвольно и потому, казалось бы, не зависимым от спящего образом, тем не менее существуют лишь в сознании самого спящего, есть его ожившие эманации. В этой связи процитируем сказанное о Гоголе тем же Розановым: «Он был до такой степени уединен в своей душе, что не мог коснуться ею никакой иной души». Уединенность души Гоголя огромна и реальна, и она — уединенность спящего человека, его изолированность «шторами сна» от внешнего мира.

Один из идейных недоброжелателей Достоевского, П. Ткачев, с ожесточением, но, по сути, далеко не глупо писал о «Братьях Карамазовых»: «...все эти невероятные длинные проповеди, монологи, тирады и философские рассуждения хотя ведутся и от лица различных персонажей, но это только по-видимому, в сущности же вы чувствуете, что перед вами философствуют, проповедуют

и резонируют не Зосимы, не Карамазовы, не Смердяковы, не прокуроры и не адвокаты, а сам автор... В авторской *самобесede* они играют роль простых, безличных этикеток, под которые автор подводит различные рго и сонга своего мистико-философского мисросозерцания». Ткачеву представляется какой-то подделкой под подлинную литературу роман, где в речах каждого героя слышны «речи самого автора». Он убежден, что герои романа должны быть если и не взяты из живой жизни в готовом виде (не будем приписывать Ткачеву крайне наивный натурализм воззрений), то во всяком случае созданы автором не по собственному образу и подобию. Не нравится Ткачеву, собственно, то, что автор «Братьев Карамазовых» никогда не самоустраняется, а, наоборот, создает в романе гигантский амбициозный автопортрет.

Писатель, не выходящий в своих произведениях за пределы собственного «я» и тем не менее извлекающий из этого «я» целый живой мир,— типичский сновидец, трансформирующий «сновидческий» опыт в художественные творения. Диалогизм, увиденный М. Бахтиным у Достоевского, реален и нереален одновременно. Сны никогда не выглядят монологом, всегда скрывают образ «рассказчика», которым является сознание самого спящего, имитируют жизнь — встречи, разлуки, споры и ссоры, беды и радости, ее наполняющие. Диалогично само сознание Достоевского, но прав был и Ткачев, назвавший «Братьев Карамазовых» авторской «самобеседой» — во сне человек встречает только себя самого, и именно во сне доводится ему не условно лишь, но в подлинном смысле беседовать с самим собой.

«Сновидчество» в культуре располагает к невольной самопоэтизации, отзвуки которой различимы и в идее Достоевского о русской «всечеловечности». Эта идея — в какой-то мере развитие «сновидческого» опыта, когда грезящему, чье свободное воображение рисует с невозможным наяву правдоподобием самые разнородные образы, начинает казаться, что он наделен даром всепонимания, совмещения в своем «я» самых разных полюсов бытия. Невольно и неизбежно возникает в этой связи образ-символ спящей России, в сновидениях своих как бы заново переживающей всю историю и предвещающей историческое будущее,— горделивый образ, от которого недалеко и до самолюбования.

Сновидения нередко оказываются вещими, пророческими, они бьют и нравственно поучительными (заглушаемым наяву голосом совести и т. д.), нередко возрождают угасшие чувства (любви, нежности, печали, жалости), имея жизненно важный смысл. Но вместе с тем весьма глубоко укоренено представление, что сны — квинтэссенция обмана, форма псевдожизни, которой явь противостоит так же, как правда — лжи. В стихотворении Блока «Сны» сладкие видения спящей царевны, которая «спит в хрустальной, спит в кроватке долгих сто ночей», сопряжены с недобрый колдовством. Здесь доминирует упоение чарующей и смутно опасной таинственностью сна. Блоком передана загадочная «музыка сновидений», манящая и тревожная. Сны уподоблены заглядыванию в «сказку жизни»: «Сладко дремлется в кроватке. Дремлешь? — Внемлю... сплю». Сновидения, как старые сказчицы-няни, повествуют человеку-ребенку о грозных чудесах бытия, столкнуться с которыми наяву ему еще предстоит.

Сон естественным образом воспринимается как атрибут детства с его чистотой и наивностью, со свойственным детству упоением всем сказочно ирреальным. Взрослость — это пробуждение, бодрствование, «сутолока» суровой яви с нелегкой ношей разнородных забот и проблем. «Сновидческое» состояние культуры несколько инфантильно, в нем ошущим избыток мечтательности, преобладает, как в сказках для детей, чудеснос. И в русской культуре — в видениях Вечной Женственности, явленных Вл. Соловьеву, в гимнах Блока Прекрасной Даме,— пожалуй, вырисовывалось нечто подобное: отзвуки грезящего младенчества, которые очаровывают, но, как милые фантазии ребенка, не убеждают.

Один из важнейших типов сновидения — кошмарный сон. И если «сновидческое» начало в культуре живо и развивается, в его недрах рождаются и кошмары — метафоры боли, отчаяния, страха. Жуткое видение огромного всадника с «медной головой», преследующего «бедного Евгения», — классический образец кошмара в литературе. Кошмар в «Медном всаднике» перерастает границы страшного сновидения, срастается с безумием Евгения и покушается на саму реальность — его сила и власть огромны. Ни одна из сладких грез русской культуры — от примитивного «сна Веры Павловны» в «Что делать?» Чернышевского до соловьевских видений победоносной теократии — не обладает той завораживающей мощью, какая придана Пушкиным историческому кошмару, воочию увиденному несчастным Евгением и доконавшему его.

Смысл кошмара, пережитого Евгением, кстати, отнюдь не потусторонен — кошмар открывает этому «маленькому» герою глаза на первопричину его несчастья, позволяет увидеть лицо истории, которое для мелкого существователя непостижимо. И Евгений умирает от ужаса прозрения, до которого он не дорос.

Если сновидения внушены болью, беспомощностью и отчаянием, сон и явь как бы меняются местами: наяву — забытье, долгожданный покой, а сновидения превращаются в колдовскую «губку», впитывающую ужас жизни как воду. Из этой перестановки местами сна и яви и родилась вся петербургская тема в русской литературе, тема ирреального, колдовски прекрасного и колдовски жуткого города-сновидения, который, как кажется подростку в одноименном романе Достоевского, вдруг «подымется с туманом и исчезнет как дым». И забвение от подменившего действительность сна, то демонически грозного (в «Медном всаднике»), то ядовито сладостного (в гоголевском «Невском проспекте»), то подобного болезненно-хрупкой, пьянящей грезе (в «Белых ночах» Достоевского) — лейтмотив петербургской темы, ее «мораль». Тоска по здоровой реальности становится едва ли не манией, в ее свете кошмары петербургских сновидений гиперболизируются. Россия начинает восприниматься как замученная властью «петербургских туманов», околдованная злыми чарами имперской власти спящая царевна, ожидающая своих извавителей. Разбудить Россию, вернуть ее к прежней спокойной и здоровой яви «допетербургского» существования — эта мечта прочитывается не у одних славянофилов, но и в народничестве с его упованием на архаику народной жизни, исконную общинность.

Рациональное и неожиданным образом оптимистическое обоснование склонности русского человека к сновидчеству дал Герцен, писавший в письмах «Концы и начала»: «Если к нашим девственным путям сообщения прибавить мужественные пути наживы чиновников, к нашей глини-

стой грязи — грязь помещицкой жизни, к нашим зимним вьюгам — Зимний дворец... то, сказать откровенно, надобно иметь *сильную зазубу или сильное помешательство*, чтоб по доброй воле ринулись в этот водоворот, искупающий все неустройство свое пророчествующими радугами и великими образами, постоянно вырезающимися из-за тумана, который постоянно не могут победить». Герцену импонирует вечная неустроенность российской действительности, будоражащая человека, предохраняющая от пошлого благополучия, погружающая в фантазмагорию сновидений, которые не только спасают от некомфортной, «всколоченной» яви, но и созвучны этой российской яви, где и самое невероятное — вероятно. Русские грезы восприняты Герценом как символ истинной жизни, а не мертвого сна духа.

Миражи — исторические и миражи культуры, миражи политических идей и этических идеалов, — пожалуй, действительно составляют одно из российских природных богатств или, по крайней мере, некогда составляли.

По Ремизову, который в «Огне вещей» много писал о русских снах, «сон в русской литературе — с библейских видений протопота Аввакума...». Но это, пожалуй, преувеличение. В миражной русской жизнь сорвалась уже после петровской ломки, в петербургские времена, когда европеизированный фасад столицы империи и лоск утонченной культуры стали казаться пригрезившимися на фоне «нутряной» России, жившей во многом по-старому. Сон не как литературный прием, а как реальность алогического инобытия, близкая к сновидению по глубине разрыва с «трезвой» дневной действительностью, проникает в русскую литературу только к середине XIX века. Ремизов, различив феномен «русских снов» и увлекшись его красочным отражением в литературе, писал о снах как таковых, а не о миражах, грезах и предчувствиях бодрствующего сознания, которые есть не что иное, как «осколки» снов в инородной им дневной яви. Не сопоставил писатель и две смыкающиеся плоскости — русской литературы и русской истории, — на стыке которых родился во всей своей огромности феномен российского сновидчества. Ремизов посвятил немало прихотливой словесной вязи снам у Пушкина (их насчитывает Ремизов шесть: «сон Татьяны, сон Григория, сон Марьи Гавриловны, сон гробовщика Адриана Прохорова, сон Германа, сон Гринева»). Но «сны культуры» — не сны тех или иных литературных героев, которые могут понадобиться писателю и по «техническим» литературным причинам, а нечто неизмеримо более глубокое.

К концу российского XIX века течения культуры, противостоявшие «сновидчеству», сопротивлявшиеся ему, как, например, воинствующий реализм и утилитаризм Писарева, явно выдыхаются. В преддверии близких уже исторических катастроф, уничтоживших «державный корабль» старой России, в литературе воцаряется тревожное затишье символистских «туманов». Сновидения, таимые в нишах сознания, наполняемых этими мистическими туманами, как бы обещают реальную встречу с нездешним, о котором только тщетно гадает разум. Так происходит слияние сновидчества и мистики.

Когда сознание погружено в мир этих видений, факты перестают быть свидетелями истины, логика теряет свой интеллектуальный авторитет, а желаемое становится тождественным действительному. Тогда утверждает свою власть над человеком классическая формула воинствующего иррационализма «дважды два — пять», которая, как известно, была символом бунта против «тирании рассудка» у Достоевского (вспомним заявление подпольного человека: «дважды два пять — премилая иногда вещичка») и неожиданно превратилась в оплот тоталитаризма, насаждавшего умышленный иррационализм в духе хорошо знакомого лозунга «пяtilетку — в четыре года».

Корни иррационализма не в одном мистическом опыте; в его основе — и представление о *творимой истине*, заменяющей не зависимую от воли человека объективную истину, обретаемую не путем вольного творчества, а путем «подневольного» фактам познания.

Ответ на вопрос, сколько будет дважды два, теряет определенность тогда, когда человеку начинает казаться, что истин, существующих независимо от его собственного бытия, просто нет. А. С. Хомяков, заявлявший в статье «О старом и новом» (основополагающей для «ортодоксального» славянофильства), что «старую Русь надобно — угадать», выразил убеждение, что историческая действительность в значительной степени «безъязыка» для того, кто к творчеству истины, напоминающему вдохновенное «гадание», не способен. И без труда заметно, что утверждение Хомякова сродни воззрениям Соловьева по идейной «группе крови» — для них обоих размыты пределы предписываемого действительностью, того, что в состоянии сковать мечты и грезы, опровергнуть сновидения ссылкой на происходящее в самом деле. Творимая же истина всегда желанна — и категория невозможного исчезает.

Преодолев узы рассудочного мировосприятия, отдельный человек и культура в целом оказываются в состоянии, подобном невесомости, когда необычайно легко поверить во что угодно и так же легко отказаться от прежних убеждений. Как вполне очевидно, это потенциально небезопасное для судеб культуры и цивилизации состояние. Исходя из этой очевидности, и строил свои воззрения Оруэлл, чье неприятие сновидческого зазеркалья, где неизвестно, сколько будет дважды два, было безоговорочным. Но запрет на сновидения так же вреден для культуры, как и лишение сна — для здоровья человека. Тем не менее если искусство нуждается в свободе фантазии, как птица в небе, по которому летит, то культура в целом не создается для полета в заоблачные выси идеального, она вынуждена оставаться на земле, среди ее реалий, в познании и осмыслении которых вольная фантазия далеко не всегда верная помощница.

Культура — нечто большее, чем искусство, много большее. И соблазн следовать за искусством, жить и развиваться по его «подсказке» ввергает культуру в сновидческое забытье, в котором она беззащитна, как всякий спящий. Недейственность мечтательной «сновидческой» российской культуры в предотвращении тоталитаризма, едва не уничтожившего и ее самое, — поучительный тому пример.

С. Н. НОСОВ.

Ленинград.



РУССКАЯ КНИГА ЗА РУБЕЖОМ



НИКОЛАЙ БЕРДЯЕВ. Собрание сочинений. Т. 4. Духовные основы русской революции (статьи 1917—1918). Философия неравенства. Paris. YMCA-PRESS. 1990. 598 стр.

Наряду с «Философией неравенства», созданный в России в 1918 году, в разгар коммунистической революции, в очередной том включен цикл статей, составивших книгу «Духовные основы русской революции», план которой был найден в архиве мыслителя после его смерти

Прот. А. ШМЕМАН. Великий Пост. 3-е издание. Paris. YMCA-PRESS. 1990. 154 стр.

Краткое толкование Великого поста как школы покалания.

А. А. ВАНЕЕВ. Два года в Абези. В память о Л. П. Карсавине. Приложения. Брюссель. Изд-ва «Жизнь с Богом» и «La Press Libre». 1990. 386+8 стр.

Помимо воспоминаний о пребывании замечательного русского мыслителя Л. П. Карсавина в лагере для инвалидов на Северном Урале в книгу вошли последние тексты Карсавина, созданные в зоне, в том числе «Герцины», «Венок сокетов», «Комментарии», «Размышления о Молитве Господней» и др., а также биографический очерк и краткое изложение философии Л. П. Карсавина, составленное профессором Густавом Веттером. В специальном приложении к книге перепечатано сообщение из газеты «Русская мысль» от 18 мая 1990 года (№ 3828) — «В Абези найдена могила Л. П. Карсавина».

В. РАТИБОР. Правовое государство. London. Overseas Publications Interchange Ltd. 1990. 55 стр.

Цель перестройки, приходит к выводу автор, заключалась в спасении тоталитарного государства, а не в создании государства правового типа, что и предопределило половинчатость реформ и их конечный провал.

П. А. СТОЛЫПИН. Речи в Государственной думе в Государственном совете. 1906—1911. Составитель и автор комментариев Ю. Г. Фельштинский. Предисловие А. П. Столыпина. Нью-Йорк. Телекс. 1990. 383 стр.

Речи П. А. Столыпина, впервые собранные и опубликованные по стенографическим отчетам, а также его письма С. Ю. Витте, хранящиеся в Бахметьевском архиве Колумбийского университета (Нью-Йорк).

А. В. ТУРКУЛ. Дроздовцы в огне. Картины гражданской войны 1918—1920 годов в литературной обработке Ивана Лукаша. Предисловие Вл. Солоухина. 3-е изд. «Посев» (США). 1990. 276 стр.

Цель книги, по словам генерала А. В. Туркула, — «воскресить истинный образ рядовых белых бойцов, безвестных русских офицеров и солдат, и дать почувствовать ту правду и то дыхание жизни, что воодушевляли их в борьбе за Россию».

ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВА. Генерал Власов и Русское освободительное движение. Перевод с английского. London. Overseas Publications Interchange Ltd. 1990. 370 стр.

Используя архивные материалы, хранящиеся в Германии и США, автор детально рассматривает вопрос о взаимосвязи идеологии Русского освободительного движения и различных политических течений в эмиграции.

ДЖЕЙН ЭЛЛИС. Русская православная церковь. Согласие и инакомыслие. Перевод с английского прот. Георгия Сидоренко. London. Overseas Publications Interchange Ltd. 1990. 307 стр.

Книга охватывает период от середины 1960-х годов и посвящена возникновению православного диссидентства, его короткому расцвету и подавлению властями в 80-е годы.

НИКОЛАС УАЙЗМЕН. Фабиола. Повесть из древнеримской жизни. Перевод с английского. Брюссель. Изд-во «Жизнь с Богом». 1990. 224 стр

Изданная впервые в 1854 году и рассказывающая о гонениях на христиан в эпоху императора Диоклетиана, книга была впоследствии переведена на многие языки; на русском была известна в свободном пересказе Евгении Тур под названием «Катакомбы» и выдержала до революции семнадцать изданий.

Составитель А. Н. БОГОСЛОВСКИЙ

Редакция рукописи не рецензирует и объемом меньше 2 печатных листов не возвращает.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати».

Главный редактор С. П. Залыгин

Редакционная коллегия:

В. П. Астафьев, А. Г. Битов, В. М. Борисов (зам. главного редактора), **А. В. Василевский** (ответственный секретарь), **Ф. К. Видрашку** (зам. главного редактора), **Д. А. Гранин, И. Я. Зиедонис, В. А. Костров** (зам. главного редактора), **Д. С. Лихачев, П. А. Николаев, Б. И. Олейник, И. Б. Роднянская, В. И. Селюнин, М. В. Тимофеева, Е. Л. Храмов, М. О. Чудакова, О. Г. Чухонцев, В. А. Ярошенко**

Технический редактор А. Гинзбург

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 30.01.91. Подписано к печати 23.04.91. Формат бумаги 70×108¹/₈. Бумага кн.-журн. Высокая печать. Объем 16 п. л. (23,8 усл.-печ. л., 24,0 усл. кр.-отт.) 28,01 уч.-изд. л.

Тираж 965.000 экз. (4-й завод 790.001—965.000 экз.). Зак. 156. Цена 2 р. 10 к.

Набрано и изготовлены диапозитивы в ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типографии имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва А-137, ул. «Правды», 24. Отпечатано в ордена Трудового Красного Знамени типографии «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. 103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

***В 1991 году «Новый мир»
предполагает опубликовать:***

- ВИКТОР АСТАФЬЕВ.** Прокляты и убиты (роман);
ЛЕОНИД БЕЖИН. Калоши счастья (записки случайного философа);
АНДРЕЙ БИТОВ. Япония как она есть (повесть);
АНДРЕЙ ВОЛОС. Кудыч (повесть);
М. ВОСЛЕНСКИЙ. Феодалный социализм (место номенклатуры в истории);
ВОСПОМИНАНИЯ О ЧЕРНОБЫЛЕ;
В. ДОМОГАЦКИЙ. Кладовка (попытка консервации);
И. А. ИЛЬИН. Из философского наследия;
АНАТОЛИЙ КИМ. Кентавр (роман), Рассказы;
М. КУРАЕВ. Зеркало Монтачки (повесть);
ВЛАДИМИР МАКАНИН. Рассказы;
ВЛАДИМИР МАКСИМОВ. И Аз воздам (роман);
ФРАНСУА МОРИАК. Во что я верю (эссе, перевод с французского);
П. И. НОВГОРОДЦЕВ. Из философского наследия;
МАРИНА ПАЛЕЙ. Рассказы;
Л. ПЕТРУШЕВСКАЯ. Время ночь (повесть), Рассказы;
АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ. Счастливая Москва (роман);
Н. САРРОТ. Дар слова (повесть, перевод с французского);
ФЕЛИКС СВЕТОВ. Отверзи ми двери (роман);
АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. Бодался телёнок с дубом (новые главы «очерков литературной жизни»);
АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. Апрель Семнадцатого (заключительный «узел» исторической эпопеи «Красное колесо»);
АЛЕКСАНДР СОПРОВСКИЙ. Из философского и поэтического наследия;
И. Т. ТВАРДОВСКИЙ. Страницы пережитого;
Н. ТОЛСТОЙ. Жертвы Ялты (главы из книги);
РОБЕРТ ПЕНН УОРРЕН. Пещера (роман, перевод с английского);
ДАНИИЛ ХАРМС. Дневники;
 а также другие произведения.
 Следите за нашими анонсами.

Цена 1 номера — 2 р. 10 к. Подписка на квартал — 6 р. 30 к., на полгода — 12 р. 60 к., на год — 25 р. 20 к. Подписка принимается без ограничений до 1-го числа предподписного месяца.